



KRESCHATIK
International Literary Magazine
#90

International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#90

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 421-522-647-65

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067—83—007—11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник

Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания двадцать третий

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Korn Str. 22

28201 Bremen, Deutschland

e-mail: borismark30@T—Online.de

markovskiy@rambler.ru

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192029, Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619—2966

© Крещатик, 2020 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	«Видно, не встретить до срока...»	7
Григорий Марговский / <i>Бостон</i> /	Снегопад	11
Ольга Добрицына / <i>Москва</i> /	Сила света	29
Илья Иослович / <i>Хайфа</i> /	«Не горек и не сладок...»	35
Настя Запоева / <i>Лос-Анджелес</i> /	«в квартире Гоголя ремонт...»	37

Проза

Илья Оганджанов / <i>Москва</i> /	И неслышно текла река...	15
Виктор Ч. Стасевич / <i>Новосибирск</i> /	Сны на ветру. Роман (окончание)	42

В ГОСТЯХ У «КРЕЩАТИКА»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Поэзия

Александр Шмидт	Полнолуние	114
Роберт Вебер	Лебеди	168
Николай Дик	Из цикла «Жизнь на двоих...»	175
Александр Рудт	Плотина. Поэма	210
Бела Иордан	Поэзия моя	238
Ольга Зайтц	Моя прабабка русского не знала...	245
Мария Шефнер	Закон вечности	266
Агнес Госсен-Гизбрехт	«Полям, лоскутным одеялом...»	275
Лидия Розин	«Я есть!...»	295
Иван Антони	«Мне приснилась сторонка родная...»	301
Виталий Штемпель	«Учились правде и добру...»	313
Иван Бер	Он прикоснулся губами к небу	319
Вальдемар Ванке	Русские свадьбы в Германии	323
Александр Майснер	«Что ж истиной грешить...»	342
Павел Блюме	Поэту	356

Проза

Антонина Шнайдер-Стремякова	Лексические ошибки	117
Виктор Гейнц	Обратная дорога	140
Нелли Косско	Рождественский «заговор» обреченных	147

Гуго Вормсбехер	Наш двор. <i>Повесть</i>	177
Вячеслав Сукачев (Шпрингер)	Папаня	224
Владимир Штеле	Располнел, разжирел, раздобрел	249
Светлана Фельде	Натурщик	255
Курт Гейн	Мой тёзка Курт Рязанцев	277
Мелита Рот	А ля рюсс	258

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Виктор Горн	Это целая жизнь — человек	325
Мартин Тильманн	Моё босоное детство	348

СВИДЕТЕЛЬ ГУТТЕНБЕРГА

28 ноября исполняется 60 лет со дня рождения Игоря Савкина — почти половину своей жизни он возглавляет издательство «Алетейя», в котором, начиная с № 18, уже многие годы выходит международный литературный журнал «Крещатик».

Игорь Александрович сделал невиданное — он создал и сохранил одно из первых российских частных издательств, которое многотысячными тиражами выпускало востребованную философскую и историческую литературу — до девяностых годов XX века этого в принципе не могло быть — но ведь такого и не будет больше никогда — поскольку вместе с эпохой Гуттенберга многотысячные тиражи уходят в прошлое. Теперь все нужные тексты мы предпочитаем находить в интернете, и подобного рода литература переключивается из издательств на полки государственных библиотек, университетов и немногочисленных ученых, интересующихся какой-либо конкретной тематикой. Впрочем, не таких уж многочисленных. Помнится, в 2010 году в Киеве на огромной книжной экспозиции «Книги России» к стенду «Алетейи» выстраивались приличные очереди — ценители раритетов стекались со всего города, чтобы приобрести книги из прославленных серий «Античная библиотека», «Византийская библиотека», «Античное христианство», «Библиотека Средних веков», «Bibliotheca Slavica», «Библиотека Ренессансной культуры» и многих других. Среди изданий «Алетейи» достойное место занимал и журнал «Крещатик», а также юбилейные сборники, составленные из сочинений авторов нашего журнала, книги киевских ученых, поэтов и писателей, изданных в «Алетейе».

Полные залы собирали встречи с читателями, которые организовывало издательство в залах Российского центра культуры и науки.

Используя терминологию Льва Карсавина, книги которого издательство «Алетейя», к слову, стало издавать одним из первых, Игоря Савкина смело можно назвать личностью симфонической. Окончив философский факультет ЛГУ и успев отслужить к тому времени в армии, Игорь Александрович три года посвятил теме «Лев Карса-

вин и русское евразийство» в аспирантуре родного университета, в дальнейшем преподавал философию практически на всех его факультетах, кроме восточного. И уже в 1992 году, остро ощущая отсутствие в широком доступе важнейших философских, исторических, культурологических трудов, совместно с компаньоном основал издательство «Алетейя» (об этом более подробно написано в книге В. Кривошеева «Из истории частного гуманитарного книгоиздания. Заметки для своих» — Алетейя, 2017).

Издательство начиналось с книг Марциала и Ювенала, Павла Флоренского и Льва Карсавина, Алексея Лосева и Льва Тихомирова. В дальнейшем «Алетейя» перешла в полное владение Игоря Савкина (в семейном тандеме с Татьяной Савкиной) и превратилось в одно из лучших российских независимых издательств. При этом Игорь Александрович долгие годы не оставлял преподавания. Спецкурс «История и теория евразийства» он продолжал читать факультативно по личной просьбе Льва Гумилева еще три года после того, как уволился с философского факультета.

Журнал «Крещатик» также можно считать своеобразным евразийским проектом: широким культурным мостом над океанами и континентами — или степным чумацким шляхом, кому как больше нравится, — поэтому он так легко и прочно вписался в поток деятельности издательства, хотя теперь об идеях евразийства наши современники узнают в основном из блога Александра Дугина, а не из философских книг и литературных журналов. Впрочем, это тоже неплохо, просто настала пора осознать, что сменилась эпоха.

А редакционной коллегии «Крещатика» вспоминается, как Игорь Савкин повел нас посмотреть на довольно хорошо сохранившиеся руины византийского храма посреди Иудейской пустыни, как мы сидели в полной темноте всем редакционным составом, освещаемые лишь крупными звездами, смотрели на далекие огни библейского Иерихона, пили отличное местное красное вино, и Савкин вспоминал чудесные истории из своей жизни. Например, как по воскресеньям к нему в «пещеру Платона» спускался гениальный Сергей Курёхин за синими томиками книги «Людвиг Витгенштейн как человек и мыслитель».

Многая и благая лета, Игорь Александрович! В следующем году в Иерусалиме!

*Редакция
международного литературного журнала «Крещатик»*



Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва /

* * *

Видно, не встретить до срока
Той, что у моря — одна.
Так я обманут жестоко
Темью ночного окна!

Брошено эхо бывшего
Там, на пустом берегу, —
И приворотное слово
Я отыскать не могу.

Что ж не клонюсь я устало?
Зорек ли, память, твой взгляд?
Юность, не ты ль потрясала,
Словно разбуженный сад?

Если же голову вскинуть,
Может гордиться душа,
Что заповедные вина
Пили и мы из Ковша.

Не разрывайте же, Музы, —
Грусть не у вас ли в крови? —
Неизмеримые узы
Невыразимой любви.

* * *

На ощупь идут дожди —
И осень до слёз тошна.
Но вдруг запоёт в груди,
Звончей тетивы, струна —

И в горло вопьётся звук
Судьбы колдовской стрелой.
Ездок опускает лук,
Азийской окутан мглой.

Нездешний мне слышен тон,
Неспешный мне виден шлях —
И это не степь, а стон
Летит на семи ветрах.

И дальше — туда, к морям,
Окрепнуть в пути успев,
Как тополь, высок и прям,
Уводит меня напев.

И мрак миновал ночей,
Исток отыскав чутья,
Из пепла былых речей
Душа восстаёт моя.

* * *

Эти лилии вспомнишь когда-нибудь ты —
Не луны ль ощутим притяженье
В час, когда оживут перед нами цветы,
В зеркалах задрожат отраженья?

Закружится их запах в морозной пыли,
Станет музыкой каждое слово.
Что за радость мы в жизни с тобой обрели,
Грусть и нежность смешав bestолково?

Что за свет пересилит ночей черноту?
Где начало его? — Я не знаю.
Догадаемся вряд ли, шагнув за черту,
Что сулит нам зима затяжная.

Не затем ли годами таимая речь
Из груди твоей рвётся на волю,
Чтобы душу нежданною властью облечь,
Чтобы сделать желанною долю?

Сколько б разных завес пред тобой ни срывал,
Ты врождённым жила постиженьем.
Разве взгляд хоть единожды твой не бывал
Белых лилий прямым продолженьем?

Их сиянье не ты ли с собою взяла —
Просто так, чтобы выглядел краше
Дом, где столько дыханья ты сердцу дала?
Разве счастье не найдено наше?

* * *

Здесь тени ходят, семена,
А что-то сердцем не согрето —
И стал шиповник для меня
Колючей занавесью лета.

Минуту выбери одну —
И я, наверное, признаюсь:
Тебя утратив — не верну,
Обожествлю — и не раскаюсь.

Тебя, спешащую впотьмах,
Плащом шуршащую цветастым.
И если есть прощальный взмах,
То что же Бог тогда воздаст нам?

Но ждать, не ведая всего,
Переносить, едва касаясь,
И всё моё — на одного,
И всё твоё — на всех красавиц!..

Ты вздрогнешь, радуясь волнам,
И вот плечом уже поводишь.
И я гляжу по сторонам —
А ты уходишь и уходишь.

* * *

Ну кто бы думал, что случайный
Приют окликнуть суждено?
Мы жили там. Осталось тайной
Всё то, что сказано давно.

И время смыло бы волною
И дом, и берега песок,
Когда б не ты была со мною —
Тогда — от бурь на волосок.

* * *

Первый сон прошёл — первый спень,
Как говаривали, бывало.
И рассвета пуста ступень,
И листвы за окном так мало.

Я оделся и вышел в сад.
Всюду иней и всюду холод —
Впопыхах заглянув, гостят,
Да и я-то, увя, немолод.

Ежегодно, в который раз,
Я встречаю вот это время,
Где надменный звучит отказ
Быть как все, заодно со всеми.

Ежедневно я слышу гул,
Неприкаянный и томящий,
Здесь, где дождь на лету вздохнул
За рекою, внизу лежащей.

Еженощно я вижу след
Неразгаданного бывшего
Здесь, где воздух темнел от бед
И с надеждою крепло слово.

Но согреют уже с утра
Цвет бывалый и свет немалый —
И не гаснущего костра
Грустен дым над землёй усталой.

* * *

Оглянись, улыбнись, помолчи —
Так чисты на закате лучи!
Разожги не спеша,
Чтоб вздохнула душа,
Сразу сорок четыре свечи.

Клич любви полыхает в ночи,
В сердце бьются живые ключи,
Светом полнится грудь —
Не забудь, не забудь
Эти сорок четыре свечи.

Плач зари, за окном прозвучи, —
Закричат, захлопочут грачи —
Может, годы корят?
Но горят и горят
Целых сорок четыре свечи.

Что ты, память? Грустить не учи —
Так в ладони огни горячи!
В небесах навсегда —
За звездою звезда —
Эти сорок четыре свечи.



Григорий МАРГОВСКИЙ

/ Бостон /

СНЕГОПАД

Бетховена струнный квартет.
 Пейзаж обескровила заметь,
 Весь город как шейх разодет —
 Но образ тот нечем обрамить.
 Ничем ограничить нельзя
 Верховную власть снегопада,
 Над мертвенной бездной скользя:
 Бессмысленно, да и не надо...
 Движение прекращено.
 По штату объявлена буря.
 И лишь сомелье в казино
 Пропойце кадит, балагурия.
 А, впрочем, не платят уже
 За опус полсотни дукатов:
 Сугробы растут на душе,
 И взор угнетающе матов.
 Две скрипки и виолончель —
 Родня бархатистому альту,
 Но некогда ясную цель
 Растерло крупной по асфальту!
 И можно в четыре смычка
 Пытаться пропеть ей осанну —
 Но радость от нас далека
 И вряд ли поверит обману!
 Журча как весенний ручей,
 Халдей угождает барменше...
 Но в жизни все больше вещей
 Для нас означает все меньше!
 Без музыки несдобровать,
 Но щеки у старости впалы:
 Ей, право же, не до бравад —
 Она разгребаёт завалы.

Когда же я, Г-споди, жил?
И жил ли я толком когда-то?..
Адажио смолкло. Нет сил.
Из рук выпадает лопата.

ГРЕХИ ЮНОСТИ

Прозябал я в городе невзрачном,
Склонен к отношениям внебрачным,
А душа просилась на простор;
Тадж-Махалом бредил, Трафальгаром,
Улицы дышали перегаром,
Забивал «козла» постылый двор.

Отлежав два месяца в психушке
И сказав «адью» своей подружке,
Я рванул униформистом в цирк:
Вот тогда и встретилась мне Рита,
Кодами сонатными увита,
Только глянул — и как спичкой цирк!

Локоны ее струились рыже:
Мне казалось — мы уже в Париже,
Или это Иерусалим?..
В Гнесинке училась на заочном,
Веяло цветаевским, порочным
Самоистреблением святым.

Муж ее, зачитываясь Кантом,
Бледен был подобно всем вагантам,
Раз явился — с дочкой погулять:
Я сажу в его любимом кресле,
Диск верчу с его любимым Пресли,
Разорил гнездо коварный тать!

Впрочем, он и так с военкоматом
Разбирался — одинокий атом
Местечковой муторной среды;
И супруга, не простив шлимазла,
Во все тяжкие пустилась назло:
Просто так, в отместку, от балды...

Б-же, как меня она ласкала!
Лампочки сгорали от накала:
Как тут оставаться начеку?
А пройдет вечерняя поверка —
Извлекает Шенберга из Берга
Композитор в танковом полку...

Жизнь моя сплошное неустройство:
Показное вроде бы геройство —
Ан и впрямь кидаюсь я на дзот.
Рита, Рита! Дерзостью столичной
Заразился баловень тепличный,
До сих пор химера сердце жжет.

Адрес по Садовой-Триумфальной,
Где грустил Тарковский гениальный,
От тебя впервые я узнал;
А что сам не смог себе помочь я
И купчихами растерзан в клочья —
Чур не плакаться, провинциал!

Ты, на рынке Маханэ-Йегуда
Покупая зелень, ждешь ли чуда?
А у нас и звездный небосклон
Зажигается по расписанью —
И спросонок я оттарабаню
Самый строгий нравственный закон.

КЛЫЧКОВ И МАНДЕЛЬШТАМ

Хозяин сын курляндского купца,
В лице его апостольское что-то
Величествует: лесть и хитреца
Не отвлекают мыслей от полета;
И гость его такой же старовер —
Чья родина лесной и ладный Талдом;
И оба дышат музыкою сфер,
Бесстрастные к докладам и кувалдам.

«Сережа, горлохваты мне претят!
В пучине их ячеек и получек
Нас время топит, как слепых котят,
Талдыча: ты кулак, а он попутчик.
Ах, как же мне писалось год назад!
Раскачивались кипарисы в Гаспре —
Старухи на толкучке, и закат
Такой красы, что к черту ваши распри!
Есть блуд труда...»

«И он у нас в крови?
Да хоть и так, нельзя смиряться, Осип!
Восстань и жар пророческий яви:
Давно чревата камнепадом осыпь!
За что деревню ироды гнобят?

Ужель народной не страшатся бури?
Чума на них! Ударить бы в набат,
А не скулить по мировой культуре!..
На пашнях не токуют черныши.
Усохло русло. Обнищала пажить.
Кто межеумка выудил, скажи,
Над нами без мужицкой сметки княжить?
Глянь на себя: ты клянчишь на трамвай,
А покупаешь Наде хризантемы...
Что проку, братец? Растолкуй давай,
Но только, чур, не уходи от темы».

«Ах, полно, Серж, куда нам прок земной!
Бессребреник расчетливей проныры:
Когда зияют в казначействе дыры —
Есть выгода в презренье к таковой».

«И вновь ты рассуждаешь как еврей!»

«Зато в стихах я русского русее.
Что ж, как Есенин выть с петлей на шее?
Да, век наш зверь: а мало ли зверей?
Пусть мой чертеж запутан и громоздок,
Но обратнем, дико и легко,
Я сноп вяжу из золотых бороздок,
Как остроклювый маятник Фуко!
Пусть контрфорсы стянут аркбутаном
И витражи решеткою запрут,
Убранство речи — в отклике гортанном
На млечное сияние запруд».

«Вот это правда! Дай-ка расцелую
Тебя покрепче, свет моих очей!
Такой Руси и нужен казначей,
Кто б жажду утолял ее святую».

Гость удалился, и хозяин стал
Листать его «Чертухинский балакирь»...
Крестьянина расстрельный ждал подвал,
А разночинца — пересыльный лагерь.



Илья ОГАНДЖАНОВ

/ Москва /

И НЕСЛЫШНО ТЕКЛА РЕКА...¹

1

В доме тётки Зои поселилась беда. Это Федька-пастух шепнул мне на второй день у магазина. Кате я не стал ничего пересказывать, ей и без того дом не очень понравился. Всё, правда, прибрано и, как она любит, по своим местам: сложенные стопками отглаженные, накрахмаленные скатерти, простыни, пододеяльники, наволочки, махровые и вафельные полотенца и что там ещё хранится в рассохшихся пропахших нафталином платяных шкафах одиноких старух...

Весь дом — одна просторная комната с печкой-голландкой да закуток кухни. Скрипучие половицы, насадно вторящая им железная кровать с пирамидой подушек, застеленная протёртым до дыр покрывалом. Трёхстворчатое трюмо с кружевной салфеткой и унылой бумажной розой в стеклянной вазе. Обои в линялый цветочек. На стене в самодельных деревянных рамках — вырванные из «Работницы» или «Крестьянки» выгоревшие от солнца «Утро в сосновом лесу» и «Три богатыря». Но дух внутри нежилой, затхлый. В тесной кухне на заляпанной жиром плите всего две конфорки рабочие. Нудно капающий ручной мойник. Вонючее ведро под эмалированной раковиной. И мухи, мухи. «А чего ты ждала? Это же деревня. Сама запросила напоследок русской экзотики». Если бы не река прямо за окном и не аисты, пожалуй, пришлось бы искать другое место.

2

Припекало. Окна в моём стареньком «Форде» были открыты. Тёплый воздух омывал лицо, ерошил волосы. Убаюкивающе шуршали по асфальту шины. Навстречу бежали дома городов и деревень, леса, поля, перелески. На выбоинах машину слегка подбрасывало, и Катя фыркала: «Ну и дороги».

¹ Рассказ взят из романа «Человек ФИО». Книга выходит в издательстве «Алетейя» в четвертом квартале 2020 года.

Время от времени впереди показывались фуры. Белые, зелёные, красные, синие. На длинных фургонах крупными буквами написаны названия фирм и помельче — какие-то значки, иностранные или наши номера. Можно ехать и читать, если, конечно, разбираться в этом и знать языки. Катя могла прочесть любую надпись. В детстве она с родителями часто путешествовала на машине по загранице, тогда стало можно, модно — по загранице, и папа объяснял ей, что это за значки и какой номер из какой страны. Папа у неё работал на таможне и в таких вещах разбирался.

Я тоже любил машины, любил ехать без карты по незнакомым местам, большими и просёлочными дорогами, представляя, что это навсегда и не придётся возвращаться...

На кухне накурено. Дверь в коридор прикрыта, чтобы дым не забирался в комнату, а выветривался в форточку. Но дыма много, форточка маленькая, и весь он в ней не помещается. Лениво извиваясь, дым расплзается по кухне, погружая в сон знакомые с детства предметы — чашки с отколотыми краями и отбитыми ручками, пригоревшие кастрюли, истеричный чайник со свистком, — и уплывает к потолку, зависая там слоистым утренним туманом.

Из открытой форточки тянет вечерней осенней прохладой. За столом сидит отец. Перед ним полная окурков пепельница и початая поллитровка. Отец говорит сдавленным глухим голосом, ни к кому не обращаясь: «Осточертело — расчёты, отчёты и вы тут ещё с матерью... Ради чего всё это?!» Мама стоит у раковины и моет посуду. Хотелось куда-нибудь убежать, чтобы не видеть, как безвольно никнет над столом сидящая голова отца и мама, не замечая, по второму разу переживает одну и ту же тарелку.

Когда значки и номера были прочитаны и опознаны, Катя говорила: «Давай обгоним». У дальнбойщиков есть неписаное правило: если впереди встречная машина, водители в фухах мигают едущим сзади левым поворотником, значит обгонять нельзя, а если путь свободен — правым. Я дожидался правого сигнала, газовал, лихо сворачивал на встречную, обгоняя грохочущий грузовик, и в знак благодарности мигал ему аварийными огнями. Дальнбойщики были славные ребята.

Отца к тому времени не было на свете, а мать на всё махнула рукой. В институтской общегае, в комнате близнецов, была свободная кровать — с ними никто не хотел селиться. У близнецов тоже было накурено, открыта форточка и на столе — пепельница и бутылка. Ночью ходили в тупик у моста за палёной водкой. В мрачном глухом тупике стояли фуры. Надо было постучать в дверь кабины и терпеливо ждать. Рывками опускалось стекло, и заспанный недовольный голос спрашивал: «Сколько?» Раз туда приехали такие здоровые бритоголовые парни и что-то с дальнбойщиками не поделили. Началась перепалка. Из кабин выскочили водилы с монтировками. Послышались тупые удары, стоны, яростное дыхание. «Повезло, что успели затариться», — сказали близнецы.

И опять бежала навстречу дорога, убаяживающе шуршали шины, и хорошо было молчать и вспоминать что-нибудь давно прошедшее.

Близнецы пришли в институт после армии, по льготе. Коренастые, драчливые, они сильно пили, путали дифференциалы с интегралами и любили Есенина. Дима любил, а Кирюха так, за компанию. Раз на лекции по сопромату они засекли, что он под партой читает Блока. Не Есенин, но тоже стихи.

Подвыпив, Дима принимался читать вслух, громко и с надрывом, не хуже любого народного артиста, и эффектно взмахивал руками. Словом, решено было идти пробоваться в театральные, и Кирюха поплёлся за компанию. В театральном все читали Есенина, и ещё Пушкина, и Блока тоже, громко и с надрывом. В общем, они не поступили. Зато познакомились со студентами из ГИТИСа. Они с Димой познакомились, а Кирюха сказал: ему неохота, у него есть девушка, дома, в деревне.

Дима сильно влюбился — не спал ночами, дрался со всеми без разбора и люто пил. Он тоже влюбился, не спал и пил. И Кирюха пил за компанию. Допивались до четверенек, собирали на лестнице бычки, докуривали до самого фильтра, морщась от горького вездливого дыма, и, чуть протрезвев, шли догоняться в тупик к дальнобойщикам. По дороге туда близнецов и сбила машина. Он задержался у светофора, его рвало, а они потащились на красный. Диму сбило насмерть, а Кирюхе только ногу переехало.

Димины девушка пришла на похороны в длиннополом заграничном пальто. Её скорбное напудренное лицо тонуло в пушистом лисьем воротнике. Она держала осанку и заученным жестом подносила к глазам надушенный платок.

Вдоль дороги стояли склонённые ветром деревья, на большой скорости сливавшиеся в одно понурое дерево. Тянулись заросшие бурьяном поля, перерезанные линиями электропередач. Ажурные опоры ЛЭП, похожие на многоруких инопланетных исполинов, уходили колонной к самому горизонту — в моей кожаной тетрадке было немало таких никчёмных, где-то уже читанных образов и разных наблюдений над жизнью и людьми. И порой казалось, что жизнь и люди и я сам существуем лишь для того, чтобы кто-нибудь нас описывал или производил опись. *Человек ФИО (Фамилия, Имя, Отчество), родился в стране, в году, проживает по адресу, рост, вес, цвет волос, размер обуви.* Даже если потом из этого не выйдет ни романа, ни повести, ни рассказа, пусть и самого короткого, длиной в одну выкуренную сигарету. Ничего, главное — накопить материал, такой совет начинающим давал в своей книге один маститый писатель.

Институт он бросил и девушку из ГИТИСа тоже. Познакомился с другой. Но после первого раза она сказала, что он — мальчишка и ничего не умеет... И были потом всякие другие девушки, пока он не встретил Лену.

Он провожал её вечером из каких-то случайных гостей. Она сама попросила: «Проводите меня, а то поздно». Они шли по бульвару. Был конец мая, и в тёплом воздухе пахло сиренью. На лавочках сидели тихие парочки и крикливые компании. Неспешно, заведённым по-

рядком прогуливались пенсионеры и собачники. Она держала его под руку. И он украдкой вдыхал сладкий аромат её духов. Наверное, они о чём-то говорили. Но о чём, он уже не помнил. Они дошли до её подъезда, поднялись на четвёртый этаж, вошли в квартиру... Он приходил к ней вечерами. Она ждала его с ужином. На кухне было чисто и пахло чем-нибудь вкусным. Она любила смотреть, как он ест, а он всегда торопился и, дожёбывая на ходу, тянул её в спальню. При свете ночника её узкое лицо с печальными голубыми глазами казалось совсем молодым.

Бежала дорога. Шуршали шины. Мелькали заборы и дома деревень, сливаясь в один дом и один бесконечный забор. И снова леса, поля...

Тогда все занимались какой-нибудь ерундой. Говорили: чтобы выжить, такие, мол, времена, ничего не поделаешь. И виновато вздыхали. Он не вздыхал. Связался с торгашами и ездил для них за товаром — туда автостопом, обратно на поезде. Это называлось челночить. На фуре с одним дальнбойщиком они отмахали почти две тысячи километров.

В душной кабине крепко пахло мужским жильём. С приборной панели на него томно взирали вырезанные из порножурналов грудастые красотки. Потрёпанная открытка — гладкое изумрудное море и шезлонг под пальмами — звала насладиться отдыхом с ВЕСЬМИР-ТУР. Ниже шеренгой выстроились флаги и гербы разных стран и городов, и за ними притулилась иконка Богородицы с младенцем.

— Будешь у меня за напарника. Мой затосковал беспробудно.

Ночевали у дороги, несколько машин вместе. Так безопасней. Из соседней деревни пришли разряженные, накрашенные, крикливые девки. Их встретили как родных.

— Хочешь? Они недорого берут. Бабы добрые, но дилетантки.

Разломали пару деревянных ящиков, набрали сушняка, разожгли костёр. Открыли консервы, пустили по кругу бутылку. Редко переговаривались, сосредоточенно жевали.

Темнота шевельнулась, и в круг света несмело вошла плешивая дворняга. Села в стороне, отвернув морду. В голодных собачьих глазах мерцали огоньки костра, и в приоткрытой пасти словно алел язычок пламени.

Консервы быстро закончились, опустела бутылка, а костёр всё не потухал. Потрескивали доски с раскалившимися докрасна гнутыми гвоздями, и, пригорюнясь, вздыхали разомлевшие деревенские девички. На усталых, скучающих лицах, погружённых в ночную тьму, играли отблески огня, а за спинами, плотным кольцом обступив костёр, покачивались циклопические тени, словно готовясь к прыжку.

— Смотри! Вон гнездо с аистами. — И Катя потянулась за фотоаппаратом.

Слегка покосившийся, но довольно прочный сруб в три плотно занавешенных окна с резными наличниками. Над крытой шифером латаной крышей, на вершине сломанной сосны, в огромном гнезде свечами белеют аисты.

— Аисты — это хороший знак, — сказала Катя. — И потом река рядом — прямо из окна видно...

3

У окна стоял стол, и ночью, когда Катя спала — она ложилась строго в одиннадцать, чтобы свежей встать в семь по будильнику и быстрее загорать-купаться, — ночью хорошо было сидеть под включённой настольной лампой, напротив занавески, парусящейся от прохладного сырого ветра, следить, как сквозь мелкую сетку тюля тшятся пробиться к свету комары, нервные мотыльки и беспокойные тучные ночные бабочки, курить и делать разные заметки в старой потрёпанной кожаной тетрадке или рисовать на полях чахлые деревца и неуклюжих тщедушных человечков. Чернила на первых страницах выцвели, стёрлись, слов почти не разобрать. А что и когда там было написано?.. В темноте, словно дождь, шелестели листья, страстно стрекотали в траве насекомые и неслышно текла река. Федька-пастух говорил, его бабка помнила, как здесь баржи ходили. «Нынче река обмелела, камышом поросла, один пляж занюханный дачники каждый год засирают и окультуривают, засирают и окультуривают».

Последним уроком было рисование. В галдящий кабинет твёрдой походкой входит учитель. Худощавый, в болотном вельветовом пиджаке с серебристыми потёртостями на локтях. В длинных пальцах подрагивает обгрызенный карандаш. На измождённом лице, заросшем густой бородой, оживает и тотчас умирает ироничная ухмылка.

— Художник Кирсанов, — представился он на первом занятии.

Гомон не умолкает, и Кирсанов спрашивает прокуренным надтреснутым голосом:

— Дети, известно ли вам французское слово «пендаль»?

Искренний глупый хохот прокатывается по классу.

— Так вот, маленькие обалдуи, если не угомонитесь, я вас живо с ним познакомлю.

Кирсанов знал много слов на разных языках, которые бессильны были кого-либо утихомирить, тем более чему-то научить. Но если мечтаешь стать художником, никакие слова, тем более иностранные, тебя не остановят. Ты решительно открываешь пенал. Вынимаешь наточенный карандаш. Непременно наточенный, можно, конечно, и отточенный, подойдёт и поточенный, и заточенный или в крайнем случае просто острый. «Это же ваш рабочий инструмент, лоботрясы, очинять перочинным ножиком или точилкой — не имеет значения». Следом вынимаешь ластик — на случай, если придётся потрудиться. Открываешь на первой странице купленный в канцтоварах альбом для рисования. Смахиваешь пылинки с белого шершавого листа. Рассеянно грызёшь кончик карандаша, чешешь за ухом и наконец проводишь тонкую линию. Затем несколько волнообразных. Штрихуешь фон, обозначаешь тени. И вот, пожалуйста, — дерево в поле. Похоже на танцующего Шиву. И спустя годы, когда дети друзей или знакомых, протягивая тебе бумагу и карандаш, попросят нарисовать им что-нибудь, ты не раздумывая нарисуешь одинокое дерево в пустынном поле.

Кирсанов жил около школы и по вечерам прохаживался по бульвару с двумя рыжими таксами на поводке. В том же потёртом вельветовом пиджаке, седеющий, но, как всегда, подтянутый. Помнит ли тебя художник Кирсанов? Ты не уверен, и поэтому никогда не здороваешься. Не здороваются и Кирсанов, но, кто знает, может, не подавая вида, мельком примечает, как взрослеет его бывший ученик.

Давно поредела борода художника, и в уголках губ тощими безжизненными хвостами легли две глубокие морщины. Кирсанов гуляет по бульвару один, заложив руки за спину, высоко подняв подбородок, совсем седой, суровый, негибаемый старик. Он так никогда и не узнает, что все эти годы ты хотел подойти к нему, поздороваться и сказать:

— Это я, ваш бесталанный ученик из первого «А». Благодарю вас за чудесную вашу науку. И клянусь, покуда рука моя сжимает наточенный карандаш, дети, чьи бы они ни были, всегда отыщут в пустынном поле одинокое дерево, похожее на танцующего Шиву.

Пастухом Федька работал ещё в колхозе. В колхозе ему всё нравилось: и достаток, и порядок, и дисциплина, и особенно собрания в клубе, на которых с шаткой фанерной трибуны можно было открыто говорить об имеющихся отдельных недостатках. «Давай, Федька, врежь им...» С тех пор его все Федькой и звали. У него подрастали внуки, а он, будто не замечая своего возраста, не замечая, как его рано состарившаяся Поля понуро ковыляет по деревне, жил в том своём счастливом молодом прошлом с отдельными недостатками.

— Стадо большое было, две сотни голов. Чуешь? А после перестройки хозяйство в депо передали, прикрепили значит, и деповские начальники всю скотину порезали — на дни рождения, свадьбы, а то и в столовку на обед, им чего — своё мясо. Работы не стало, кое-как устроился охранником в райцентр — сутки-трое. Тоже неплохо — дома завсегда дело найдётся, и у тётки Зои если что по мелочам: забор поправить, крышу подлатать — всё хлеб. Раньше-то у ней делов полно было. Они с мужем из Эстонии приехали, его там с завода попёрли как русского. Чуешь? Два дома купили: этот, в котором вы, для сына — был он тут пару раз, нескладный такой, патлатый как баба, от безделья целый день мается, музыку свою громобойную слушает, — и тот вон, напротив который, для себя. Завели коров, овец, лошадей, пахали-сеяли, всё чин чинарём. И мы не скучали. А потом пошло-поехало... Тётке Зое под конец пришлось в больницу уборщицей наниматься.

Похоже, с тех самых больничных времён в туалете вместо бумаги лежали пожелтевшие бланки, исписанные твёрдым крупным почерком, — реестры оказания медицинских услуг. Утром, когда сквозь щели в досках дымными золотистыми полосами просачивалось солнце, можно было прочесть: «Селезнёв Иван Иванович, Семёнов Игорь Николаевич, Степанова Юлия Вячеславовна...», и в графе «результат лечения» — цифры один или два. В основном у всех были единицы (это, наверно, означало «вылечен»), но встречались и двойки. Вот мужу тётки Зои врачи и поставили двойку.

— За год сгорел. Чуешь? Отмучился. Дельный был мужик. Жалко. Скотину распродать пришлось — лечение-то недёшево. А там и сын... Толком никто ничего не знает. Пришла телеграмма. Тётка Зоя день пролежала пластом, потом собралась и уехала. А вернулась — что да как? Умер, говорит, сын, то есть погиб... Так и пошло: кому скажет — заболел смертельной болезнью, кому — несчастный случай на производстве или машина сбила, то будто сам, на мотоцикле, а то вдруг — убили. Поговаривают, чуешь, повесился. Отчего — не знают. Да мало ли отчего возьмёт и повесится русский человек! Ещё и в Эстонии.

Нам тётка Зоя ничего не рассказывала. Только недобро зыркнула на Катю, когда та завела про аистов и хорошие приметы. Хочу, мол, двоих, но здесь рожать страшно, вот переедем в Канаду, там медицина прекрасная. «Мне работу предложили, устраюсь, вышлю Вадику приглашение, поженимся и заживём цивилизованно, как люди. Зря, что ли, я с детства эти чёртовы языки зубрила?»

Он подрабатывал санитаром в неврологии. Вынести судно, перестелить постель, покормить, подмыть, подежурить ночью. В конце коридора на дополнительной койке лежал один парализованный дед. Безмолвно лежал, безропотно, по временам впадая в забытьё. В лёгких скапливалась вода, и дед задыхался. Воду откачивали, она снова скапливалась, и дед задыхался сильнее прежнего, стонал и хрипел. Врачи говорили: «Надежды нет, но есть одно лекарство, оно бы облегчило страдания. Правда, лекарство это дорогое и сильное — сердце вряд ли выдержит. Нужны деньги и согласие родных». Родных не было, и он за них подписал, какую требуется, бумагу и побежал в аптеку.

— Дед, — сказал он громко, в самое ухо, — это сильная штука, обязательно поможет. Открывай рот.

Беззубые вялые челюсти послушно разжались. Булькнула в горле вода, и под загубелой дряблой кожей шевельнулся острый кадык. Дед откашлялся и посмотрел на него усталыми равнодушными глазами.

4

— И чего вы дома сидите? — беспокоилась тётка Зоя. — Погода вон какая. Сходили бы погулять — на барскую мельницу. У нас тут помещик жил, генерал, как его фамилия — не запомню. Герой двенадцатого года, у Кутузова служил. Генерал от этого, как его... от фанаберии.

Про мельницу Федька говорил, что его бабка говорила, что, мол, после гражданской, говорит, её чуть не всю аккурат на кирпичи разобрали. «А none ишь ты — примечальность. Стоило революцию городить, чтобы по барским развалинам с экскурсиями шляться?»

К жалкому остову водяной мельницы вели замшелые скользкие каменные ступени. Внутри всё заросло иван-чаем, лопухом и крапивой. Из густых неряшливых зарослей сиротливо торчала обломанная гнилая ось, и под ней, там, где раньше шумели лопасти мельничного колеса, тихо и бесполезно текла река.

Сами деревенские гулять не ходили. Днём и так целый день то на дворе, то на огороде, то в поле, а вечером куда уж там, и спать, глядишь, скоро. Усядутся на лавке возле дома, семечки лузгают, обсуждают, кто куда пошёл, кому что сказал, как на кого посмотрел, вздыхают и долго раздумчиво молчат. А гуляли дачники. Вечерами.

Гулять ходили за молоком — к Надежде, за яйцами — к бабе Гале и за огурцами — к Петровым, а не то к Семёновым, у них покрупнее будут. Мы гуляли за молоком. С трёхлитровой банкой в жёлтом полиэтиленовом пакете, перечеёркнутом кричащими красными буквами SALE. Туда банку несла Катя, помахивая пакетом. Оттуда — я, присмиривший пакет с ледяным молоком покрывался испариной и приятно оттягивал руку.

Надежда наливала до краёв. Легко вытаскивала из колодца двадцатилитровый алюминиевый бидон, привязанный за ручки толстой длинной верёвкой, отщёлкивала и откидывала звякающую крышку — и прозрачное стекло банки с плеском заполнялось пенящимся молоком. Мне нравились её плавные, словно дремотные движения, непослушная русая чёлка, высокая грудь, лениво волновавшаяся под лёгким ситцевым платьем, полные, крепкие, налитые икры, её немногословность и потупленный взгляд. И то, что она не так давно замужем и муж часто уезжает на заработки, подолгу оставляя её одну.

Она закрывала банку пластмассовой крышкой, тщательно обтирала марлевой тряпичей пролившиеся струйки и, поддерживая снизу, как младенца, передавала Кате: «Пейте на здоровье». Это было молоко утренней дойки. А если мы успевали первыми, нам доставалось вечернее, парное, прямо из-под коровы. И тогда пакет согревался, словно внутри него поселилось живое тепло.

Мы шли босиком по дороге, оставляя за собой в остывающей бархатной пыли недолгие следы, а возвращались кружным путём по росистой траве — сырая, примятая, она медленно распрямлялась за нами. В голом поле стелился молочный туман. Высокие стога наливались тьмой. Незаметно исчезали просветы между штакетниками заборов. Дома и деревья всё слабее обрисовывались в сумерках. И мы почему-то переходили на шёпот.

Когда кончились последние деньги, он устроился слесарем на завод. На это хватило его неоконченного высшего технического. Смена начиналась в семь, а в четыре уже свободен — и целый день впереди.

На складе выдали синий комбинезон, правда, великоватый — штанины пришлось закатать, а в лямках проделать новые дырки. Мастер выделил ему в раздевалке узкий железный шкафчик. На дверце был приклеен старый календарь с миниатюрной загорелой японкой в бикини.

Их бригада монтировала котёл для ТЭЦ. В цеху было жарко. Вокруг всё звенело, гудело, и сварка слепила бенгальскими огнями, будто здесь встречали Новый год. Его отправили наверх — помогать крановщику устанавливать здоровенную балку. Балка висела в воздухе на почти невидимом тросе и угрожающе покачивалась. Снизу кричали «майна» или «вира», и он, как на гладиаторских боях, должен был поднимать большой палец вверх или опускать вниз — так, чтобы крановщику в кабине было видно и понятно, что делать. От волнения и чрезмерного усердия он то и дело путал майну с вирой, и на него до хрипоты орали матом. Затем он таскал трубы и арматуру, убирал радужную металлическую стружку, лазил с мастером в душный мрачный котёл и светил фонариком на сварочные швы, толстые, как коллоидные рубцы.

В перерыве прокопчённые, промасленные рабочие курили, сгрудившись у крыльца столовой. Сигаретный дым вместе с густым дымом заводской трубы бесследно растворялся в безоблачной звенящей июльской сини. Он тоже курил, наугад открыв взятый из библиотеки томик Басё, чувствуя, как слипаются над книгой глаза.

Мастер отозвал его в сторону.

— Знаешь, ты, конечно, недельку поработай, а там...

По дороге домой он заснул, прислонясь к двери в вагоне метро. И дома сразу лёг, не раздеваясь, и проспал до утра.

5

Солнце поднималось из-за деревьев, пробиваясь сквозь прорехи густых крон. Тёплые лужицы света пятнами растекались по серебристой траве, поникшей от росы. Звонко переговаривались птицы, будто ребёнок, балуясь, дул в свистульки и позвякивал колокольчиками. На вершине сосны, в гнезде, похожем на сваленную для костра кучу хвороста, свечкой стояла аистиха. Круто закидывая назад голову, она щёлкала длинным клювом и, разогнув шею, что-то вкладывала в нетерпеливо раскрытые клювы аистят.

— Что она делает? — спросила Катя.

— Отрыгивает пищу и кормит птенцов.

— Фу, гадость какая! Но всё-таки они трогательные, эти аисты, правда? И какие красивые. И как любят своих деток и друг друга. Они ведь никогда не расстаются, до самой смерти. И если один умирает, другой больше ни с кем не сходится.

Катя рано уходила на пляж — в это время самый полезный загар. Я лежал в постели и досматривал утренние сны.

Загорала она топлес.

— А что такого? Двадцать первый век, на Западе этим давно никого не удивишь. Неужели лучше, когда остаются белые полосы от лямок? К тому же в такую рань на пляже ни души. Тоже мне деревня, а спят как сурки. Да если кто и придёт — глазей на здоровье. Или тебе не нравится моя грудь?!

На филфаке все были младше него и начитанней. Самыми начитанными были девушки. Они знали бездну литературных терминов и ловко жонглировали ими в разговоре. И когда он непонимающе смотрел на них, девушки переглядывались, как врачи у постели безнадёжного больного, и хихикали. Было неловко и стыдно. И он с утра до вечера читал и зубрил, как какой-нибудь Мартин Иден. И однажды почувствовал, что говорит чужими словами, думает чужими мыслями и не в силах сам ничего написать, кроме цитат.

В субботу на свою дачу приехал из Питера тётки-Зоин сосед. В середине дня, в самое пекло, с музыкой, шашлыками, другом, женой и собакой. Шашлыки аппетитно дымили, и музыка не умолкала дотемна. Хриплый тенор пел о трудной воровской доле, роковой черноокой стерве, бедной матери-старушке и кабацкой тоске.

Утром, выпятив туго набитый мешок живота, обливаясь потом, сосед повёл жену и собаку на реку.

— Серё-о-ш-шь, а Серё-о-ш-шь, — заныл капризный женский голос, — ты чё купацца с нами не идё-ошь?

— Да чей-то неохота. — Друг сально улыбнулся ей вдогонку и глотнул пиво из бутылки.

Сосед остановился на берегу, пожирая глазами загоравшую Катю. Потянулся, поиграв обвислыми мускулами, огладил свой внушительный живот, поправил узкие, туго натянутые плавки. И вдруг схватил за шкирку увивавшегося у ног пса и зашвырнул в реку. Вытянув шею,

фыркая, быстро перебирая лапами, собака поплыла к берегу. Растопырив мясистые руки, сосед сгрел в охапку завизжавшую дебелую жену и, гыкнув, бросил её в воду.

— Эх, благодать!

И, разбежавшись, с уханьем сам бултыхнулся, взметнув фонтан искрящихся брызг.

6

Он любил смотреть, как бабушка раскатывает тесто, приговаривая: «Вот так, вот так, будешь у нас тонкое, нежное», — точно с ребёнком. Но сначала тесто должно было подняться. Его сажали в кастрюлю, укутывали её пуховым платком, ставили на кровать и накрывали стёганым одеялом. Он тайком отгибал край одеяла, разворачивал платок, приподнимал крышку... Клейкое тесто прилипало к пальцам и тянулось. Было страшно, что оно засосёт, как зыбучий песок. Бабушка управлялась с ним играючи: посыпала мукой, чтобы не прилипало к пальцам, раскатывала скалкой, снова посыпала и раскатывала...

После смерти деда её парализовало. Десять лет пролежала она на кровати, укрытая до подбородка тем самым стёганым одеялом, уставясь в потолок ввалившимися, высохшими глазами.

Тётка Зоя обещала научить Катю печь пирожки с капустой.

— Сегодня вместе испечём. Тут одна моя знакомая, неверующая, покрестилась и ударилась в религию. Ходит по святым местам и мужа за собой таскает. Она-то мне и присоветовала через этот ихний, как его, интернет объявление подать о доме и слова написала душевные: «Хотите отдохнуть от городской суеты на лоне природы? Тогда милости просим к нам — в дом у реки. Тишина-покой, грибы-ягоды, рыбалка, русская баня гарантируются».

— Значит, обратилась она и решила нищим помогать — обедами кормить. А ты, говорит, пирожки нам пеки, у тебя вкусные получаются. Они у священника в доме готовят. Вот раз собралась я, пришла, так мне через пять минут плохо с сердцем стало. Там у него, конечно, благочинно, иконы всякие, а не могу... Я и в церковь не хожу, трудно всю службу отстаивать, да и непонятно многое. Как это, скажем, в записках об упокоении имён некрещёных и самоубийц не пишете? А куда их девать, они что — не люди? Им ведь тоже пострадать пришлось! Непонятно всё. Тяжело.

В переднике и ситцевой косынке, повязанной на затылке под тугом пучком седых волос, раскрасневшаяся у печи, тётка Зоя методично объясняла про пирожки, будто читала по бумажке. Катя послушно кивала: «Ага, поняла, потом запишу. Теперь точно стану идеальной женой!»

Пока они возились на кухне, Федька истопил баню и натаскал воды из старого колодца с осклизлыми почерневшими брёвнами и визгливым барабаном, оббитым заржавленной цепью, на которой висело помятое, худое ведро. На все попытки помочь ему строго отвечал: «Тётка Зоя мне наказала, я и отработаю. Порядок знать надо».

В приёмное отделение детской горбольницы его привезли на скорой. Он запомнил холод металлической каталки, издевательский скрип её колеса, заплаканное лицо матери, ставшее вдруг каким-то чужим и невыносимо жалким, серый, низкий, как зимнее небо, потолок, едкий свет люминесцентных ламп, гладко выбритые душистые щёки врача.

Врач большими толстыми пальцами сосредоточенно мял ему живот, спрашивая: «Болит?» Сцепив зубы, он с трусливым упрямством отрицательно мотал головой.

Ещё запомнил белую, точно заснеженную, реанимационную палату, луну в квадрате ночного окна и девочку на соседней кровати, проводками и трубочками подключённую к аппарату с разноцветными мигающими лампочками. Когда спал жар, девочка слабым голосом утешала его, говорила, что бояться нечего, аппендицит, пусть и гнойный, — это ерунда, скоро снимут швы и разрешат вставать.

Он быстро шёл на поправку, и его перевели в общую палату. А девочка так и осталась лежать в реанимации с трубочками, проводками и луной в ночном окне.

Горячий белёсый пар поднимался к низкому закопчённому потолку и клубился вокруг тусклой лампочки. Катя жалась посреди парной, глядя на меня вполборота, словно натурщица, обрисованная лёгкими волнистыми линиями. Загорелая кожа покрылась капельками пота и блескала, как у девиц из глянцевого журнала. Капли скатывались с высокого лба, бежали по щекам, шее, собирались в ложбинках выступающих ключиц, скользили по острым плечам, крепкой маленькой груди, по животу и ниже... Я смотрел на неё словно впервые. И хотел сказать, что она очень красивая, может быть, самая красивая из всех, кого я знал, и что мне было хорошо с ней. Три года — это большой срок. Она тоже так считала, поэтому и начала решать за двоих, как будто старшая. Я не возражал. Но Канада не для меня. Пусть там те же берёзки, ёлочки, медведи и вдобавок прекрасная медицина. Что мне там делать со своей потрёпанной кожаной тетрадкой? *Я — человек ФИО, родился в прошлом веке, в стране, которой больше нет, больше которой нет на карте, проживал по адресу, потом по адресу, а потом по адресу, лишний вес, первая седина, лёгкая сутулость.* Когда тебе под сорок и всё, что ты умеешь, — просиживать штаны в захудалой редакции и править скучные чужие статьи, новую жизнь начинать поздно. И ещё я хотел сказать, что не знаю, любил ли её, но никогда не забуду, как она стояла в парной, такая беззащитная, с короткой мальчишеской стрижкой, по-детски стыдясь своей наготы. И я смотрел на неё, готовый бросить всё, броситься перед ней на колени, обозвать её грязной паршивой сукой, повалить на мокрый щербатый пол и надругаться над этим гладким манящим родным телом. И ещё многое хотелось сказать, но вместо этого я спросил:

— Попарить тебя веником?

— Нет, спасибо. Отвернись и не пялься на меня так, пожалуйста.

Я лёг ничком на горячий полоч.

Было слышно, как она тёрлась мочалкой, гремела ковшом и шайкой. Потом дверь скрипнула и закрылась. Пересиливая тягучую дремотную усталость, я слез с полка, похлестал себя веником, окатился холодной водой и вышел передохнуть.

В тёмном предбаннике пахло отсыревшим деревом и сухим берёзовым листом. На лавке, завернувшись в простыню, сидела Катя. В отдаленье протарахтел мопед, вслед ему залаяла собака. И опять всё стихло.

— Иди ко мне, — шёпотом позвала Катя.

Он бомбил на старой отцовской машине. Караулил клиентов у ресторана, в перерывах слушая прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира».

В салоне было тепло. Мертвенными синеватыми огоньками мерцала магнитола, потрескивали и хрипели динамики, наполняя сердце неизъяснимой печалью. Из приоткрытого окна тянуло сыростью и прелью, словно машина остановилась в осеннем грибном лесу.

Из ресторана в обнимку вышла парочка. Они подошли к краю тротуара. Парень вальяжно скинул руку голосуя. Девушка игриво оттолкнула его и замахала сама.

Они уселись на заднее сиденье.

— Покатаемся, командир? Не обижу. И вруби что-нибудь повеселей.

Машина колесила по безлюдным улицам. Сзади слышался возня, смех, жаркий прерывистый шёпот, постанывание, сопенье. И неодолимо, жгуче хотелось оказаться на месте этого крепкого уверенного в себе парня.

7

Мы отрешённо сидели в темноте, не касаясь друг друга.

— Завтра поедем утром или после обеда? — спросил я.

— Утром. Я планировала доделать кое-какие дела. Дособрать чемодан. Зайти к родителям попрощаться. В аэропорт они не приедут — я их отговорила. Ты же не любишь эти охи-ахи, причитанья и всхлипыванья. И вдвоём нам будет лучше, правда?

— Самолёт у тебя шестого?

— Да, в двенадцать ночи. Ты разве забыл?

— Значит, в аэропорту надо быть в десять — регистрация за два часа.

— Обычно за два.

— Ехать час, значит выйти надо не позже девяти.

— Не позже.

— А шестое, случайно, не пятница?

— По-моему, пятница...

— Тогда выйдем в семь, с учётом дачных пробок.

— Как скажешь.

Я потянулся к висевшим на гвозде брюкам, нащупал в кармане пачку сигарет. Чиркнул зажигалкой, и предбанник на мгновение осветился. Катя сидела на скомканной простыне, подобрала ноги, уткнувшись лицом в колени, и беззвучно вздрагивала.

В подъезде напротив жили погодки, брат с сестрой. У брата было плохо со зрением, и он носил очки с толстыми стёклами, отчего глаза казались дико выпученными, будто он всему удивляется. Но и в очках он видел плохо. Сестра очков не носила и любила подвижные игры. Брат ни во что не играл, просто послушно ходил за сестрой.

Однажды, где-то в конце августа, когда все возвращаются с дач и с моря, отдохнувшие, загорелые, полные впечатлений, она вывела брата во двор, с марлевой повязкой на глазах. Он сидел на скамейке, как старичок, а она подбегала к нему и рассказывала, во что все играют.

Через месяц у их подъезда стоял пузатый автобус, похожий на те, что перевозят пассажиров в сельской местности. Толпились люди, с букетами цветов, мужчины в тёмных костюмах, женщины в чёрных платьях. Многие женщины плакали.

Казалось, эта осень никогда не кончится. Над мокрыми крышами набухшей промокашкой серело небо. С деревьев стайками слетали листья и, точно мёртвые золотые рыбки, ложились на дно опустевшего двора. Подрагивали на ветру голые ветки кустов и деревьев. И упрямо барабанил по стёклам дождь.

Но зима всё-таки наступила. Стало рано темнеть, и днём и ночью, не отключаясь, горели фонари, и под фонарями сыпал золотистый снег. словно дрессированные доисторические животные, работали снегоуборочные машины. А во дворе, скребя по асфальту фанерной лопатой, расчищал дорожку пьяный дворник с расплывшимися наколками на тыльной стороне ладоней — «одной правой», «одной левой». По бокам дорожки вырастали высокие сугробы, и получалось, точно река в горном ущелье.

Вечером у дома останавливалась машина, в ней сидела мама погодков и незнакомый дядя. В полумраке салона было видно, как они долго, не отрываясь, целуются.

Девочка из подъезда напротив теперь выходила гулять только по воскресеньям и всегда с отцом, у которого тоже очки с толстыми-претолстыми стёклами. Они шли куда-нибудь мимо двора — на бульвар или на пруд, и вместе были похожи на брата и сестру.

8

Ночь стояла тёплая, ясная. Крупные звёзды сияли совсем близко, рукой подать. Пахнущий илом свежий ветер с реки лениво шевелил листву. Звук моих шагов тонул в густой непроницаемой тишине, и казалось, можно никем не замеченным, вот так — в чужих рваных домашних тапочках — уйти от всего и всех и никогда никуда не возвращаться.

У тётки Зои горел свет. По телевизору шли вечерние новости. Ведущая информировала зрителей о последних мировых событиях, и её молодой бесстрастный голос мешался с шелестом листьев, растворяясь в безмолвии деревенской ночи.

Я постучал в окно. Скрипнул диван. Послышались вздохи, кряхтенье, шарканье. Тётка Зоя, заспанная, с неприбранными волосами, в засаленном байковом халате, массивной грудью навалилась на подоконник.

— Мы завтра уедем рано. И чтобы не будить, решил сейчас попрощаться и поблагодарить вас за всё, — сказал я.

— Да не стоит. Добрый путь. А Катерина где же?

— Спит. Размориле после бани.

— Дело молодое, — неприятно усмехнулась тётка Зоя. — А про testo так и не записала. Видно, не надо ей.

Его школьный товарищ Вовка Климович втюрился в Инку из первого «Б», худющую, смуглую и черноволосую, как цыганка. Ранней весной, когда гололёд сменяется слякотью, а насморк — кашлем, она заболела, и Вовка, сбежав с последнего урока, с апельсином в кармане, стянутым из столовки, через весь город поехал к ней на троллейбусе, зайцем. Мать потом Вовку выпорола так, что аж три дня сидеть не мог. Но он всё равно Вовке завидовал.

Недавно столкнулись на вокзале: раздобрел, ступает медведем, говорит рассудительно и в глазах — тоскливая хитрица. Ютится в общежитии — с женой, взрослеющей дочкой и престарелой матерью. По совету врача, выпивает за ужином рюмочку коньяку — лучшее средство от давления. А чтобы не спиться прежде времени, купил самоучитель игры на гитаре и часами бренчит после работы.

Перед сгоревшим сельским клубом на обугленном бревне сидел пьяный Федька-пастух и мычал себе под нос что-то нечленораздельное, мотая лысеющей седой головой, словно отгоняя назойливую мысль. Запавшие глаза горели сухим огнём. Назвать его сейчас Федькой язык не поворачивался, а отчества его я так и не спросил.

— Отдыхаем?

— М-м-да. А что? Я человек подневольный. От тётки Зои была команда отдыхать — пожалуйста, отдыхаю. Всё чин чинарём. — И мучительно замычал и замотал головой.

И ещё он не мог забыть одно утро... Цветущие дымные акации на залитой солнцем нарядной алуштинской набережной. Он перемазался мороженым, и молодые красивые отец с матерью весело смеются над ним. И он тоже смеётся, радуясь неизвестно чему.

Когда я вернулся, Катя уже спала. Или притворялась спящей.



Ольга ДОБРИЦЫНА

/ Москва /

СИЛА СВЕТА

* * *

Вот пришёл к нам половец и печенег,
правда, встреча снова была не очень...
Вероятно, выпадет летом снег,
а весной наступит осень.

На портретах уличных государь
озабочен втуне величием новым.
Вероятно, будет гореть фонарь
среди бела дня на столбе кондовом.

Но не ясен пень, отчего сквозит
на семи холмах — так что ломит кости...
Вероятно, кто-то нанёс визит,
но совсем не тот, кого ждали в гости.

А в эфире летопись из купюр,
только ветер всё же ломает лопасть...
И совсем уж точно спасёт бордюру
от падения в пропасть.

КЛАССИЧЕСКОЕ БРЮЗЖАНИЕ

диптих

1

Бесполезное кружение,
опоздало окружение.
Ждут.
Клетка уже, пояс туже,
жар внутри и зной снаружи.
Жгут.
Или, может,
ножевое?

Да, задели за живое.
Позабыли, как важны
были ножны.
Не нужны
плач иль звукоподражание...
Жёстки рёбра лежака.
Лишь тревожное дрожание
как жужжание жука...

2

Кто мы?
Просто дрожжи жизни?
Иль в душевном неглиже
Тварь дрожащая отчизны
На бесславном рубеже?

Громче едем, ближе будем.
Больше горя — меньше слёз.
Вожжи, дрожки, тряска буден,
Дребезжание колёс.

Только лошадь без подпруги.
И похоже, нас уже
Посчитали на досуге
Человеческим драже.

* * *

не задалась карьера у курьера
ему приснился скользкий край карьера
и он проснулся сам себе изгой
а в небесах все шито да не крыто
и дождь как из дырявого корыта
льет разбиваясь звонкой мелюзгой

куражится природа или плачет
и ничего практически не значит
ни корочка родного мгу
ни сон ни явь
да и зарплата скачет
от минуса до больше не могу

упаковав себя в конверт плащевки
он вышел из несломанной хрущовки
спустился в надоевшее метро
доехал не спеша до баррикадной
дождь кончился почти уже отрядней
осталось лишь голодное нутро

решаемо ближайшею стекляшкой
а вот и солнце желтоватой бляшкой

и зоопарка башенки и кря
утиное
подумал у вольера
не задалась карьера у курьера
но хороша палитра октября

* * *

Вот и колодца квадратное сопло.
Чудище обло.

Водная гладь кружевом чёрным блеснит и узорна.
Чудище обло, озорно.

Воздух-земля, двум стихиям меж ними просторно.
В этот зазор ледяной погрузиться зазорно?
Чудище обло, дозорно, притом — беспризорно.

Чудище обло, озорно, огромно,
чудище лаяй! — похоже на гром, но...

Будет подводно сначала, а после подземно.
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно.

Сопло колодца
смеётся —
в нём звезды очнулись игривою рыбною стаей.
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй,
хочет сожрать их всем скопом, всей гордою мордой, сторазно!
Чудище обло, озорно, огромно, заразно...

...да не умеет —
хладный огонь обжигает и зеву немеет.

Воздух дрожит от испуга и холода,
лая,
нежный мой зверь, я уже не боюсь,
не желая...

* * *

Вороне как-то Бог послал котёнка.
Она его третировала вволю,
слетая вниз, готовая сожрать.
Котёнок, в меру сер и полосат,
по кличке Томас, так вот, иностранно,
его прозвали сторож или дети,
отчаянно на все лады мяукал.

Но время шло. Он вырос — от ушей
и до хвоста. Всеобщим стал любимцем.
А вот его крылатое исчадьё —
заклятый друг и загадычный враг —

Вы слышите? — она кричит не «карр»,
а по-кошачьи, хрипловато, «мяву»!
Порой народ, гуляющий, больничный,
пытается заснять сей феномен,
и говорит: однако прилетела,
соскучилась по котику — зовёт!

И лучше нет истории — из местных,
на этом неухоженном квадрате,
где рослые и старые деревья,
и лавочек не густо... И ограда,
заросшая кустами и травой.
Трамваев мелодичный перестук,
двухкорпусный пятиэтажный дом,
где двери днём обычно нараспашку,
и на стене, у главного подъезда
висит табличка:
онкодиспансер.

* * *

Кипит больничная страда:
круговорот людей —
не дни, не месяцы — года.
Тут всё — видней.

С шести утра уже звучит
речь Главного, бодра.
Он полусогнутым кричит:
— Походка от бедра!

За ним — Асклепия слуга:
прекрасна и строга,
и Снежной королевы вид
пугает и бодрит.

Почти торжественный кортеж:
врачи идут в обход.
А после: белый, красный, беж
вступают в хоровод.

Болезнь оскалилась, как зверь,
Засела, что беда.
Ах, Авгий! — все твои, поверь,
конюшни — ерунда.

Взбешённых клеток — побороть
попробуй — энный вал.
Тут ведрами большую плоть
выносит персонал.

Тут режут — вдоль и поперёк.
Сама судьба — хирург.
И скальпель, что тебя сберёг,
быть может — демиург.

Всепоглощающий наркоз
отправит к облакам.
И тело, данное в износ,
ещё послужит нам.

А сколько дней — не сосчитать.
Но в Книге Бытия
ещё успеешь почитать
живую букву «я».

* * *

Ты на то заточен, чтобы быть.
Заточён в телесном и небесном
для того, чтоб вскоре позабыть
два в одном в падении отвесном.
Белый флаг выкидывать не мне! —
клич твой бодрым эхом раздаётся.
Все сдаются — на такой войне,
рано или поздно — всё сдаётся.

Оставляя небо на потом,
впрочем, и земное всё — по лени,
знаешь, что заезженный паром
увезёт однажды от мигрени.
Неужели голова болит?
— нет, по анекдоту — лишь мешает.
И звезда с звездой говорит,
к счастью! — и пока не приглашает

* * *

Слово-воробей,
вылетело —
поймала.
Нахохлилось.
Не летает больше.

МОСТ

Эти стрелы перил:
мне хватило бы сил,
но не хватит наверно.
Этот мост оперил,
а потом повторил:
небо в каждом — безмерно.

Все уборы — долой,
в облака — с головой,
словно всех — увенчали.
Тут — лишь ветер пасёт.
Вот и связано всё,
или все — как вначале.

А узор остальных
этих петель стальных —
их не девушки пряли.
Этот веер моста!
Мне дожить бы до ста,
но получится вряд ли.

Эта зависть проста:
за верстою верста? —
шаг за шагом всего лишь.
Улетает душа,
и — дыша-не дыша
своё тело неволишь.

Этот мост через рост —
клюв дороги и хвост,
а река серебрится:
вот и крыльев размах,
и развеянный прах
не чернеет — искрится.

* * *

Если кажется: венец —
крыша выше,
ты — пожизненный жилец
данной ниши.
Ожидание беды
горло свяжет.
Бочка лишняя воды
камнем ляжет,
и обиженным в аду
не поможет.
Не иди на поводу —
коли гложет.
И ходить порожняком —
незадача.
Только если — должником
в стену плача.
И как манны, с высоты
ждать ответа —
сдвинет рамки темноты
сила света.



Илья ИОСЛОВИЧ

/ Хайфа /

* * *

Не горек и не сладок
Прими на посошок,
Я выпаду в осадок
Как белый порошок.

Скользят мои ботинки,
Над Сивцевым туман,
Дурацкие картинки,
Где был Грауэрман¹.

* * *

Когда над улицей из воска
луна в неоновой тоске,
неспешно едет труповозка
и жизнь висит на волоске,

Когда накоплены заботы,
и только видно впереди,
что обезумевшие боты
с зеленым флагом посреди,

мир в никуда себе катится,
и происходит черт-те что,
и я хочу остановиться,
надеть очки и снять пальто...

¹ Грауэрман — родильный дом Грауэрмана на Арбате, где родился я и почти все родственники и знакомые. Уничтожен Лужковым в начале 2000-х. Теперь там стена для рекламы.

* * *

Как хорошо быть молодым,
Есть хачапури,
И исчезает сизый дым
Среди лазури,
В Батуми, где полно аджар,
А жар умерен,
И чувствуем души пожар
По крайней мере...

* * *

Как хорошо, что ты ушла,
Забрав вещички,
Не замечают зеркала
Твои привычки,

И пуговиц твоих ряды,
Как на мундире,
Пусть отражают цвет воды
В чужой квартире.

Наверно, я совсем не тот,
Но ты, овечка,
Не слышишь, как ревет фагот
И гаснет свечка,

И наступленье темноты
Поставит точку —
Хотя походка и понты,
Дают отсрочку.

* * *

Проходит время. Вместо праздника
Занудно наступают будни,
Пока вам объясняют разницу,
А то вы мертвого разбудите,

Вагон трясется, время ужинать.
На верхней полке жмут коленку.
И понимать немного нужно,
Чтоб биться головой о стенку.



Настя ЗАПОНЕВА

/ Лос-Анджелес /

* * *

в квартире Гоголя ремонт
здесь вещи нищие простые
в каналах звёзды золотые
укачивают старый зонт

чтоб упреждая нищеты
повадки заспанные птичьи
хозяин плакал по-девичьи
или хихикал немоты

боясь как холода и спал
до полудня в халате старом
от холода за самоваром
дрожал как будто убеждал

себя ли маменьку бог весть
в том что ему спалось сегодня
нехорошо на то Господня
должно быть воля если есть

у нас наливка дай сюда
кажись держали ей-же барин
а он зачем-то вдоль окраин
опять шатался до утра

потом писалось да спалось
потом так страшно просыпаться
всё девки или черти снятся
кровотечение началось

и страшно страшно жить
молчать и мёрзнуть что за холод
вчера споткнулся мёртвый голубь
наливки стало-быть налить

а он уже не слышит спит
боится спать идти страшится
всё это скоро разрешится
всё это скоро отболит

* * *

закрой кавычки музыка сама
здесь утешенье хоть пожили скверно
изгой от дешёвого вина
пугали белок в парке и наверно
умрём от старости она почти пришла

о чём я да всё тот же изумруд
грызёт бельчонок в опустевшем парке
щиты рекламные уже не славят труд
но шубы банки частные заправки
и здесь тебе не пулю отольют

скорей от сердца капли на траве
что космонавтам снилась возле дома
им не спалось в бездонной вышине
в твоём кальяне крутится солома
и самолётный след завис в окне

как ленточка на финише привет
родне друзьям и нам в ночи не бденья
дешёвое вино плохой приход
опять про смерть про муху про варенье
с три короба вранья а кто не врёт

кавычки закрываем гасим свет
без нас пейзаж отлично обойдётся
и самолётный растворился след
и песенка не больно оборвётся
редактор всё ненужное сотрёт

* * *

...до жизни, стриженной под ёжик...

С.В.Петров

жизнь скупа под ёжик стрижена
гаражи да пустыри
дети носятся до ужина
во дворе «замри-умри-

воскресай» тяни до ужина
не набегалась ещё
жизнь скупа под ёжик стрижена
сохнет серое бельё

в сером дворике засеянном
серым дождиком рябым
воскресать как будто рано нам
но ведь мы уже не спим

просто по привычке просимся
«воскресай-замри-умри»
скоро всё должно закончиться
вечны только пустыри

только этот дождик рябенький
да бельё ему под стать
воскресай не спи мой маленький
скоро всех загонят спать

* * *

на пейзаже Фалька
только угол дома
да икра асфальта
да вода из крана

пароходик белый
овощи из лавки
локоть загорелый
женщины овчарки

церковь за рекою
жёлтые заборы
что это левкои
во дворе конторы

жизнь не будет долгой
а вода холодной
женщина печальной
будет но не строгой

ей досталось лето
с пыльными краями
в рыжей дымке света
дни бегут за днями

* * *

в клепсидре истекла вода

Борис Нарциссов

здесь шофёр по-татарски мычит
если радио глушат помехи
это всё что я помню из Пъехи
да и чем заменить этот вид

за окном поредевший Коро
скоро кладбище кажется скоро
флоксы пыльные возле заборов
и в подойник стучит молоко

вспоминаешь автобус трясло
понимаешь мир тесен и страшен
и несло то соляркою с пашен
то резиной плохое кино

а другого не будет терпи
истекает в клепсидре водица
станут степи с пролесками сниться
окна «желтые» и фонари

нарисуешь потёкший кружок
на стекле за которым двоится
та картинка что к старости снится
степь с пролесками да самолёт

жестяные с базара венки
из рядов где капуста дешевле
полюби эту бедную землю
подыши нарисуй и сотри

* * *

Маше Зазулиной

свет не нужный нужный ли
с лёгким запахом простенка
тоже знаешь работёнка
оторваться от земли

или нет не отрываясь
заиграться допоздна
а потом глядишь луна
нагибается качаясь

для заснувшего ребёнка
тихо кружится земля
и с неё сойти нельзя
и не холодно нисколько

просто вспомни шла зима
фары стену освещали
и куда-то убегали
два потешных огонька

вспомнишь и заснёшь легко
будет звёздочка колотья
станет призрачной сиротство
и чужое и своё

ляжет свет на подоконник
станет в комнате тепло
и прокиснет молоко
не допитое на полдник

Виктор Ч. СТАСЕВИЧ

/ Новосибирск /



СНЫ НА ВЕТРУ, ИЛИ ПЛОТОЯДНОЕ ВИНО¹

(Все истории выдуманы, совпадения неслучайны)

Злой дух

Выхожу один я из барака,
Светит месяц, жёлтый, как собака
«Мария Рильке» Юрий Домбровский

1

«Ужо стал древен и худ среброкрылый Ангел, затяжелел его дух, отчего поднял он крылья свои, и отвел усталые очи от впавших во грех, и явил дорогу ворогам, рыщущим голодными волками по бескрайним степям. За грехи людские не уберёт Ангел города, за то, что отвернулись люди от него, забыли в праздности Бога своего, погрязли в нечистотах, обрели себя на погибель страшную...»

Хорошо читал малой, душевно, со слезой, слушающие молча крестились, поминая грехи свои, дородные молодухи вздыхали, старухи охали, старики бессмысленно пялились в пол. Вот и кузнец Ляксандер по прозвищу Лихой, послушал сына, вытер выступившие слёзы короткопалой рукой, да пошёл в кузнецу. Уже который день ходил он с тяжёлым сердцем, не покидало предчувствие беды, сосало под ложечкой, ходил сторожко, озирался по сторонам, из рук всё валилось. А сейчас надо было вещь заказанную доделывать, да никак не мог приступить к работе, всё слышались слова, читанные из книги, всё не выходило из головы, свербило душу поганым червём. В сердцах пнул кузнец небольшой ящик, что увидел у себя на дороге, пнул и замер, что-то шевельнулось у него внутри, солнцем каким-то мелькнуло не тутошним, то ли заморским, то ли неземным. Поднял он ящик, поставил рядом с горнилом, чтобы света побольше было, да стал перебирать содержимое. А странный ящик наполнен был какими-то мешочками, мягкими, бестыдно-белесыми, цвета женского

¹ Окончание. Начало Крещатик №89.

тела. Перебирал их Ляксандра Лихой, да щупал, пытаясь что-то поймать в ускользящей памяти, но не мог, хоть и чувствовал на кончиках пальцев восковые намёки, проступающие мутными видениями. Огненные языки в горниле мерно переливались по углям, лениво, по-хозяйски. Кусок железа уже забелел от жара, на его поверхности выступили искрящие крупницы, пора работать, ковать, но кузнец не мог оторваться от своего занятия, глубже погружаясь в память, пытаясь поймать ускользящее название. В это время ударили в набат, надрывно залаяли собаки, запричитали бабы на улице, заплакал мальчишка, упавший в лужу. В кузнецу влетел сторожевой с дозорной башни.

— Конец нам, Лихой, степняки налетели, тучей небывалой, не выдержал раньше такого. За край земли зачернело, вороньё поганое, смерть пришла наша, по грехам и пакостям нашим. Так что вставай, раздавай оружие какое есть, хоть умрём как люди, а не по скотски.

— Вспомнил, — встрепенулся кузнец, — вспомнил, как их давно называли, нет, как будут называть лет через восемьсот.

— Э-э-х, ошалел, — простонал сторожевой и крикнул подбежавшим, — открывайте кладовую, берите всё, что пригодится на стенах.

— Не устоять нам, не устоять, надо с боку подойти, — хмуро рассуждал Ляксандер, спокойно наблюдая, как тащат из его пристройки различные виды железа, от пик до мечей с кольчужками. Смотрел на них и усмехался, вспоминая детскую забаву в бирюльки. А перед стенами гарцевали степняки, корчили рожи, постреливали из луков, показывали всякие оскорбительные жесты, но пока ещё не нападали, куражились, понимая, что перед столь мощной силой не устоит городишко. Они даже не стали отправлять послов, выпустили стрелу с куском пергамента, где коряво было написано, чтобы сдавались без условий и торга. Жители города знали, никому пощады не будет, хоть защищай город, хоть сдавай. В церкви было многолюдно, в основном старухи и дети, остальные вышли на защиту. И тут в общей суматохе вдруг появился Лихой с надутыми белесыми шариками да ящиком на перевязи через плечо. Он подошёл к воротам и попросил его выпустить. Воевода покрутил у виска пальцем, но разрешил открыть небольшую дверь в воротах для пеших.

И вот перед степным воинством вдруг появился Ляксандер, кузнец со странными вещицами. Он неспешно вышагивал по дороге, ведущей от крепостишки в сторону столицы, шептал слова молитвы, ожидая неминуемую смерть, но шёл пока не остановился перед строем врагов. Тогда он поклонился им, поставил ящик у ног, качнул головой в сторону надутых шариков, поясняя, что, наконец, вспомнил это заморское слово, но оно из будущего, как и вещицы.

— Память-то она с причудами, вихляет шелудивой собакой, пока разберёшь её следы, вспотеешь — он неподдельно радовался, улыбаясь, приглаживая руками непослушные вихры. — Презервативами зовут эти игрушки, нужные в жизни, ох как нужные, особенно вам, господа враги. С вашей-то суетной жизнью, можно сказать постоянно в седле, вечно по командировкам болтаетесь. Хм, вот ещё одно словечко выплыло, может я уже и жил в будущем? — прищурившись он посмотрел на лошадь, рядом стоящего воина. — А, берите, не брезгуйте, только не троньте жинок наших, да ребяг малых. Вещь в наше время невиданная, стало быть ценная, даже золотом платить будете, не найдёте.

В это время строй степняков расступился и к кузнецу выехал хан на коротконогом чёрном красавце с длинной гривой, заплетённой в множество косичек. Рядом с предводителем тёрся на мелкой пегой лошадёнке старик в рванине, обвешанный железками, монетами, наконечниками, колокольчиками. Глубокие морщины изрезали его лицо, куцые куски свалывшихся волос торчали из-под кожаной шапке, а козлиная жидкая борода́нка тряслась от каждого его шага. Видимо, это был главный колдун, он быстро соскочил с лошади, подбежал к Лихому, потянулся к нему носом, шумно, по собачьи принюхиваясь, а кузнец достал из ящика один презерватив и стал объяснять его устройство.

— Вот дед, видишь, — обратился кузнец к шаману, — вот сюда вставляют удо, а потом можешь пользоваться любую бабу и всё без последствий, ни детей тебе, ни болезни, одни удовольствия. Сам знаешь, что есть дети хуже болезни, смотришь, подрастёт поганец, и голову папаше отстрижёт, понятное дело, мест на троне не много, надо счищать. Не понял? Ну тогда смотри на деле, — кузнец задрал рубаху, оголив причинное место, посмотрел на вялый отросток, попытался натянуть игрушку на него, но ничего не получилось, тогда смущённо стал объяснять, сбиваясь, облизывая губы, покачиваясь, помогая руками, пытаясь изобразить половой акт. — Мда, показать действие не удалось, но поверь мне, это всё от присутствия стольких людей, да ещё таких важных, как благочестивый хан, ...робеет гадёныш, никакого почтения великим людям. Что тут скажешь, удо хреновое на людях, — кузнец ткнул на свой отвисший корешок, — но при виде бабы зверем становится, не остановишь, особенно опосля бани. Ах, да, когда мы были мелкими, ещё забавлялись ими вот так, — и он стал надувать презерватив перед затихшими степняками, с ужасом и интересом глядящих на диковинного мужика с оголённым причинным местом. А Ляксандер когда надул презерватив до приличных размеров, вновь пустился в объяснения, но уже потрясая перед всем строем белесым шариком.

— Конечно, можно водой наполнить, да проходящему купцу на лысину кинуть, много шуму, паники, в общем веселье, а можно вот так поступить... — он отпустил резинку. Презерватив с мерзким звуком полетел кружась над толпой воинов, вселяя в них тёмный страх, и после очередной петли упал перед ногами ханской лошади. Хан припал к гриве коня, с ужасом в глазах пытаясь рассмотреть, что там такое кружилось в воздухе, а колдун подпрыгнул к лежащему презервативу, лёг рядом, ужимком подполз, принюхиваясь, осмотрел его с разных сторон, боясь притронуться, и заорал. Неожиданно для себя Ляксандер понял его, хоть и трещал он на своём тарабарском наречии, а говорил шаман следующее.

— О великий хан, это большой урус колдун! Он принёс нам сильнейших очернителей воинов от самого Кок Тенгри. Если он их отпустит, то они поимеют всё войско, как последних ордынских шлюх. Тогда не видать нам ни побед, ни уважения, ни одна женщина не подпустит к себе, они предпочтут собак или ослов, — брызгал слюной колдун, а в рядах воинов началась суматоха, тогда кузнец сказал, что мол это всё херня и порвал бечёвку на которой висели надутые презервативы. Они сорвались и полетели в небо рассыпчатой гурьбой. И вот тогда такое началось... под крики шамана, мол, разбегайтесь и держите свои задницы запёртыми, степняки

в панике кинулись в разные стороны. Через несколько секунд, перед крепостью стоял кузнец, рядом с ним ошалевший хан, всё ещё смотрящий под ноги лошади. Ляксандер, пожимая плечами, протянул презерватив хану, смущённо улыбаясь.

— Чего они так переполошились, вот попробуйте сами, ваше... — не успел он закончить, как хан с перекошенным от ужаса лицом развернул лошадь и галопом умчался в степь. — Вот оглашенные, — недоумённо хлопал глазами кузнец, а потом схватился за голову и проснулся. Лежал Санька на вагонной полке ночного поезда, смотрел на раскачивающийся стакан в подстаканнике и рассуждал под впечатлением от сна, что ведь были бы у древних предков такие приспособления, могли бы монголов с татарами остановить, так бы избежали треклятое иго, которое уже какое столетие похмельной отрыжкой в государстве шибает. Под скрип тормозов поезда Тарабаркин всполошился, пытаясь вспомнить, как он оказался в затёртом вагоне. Поднялся, сел, свесил голые ноги, поглядывая на грязный пол, разбросанные бутылки, обувь, брюки, потом присмотрелся к вороху одеял на соседней полке. Из-под них торчала голая нога, кто-то стоял, периодически всхрапывая. Наконец разглядел Шансина, и тут его как гром ударило, вспомнилось, да так чётко, ясно, в деталях и во всём материализме, данных ему в ощущениях. Он поёжился, накинул на плечи грубое одеяло и, смотря на замызганное стекло вагона, стал невольно перебирать прошедшие события.

Началось с того, что у него вновь появились шальные деньги, а значит беспокойство. Тарабаркин решил вложиться в какое-нибудь дело, быстро получить прибыль. Кто-то из банковских партнёров убедил его, что сейчас громадным спросом на рынке пользуются природные яды. В каком-то задрипаном институте он купил партию змеиного яда, отнёс Шансину, тот на своих приборах его проверил, сказал, мол знатный, особой чистоты и качества. Оставалось найти покупателя, как оказалось задача не из простых. Желających купить редкий товар в городе не было, мало того основные потребителями были за бугром. Тарабаркин загрузил, но тут наткнулся на объявление, что в Нижнем Новгороде, который ещё совсем недавно слыл Горьким, открывается общероссийская ярмарка. «Уж там он точно сможет найти нужных людей!» — Тарабаркин решил срочно ехать. Одному было не сподручно, да и спец нужен под рукой, а то в эти лихорадочные девяностые могли легко обмануть, поэтому взял с собой Шансина. Правда тот долго ерепенился, бычился, рассказывал занимательные истории про новые опыты с червяками, но когда узнал величину гонорара, согласился. В этот же вечер они спешно погрузились в скорый московский и полетели в сторону заветного города. По Тарабаркин слетел с привязи, сполл несколько вагонов. Он был щедр, деньги из него лились как вода из кувшина под непрерывные рассказы, что он везёт новое светило науки в славный Нижний, и что это светило может озарить жизненную дорогу многим. Безденежным — путь к богатству, молодым — поставить на правильные рельсы, чтобы удалась карьера, одиноким — найти пару, престарелым женщинам обрести вторую молодость, а просто женщинам — уверенностью в своих эротических силах. Последняя пара обстоятельство сыграли особую роль, две проводницы, которым было далеко за сорок, прониклись речами Тарабаркина, отсадили всех лишних из купе, что предотвратило

их разграбление, так как ранее к ним подседа парочка карточных шулеров, активно провоцирующих Тарабаркина на игру или на драку, поддержка местной вагонной милиции у них была.

— У этого парня, — непрерывно вещал Тарабаркин женщинам, по тараканьи топорща свои прокуренные усы, и разливая дорогой ликёр в немые стаканы, — есть такие мази, такие таблетки, силы неимоверной, всё по последнему слову науки. Вот мазнёт вам сосок одним только пальцем, — Санька показывал свой палец, направленный на грудь женщин, от чего они замирали, — на следующий день глянете, а у вас уже грудь обновилась, двадцатилетние будут так завидовать, что описаются. А если таблетку даст, то с каждой по пятерику слетает, в качестве досрочного освобождения от бремени старости, а после лечебного курса будете выглядывать юными девами, тогда прямая вам дорога на подиум, да на страницы модных глянцевого журналов, что продаются на берлинской барахолке, которая прямо за Бранденбургскими воротами. Кстати, Шансин потом долго пытался узнать у Саньки, что за барахолка в Берлине, но так и не получил вразумительного ответа.

Вот сейчас сидит Тарабаркин, свесив ноги с полки, трясёт головой, пытаясь скинуть алкогольную хмарь, но ничего не выходило, лишь стук в голове. Тогда решил он пойти к проводницам, искать излечение, а заодно утешение мятущейся душе. Под шум колёс, да стремительно проносающиеся тени за окном, Санька вновь разливал ликёр, слушая унылые откровения выпивших проводниц о своих непутёвых мужиках, потерянных детях, растраченных годах, пассажирах, которые редкие жлобы да сволочи. Слушал и не мог оторваться от тоски захлестнувшей его, сдавливало голову, ломило в пояснице. Давно с ним такого не было. Хотелось выть, рвать на себе одежду, надеясь получить прощение за прежние потери, пустяжные начинания, попусту раскиданные по годам и городам. Неожиданно силы его покинули, он уткнулся одной из женщин в плечо и уснул. Сон его захлестнул столь необычный, что Тарабаркин даже во сне удивился. А привиделась ему американская подводная лодка, собранная из стеклянных блоков, схожих с деталями детского конструктора. В воде свои сливались, отчего она казалась цельнолитой, прозрачной, оголяла свои внутренности вместе с экипажем. Командиром этой подлодки служила мулатка, почему то в куцей звёзднополосатой юбке. Длинноногая красавица, обесцвеченная, с короткой стрижкой, была не в меру строга, требовательна, особенно жёстко разбирала случаи с драками. Её отвечающее бельё сводило с ума не только матросов с офицерами, но и корабельного кота, срывающегося на предвесенний вой. А главный моторист, невозмутимый негр философ, определил, что у неё в любовниках ходит кок, эдакая жирная скотина, и что она в нём нашла. Поэтому в зависимости от цвета трусиков, которые негр всегда видел, хлопоча около двигателя, он определял, чем их будут кормить на обед. В этот день бирюзовый оттенок исподнего капитанши обещал русское морское блюдо — спагетти по-флотски. На этой подлодке Тарабаркин служил старшим матросом, и сейчас они зашли в мутные воды Москвы реки, где должны были по идее штатовских ястребов рассыпаться на мелкие кубики, дабы устроить русских своими возможностями и решительностью. «Мы им устроим второй Дрезден с Хиросимой, они ответят нам за Вьетнам и Карибский кризис! Заодно забросим кучу диверсантов, пусть знают наших!» — так сказал пя-

ти звёздный адмирал флота. Звёзды на погонах Тарабаркину напоминали этикетку с армянского коньяка, который любил его тесть, правда цвет фона был другой. Когда была дана команда раствориться, Тарабаркин с пластиковым пакетом в зубах, где лежал фальшивый паспорт и талоны на обед в столовую, нырнул в холодную воду, замахал руками, задёргал ногами, боясь лишнего хлебнуть, и вынырнул посреди холодной столичной реки. Сверху басовито кто-то сказал на чистом русском:

— Дывись, Мыкола, ще один придурок! — Тарабаркин увидел конопатого детину с палкой в руках, к которой была привязана леска с ярким поплавком.

— Эх, говорил тебе, не наливай по полной, — вздохнул рядом стоящий коротышка с такой же палкой, перевязанный женской шалью, — теперь черти маячат перед глазами, забыл, что я ещё из запоя не вышел. Точно знаю, что видения могут материализоваться. Вот попомни, огребёмся мы с этими утопленниками.

— Який же вин потопельник? — хохотнул детина, протягивая удочку Тарабаркину. — Живой, спритний. Чипляйся вража морда.

Когда Саньку вытянули на бетонированный берег, коротышка сокрушаясь, протянул ему стакан с мутной водкой.

— Пей, американская падла, а то ещё простудишься, — сказал он, пряча одну руку подмышкой. Синюшные пальцы на стакане были украшены округлыми грязными ногтями.

— С чего ты решил, что я американец? — стуча зубами, спросил Тарабаркин почему то с жутким английским акцентом.

— Так у тебя на тельнике этикетка с нью-йоркского магазина. Оторвал бы ради приличия, а то лох лохом.

— «Лох» — кто это? — подумал Санька, просыпаясь, и увидел перед собой конопатую рожу с маленькими поросычьиими глазками, цепкими, как уличный репей. Сверху кто-то просипел: — Так это наш лох?

— Нет, — скупно ответила рожа, — не наш, хоть и лох.

— Тогда валим отседова, — показался владелец сиплого голоса, странный жлобина без шеи, бритая голова утоплена в плечи, с короткими порванными ушами. «Как у боевого бультерьера», — подумал Тарабаркин, когда они ушли. В углу рядом с дверью тряслась проводница. Она прикрывалась связкой ключей, без рубашки, в белесом бюстгальтере, и дрожащими синюшными губами громко шептала. В глазах стоял такой страх, что у Саньки по спине побежали мурашки.

— Шёл бы ты к себе, а то невзначай зарежут, а по пути меня прихватят. Молода я ещё, чтобы помирать с придурками, пожить хотя, — всхлипывала она.

— Так живи, мать, я тебе не помеха, — Тарабаркин с трудом поднялся с полки. В это время к ним заглянула вторая проводница.

— О, малахольный кавалер проснулся, через десять минут ваша станция, пора шмотки собирать, — в руках у неё было мокрое полотенце, которым она вытирала лицо, а заодно ручки в купе. Тарабаркин молча качнул головой, наконец поднялся, чмокнул её в сырую щеку и потащился в купе. По пути он сунул руку в карман, нащупал там пластиковый пакет с паспортом на имя Усольцева Даниила Петровича, но с фотографией Александра Тарабаркина втельняшке.

— Вот блин, сон в руку, — рассматривая паспорт, проговорил Санька. — Хм, надо же было этим идиотам заплывать в Москву реку, тоже мне диверсанты хреновы.

В купе он попытался поднять Шансина, но тот мычал, брыкался, зарываясь в подушки, тогда Тарабаркин тряханул это барахтающееся тело и гаркнул в ухо.

— Вставай, тень отца Гамлета, мы прибыли к славному Новгороду, который есть нижний, — на лице Кости проступило некое подобие мыслительной деятельности, глаза забегали, но потом остановились, он поднялся, сел, раскачиваясь, охая, растирая лицо, принялся одеваться.

2

Коридор вагона был застелен застиранной дорожкой сомнительного цвета. От него тянуло кислой пылью, сажей. Под громохание вагонной сцепки из купе стали выходить редкие пассажиры, помятые, недовольно сосредоточенные, заспанные, толкающие впереди себя громоздкие чемоданы. Неожиданно из третьего купе вывалился сутулый высокий парень, словно жердина на стое, с чрезвычайно худыми руками, с истонченными длинными пальцами. Округлое лицо с крупным горбатым носом, пухлые губы и глаза, темные, испуганные. Он подошёл к Тарабаркину, одёрнул куцую курточку, расправил плечи, отчего выпрямился, стал ещё выше и костлявее, быстро облизал губы и заявил словно на посвящении в пионеры:

— Александр, я согласен.

— На что согласен? — покачивая непослушной головой, Шансин сонно посмотрел на Тарабаркина.

— Я готов на всё! — юноша вибрировал как рояльная струна.

— Верное решение, юноша! — сощурился на него Санька, театрально выкидывая слова как площадные лозунги. — Вы никогда не пожалее о своём решении, мало того, будете с трепетной благодарностью вспоминать эту минуту, самую счастливую в вашей жизни! Можно смело сказать — сейчас у вас переломный момент, вы встали у порога новых возможностей!

— Что я сейчас должен делать, нужно ли подписывать бумаги?

— Вашего устного согласия уже достаточно. Имейте ввиду, — Тарабаркин многозначительно постучал себя по груди, — мы без аппаратуры не ходим. Всё уже зафиксировано. Мало того, ваше согласие уже передано по прямой связи в центр. Осталось лишь ждать, думаю немного, скоро на вас выйдут нужные люди.

— Я тяжело переносу неопределённость, — разволновался юноша, переминаясь с ноги на ногу, — у меня может начаться приступ астмы.

— Вы уже вышли на другую дорогу, не зачем тревожиться, всё свершилось. В настоящий момент для вас главное выиграть олимпиаду в Москве. Пусть это будет первым вашим заданием, пора делать своё сиви, пора строить реальную карьеру.

— Слушаюсь! — парень побледнел, взял под козырёк, а когда мимо него проходил Шансин, то долговязый шепнул ему, что безумно счастлив

встретиться с таким светилом и надеется на дальнейшую совместную работу. Костя от таких слов остолбенел, но Тарабаркин его вытолкнул из вагона, а пройдя немного по перрону, спросил.

— Ты, правда, ничего не помнишь?

— А что я должен помнить? Вокруг нас была такая карусель, что у меня даже косоглазие начало развиваться.

— Так мы же его в Моссад завербовали, знаешь такую разведку?

— Израильская... — Костя вновь остановился, уронил чемодан, ему захотелось то ли пить, то ли писать.

— Верно, она самая, — на Тарабаркина вновь нахлынуло бурливое настроение. — Ах, да, как ты мог запомнить, если участвовал в вербовке пассивно.

— Как участвовал? — у Кости зарябило в глазах.

— Ты его поправлял будучи в невменяемом состоянии. Наш юноша из тюменского мединститута, едет на общесоюзную олимпиаду аспирантов. Сам из семьи потомственных врачей. Кстати, его прадедущка отмазывал революционеров от службы в армии, выдавая медицинские справки о непригодности. Думаю, поступал так не из идейных соображений, а за приличную мзду, за что потом был репрессирован. Но это второстепенные детали, процесс вербовки начался после того, как это дарование слегка перепило и стало выдавать перлы из биохимии, а ты его поправлял, хоть и был в состоянии покойника с незначительными признаками жизни.

— Тогда как я мог его поправлять?

— Не знаю, но получалось эффектно. Мне особенно понравилось твоё ворчание по поводу простых glandинов, не знаю что это такое, наверное особый сорт глистов, коих ты обожаешь.

— Простогландины, балбес.

— Вот, вот, ты ему что-то в таком же тоне выдал, причём не переворачиваясь, лёжа на животе, уткнувшись в подушку, а твои слова выходили из нутра тела, как лава из солидного вулкана, отчего приобретали невероятную весомость в глазах юноши. Мне оставалось только подхватить твою речь, приперчить твоей значимостью в мировой науке, а заодно в политике, потом добавить, как бы невзначай, что твоя миссия, как резидента израильской разведки, вербовка талантливого молодёжи. Мол, ты велел мне с ним, то бишь с аспирантом из мединститута, поговорить. Как видишь, результат положительный, вербовка прошла удачно.

— Доведёшь ты меня до казённого дома с вывеской «КГБ», — Шансин в сердцах пнул пивную банку.

— С этим пока повременим, — рассмеялся Тарабаркин. — Для начала поработаем с их конкурентами.

Серая глыба вокзала была слабо освещена, отчего казалась порождением жуткого монстра, хлопяя дверьми пожирающего неровный поток приезжих, но тут же отрыгивающей другой, встречный — отъезжающих, стремящихся занять тёплое место в душном вагоне остановившихся поездов. На привокзальной площади, изрядно засыпанной мусором смешанным с грязным снегом, повисла серая скука и топталась жадная стая таксистов. Они старались жаться к киоскам, торгующими свиньячьей газетной продукцией, водкой, пивом, скудной стряпнёй, от запаха которой Шансина замутило. К ним, по крысиному сгорбившись, плотной кучкой, устреми-

лись таксисты, одетые в флисовые штаны, в широких меховых кепках и синтетических спортивных куртках. «Странная у них униформа?» — подумал Костя. Глядя на суровые лица водителей, он не мог понять, кто они, сутенёры, бандиты, карманники, или всё-таки таксисты. Хотя в настоящее время нередко попадались экземпляры, совмещавшие в одном лице всё перечисленное.

— Нам надо в экспоцентр, — заявил Тарабаркин, чем вызвал скупое смущение среди водительской братии, они стали наперебой интересоваться, где это.

— Вы меня спрашиваете?! — взвизгнул Санька. — Кто должен знать свой город аки «отче наш»?!

— Не пыли, пальцы не гни, — ответил один из них, с выбитыми передними зубами, говорил он почти так же как Тарабаркин, с лёгкой шепелявостью. Но если у Саньки это выглядело достаточно добродушно, то у верзилы каждая фраза была как заржавелая рельса, того и гляди по башке прилетит. — Говори конкретно, куда везти, — продолжал детина, — или отправим в секс прогулку.

Тогда Санька вытащил из-за пазухи мятый буклет с рекламой выставки, сунул таксисту в руки.

— Читай, если не разучился.

— Смотрю, ты у нас больно грамотный, — таксист нехотя взял буклет, подержал его в руке, словно взвешивая, развернул, пытаясь прочитать, потом подошёл к столбу с фонарём. Вокруг него плотным кольцом столпились остальные. Наконец они разобрали, где находится экспоцентр, и один из них, мелкий, шустрый согласился довезти, но назвал космическую цену. Костя уже собирался послать этого фрукта по грибы в лес, как Тарабаркин согласился, и они полезли в жёлтую волгу с проваленными седушками, пропахшими старой селёдкой замешанной на дешёвой китайской отдушке. До центра доехали без приключений, но слишком рано, пришлось заглянуть в захудалую кафешку. За пластиковым столом на шатких стульях они поглощали дешёвый кофе и давно скучающие чебуреки, пахнувшие одеждой старьёвщика.

— Знаешь Тарабаркин, — морщась сказал Костя, после того как откусил от этого кулинарного чуда кусок, — мне данное блюдо напомнило вывеску магазинов в одном мелком казахстанском городишке. Тогда я сразу не разобрал, что к чему, поэтому изрядно изумился. На одной из вывесок было написано мясо, на второй секонд хэнд, созданы были эти произведения одной рукой на одном полотнище, поэтому читались как одно единое. Я от нетерпения и с замиранием сердца решил узнать, совпадает ли моё представление о мясе секонд хэнд с тем, чем они торгуют.

— Ну и как, совпало? — Тарабаркин внимательно слушал Костю.

— Почти, — Костя брезгливо кинул кусок чебурека на кусок газеты, заменявшего тарелки.

— Не понял, поясни.

— Там было два магазина в тесной комнате, с одной стороны продавали ношенную одежду, с другой — мясо. Одно было ношенное, другое мерзкое, а запахи так перемешались, что приобретая мясо, покупатель заодно получал букет запахов от одежды, пропитанной сотнями хозяев.

— Причём тут чебуреки? — Санька откусил приличный кусок, шумно отпил кофе из пластикового таканчика

— При том, что мне кажется они уже побывали в желудке, и, наверняка, не в одном.

— Какие гадости в тебе рождаются с похмелья, — передёрнулся Тарабаркин, — злой ты, а ещё носишь гордое имя российского учёного.

— Звание учёного у нас в стране затёрли до омерзения. Сейчас оно звучит как клеймо изгоя.

— Не буду с тобой спорить. Кажется выставку открыли, пошли, страдалец.

На выставке они нашли организаторов, зарегистрировались, стали просить помочь с гостиницей. И, как на грех, оказалось, что в городе сплошь проходят мероприятия по разным причинам и без, поэтому с жильём проблемы. С большим трудом их определили в «Дом колхозника». Звучало романтично, хоть и несколько неопределённо. Потоптавшись по выставке, они поняли, что приехали зря, таких продавцов с товаром было до самой маковки, а вот с покупателями — проблемы, ни одного. Костя сразу сник, пояснив Тарабаркину, что тот вложил свои средства не в тот товар.

— Нужно было купить вагон водки, на сдачу сексапильных девушек для раздачи тестеров, — сокрушался он, на что Санька лишь усмехался, снисходительно поучая.

— Пристроим, не в первой, сейчас едем в гостиницу, завтра отбудем из славного Новгорода. Хотя можно денёк другой задержаться, мне городишко нравится.

— Ничего себе городишко, миллионник, почти Новосибирск. Но меня одолевают тревожные предчувствия, добром это не кончится, может сегодня же вечером уедем?

— Не дури, нам пора к колхозникам, посмотрим на их быт, приобщимся к земле, к тёплым коровкам, ласковым дояркам.

— Чует моё сердце, умрёшь ты не своей смертью, а при заплыве среди чужих подушек.

— Заманчивый вариант, согласен, но только проследи, чтобы на моём могильном камне было выбито погиб смертью храбрых.

— Ага, и допишу, что захлебнулся дешёвыми духами в крепких объятиях.

3

На разбитом жигулёнке копейке, пойманном на улице, они живо доехали до гостиницы, с гроыханием и прибаутками весёлого водителя. Перед ними было полубревенчатое здание, то есть снизу сложенное из кирпичей, а верхние пару этажей из брёвен. Деревянное короткое крыльцо, на массивных пружинах крепилась перекошенная дверь. Она была массивной, как основы социализма, скрипучая, постоянно заедающая.

— Знаешь, Костя, — обратился к Шансину Тарабаркин, с интересом разглядывая здание, — мне кажется, что созидатели пропили кирпичи, когда строили эту богадельню.

— Всё может быть, но вернее, там проступает твёрдая воровская рука снабженцев или руководства стройки. Наверное, они объяснили проверяющим, что аутоэнтичный дом для служителей серпа, должен обязательно иметь деревянные конструкции.

— Стало быть жить нам в доме архитектурного направления арт кантри, — Тарабаркин дёрнул дверь и они оказались в тесном холле, где за высокой стойкой под настольной лампой разработки Родченко сидела уставшая злая женщина. Она тупо перекаладывала короткие бумажки из одной стопки в другую, шевеля губами, то ли считая листы, то ли проклиная работу. Услышав подошедших, она даже не подняв головы, бросила короткую реплику.

— Мест нет, водки нет, есть только девки.

— А с девками дают номера? — радостно скалясь, облокотился на стойку Тарабаркин, выставляя свою куцую бородку вперёд, снимая шапку.

— Можно, только дорого.

— Мы согласны, цены нас не пугают, не такое видели, — Санька вытащил бумажку с направлением от администрации выставки, подал несговорчивой администраторши.

— Хм, так у вас распределение? — нахмурилась она, пододвинула к себе громадную книгу, начала в ней рыться. — Есть только шестиместные номера, но и там свободных мест надо ещё поискать.

— Берём весь номер, — Тарабаркин уронил крупную купюру на стол перед женщиной, та молнеиностно её смела. Косте почудилось, что у этой женщины вместо руки была змея, похоже кобра, такой выверенный точный бросок, и жертва, то есть купюра, схвачена.

— Надеюсь хватит? — Тарабаркин кинул ещё одну купюру, отчего лицо женщины просветлело, перед ней озарился как минимум залитый солнцем путь к коммунизму. — Только к нам никого не подселять.

— Хорошие вы люди, — с чувством сказала она, — откуда будете?

— Из Сибири.

— Понятно, чалдоны стало быть, сразу видно не на жиденёккой водице замешаны в отличии от столичных, — она была намного моложе, чем первоначально показалось. Каштановые густые волосы, мягкие черты лица, светлые глаза, отливающие то синим, то зелёным. От такого вида у Тарабаркина усы полезли вверх, поэтому Костя потянул его за рукав.

— Саша, сначала надо устроиться, а потом можно погружаться во всякие романтические глупости.

— Видите, какой у меня строгий соглядатай, и почему я его держу в партнёрах по бизнесу? Не пойму.

— Во как! — удивился Шансин, теперь оказывается они бизнесмены, но не успел он ничего возразить, как Тарабаркин легко двинулся в сторону номера, на прощание выразительно посмотрев на администраторшу и до неприличия вздёрнув брови. От чего она покраснела, широко улыбнулась, откинувшись на спинку кресла. Второй этаж, где находился их номер, оказался длинным широким коридором с провалившимся местами полом, видимо не выдержавшем тяжёлой поступи суровых колхозников. У Кости сразу возникло устойчивое подозрение, что стены гостиной красили, ещё в первые годы после революции, краска давно стёрлась, оголяя причудливый древесный узор. Когда они пытались засунуть ключ в разбитую замочную скважину, то из соседнего номера вышли две девушки в узких трусиках и ажурных меховых тапочках. Они шли спокойно по деловому обсуждая какие-то бытовые мелочи. От

такой картины Костя с Санькой замерли словно суслики у дороги с интересом разглядывая полуголых. У одной грудь была небольшая, но округлая, богато засыпанная родинками, у другой немного бесформенная, но с дерзко вздёрнутыми большими сосками. Девушки даже не посмотрели на опешивших мужчин, продолжая беспечно беседовать, прошли в конец коридора, где свернули за угол.

— Неожиданный поворот истории, — чуть не захлебнулся словами Тарабаркин, — Костя ущипни меня, может мне это снится?

— Нет, — Шансин пришёл в себя и ткнул Саньку чемоданом, — давай скреби копытами, а то будем стоять на пороге до второго пришествия.

— Ты уверен, оно будет? — Тарабаркин попытался повернуть ключ. — Тогда я готов у дверей устроить пост наблюдения.

— Не зачем, — Костя снова толкнул его чемоданом, — достаточно одной зелёной купюры и тебе приведут с десяток таких объектов для наблюдения. При дополнительной оплате даже бинокль подгонят.

— Мне тут определённо нравится, — бодро заявил Санька, наконец с трудом повернув ключ. Войдя в обшарпанный шестиместный номер, Шансин загрустил, но Тарабаркину понравился простор, свежий воздух, постоянно проникающий через неплотно закрытые окна.

— Расслабься, наслаждайся романтикой прошлого.

— Поясни.

— Мне номер напоминает общагу в колхозном амбаре, помнишь, где мы жили во время первой практики?

— Помню, — Костя мрачно бросил чемодан, устало сел на кровать.

— Приобщение к молодости всегда бодрит, а вот от тебя несёт стариковской прелостью, скукой и тоской.

— Согласен, теперь давай поспим чуток, потом ты отведёшь меня в ресторан, где я с наслаждением набью своё брюхо местными деликатесами. Надеюсь мы сможем найти ресторан не похожий на это чудо под гордым именем гостиница?

— Можешь не сомневаться, все лучшие заведения будут у твоих ног.

— Мы уже попали в лучшее заведение, — Костя уныло посмотрел на стены номера, побеленные непонятно в каком году, — главное богатый выбор, шесть коек, выбирай по вкусу, со скрипом, с проваленной сеткой, качающуюся.

Он поочередно садился то на одну, то на другую, но Тарабаркин был весел, неутомим, а в предвкушении ресторана несколько возбуждён.

— Хватит трюндеть, бросай шмотки, ложись спать. Я сейчас закажу себе прекрасный сон про деликатесы ресторана премиум.

— И приснится тебе перловка сваренная на воде, без соли, перца, но с толстой поварихой, курящей беломорину, грубо раскидывающей отвратительную мешанину по алюминиевым чашкам.

— Я слишком впечатлителен, ты сбиваешь меня с нужного направления, не жлобствуй, пожалей друга, лучше расскажи о гуриях, кои должны придти ублажить мою плоть.

— Тебе это не грозит.

— Почему?

— По кочану, спи! — Костя разделся, забрался под колючее одеяло, пробурчав, что он вряд ли уснёт, но быстро засопел. А Тарабаркин ещё долго вертелся, прогоняя яркий образ поварахи, предсказанной Шансиным.

— Вот, пёс смердячий, — тихо костерил Тарабаркин друга, — ведь в самом деле может присниться эта корова с беломором.

С этой мыслью он погрузился в мягкий сон. Повараха в самом деле где-то мелькнула в нижнем белье с красными оборками, но лишь на мгновение, её унесло железнодорожным потоком поездов под вокзальное объявление о следующей остановке. Но потом к Саньке пришла уличная проститутка из славного города Гонконга, засыпанного ночными огнями. Она долго жаловалась Тарабаркину, что косорылый Ху, её сутенёр, отбирает все деньги, а колготы купил на два размера меньше, теперь у неё сдавливают не только ноги с промежностью, но и душу. «Как в таких условиях работать?!» — плакалась она ему в жилетку, размазывая дешёвую косметику по лицу, но через мгновение он понял, что летит в бездну на каком-то космическом корабле с толпой безумцев. Вокруг кипела яростная паника, люди, не зная, что делать, кидались друг на друга, обвиняя во всех бедах, жестоко дрались. Ему стало жарко, он почувствовал такое одиночество, словно вокруг не было ни одной души, и вдруг кто-то обречённо сказал.

— Мы опустились ниже ада, пора посылать за помощью к нашему будущему поколению.

— Почему к будущему, а где же настоящее? — чётко услышал он свой голос, с железными нотками возмущения.

— Настоящее мы уже пролетели, у нас его нет. Прошлое элементарно просрало, надежда только на следующее поколение.

— На их месте, — Санька вновь услышал свой голос, — я бы нам не помогал.

— Тогда мы пропали, — спокойно ответили ему. От этого голоса веяло уверенностью и безнадёжностью. Толпа на миг замерла, но через секунду колыхнулась и вновь зашумела, закипели страсти, воздух наполнился выкриками, которые тут же преобразались в видимые образы.

— Коммунисты, вперёд! — и вот молодые парни в кожанках с маузерами в руках проскакали на взмыленных лошадях, беззвучно открывая рты.

— Даёшь сверхурочный прокат! — на них хлынул поток раскалённого металла, но не обжигая, а обтекая и даже обдавая холодком.

Кто-то взвыл: — Я не хочу умирать, я так мало прожил! — вокруг закружились цветущие яблоны, среди которых маячило белое платье девушки с неясным лицом.

— Господи, не оставь нас! Господи, прости нам наши грехи! — с этими словами Тарабаркин проснулся. Он лежал в кровати с железными набалдашниками на спинке, и подушка под его головой почему-то ему казалась чугунной, холодной и сырой. Он осторожно повертел головой, ощущение не прошло, тогда Санька поднялся и увидел Костю, побритого, приглаженного, возившегося с галстуклом у зеркала.

— Тарабаркин, тебя не добудишься, — не отрываясь от своего занятия, заметил он, — похоже накрыло приличной волной кошмара. Ты метался, кричал, стонал, пришлось на подушку воды налить, в надежде, что проснёшься, но ты её долго мусолил. Видимо крепко забрало.

А когда посмотрел на его бледное лицо, то с участием спросил:

— Надеюсь толстая повариха тебя не заграбастала? Больно тускло выглядишь.

— Лучше бы эта страхолюдия пришла, чем такие сны, представляешь, приснилось мне, что я с толпой негодяев попал куда-то ниже ада.

— Тарабаркин, ты меня удивляешь своей феноменальной начитанностью.

— От этого греха я отучился ещё в десятом классе, не наговаривай.

— Тогда откуда у тебя такой сон, это ведь из нашего поэта Юрия Кузнецова, а в прошлый раз тебе привиделось из Германа Гессе.

— Не знаю таковых.

— Пора тебя в институты отдавать, на опыты.

— Почему?

— У тебя ментальная связь с творческими личностями эпохи, да такая сильная.

— Не знаю, что это такое, — с трудом приподнялся Тарабаркин, повернулся, посмотрел на мокрую подушку, пощупал её. — Опасно лить воду, обмочиться можно.

— Пионерские байки, пора отвыкать, — улыбнулся Костя. — Давай вставай, нас ждут залётные гуси, затерянные в пахучей зелени, а также море вина с несравненными гуриями. Ты обещал.

— Сорок штук на каждого, — Санька сел в кровати, посмотрел на брошенные брюки, потряс головой. — Тяжела шапка кошмара.

— Для излечения духовной пустоты, а также изгнания кошмаров, есть проверенное средство, хоть и народное, но больно действенное.

— Ты про водочку?

— Про неё родимую. Как говорил поэт, выдержки его выступления как раз и навеяли тебе сон: *«Пошёл и напился с тоски... Так русская мысль начинается»*.

— Вот, вот, пора приступать к мыслительному процессу, — пришёл в себя Тарабаркин, вскочил, порылся в чемодане, достал свежие носки, рубашку и кинулся в общественный туалет, громко вышагивая по коридору. Через пару минут Тарабаркин вернулся посвежевший, с бодрым взглядом, готовый к взятию не одного ресторана.

— Вперёд, мой верный друг! Нас ждут приключения, и пусть после нас останутся руины кабаков, но мы должны взять своё.

Костя не рискнул ему возражать, хотя последние слова его сильно напрягли. «Ох, накликаем на свои головы беды, а может не только на головы», — обречённо подумал он.

Они вышли на улицу, промозглая погода не располагала к прогулкам, но Тарабаркин настоял, чтобы чуть проветриться, оглядеться, определить устойчивые цели. После десяти минут молчаливого вышагивания по улицам, они попали на широкую площадь, за которой виднелась крепостная стена из красного кирпича.

— Люблю древности, особенно бастионы, — Тарабаркин кинулся через всю площадь, не обращая внимания на сигналы проезжающих автомобилей. Костя не рискнул бежать за ним, два сумасшедших на площади, это уже слишком. Догнал он Тарабаркина у самой башни, где вывески об историческом памятнике перемежались с зазывающими рекламными плакатами. На одном красочно расписывались прелести ресторана, расположившегося на двух этажах исторического здания.

— Не зря бежал как гончая, — Тарабаркин ткнул пальцем в сторону рекламы, — мы попали в местную обитель чревоугодников.

Они выбрали третий этаж, где у одной стены расположился бар, в центре стояли столики, как и вдоль полукруглой стены. Над каждым столиком висел своеобразный козырёк, имитирующий крышу острога.

— Мне тут определённо нравится, — Тарабаркин скинул шубу на скамейку у стены, сел на неё и блаженно откинулся, прикрыв глаза. Костя расположился на стилизованном стуле, грубом, сколоченном из древесных тяжёлых обрубков. Официант появился мгновенно, будто материализовался из густых сумерек зала.

— Что будете заказывать, водку, селёдку, хлеб, огурцы? — снисходительно спросил он.

— Нам всё, что заслуживает уважения и внимания, — Санька по барски глянул на него, одним пальцем приоткрыл меню, — мы народ простой, из Сибири, если что, в лоб без разговоров въедем, и тебе даже хозяева не помогут. Вывод напрашивается один, будь внимателен, подобострастен и тебе воздастся. Для людей нас убажвающих, мы денег не пожалеем, мы не крохоборы.

Тарабаркин вытащил пачку крупных купюр, помахал ими в воздухе, что произвело на официанта неизгладимое впечатление. Он слотнул слюну, непонятно откуда у него в руках оказались блокнот и полотенце.

— Для начала, я бы вам рекомендовал по растегайчику, потом осетринки, чуть позже можно сделать дикой кабанятинки в брусничке.

— Кабанчика растили на ферме за городом?

— Помилуй Бог! — официант переломился, его брови взлетели, выражая чистосердечное возмущение. — У нас ресторан старых правил. Мы печёмся о своём имени. У нас останавливаются очень солидные люди нашего города, не говоря про гостей.

Костя невольно проследил за рукой официанта и увидел в центре группу молодых людей, сидящих за сдвинутыми столами. Они неспешно вели беседу, пили какие-то напитки, похожие на сок. Но главное, все были накаченные, в спортивных футболках, бритые. Это очень напругло Шансина, поэтому, когда официант отошёл, он шепнул Тарабаркину, чтобы тот не сильно распоясывался.

— Похоже, тут собралась местная братва, могут ноги повывёрнуть.

— Не дури, — с превосходством барина произнёс Санька, — я сейчас разрулю.

— Может не надо, — взмолился Костя, но Тарабаркин опрокинул первую стопку холодной водки, поднялся и пошёл к группе молодых людей.

— Господа, — вальяжно обратился к ним Санька, — я прибыл сюда с одной целью, покорить ваш городишко. Скоро он будет мой, по сему предлагаю вам оторваться за мой счёт. Можете заказывать всё, что душа пожелает, думаю для начала по холодненькой. Гарсон, — Тарабаркин крикнул бармену, — принеси господам по рюмке, и мне подай.

— Не стоит беспокоиться, — заверил его крепкий малый, постарше сидящих, — мы спортсмены, питаемся соком и морковкой. За предложение особое спасибо, но мы откажемся.

— Как знаете, но Санька Сибирский никогда от своих слов не отказывается, вскорости вы убедитесь в этом, — Тарабаркин опрокинул стопку водки, поднесённую барменом. Качки нервно переглядывались, но старший покачал головой, сурово поглядывая на особо ретивых. Неожиданно для них Санька ударил стопку о пол, та разлетелась на мелкие осколки.

— Гуляй рванина, мы из Сибири! — гаркнул Тарабаркин, развернулся и пошёл к своему столу.

После двух бутылок водки, Костю захлестнуло настроение друга, он также скакал по ресторану, блажил о взятии города. Подходил к каждому столику, бодая нависшие козырьки, отчего расцарапал голову. Пик наглости Шансина достиг, когда он увёл двух девушек от стола качков. Они были возмущены, но старший, сжимая кулаки, зверем смотрел на каждого, кто хоть как-то пытался проявить самостоятельность. При разговоре с девушками, выяснилось, что они первокурсницы с местного университета с биологического факультета. Последнее обстоятельство привело в неопишное возбуждение Шансина, но когда Тарабаркин заявил, что перед ними великий ум, который изобрёл чудодейственное средство для спасения человечества, одна из них заинтересовалась, от чего.

— От одной из самых опаснейших заболеваний века, — не моргнув заявил Тарабаркин, — от желудочных энцефалитных клещей.

— Желудочных? — переспросил Костя.

— Да, и не скромничайте, вам за это открытие нобелевку, конечно, не дадут, но почётного профессора в Сорбоне — обязательно. Мне сегодня из Парижу уже звонили.

— И чем же вы лечите? — спросила чернявая.

— Пиретрумом, — Шансин подхватил линию Тарабаркина, — вернее не чистым, его отборной модификацией. Надеюсь, вам в вашем заведении объясняли сложность метода отборной модификации, в основе которой лежит теория хиральности мира.

— Вот я о чём и толкую, — Тарабаркин схватил за щёки Костю и полез целоваться, но тот увернулся, — и заметьте, красавицы, не в меру скромнен. Хоть его мозг рождает такие идеи, а я их реализую, что деньги к нам текут нескончаемой рекой. В прошлый раз этот мерин отказался от мерина, то бишь Мерседеса последней марки, ему видите ли не понравился цвет.

— Да, — пьяно качнул головой Костя, — не люблю чёрный, мне нужен лазурный.

— Вот, — развёл руками Тарабаркин, — а мне расхлёбывать, пришлось заказать.

Дальше всё пошло как на карусели, музыка, раскуривание дорогих сигарет, коих принесли им ворох для пробы, нескончаемые блюда. Потом второй этаж ресторана, где Тарабаркин кричал на ОМОНовцев, что он из Сибири, а завтра их ждёт губернатор, которому он приведёт известное светило науки. Костя, видя решительные лица милиционеров, от испуга перешёл на английский, хоть и плохой, но всё же, чем смутил стражей порядка. Они решили их не трогать, мало ли, всё-таки носители валюты, от начальства по башке получить можно, те строго выдали предписание иностранцев не трогать. Но пока общались с милицией, потеряли девушек, те, вероятно, тоже не хотели тесного общения с властью. А когда Тарабаркин надрался до недержания, то есть его не держали ноги, язык, который нёс околесицу, не прерываясь на перекур, а также мочевой пузырь, Шансин решил поймать такси. Остановившись многие, однако, когда Костя говорил куда их везти, ругались, резко набирая скорость. Тогда Костя стал первоначально называть сумму, которую они готовы заплатить, размахивая купюрой, то через четыре автомобиля им остановилась старая «Победа». Водитель в потёртой куртке молча качнул головой в знак согласия, и они загрузились в машину. Ехали долго по узким улицам, проулкам, наконец выехали на широкую улицу. Перед ними была их гостиница. Костя расплатился и они с трудом вошли в здание. Как добрались до номера Шансин помнил смутно, хотя крики Тарабаркина о том, что они из Сибири, застряли у него в ушах.

4

Утром Шансин проснулся рано. Болело везде, особенно голова. Костя поднялся, посмотрел на кровать Тарабаркина, где закутавшись в одеяло спало тело.

— Странно, — подумал Костя, — Санька слишком перебрал вчера, похоже поправился, основательно распух, — но когда повернулся и увидел ещё одно тело, также завернутое в одеяло, то решил, что Тарабаркин не только поправился, но и удвоился.

— Великая сила партеногенеза, — крихтя произнёс он, — надо пойти на свежий воздух, может перекусить, и даже выпить. Нужно срочно освежить голову, а потом разбираться в критических проблемах бытия.

Шансин вышел на улицу, постоял на крыльце, подышал, осмотрелся. Утро было солнечным, хотя какое утро, уже двенадцатый час. Вчерашний вечер сказывался, всё смешалось, в том числе время с пространством. Явный пример вчерашней чехарды с пространством было то, что ресторан в исторической башне был напротив, через широкую улицу, а они пытали таксистов просьбой добросить до гостиницы.

— Так вот почему вчера никто не хотел нас везти по адресу! — выдохнул крепким перегаром Шансин. — Ответственный водитель нам попался, покатал по городу, отработывая деньги. Надо пойти осмотреть вчерашнее место боевой славы.

Костя, наполненный ветром и дурными предчувствиями, перешёл улицу, вошёл в башню. Там уже открылись, предлагали завтраки, его встретили как доброго приятеля. Вероятно, Тарабаркин не пожалел чаевых, отчего официант ужиком вился вокруг Шансина, перечисляя, что они могут приготовить быстро, а на что нужно немного времени. Костя не собирался заниматься чревоугодием, поэтому по скромному заказал английский завтрак с крепким кофе, от водки и разносолов отказался.

— Извини, родной, — с трудом проговорил он, — я не похмеляюсь, мне чуть еды и хороший кофе, потрудись, любезный, скажи, чтобы сварили настоящий, от растворимого меня пучит.

— Как можете сомневаться, Константин? — дружеские нотки официанта подкупали, хотелось спросить, как они вчера чудили, но Шансин не рискнул. Лишние детали могли огорчить, а панибратство официанта и так перешло все границы, начинало его раздражать. В это время к его столику подошёл невысокий парень в белой рубашке, стриженный под ноль, в добротных очках. Голова была настолько идеально круглая, что Шансин подумал, а не приобрёл ли он её в магазине школьных принадлежностей, великолепная фигура для демонстрации темы по геометрии. Тонкие пианистические пальцы, про которые Тарабаркин обязательно бы сказал, что такими стыдно даже за стопку водки братья, можно только женское бельё перебирать в упаковочном цехе. Но вот глаза были у него выдающимися, затмевали скромный невыразительный нос, тонкие как подведённые тушью губы, гладкую почти отполированную кожу. Глаза заполненные жёстким холодом, цвета хны с кофе, редкое сочетание, цепкие, оценивающие. Он уверенно подошёл, отодвинул стул, сел напротив Кости, вежливо заявив.

— С вашего позволения, — тонкие губы тронула лёгкая ухмылка, — мне необходимо выяснить пару деталей, так что не считите за грубость.

— Пожалуйста, любые вопросы, — сказал Костя, принимая у официанта тарелку с яичницей.

— Вы точно из Сибири? — не мешкая задал свой вопрос парень.

— У меня на этот счёт сомнений нет, — пожал плечами Шансин.

— С какой целью прибыли? Надеюсь это не секрет?

— Бизнес.

— По конкретней, если не затруднит, — он вновь чуть улыбнулся. Костя почувствовал холодок на спине, вдруг ему пришло одно старое видение, в Индокитае он встретился с коброй, и сейчас было такое ощущение, что эта змея вернулась и смотрит на него. В этот раз ему не удастся просто так уйти.

— Мой друг мелкий бизнесмен, он торгует природными ядами, — Шансин пытался сдерживать себя, не выдать свой страх, но круглоголовый уже завладел его чувствами, и похоже держал крепко. — Я же у него за консультанта, так как работаю в Академии наук.

— И всё? — холодная хватка ослабла, брови парня полезли вверх.

— Да, — Костя суетливо полез в карман, достал своё удостоверение, показал ему.

— Позвольте, — круглоголовый протянул руку.

— Пожалуйста, — Шансин передал ему корочки. Тот с неподдельным интересом прочитал их, осмотрел с разных сторон, немного помял, аккуратно положил на стол, качнул головой и рассмеялся. — История знатная, я буду её рассказывать своим потомкам, пока буду жив.

— Не понял? — удивился Костя.

— Видите ли, милейший, — парень положил руки на стол, стал перестукивать пальцами по белоснежной скатерти, — заведение принадлежит одному из отцов города. Только не думайте, что это мэр или губернатор, настоящие отцы и правители города другие. Они как раз назначают мэров, губернаторов и прочую ключевую шелуху. Наш город поделен на зоны влияния, управляют ими настоящие паханы. Так вот здесь хозяин Рубленный, серьёзный человек, с приличным образованием, тонкий политик, ценитель красоты, но, главное, очень справедливый, хоть и строгий. Он тщательно отслеживает законность в городе, у него несколько боевых бригад, сидящих, можно так сказать, на вечерних дежурствах. Естественно, не в отделениях, а в кабаках. Вчера была группа Хмельного, дерзкого парня, но выдержанного, что вас и выручило. А когда ваш компаньон начал вести себя вызывающе, и при этом кричать, что он приберёт весь город, они сообщили старшому. Он же отправил меня разобратся. Вы умудрились даже меня запутать своим поведением. В прошедшую ночь состоялась экстренная стрелка, где собрались все паханы города, они решали, что с вами делать. Решили пока подождать, но готовиться. Нам пришлось начать закупать дополнительное оружие и боеприпасы, ожидалась война с сибиряками. Ведь с ваших краёв, как правило, приходят очень солидные и серьёзные люди, поэтому промахов мы не могли допустить. Так, что вам повезло, что пахан не велел вас трогать, а то уже прохлаждались бы в морге, а там не Сочи, не согреешься. Вы тоже лихой, умудриться у Хмельного баб увести, я бы не рискнул.

— Это девчонки с университета, с биологического факультета.

— Хоть с экономического, они сюда подработать пришли, пацаны уже слюни пускать начали, всё-таки развлечение, что попусту сидеть, выпивка строго запрещена, а девочки, пожалуйста, тут есть комнатуха отдыха со всеми удобствами.

— Извините, не знал.

— Ладно, занятая история, сегодня паханы животы надорвут от смеха, за веселье вам оставим право пожить на этом свете, но рекомендую тут больше не появляться. Эй, Гарик, — он махнул рукой официанту, — парень отдыхает за счёт заведения, но вечером его не пускать, как впрочем, и в последующее время. Принесите ему моего любимого коньячка, это вам бонус за смелость, — от него вновь потянуло холодом, он встал, чуть склонил голову и пошёл к стойке бара. Перед Костей поставили бокал с коньком, он его залпом выпил, быстро заглотил яичницу, посмотрел на кофе, но не решился его пить, поспешно смысл из исторического здания. Как он прошёл улицу, даже не заметил, в себя пришёл только перед дверью номера, за ней кто-то увесисто ржал. Когда Костя вошёл в номер, то увидел крупного мужика в

клетчатых трусах, конопатого, ярко рыжего, с мелкими глазками, крупными щеками. Он хохотал как бегемот на сносях, широко разевая рот, похожий на пасть африканского животного.

— А вот наше светило засветило нам, — довольный пошлым каламбуром смеялся Тарабаркин, — знакомься, наш приبلудный сосед, он потерялся в гостинице, а ключ от его номера подходит к нашему.

— Мне кажется, что тут все ключи одинаковые, — вновь рассмеялся рыжий здоровяк. — Вилли, — он протянул лопатообразную руку.

— Надеюсь не Брандт, — хмуро сунул свою руку Костя.

— Угадал, — рыжий вновь заржал, а за ним Тарабаркин.

— Почему-то часто угадывают мою фамилию, поэтому я люблю, когда меня называют Вини, это от Вины Пуха.

— Странно, Вилли.

— Ничего, я привык, но лучше меня звать Вини, если хочешь Вини Пухом или Пухом.

— На плюшевого медвежонка ты мало смахиваешь.

— Зря ты, Костя, он похож на медведя.

— Но не игрушечного, — проворчал Шансин, — судя по фамилии, ты из волжских немцев.

— Точно, угадал, я главный агроном в одном совхозе, недалеко от города, всего километров двести пятьдесят.

— О Россия, о размах, — Тарабаркин начал одеваться, — знаешь Вины Пух, мне кажется нам надо sprysнуть наше знакомство. Шансин, ты не возражаешь.

— Я уже поел и принял коньяка, — хмуро ответил Костя.

— Тебе легче, а нам тяжко, пошли Вины, я тебя покормлю в одном чудном ресторанчике, мы вчера там так гульнули.

— Не вздумай! — вскрикнул Костя.

— С чего такой пыл неразумного юноши? — удивился Санька.

— Слишком погуляял, местным бандитам ноги оттоптали. Сегодня меня предупредили, чтобы в этот кабак не ногой, а то ходить не на чем будет, как и думать и есть.

— Всё так серьёзно? — невозмутимо спросил Тарабаркин, подмигивая новому другу. — Не дуйся, лопнешь, мы послушные парни, ты сказал, мы не пошли, но перекусить нам следует.

Тарабаркина тянуло к башне, он вывел друзей окольными путями к крепостной стене и попытался найти вход на верх, но всё было закрыто, а на одной двери было коряво написано «Ремонт». Костя с облегчением вздохнул, предложив осмотреть центр города, но Саньку сбить с намеченного было невозможно. Он решительно пошёл вдоль стены, периодически похлопывал по кирпичам, запрокидывал голову, восхищался строителями. Пройдя вдоль стены, они уткнулись в небольшую дверь небольшой башни. Тарабаркин дёрнул за ручку, дверь открылась и впереди показались ступеньки ведущие вниз. Санька взвизгнул молодым поросёнком и кинулся по ним. Вины Пуху и Косте невольно пришлось идти за ним. Вскоре они выпали в небольшой округлый зал, в центре которого стоял длинный стол, а за ним сидели унылые личности, перебирая костяшки домино. Тарабаркин сразу же закричал, что он из Сибири, и ему необходимо попасть на верхотуру стены. Лич-

ности не были расположены к разговору, а по физиономиям было видно, что предыдущая ночь у них также прошла бурно. Двое из них встали, выражая готовность набить определённую часть тела Тарабаркину. Видя, что Санька, как петух на насесте, затянул свою песню и теперь его не сразу можно будет остановить, Костя грубо перебил его.

— Ваши услуги будут оплачены. Вино, водка, закуска, в общем ассортимент можно оговорить, — Шансин торопился, так как у одного из вставших в руках появилось долото. Они услышали заветные слова, остановились, один из них плечистый недовольно передёрнул плечами, сел.

— Несите всё сами, только вермута купите, не меньше шести бутылок, нас много.

— Отлично! — воскликнул Тарабаркин. — Я посижу с мужиками, а вы дуйте в гастроном, он недалеко, через дорогу.

Шансин с Пухом развернулись и стали подниматься по ступенькам. Через минут пятнадцать они вернулись в башню. За столом сидели мрачные личности, угрюмо слушая разглагольствования сибирского комбинатора, не проявляя никакого интереса к его историям. Две сетка с закусками и звонкими бутылками внесли в их ряды оживление. На столе появились стаканы. После выпитого, широкоплечий вытер губы, заявив, что вчера было много работы, ребята устали, на стену сегодня никто не пойдёт, а ключи чужим они опасаются давать. Тарабаркин как мелкий вулкан стал убеждать их в своей кристальной честности, но даже ещё пару стаканов и обещание принести водки, не возымели должного эффекта. Костя понял, что в этот раз их развели на бесплатную закуску с выпивкой, но тут поднялся высокий парень, полноватый, с большими руками. Он грустно сказал, что готов провести ребят по крепостной стене.

— Евгений, наш местный гений, — зло усмехнулся плечистый, — не пьющий, на баб не смотрящий, копается в книжках, мажет красками по тряпкам, называет это искусством. Извини, я забыл про тебя, но если ты этих охламонов проведёшь по стенам, это будет выход, но только учтите, что за гида нам полагается дополнительное вспоможение.

— Мы не пойдём в магазин, — гаркнул вороной Шансин. Он начал звереть от хамства рабочих.

— Правильно, — поддержал его Санька, — мы вам деньгами отдадим. Вот, на пару пузырей хватит, Евгений, будешь нашим Вергилием, веди!

Они вышли из башни, потоптались перед стеной, о которой Евгений принялся рассказывать. Потом двинулись в обратном направлении, к лесам, где был подъём.

— Сейчас мы были в Часовой башне, для того, чтобы подняться наверх, где мы делаем деревянную крышу, надо пройти до башни, там сейчас ресторан.

— Нам туда нельзя входить, — запаниковал Шансин.

— А мы не будем входить, там подъем по наружной стороне, — спокойно объяснил Евгений.

— Отлично, нам по пути надо ещё перекусить, а то скоро мой желудок переварит меня самого.

— Хорошо, на территории, за кремлёвскими стенами есть хорошая столовая.

— Водку там наливают? — Тарабаркин нервно потеревил усы.

— Её наливают везде, хоть вон в той забегаловке, — парень кивнул в противоположную сторону улицы.

— Здоров, не будем откладывать, — подхватил Костя, — мы сейчас же идём туда. Надо побережь желудок нашего замечательного современника, Александра Тарабаркина.

— Надо же, какое благоприятное действие на тебя оказывает русская старина, — восхитился Тарабаркин, с подозрением рассматривая Шансина. Забегаловка оказалась достаточно уютным уголком, где их накормили чудным борщом с сечеными гренками под холодную водочку. Оттуда компания вышла посвежевшей, бодрой, хотя их добровольный гид Евгений, пребывав в неизменном меланхолическом состоянии. Они вернулись к стене, без приключений поднялись наверх, где было сделана лишь часть крыши, остальная была в плачевном состоянии, или вообще вместо крыши были голые балки.

— Давно не было ремонта, — грустно заметил Евгений, кивая в сторону обветшалой крыши, — нам тоже не хватает материалов, и платят копейки, поэтому процветает воровство, пьянство, но работа потихоньку движется.

— Ох, какая мощь! — восклицал Санька, похлопывая по стенам. — Это ж в каком году сотворили такое чудо?

— Начало шестнадцатого века, — пояснил парень, — вернее на самой границе в тысяча пятисотом году заложили Тверскую башню, потом её переименовали в Кладовую. К шестнадцатому году завершили строительство стен и башен.

— Такое грандиозное строительство за шестнадцать лет! — не мог успокоиться Тарабаркин. — При их технике, логистике, невероятно. Наши строители жевали бы стройку не меньше двадцати лет, а потом партийные чиновники рапортовали бы о досрочном выполнении плана. Правда при первой же атаке врагов, после современных строителей повывалилась бы часть кирпичей.

Когда они подошли к одной из крупных башен, то их гид сказал, что в ней сейчас расположен банк, вернее его отделение.

— Меня там знают, пропустят, а заодно и вас, только прошу вас не шутить, охранники юмора не понимают.

— Понял, Вيني Пух, — Санька ткнул пальцем в живот рыжего, — не вздумай сказать, что это ограбление, все лицом вниз.

— Ребята, нас за это пристрелят, — печально вздохнул Евгений.

— Тарабаркин, это в первую очередь тебя касается, — прикрикнул на товарища Шансин.

— Я буду нем аки рыба, но если Вيني заявит, что мы будем брать банк, я ему не указ.

— Хватит трепаться, — Костя начал заводиться, — вам обоим молчать в тряпочку, говорить разрешается только мне и Евгению. Всё понятно? Рыжий, Вيني, тебя это тоже касается, не вздумай говорить про взятие банка.

— Хорошо, — замычал Пух.

Евгений достал связку ключей, подошёл к двери в башне, открыл внешнюю, обитую железом, за ней была вторая деревянная дверь. Он постучал в неё, крикнув, что идут рабочие, провернул ключ, толкнул её и они попали в маленькую тесную комнату, огороженную железными прутьями. Там сидело три охранника с автоматами, один из них белокурый с рыбьими глазами поднялся, глянул через плечо Евгения, спросил.

— Я что-то раньше этих оболтусов не видел, откуда они?

— Новенькие, — невозмутимо ответил Евгений, — вот иду показывать фронт работ.

— Это правильно, хотя судя по запаху, эти тоже надолго не задержатся, уже достойно приняли.

— А как в наше время без этого, — встрял в разговор Костя, — поработал, глянул в телевизор, потом на улицу, и хочется сразу повеситься.

— Ага, или напиться, — поддержал его охранник. — Проходите, не топчитесь, холода напустите.

— Костя встал у дверей, пропустив вперёд Евгения, за ним подтолкнул Тарабаркина, дёрнул за пуговицу Вини Пуха. И уже сам повернулся, чтобы выйти в другую дверь, ведущую на стену, как этот рыжий сын Поволжья остановился, отключив широкий зад, повернулся к Шансину и, хлопая бесцветными ресницами, спросил.

— Костя, я не понял, а когда будем брать банк?

Охранник от изумления попятился, прикрываясь автоматом, двое также вжались в стену, но один из них уже потянулся к предохранителю, щёлкнул им и передёрнул затвор. Шансин кинулся на Вини Пуха, толкнул его грудью, сам провалился в дверной проём с криком «Закрывай!» И лишь на стене, когда Евгений вытащил ключи из замочной скважины, он перевёл дух.

— Редкостная ты скотина, долбаный Вини Пух, — выдохнул он, — это тебе не кролик с Пятачком, они из тебя такое сейчас бы решето сделали, что никакой Кристофер тебя не заштопал.

— А, — протянул рыжий агроном, — у меня есть среди родственников Кристофер, но он не портной, кажется плотник. Ты прав, штопать вряд ли умеет.

— Ты где нашёл этого идиота? — закричал на Тарабаркина Костя.

— Сам знаешь, он нашёлся, как брошенный котёнок.

— Из-за этого котяры нас бы уже везли в морг, — Шансин не мог успокоиться.

— Вот видишь, какой я хороший, — радовался Тарабаркин, — как обещал, молчал в тряпочку, а ты е ценишь близких друзей, тебе подавай сравнение.

— Шёл бы ты, — махнул Шансин.

На стене они пробыли достаточно долго, хотя проход по ней был только до Зачатской башни, дальше всё было закрыто, ремонтных работ там пока не вели. Всё было заколочено, видимо, чтобы не просачивались желаемые удостоверять мерзость запустения исторического памятника. Но вид, который открывался со стен и с башен, в которые они смогли пройти, был настолько великолепен, простор настолько ве-

лик, что глядя на стрелку наши друзья стали молчаливыми и серьёзными. Спустились по лесам у Зачатской башни, и пошли в обратную сторону. Тарабаркину нужно было залить впечатление новой порцией водки. Евгений довёл их до небольшого ресторанчика, больше смахивающей на столовую, хотя он пояснил, что тут питаются многие чиновники из администрации города, поэтому заведение приличное, а по вечерам выполняет функции недорого ресторана, нередко закрытого для особо избранных личностей. Тарабаркин срочно заказал закуски с водочкой, что они быстро проглотили, дальше Санька не торопясь осматривал меню, как очередную достопримечательность. Тут к ним подсел один прилизанный фрукт в сером костюме и подобострастными глазами.

— Прошу меня извинить, я представитель местной администрации, — быстрый говорок чиновника напомнил журчание воду в унитазе, — меня уполномочили спросить вас из какого вы будете учреждения?

— Мы из Академии наук, — небрежно бросил Тарабаркин, взял у официанта принесённую бутылку и попросил ещё одну стопку.

— Если мне, то не надо, я на службе, — зашепшил клерк.

— Тогда разговора не будет, — отрезал Санька, пришлось чиновнику глотнуть из стопки.

— Так вы говорите, что из Академии, а кто уполномочил вас заниматься проверкой? И почему нас не поставили в известность? У вас есть документы?

— Естественно, Шансин покажи своё удостоверение, — Костя, недовольно морщась, достал корочки, сунул клерку, тот также как и в ресторане внимательно всё прочитал, шевели губами, потом вернул их.

— Мы вольные птицы науки, — рявкнул Тарабаркин, увидев, что документы Шансина не произвели должного эффекта, — поэтому, что хотим, то и творим, нам указание сверху может дать только президент, но в некоторых случаях даже он бессилён, надо брать выше.

— Неужели госдеп? — испуганно прошептал чиновник.

— Бери выше, сам Господь Бог!

— А, ну тогда всё поправимо, — с облегчением вздохнул чиновник. — В любом случае мы хотели бы ознакомиться с результатами осмотра или экспертизы, что вы там проводите?

— Мы банк хотели взять, — попытался вступить в разговор Вини Пух, отчего Костя поперхнулся, а Тарабаркин на него так взглянул, что Пух стал медленно трансформироваться в Пятачка.

— Наш коллега, как раз из департамента, и его возмутило присутствие банков в исторических местах, — нашёлся Санька, то бледнея, то краснея.

— Это временный ход, как раз чтобы сохранить и приумножить, на деньги от аренды мы реконструируем, — торопливо начал объяснять чиновник.

— А если не секрет, что сейчас реконструируете, дом мэра или губернатора?

Клерк побелел, встал, положил на стол визитную карточку.

— Вот мои координаты, я заведу исторической частью нашего кремля, если будут вопросы, звоните, но, надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. Также меня мэр попросил передать, если вы найдёте пару минут и посетите его, он будет признателен.

— Прекрасно, — Тарабаркин взял визитную карточку, передал её Шансину.

И вновь закрутилась карусель. Санька как маг-волшебник захватил неразумных детей, Костю с Вини Пухом, и потащил по ресторанам, каждый поход туда сопровождался блестящими импровизациями, на темы «Мы из Сибири», «Я привёз вам новое светило науки». Под конец их путешествия по значным местам города, Костя ощущал себя как минимум пророком отдельно взятой планеты, хотя сомневался, что это была Земля.

5

Утро выдалось унылым, чередой пьяных прогулок начинала давить, а тут ещё Тарабаркин радостно заявил, что деньги кончились, гостиницу он оплатил на сутки, дальше неопределённость, даже на билеты не осталось.

— Будем искать выход, — вещал он, сидя в трусах на кровати.

— Ты хотел сказать, будем искать деньги? — Костя пытался разглядеть его через затёкшие глаза.

— Не будь примитивным, — довольный собой ухмыльнулся Санька, потом обратился к рыжему, уныло ощупывающему резинку на своих трусах. — Великолепный Пух, что наиболее востребовано в вашем городе? Хм, судя по твоему виду, не знаешь. Я вот, что тебе скажу, нужна интрига, тайна, то есть нам надо её создать, а потом продать дорого.

— Тут даже я запутался, — вздохнул Костя.

— Я поддерживаю, — тихо проговорил Вини.

— Кого?

— Обоих, — невозмутимо поёжился рыжий.

— Ой, как вы мне надоели! Пойду проветрюсь, — Костя встал, взял полотенце и вышел в корридор, добрёл до мужского туалета, совмещённого с моечной. Там умылся, стоя рядом с голый проституткой, которая плескалась под краном. Увидев Шансина, попросила помочь, и он, в силу своей сердобольности, потёр ей спинку. Та кряхтела как заправский мужик, материла советскую власть, в особенности местную, крепким словом также поминала бандитов. Потом, когда она обиралась полотенцем, заметила, что Костя не жлоб, помог ей, а таким первый раз она даёт бесплатно. Шансин вежливо отказался, заспешил к себе в номер. После столь необычных водных процедур Костя воспрял духом, натянул джинсы, свитер, заявил, что вернётся к вечеру, выбежал из гостиницы, оставив скулящего Тарабаркина с представителем героев мультфильмов.

На улице в Шансина вселился злой дух Тарабаркина, он ёжился на встречах, задирал подвыпивших, пока не увидел аляповатый плакат, вещавший, что в этом доме проходит выставка авангардного художника. Костя, не останавливаясь, толкнул тяжёлую дверь, за ней

оказалась вторая, остеклённая, откуда отсвечивало розовым, была видна мятущаяся тень. Шансин решительно ворвался за дверь и столкнулся с нечто покрашенным в очках с сухим оскудевшим телом, видимо администратор. На этом образе женщины была клееная шевелюра из свалявшихся волос, яркая помада, «наверняка спёрла у клоунов» — только и успел подумать Костя, как она кинулась современной валькирией на него.

— Первый день только для избранных и приглашённых. Пока мы закрыты, приходите завтра, — она хмурилась, заглядывая за спину Кости.

— Я из Сибири, — категорично заявил Костя, морщась от головной боли, похмелье ещё давило на него.

— Вы кто, эксперт? — она посмотрела на него и смутилась, схватив крупный кулон из неизвестного камня с красными и синими прожилками, висевший у неё на шее.

— Я всё! — в Косте проснулся матрос Балтийского флота времён октябрьского переворота из далёкого Петрограда. От его беспощадного взгляда сухопарая администраторша, похожая на стрелку с дорожного указателя, вдруг почувствовала себя голой, от чего её обдало жаром почти мартеновской печи. Горло пересохло, она захихикала, смущённо прикрыла скромную грудь тонкими ручками. Некоторое время она бегала глазками по смятой фигуре Кости, потом решила и с почтением выдавила из себя: — Давно ждём.

— Правильно, — заявил Костя, сдвинул её кулон в центр широкого разреза платья, с одобрением заметив, — хороший вкус, вам идёт, достойно подчёркивает овал. Фуршет предусмотрен? Надеюсь присутствует стоящий коньяк? — и не дожидаясь её ответа, потребовал: — Мне сто пятьдесят и ломтик лимончика, как любил наш батюшка император.

— Без сомнения, — выдохнула она, повернулась и неожиданно уже густым басом потребовала у охранника, чтобы он принял шубу рецензента, сама же кинулась к дверям директора заведения. Там она чуть не задавила его, напористо шепча о том, что к ним прибыл столичный критик, из крутого таблоида «Сибирь». Директор, небольшой человечиска с маленькими глазками, первоначально засомневался, но жар от столь суховатой женщины был столь велик, что он невольно впал в панику.

— Надо что-то делать, — быстро зашептал он, поглядывая на переплетение своих пальцев. Когда он нервничал, они у него всегда сплетались как ненасытные осьминоги.

— Я согласна, — сухопарая шумно плюхнулась в кресло, закусила губу, решительно оттягивая край платья, от чего разрез прилично увеличился.

— Этого может не хватить, — директор устало успокоился, разглядывая крупную родинку на её левой груди. — Знаю я эту братию, придётся ещё дать денег.

— Правильное решение, — у администраторши в глазах засветилось нечто такое, от чего директор, знавший её во всех видах, очень удивился. У него даже пробилось давнее желание поиметь её на этом столе, а после отправится в кругосветное путешествие на лайнере.

— Помните Алексей Эдуардович, что ради нашего предприятия я готова лечь под амбразуру! — она гордо вскинула голову.

— Ложатся на амбразуру, а не под неё, — поморщился директор и у него сдуло все желания отправиться с ней куда бы то ни было. Он развернулся на крутящемся кресле, достал ключи, открыл сейф, где виднелись пачки долларов. — Как думаешь, десятки хватит?

— Слишком матёрый, — романтично выдохнула она.

— Тогда пятнадцать, — сокрушённо вздохнул директор, строго добавив, — имей ввиду, это с накладными. Знаю тебя, опять в «Башню» потащишь.

— Нет, этот кабак мне обрыдл, тем более там всегда братва сидит, лучше в «Дитрих», там хоть кухня приличная, — кокетливо заметила администраторша.

— Только без лишних изысков и твоих фокусов с плясками на столе.

Когда администраторша и директор вошли в галерею, они увидели Костю Шансина, в дранных джинсах, свитере, беседующем с двумя лохматыми художниками, видимо местных арт корифеев. Широким бокалом с коньяком Костя показывал на большое полотно, где была изображена то ли слива, то ли перезрелый девичий зад и вещал птицей Гарудой.

— Она была подобна тучной сливе, свешивающейся через дувал на дорогу, то есть была тем плодом, что принадлежал путникам, деревшам, певцам и странникам!

— Прикид у него странный, — сомнения стали одолевать директора.

— Столица! — многозначительно прошептала администраторша.

— Может быть, может быть, — вздохнул директор, но увидев смиренно пришибленные взгляды художников, толпящихся рядом с Шансиным, подумал, что всё-таки это столичная штучка, рисуется под хиппаря, у них сейчас так принято. — Давай, двигай булками, познакомь меня с этим критиком, прощупаем хлопца.

Администраторша словно линкор отодвинула боком художников в сторону, мило улыбнулась Косте и представила директора.

— Алексей Эдуардович, заслуженный деятель искусств, наш директор.

— Премного рад, — снисходительно выдавил из себя Костя, а сам подумал, что эта мелкая муха явно купила себе заслуженного.

— Вы откуда, собственно говоря? — директор решительно приступил к осаде Шансина.

— Есть такое место, заслуживающее уважение всех знающих и приличных. Мы его называем Сибирью, изначально оно было Искером, но персидский шах положил на неё свой распутный глаз, пришлось переименовать, и заметьте, он ничего не получил, даже брендом не смог воспользоваться.

— Понятно, — растеряно протянул директор, — а как ваше имя?

— Моё имя слишком часто пестрит на зарубежных глянцевого страниц, но они не любят наши звуковые сочетания, сокращают, поэтому я невольно пошёл у них на поводу, моё имя Коста, — «кажется

меня понесло» подумал Костя, многозначительно глянув на полный бокал с коньяком, невесть откуда взявшимся у него в руке, вроде предыдущий он уже выпил.

— Неужели вы тот самый... известный... — у одного из художников перехватило дыхание, а Костя, по отечески щурясь, похлопал его по плечу.

— Не стоит вдаваться в подробности, как говаривал мой близкий друг Александр Тарабаркин, кстати, известный банкир, меценат, путешественник, но в целом славный авантюрист. Он всегда рекомендовал не называть свои полные регалии, должности и звания, ибо это может напомнить окружающим меню дорогого ресторана.

— Про ресторан я бы хотела поговорить отдельно, — администраторша подхватила его под локоть и потащила к двери, но на них налетела стайка возбуждённых старушек.

— Господи, кого я вижу, — заверещала одна из них, раскрашенная как новогодняя открытка, и обвешанная дорогими погремушками как ёлка, — это же наш любимый Коста!

Шансин опешил от такого оборота, но ему не дали придти в себя, раскрашенную перебила высокая, в невероятных кусках грубой мешковины с ломающимся голосом подростка, с вечной тонкой сигаретой застрявшей в изгибах кривых надтреснутых губ.

— Мне кажется, что мы с вами не виделись вечно, хотя последний раз вы меня угощали на набережной Сены чудесным выдержанным напитком. Кажется это было совсем недавно, всего месяц назад. Не помню точно название вина, — она толкнула острым локтем свою подружку, от чего та перекосилась.

— Да, да, — Костя растерялся, — совсем недавно, но какое вино мы пили... точно не могу сказать, хотя мне нравятся вина из винограда пти вердо.

— Удивительно, так и было, — она лукаво посмотрела на Костю, а он слегка наклонив голову к ней, и не сводя пристального взгляда от пляшущей сигареты во рту, прошептал, но так, чтобы слышали окружающие:

— Как говорят французы «Вино в жизни не всё, но жизнь без вина — ничто».

— О! Да! — закатила глаза старая женщина, но на этом их общение было прервано шумными журналистами, которые грубой ватагой потащили известного Косту к картинам. За ними семенил директор с администраторшей, которая пыталась отбить столичную птицу. Только через час им удалось оторвать Шансина от жаждущих с ним пообщаться. К этому времени Костя уже окончательно окосел от коньяка, общения, голова кружилась от восторженных взглядов. На его руке настойчиво висела администраторша, жадно прижимаясь к его свитеру, заглядывая в глаза. Рядом спешил директор, не прекращая щебетать о достоинствах галереи, о его заслугах в создании её, и прочих милых мелочах. И уже когда на Шансина напялили его кожушок, директор сунул ему пачку долларов в бумажном свёртке.

— Только не забудьте, замолвите за меня словечко, особенно в министерстве, вы же туда вхожи?

— Не редко, — многозначительность Шансина увеличилась от выпитого коньяка и солидной пачки в руках.

— Поэтому нижайше прошу, пусть Семён Яковлевич не держит на меня зла, я по недоразумению и незнанию полез в это грязное дело, пусть его милость ниспадет на наши головы, вернётся его расположение, я также готов возобновить те пару проектов, которые были у нас. А уж мы не подведём, отблагодарим от всего сердца.

— Спи спокойно, брат мой, — Костя схватил пальцами за щеку директора, — мы взвалим на себя весь груз твоих забот, тебе останется только пожинать плоды. Я не прощаюсь, ещё увидимся и не раз.

— Всегда с радостью приму вас у себя, — директор сложил маленькие ручки на груди, неожиданно ткнулся в воротник кожанка Кости, пустив слезу умиления, но сухопарая администраторша стремительно отодвинула Костю от возлияний директора.

— Извини, Коста, нам пора, — жёстко сказала она и потащила Шансина в машину, припаркованную у крыльца галереи. А директор с видом иконописного страдальца провожал их взглядом.

6

Шансин был гол как труп в морге, с единственным отличием, его тело было завернуто в кожанку да ещё на ногах красовались модные женские сапоги, красные, лакированные, но ужасно тесные. И ещё было одно отличие от пациентов последних докторов, Костя мог двигаться. Сейчас он шёл по ночному городу, иногда вздёргивая бараний воротник, пытаясь прикрыть маковку головы, на ней уже образовалась тонкая корочка льда, крепко зацепившись за волосы. Поэтому на голове изредка хрустело, ломалось, неприятно примораживало. «Может это терновый венец захрустел?», — нашло на него, но пройдя метров двести засомневался, — «Больше на канцелярский клей похоже». И нащупал в кармане гладкий тюбик. Под фонарным столбом вытащил его и в мятущемся блёклом свете смог прочитать, оказалось в самом деле канцелярский клей. В другом кармане, с приличной дырой, что-то застряло. Шансин с трудом вытащил помятый бумажный свёрток, в нём лежали американские доллары. Костя рассматривал их как обезумевший, пытаясь понять откуда у него могли появиться такие деньги. Он вновь вздёргнул воротник, сделал пару шагов и разглядел на столбе различные бумажки, — объявления, предложения, рекламу. На некоторых слова уже заплыли от дождей и солнца, другие были свежими, некоторые только что приклеены, часть висело ошмётками, от чего столб напомнил Шансину ствол эвкалипта. У того также свисает старая кора, оголяя девственную древесину. «Вот у них эвкалипты, а у нас бандиты да депутаты горлопаны», — тягуче размышлял Костя. Неожиданно его стошнило, прислонился головой к бетонному стражу улицы, полегчало, тогда он помочился как собака. «Хорошо, когда под шубой нет одежды, задрал полу и делай что хочешь», — от этой мысли в голове посвежело, появилась лёгкость. Шансин достал долларовую купюру, мазанул по ней клеем и прилепил сверху объявления по продаже новых кальсон в любом количестве, любых размеров.

— За понесённые издержки, администрация приносит извинения и просит принять компенсацию, — он поклонился столбу. Текст как раз закрылся зелёной бумажкой с президентом, а под ней торчали бумажные корешки с номером телефона. «Похоже на порно объявления», подумал Костя, что его окончательно развеселило. Теперь он уже бодро зашагал по улице и на каждом скопище объявлений приклеивал по сто долларовой бумажке, рассуждая в слух.

— Суки! Такую страну продали за цветные фантики с портретами придурков. Это ж как надо оскотиниться, чтобы поливать грязью свою страну, торговать ею как проститутки телом! Рушить всё, что создавалось кровью и потом многих поколений, будто у нас ресурсы нескончаемы. Сволочи! Пустобрёхи! Сколько людей ввергли в нищету! Духовно оскопили! Сколько крови пролили! — и каждый раз, когда лепил доллары на столб, ему хотелось запеть от счастья. Казалось, он сводит счёты с каждым из пошлых правительственных мракобесов, бывших славных комсомольских вожаков, служителей спецслужб, плодящих лживые надежды, ворующих без совести и меры. Наконец приклеил последнюю бумажку, остановился, не зная куда идти, что делать, и тут увидел вывеску, с корявыми буквами, но они его безумно обрадовали. Он стоял перед входом в их гостиницу, в дом колхозника. Костя кинулся к двери, но она оказалась закрытой, как ворота неприступной крепости за потрескавшимися досками. Шансин как одержимый принялся в неё стучать, но никто не реагировал, тогда он стал бить ногами. Наконец за дверь кто-то зашуршал, подошёл и выкрикнул, чтобы жопоплой шёл дальше, пока он, то есть охранник, не вызвал ОМОН. Шансин заблажил на всю улицу, доказывая свою принадлежность к колхозникам, а также, что он полноправный жилец этой райской обители. За дверь затихли, потом уже женский голос спросил из какого он номера, услышав ответ, ему открыли. За порогом в трусах стоял охранник, рядом куталась в одеяло женщина с регистрации.

— Уже утро, — сонно заявила она, — мог бы ещё часок поболтаться, мы бы так и так открылись, не будил бы приличных людей.

Костя, не скрывая радости, кланялся им, бормоча извинения, а когда поднимался по лестнице, то за спиной услышал громкий женский шепот.

— Глянь, под шубейкой то ничего нет, да ещё в женских сапогах. Похоже неформал.

— Да, брось ты, — громко заявил охранник, — обычный пидор, пошли спать. Я тебе сейчас покажу неформала, хоть и обычного мужика, удивисься.

Шансин ворвался в номер, постукивая зубами, то ли замёрз, то ли обильные возлияния последних дней начали его одолевать. Пробираясь к кровати, он запнулся о какой-то бубен, валявшийся по середине комнаты, не снимая шубы, он рухнул на кровать, с трудом натянул на себя одеяло и затих. И тут произошло невероятное, к нему пришёл сон, в котором на данный момент пребывал Тарабаркин. Сон со смещением пространства и времени уверенно захватил друзей, лишь распределив им роли. Шансин с Тарабаркиным в образе двух самураев плыли в лодке по туманной реке. Чувствовалось, что рядом находятся

враги, самурай Тарабаркин был спокоен, но самурай Костя нервничал, при каждом подозрительном звуке хватал рукоятку меча. Его переполняло горечью из-за того, что перед отплытием он послушался своего друга и не надел доспехов. Потом выяснилась цель их прогулки, достаточно опасная. Нужно передать письмо одной знатной госпоже от сёгуна, их господина. Целую ночь им пришлось грести по реке, слуг нельзя было брать. Под утро их накрыло плотным туманом. Молочная стена стояла перед ними, поглощая звуки, запахи, пришлось отложить вёсла и ждать, когда прояснится. Сидели они долго, по ощущениям, утро должно было пройти, ну или по крайней мере, подходить к концу. Солнце наполнило туман светом, но не развеяло его. И тут они услышали неясные звуки, кто-то тоже заплутал на реке. Самурай Костя встал, упёрся в борта ногами, вытащил меч. Тарабаркин вроде был спокоен, но тоже поднялся. Наконец потянуло, подул свежий ветерок и вмиг река очистилась. Каково же было удивление самураев, когда они увидели рядом лодку, а в ней полуголую девочку с козой и зонтиком в пикантной красной шляпке.

— Мне кажется, что мы попали в купальню госпожи, — растерянно предположил самурай Тарабаркин.

— Это река, — возразил ему самурай Шансин, не выпуская из рук свой меч.

— Тогда мы умерли, — с облегчением вздохнул Санька и на его лице отразилось равнодушие и спокойствие. — Наконец я смогу отдохнуть.

— Думаю, что нет. Вы забыли, что женщины рождаются на свет, чтобы обманывать мужчин.

— Может она из служанок богини Аматаэрасу, и вскоре мы её увидим, — спокойно проговорил Санька.

— Тогда я с вами соглашусь, что мы умерли, но мне кажется, она Ямауба.

— Та уродлива.

— Любая ведьма может принять благообразный облик, даже такого прекрасного ребёнка, — у самурая Кости по спине потекла струйка пота, он сжал рукоятку меча. — Если она приблизится, надо защищаться, стоит ей только к нам прикоснуться, как..., — но тут девочка повернулась, увидела их лодку, захихикала и, крутя зонтик, обратилась к козе на чужом языке, но самураи её поняли.

— Посмотри, Марфа, какие смешные дяденьки, наверное из реконструкторов.

Коза флегматично потрясла ушами, пожевала, крутанула головой и заговорила по человечески.

— Может, бе-е-е, мальчик хочет развлечься, — самурай Костя попытался и свалился в воду, рванулся вверх и проснулся. У порога дверей стоял Вини Пух, перед ним юная жрица любви, пыталась его вытащить в коридор. Тот блеял как старый козёл, но медленно двигался за ней, через мгновение дверь захлопнулась и послышались шаги, ей удалось увести рыжего. На соседней кровати сидел Тарабаркин, он с подозрением смотрел на Костю.

— И где болтался наш самурай? — спросил он.

— Катался на лодке, — вздрогнул Шансин, повернулся на бок с твёрдым решением не вставать, но Санька был неумолим.

— Мало того, что приснился мне, да ещё ошивался незнамо где, так он ещё и грубит. Вставай, нам к двенадцати надо съехать. Мы тут с рыжим немного денег раздобыли, на билеты должно хватить.

— Где взяли?

— Не цените вы людей, особенно близких друзей, — театрально вздохнул Тарабаркин, — я решил привнести в город сибирских таинств, то бишь стал шаманом, а рыжий мне подыгрывал и собирал деньги.

Костя не стал выпрашивать об их подвигах, зная, что Санька не сможет долго держать в себе историю, обязательно расскажет. Поэтому он поднялся и, как был в шубе и сапогах, пошёл в туалет. Там он вновь встретил старую знакомую, она с остервенением пудрила под глазом, пытаясь закрыть здоровенный синяк.

— Производственная травма? — хмуро спросил Костя. Онаглянула на него, ругнулась, продолжая своё занятие, но когда Шансин скинул шубу и полез под кран, пытаясь облиться водой, она присвистнула.

— Я смотрю ты из нашей компании, — она с интересом разглядывала голого Костю в женских сапогах.

— Ой, не травми душу, лучше помоги, — он сел на кафельный пол, задрал ноги, — тяни, сам не сниму, размер не мой, ноги затекли, опухли.

Она, криво улыбаясь, отложила пудреницу, схватила за сапог и потянула. Сапог с трудом, но слез с его многострадальной ноги. Со вторым пришлось побороться повозиться, но жрица любви справилась. Теперь у её ног сидел голый Костя, тёр ступни, вздыхал, а она с жадным интересом разглядывала сапоги.

— Слушай, они у тебя редкого европейского бренда, — с умилением мяла кожу, — краска на пальцах не остаётся, кожа хорошей выделки. Похоже не подделка, где купил?

— Дарю, — Костя с трудом поднялся, взял её тубик с зубной пастой, выдавил в рот и принялся пальцем чистить зубы.

— Серьёзно?

— Бери, они мне всё равно даром достались, будет повод вспомнить мужика из Сибири.

— Так... хорошо, но может пойдём ко мне, я хоть немного отработаю, буду стараться, не пожалеешь.

— Ой, брось, я щедрый, — Шансин прополоскал рот, выплюнул воду, поднял кожушок, накинул его на плечи, провёл пальцем по её носу, — ты красивая, замуж тебе надо, пока не затёрли на чужих подушках. Не забывай от этого лысеют.

И босиком направился в свой номер, за спиной у него женщина всхлипывала. Костя остановился, повернулся и увидел её, растерянную, прижимающую сапоги к груди.

— Странно, — тихо сказала она ему на прощание, — это мой размер.

— Носи на здоровье, — ответил Шансин, постоял, подумал и добавил, — пусть это будет моим подарком на твою свадьбу.

В номере он достал сменную одежду, собрал свои пожитки. Тарабаркин уже был готов к выходу, нервно курил, глядя на свою сумку.

— Лихо прокатились, — бесцветно произнёс Санька, — столько денег просадили, можно было купить небольшой магазин в Нске.

— Сейчас главное живыми добраться до дому, — вздохнул Костя, — у меня такое ощущение, что наши злоключения ещё не закончились. — Он сунул руку в карман шубы, — хм, один карман целый, там тюбик канцелярского клея, а вот другой порван, пустой.

— Посмотри в подкладке, может сотня завалылась, — вставая, порекомендовал Санька.

— Ого, — удивился Шансина, вытаскивая из подкладки две мятые стодолларовые бумажки.

— А ты не так прост, как я думал, что в самом деле проституцией занялся?

— С чего взял? — обиделся Костя.

— Ну, голый, в женских сапогах, в шубе доллары.

— Я в Тарабаркина играл, — зло проговорил Шансин, — а долларов было больше. эдакая приличная пачка.

— Где ж они?

— Ушли в протест, — неопределённо ответил Костя, с трудом вспоминая, как он шествовал по улице Нижнего, расклеивая доллары на столбы. Тарабаркин не стал вдаваться в подробности, взял сумку и направился к выходу.

До вокзала они спокойно доехали на автобусе, а вот у кассы их ждало разочарование, билетов до Новосибирска на ближайшие дни не предвиделось, даже за большие деньги. Тарабаркин предлагал касирше тройной тариф, но та отказалась, да ещё пообещала позвать милицию.

— Для начала нам надо поесть, — отошёл от окошка кассы обиженный Санька, — потом продумаем план с пересадками. Вроде есть билеты на поезд до Вологды, но только в общий вагон. На скором до него добираться в пределах четырёх часов, а вот на пассажирском такого розлива не меньше восьми. Билеты пока брать не будем, подождём «Томич», скорый до Томска. Я уверен земляки сибиряки нас не оставят, договоримся с проводниками, хотя бы до Вологды, оттуда идёт куча проходных через наш славный Нск. Не бойся, со мной не пропадёшь, доберёмся.

— Что ж, рискнём, только обедать в вокзальный ресторан мы не пойдём, кухня жуткая, ценник самолётный.

— Тогда пошли на улицу, там есть небольшая кафешка, судя по запахам, должны неплохо кормить.

Они вышли на привокзальную площадь, Тарабаркин сразу потянул его к небольшому строению. Небольшое помещение кафе было пустынно, за маленькой стойкой стояла девушка армянка. Она сразу же подошла к ним, положила меню, грустно посмотрела на Костю.

— Всё только на заказ, надо долго ждать, быстро могу сделать кофе и яичницу.

— Мы не торопимся, — Тарабаркин оживился, разглядывая ценник и блюда, — для начала нам немного селёдки с водочкой.

— Я больше пить не буду, — поспешно заявил Шансин.

— Как хочешь, — Санька положил меню на стол, хищно рассматривая угловатую фигуру официантки. Её густые длинные волосы были частично покрашены, плохо расчёсаны, неровно падали на плечи. — А мы с нашей красавицей, — продолжил он, вздёргивая бровь, — обсудим наши блюда, мы ведь у вас надолго задержимся, поезд только вечером.

— Это какой?

— «Томич», — пояснил Санька. Пока ждали заказанные блюда, Тарабаркин успел заглотить хорошую порцию водки, в том числе и порцию Кости, тот наотрез отказался даже прикасаться к ней. Когда официантка принесла борщ, Санька уже тараторил, не останавливаясь. Рядом с девушкой его красноречие совсем вышло из берегов, он стал осыпать её комплиментами, отчего она сначала опешила, послушала его, потом также грустно посмотрела на Костю и больше не обращала никакого внимания на Тарабаркина. Его самолюбие было явно задето, и он предложил Косте рассказать про официантку всю её подноготную.

— Я их вижу насквозь.

— Ой, брось, Тарабаркин, ты баламут, несёшь околесицу и самое удивительное, что часть женщин клюёт на твою ахинею.

— Спорить не буду, я тебе говорил о своей проницательности. Итак, официантку зовут Диана.

— Это говорит лишь о том, что ты закончил первый класс, может даже без отличия, потому что тебя научили читать, у неё бейджик на кофту приколот.

— Она армянка, — не смущаясь, продолжил Тарабаркин, — стеснительно ломающая слова, подобно грубой стамески. Стружки летят со слов, падают под ноги, их топчут вновь входящие посетители, а она водит своими полными плечами, притягивает уже полнеющим телом взгляды сидящих, и пустыми глазами озирает окружение... лишь короткие телефонные звонки, с приседанием за стойкой, роняют короткие искры, но слишком короткие, чтобы оживить эти долгие, топчущие часы работы... Остаются бесконечные мечты, с тёплыми руками, ласкающие не только тело, но и душу девушки... К вечеру вновь будут грубые ласки хозяина кафе, больше схожие с похлопыванием породистой лошади, терзающим плоть своим остывающим телом... Грязный алюминиевый стол, заполненный запахами чуть тронутой баранины в складках мягкого металла, упёртые руки с мерзостным чувством пустой толкотни секса...

— О, Тарабаркин, да вы пиит! Пора браться за перо, — с удивлением покачал головой Костя. — Есть элемент оригинальности, но всё выдумки.

— Выдумки, говоришь, нет, это жизнь, которая не редко закручивает так, что писатели превращаются в блёклых писарей, — Тарабаркин махнул рукой официантке, что бы заказать очередную порцию водки. — Смотри, вон сидит пара, ему лет тридцать пять-сорок, он в

седле жизни. Да причём тут седло, он чувствует себя не столько седоком, сколько жеребцом, несущимся по жизни, не понимая, что жизнь уже затянула поводья и путь его только в одном направлении, как бы он не метался, сколько бы он не рвал узду, путь ему в душное стойло офиса, с тесными затёртыми стенками, где совсем недавно сдох его предшественник. Ему не вырваться, придётся ткнуться мордой в затхлые ясли наполненные подгнившим сеном долговых расписок, договоров, рекламных проспектов, а на дне его остатки от предыдущего покойника в виде мелких бумажек с пометками. Да и запах терпкой волной обдаёт бока, затхлый, отдающей прокисшей капустой.

— Какой ужас! Может остановишься, твои литературные изыски меня пугают.

— А она... — продолжал Тарабаркин, не обращая внимания на Костю, — уже прошла её молодость, ей за сорок, модная причёска, дорогое платье, можно бы и дороже, но..., глубокие впадины вдоль рта, дорога к прищепкам, стягивающих складки кожи, хотя её ещё тешит надежда его иллюзорной любви, словно дым кальяна, замутняющий разум, но трезвая действительность давит под ложечкой, хочется быть обманутой... «ты меня любишь?» «Странный вопрос...». Значит нет, где же пачка с сигаретами? Конечно с дорогими... «Нам пора» — он лениво встаёт, мнёт плечами свой модный пиджак и смотрит сквозь неё. Тяжело, пронзительно больно, будущее ясно, но трудно отказаться от него, хотя всё определено... ему лететь в душное стойло, ей... в пустоту.

— Опять луста, — Костя повернулся, посмотрел на пару, они в самом деле встали, он брезгливо бросил деньги на стол и, не обращая внимания на спутницу, направился к выходу. Она поправила волосы, выдохнула «Вот козёл», быстро пошла за ним.

— Скажи, что я был не прав.

— Всё может быть.

Вечером Тарабаркин решил ещё раз взять штурмом кассу, но безрезультатно. Тогда они кинулись на перрон к подошедшему «Томичу». Костя пробежал вдоль поезда, предлагая всем крупные суммы, только чтобы их взяли, но проводники с опаской оглядывались, отворачиваясь от него. Тогда он решил проситься не до Нска, а хотя бы до Вологды. И вроде одна проводница дрогнула, стала раздумывать.

— Вы ничего не теряете, только приобретения, — вещал Костя, а пьяный Тарабаркин молча покачивался за его спиной. Этот субъект и смущал проводницу.

— А вдруг проверяющие? — неуверенно произнесла она.

— Какие проверяющие на одном прогоне, мы четыре часа где-нибудь перекантуемся, а в случае проверки вывалим в тамбур и на вас даже тень подозрения не упадёт. — Шансин чувствовал, что она сомневается, и уже почти сломалась, осталось немного добавить, но нужно аккуратно. Проводница поднялась на ступеньки вагона, опустила перегородку, пристально рассматривая цепь вагонов, видимо пытаясь засечь контролёров.

— Ладно, — проговорила она, — но только до Вологды. Когда я скажу... — но не успела она закончить свою речь, как Тарабаркин по-

дошёл к вагону, поднял руку и оттянул край её юбки, она как раз стояла над ним. Заглядывая в подюбочное пространство, он мрачно покачал головой и, не отпуская край, повернулся к Шансину философски заявляя.

— С этим, она нас не возьмёт, — он кивнул головой вверх. Первой в себя пришла проводница, она заорала, как пожарная сирена. Костя увидел, что милицейский патруль, лениво прохаживающийся у средних вагонов, кинулся в их сторону. Шансин, схватил за шарф Тарабаркина, крикнув ему, чтобы тот не останавливался, и они скрылись за ближайшими строениями. Сделав большой круг, они подошли к вокзалу с другой стороны. Костя был мрачен, и когда Санька попытался его растормошить, он остановился. посмотрел на это пьяное создание и, криво улыбаясь, спросил.

— Что ты там увидел?

— Лозунг.

— ???

— Обычный лозунг, яростно призывающий, но за ним там был только печальный звон, в общем безрадостная картина.

— Печальный звон под юбкой проводницы или у тебя в голове? — Костя смотрел на Саньку с подозрением, не подкралась ли белая горячка к буйной голове друга. — Твоя пронизательность переходит все границы, даже недозволенные, я уже говорил, что в тебе умер пиит, его труп смердит, как первый секретарь обкома, и мешает окружающим жить.

— Знаешь, я устал, давай оставим обмен любезностями до завтра.

7

Глубокой ночью, у дальнего перрона стоял поезд, идущий до Вологды. Эдакий труженик, подолгу останавливающийся на всех остановках и разъездах. Они вошли в общий вагон, сели у окон, но вторые полки, где можно было поспать лёжа, уже были заняты. Тарабаркин от последнего бурных дней истончился, стал тихим, похожим на провинциального бухгалтера. Как только он сел, прислонил голову к оконной раме и сразу погрузился в небытие. Костя тоже безумно устал, но долго не мог уснуть, слушая деловитый шум садящихся пассажиров на полустанках. И только глубокой ночью он провалился в сон. Проснулись они поздним утром. Вагон был переполнен, багаж было некуда ставить, отчего весь проход был завален узлами, чемоданами, сумками. Костю удивило спокойствие и неспешность народа, а речь, как тихая прозрачная речка, катящая свои воды по округлым камешкам выпуклых «О». Окали все, Шансину даже показалось, что у одной девочки, сидящей на коленках маленький барбосик тоже окал, шустро облизывая свой дерматинный носик. Было в этой речи, удивительно кристальной чистоты, столько умиротворения, благости, спокойствия. Рядом с ними сидела молодая женщина с тремя детьми, она безмятежно рассказывала им какую-то историю про родственницу, при этом выкладывала нехитрую снедь на чемодан. Шансин предложил ей сесть у

столика, поближе к окну, но она улыбнулась ему, попросила не беспокоиться, им не привыкать питаться на узлах да чемоданах. А когда Тарабаркину и Косте проводница принесла чай, равнодушно заявив, что никакой еды у них не предвидится, то женщина положила перед ними платок с варёными яйцами, а рядом свёрток с салом. Шансин хотел отказать, но она посмотрела на него как старшая сестра, не принимающая никаких возражений. Плавность её движений зачаровывала, аккуратная, она с лёгкой усмешкой отчитывала детей, раскидывающих скорлупу по полу. С ними ехал молчаливый старик и мужчина, как потом выяснилось сосед по дому, ведь жили они в барачных домах, которые строили железнодорожникам на каждом полустанке. Тарабаркин съел яйцо, положил тонкий ломтик сала на хлеб и блаженно принялся пить чай, прикрывая глаза.

— Я тебя не узнаю, неужели неистощимый бунтарь сдулся? — с наигранной тревогой спросил Костя. — Может тебе надо похмелиться?

— Не расстраивай меня, видишь я блаженствую, — Тарабаркин откинул голову на стенку купе и, отхлёбывая чай, смотрел в окно вагона. Поезд шёл медленно, с такой же неспешностью перестукивая колёсами на стыках. — Знаешь, учёный, — продолжил он, — я вот смотрю на этих людей и меня переполняет радость. Ведь уметь так жить полно, наслаждаться каждым мгновением, мы городские суматошные людишки не можем. А послушай какая речь, музыка, поэтому оставь меня, не нарушай идиллию, может быть на том свете тебе воздастся за это.

Костя ничего не сказал, также откинулся на стенку вагона, отхлебнул сладковатый чай, прикрыл глаза и со стаканом в руках задремал. На одном полустанке что-то изменилось вокруг, появилось нечто чужеродное, шумное, словно в ручей бросили кусок ржавой рельсы, замутив воду. В вагон садилась шумная компания молодёжи, похоже студенты с какой-нибудь очередной практики. В основном были девочки, парней Шансин насчитал всего двоих, один в круглых очочках тащил увесистую сумку. За ним шла высокая красивая девушка, властно указывающая ему куда идти, где садиться, что делать. Второй парень высокий красавец с вымученным лицом страдальца за своё собственное тело. Они заняли соседнее купе, откуда до этого вышла тихая компания односельчан, осталась лишь подслеповатая старушка, попивающая чай да колушающая нескончаемое яичко. Студенты быстро освоились, громко разговаривая, они потребовали всем чаю, достали свои пакетики с едой, свалили их на стол, приступили к еде. Над всеми доминировал парень красавец, он нарочито громко рассказывал незатейливые истории из практики, обсуждал преподавателей пединститута, рассказывал о своих скромных подвигах, как о нечто невероятном. А когда он стал вещать о своём распорядке дня, а именно об утренней зарядке, то произошёл небольшой конфуз, свежей струёй влившей дремавшие силы в Тарабаркина.

— Чтобы быть всегда в форме, я делаю каждый день по две, а то и три зарядки. Хотя главную, конечно утром. Для начала я бегу в душ, люблю, чтобы он был как можно попрохладней, а лучше ледяной.

— Ой, Вася как можно утром под ледяной водой стоять, — защебетала рядом сидящая девица, — я бы умерла бы от страха только при одной мысли.

— Посмотри на меня, думаешь легко держать такую форму, — он сложил руку, показывая ей свой бицепс, — нужно закалять себя с малых лет, а потом строго следовать распорядку, тогда можешь многого добиться. Так вот, утром я принимаю холодный душ, тонус сразу поднимается, аж до подбородка, и тогда я на улицу, нужно обязательно пробежать не меньше пяти километров кросса.

В это время подслеповатая бабушка дёрнулась, роняя чайную ложку, которой она колупалась в яйце, посмотрела маленькими бесцветными глазками на парня, и сердобольно воскликнула.

— Чой то ты милоч, с поднятым тонусом по улицам бегаешь, так, не ровен час, и сломать не долго, уж потом девицы на тебя даже смотреть не будут. Поберётся бы.

Девушки дружно приснули от смеха, Тарабаркин подскочил петухом, мужики на соседних полках дружно хмыкнули, а женщины с интересом повернули головы в сторону рассказчика, вытягивая шею, пытаясь разглядеть супермена. После этого случая парень замолчал, надулся как мышь на крупу, и больше никого не беспокоил до самой Волгоды.

— Вот, господин Шансин, такое может произойти только в вагонах общего назначения, — негромко заявил Тарабаркин. — И главное, ведь старушка от чистого сердца, она переживает за эту дубину. Представляешь каково ей, ведь её воображение нарисовало картину, схожую с битвой Самсона с Галиафом, а если ей приснится молодой человек, бегущий по бульвару с поднятым тонусом, да упаси Боже.

Косте было благостно и весело, он не стал ему отвечать, лишние слова могли разрушить это чудное состояние. Под вечер они прибыли на вологодский вокзал, купили билеты и уже через час сидели в скором поезде, следующем далеко на восток нашей родины. Поездка прошла спокойно, без приключений, за единственным исключением. В Омске к ним подсели два молодых человека, изображавших крутых бизнесменов, а когда Тарабаркин завёл речь о выдающемся учёном, один из них, с сомнением рассматривая потёртый пиджачок Шансина, спросил, сколько он получает. Услышав цифру в районе пяти тысяч, они с уважением хмыкнули и забрались на верхние полки, причём не разуваясь, демонстрируя одинаковые ботинки жёлтой кожи.

— Знаешь, Санька, — прошептал Костя, — мне показалось, они решили, что пять тысяч это не рубли, а доллары.

— Понятное дело, — усмехнулся Тарабаркин, — ведь общеизвестно, что великие русские умы только в долларах получают свою зарплату, зачем им размениваться на деревянные.

— Твой сарказм неуместен, а вот то, что я вернусь домой без гонорара, это печально, хотя часть я оставил домашним, но другую они тоже распланировали.

— Не дрейфь, у меня ещё осталась заначка, так и быть поделюсь.

— Вот ответь, почему мне после твоих слов пришли строчки стихотворения Николая Рубцова?

Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напысью,
Как зверь вечерний!

Почти всегда, когда свяжусь с тобой, я становлюсь похожим на вечернего зверя?

Тарабаркин не ответил, лишь вздохнул, посмотрел ему в глаза с какой-то робкой безнадёжностью.

Крапчатая птица жёлтой тоски

И мёртвым предкам непостижима
Потомков суетная речь...

В. Ходасевич

1

Встреча Нового года прошла как обычно шумно, в суматохе, чревоугодии, словоблудии и пьянстве. Через неделю Драперович остро почувствовал своё сиротство, вселенскую брошенность, никчемность существования, бескрайнюю незащищённость и возвышенное желание к творческому бродяжничеству. От чего впал в растерянность, апатию, равнодушие к окружающим, что породило страх близкой кончины. В довершении к этой картине в нём пробудились крепкие ростки одержимости. Тогда сказал себе, что он редкостная сволочь, посему решил с такой жизнью покончить раз и навсегда. Спешно скидал вещи в мешок, туда же засунул краски, мольберт, прихватил этюдник, початую бутылку столичной, кусок салями и ушёл искать скит для праведной жизни. Друзья подумали, мол очередная блажь творца, поболтается по знакомым, да вернётся, но через неделю забеспокоились, а когда по прошествии месяца Драперович так и не появился, решили подавать во всероссийский розыск. А пока собирались да рядили, кто пойдёт с заявлением в милицию, Тарабаркину пришла открытка из далёкого алтайского посёлка Усуньчак. В открытке коротко излагалось, что он, то есть Владимир Драперович, художник от Бога, философ от генерального секретаря, праведник от великой генетики, поселился в деревянном доме в центре посёлка районного значения, пишет картины гендерной направленности, безмерно блаженствует, наслаждаясь прелестями жизни.

— Интересно, — задумчиво разглядывая открытку с неказистой розочкой в мутной бутылке, задался вопросом Георгий Илларионович, — прелести две или три?

— Может она одна, но большая, — предположил Цитатник, — эдакая доярка-прелесть на сто пятьдесят килограммов.

— По вашим описаниям это не женщина, а настоящий баннобулочный комбинат. Решительно откормит, отпарит, поимеет и, заметьте, всё по последнему слову лженауки, — куражился Шансин, принохиваясь к открытке.

— В этом мире всё может быть, особенно с нашим художником, — как-то обречённо согласился с ним полковник.

— Если дела обстоят именно так, как вы предполагаете, — засуетился Видлен, — то друга надо спасать. Тяжесть бытия, сытая праздность, сдобренная теплом обильного тела может сломить творческую душу, пора наведаться в этот самый Засунычак.

— Усунычак, — поправил его Шансин, — это на Алтае. Года три назад я там был. Помню, пока ехали меня очень удивило одно рекламное объявление в каком-то районном посёлке. Эдакое аляповато броское под крышей двухэтажного сарая «Натуральные женщины. Традиционное немецкое качество с Алтая». Первоначально мне показалось, что Алтай это область Германии, где-то в Саксонии, потом подумал почему женщины, да ещё натуральные? Всё оказалось банально, это был секс-шоп и речь шла о каких-то латексных бабах, чисто органических.

— В таком случае наше решение верное, — полковник тяжело поднялся из-за стола, решительно опёрся кулаками о столешницу и, словно разглядывая карту будущего сражения, твёрдо заявил, — завтра собираемся, поутру отправимся в путь. Поедем вчетвером, я, Видлен, Костя и... — он с сожалением старого мерина посмотрел на Тарабаркина, вздохнул, добавив, — куда ж без тебя.

— Могу не ехать, — обиделся Санька, — тоже мне важность. Хотя имейте ввиду, раньше у меня там был филиал фирмы, так что я знаю все ключевые личности района.

— Не ерепенся, — строго оборвал его Илларионович, — тебя не построишь, совсем распустишься, а у меня не забалуешь. Сгребай шмотки, утром чтоб прибыл на чистом глазу, без выхлопа, причёсанный, выглаженный, выезжаем в пять.

— Когда?!

— Не рассуждать, дорога трудная, пока из нашего города вылезешь, да переберёшь все пробки, осатанеешь, лучше пораньше встать и выскочить по холодку.

— С вышестоящими, а также старшими по званию не спорить, устав внутренней службы! — гордо вздёрнулся Цитатник.

— Тебя это тоже касается, — загремел полковник, сдвинув брови, — имейте ввиду, от кого будет нести перегаром, не возьму, на трассе сейчас каждую собаку на выхлоп проверяют, могут даже в задницу трубку засунуть, в качестве новогоднего подарка, так чтоб и там всё без запахов!

— Последнее обстоятельство трудновыполнимо, а вдруг я капусты с молоком наемся, тогда не обессудьте! — принялся рассуждать Тарабаркин, хитро скалясь.

— Разговорчики в строю! Марш по домам, к отъезду быть готовыми! — полковника было не удержать, ему явно командирская вошь под шлею попала, теперь выход один, беспрекословное подчинение.

Эта ночь была тревожной, сумбурной, наполненная дурных предчувствий, поэтому почти все в преддверии предстоящего путешествия спали плохо. Георгий Илларионович, повертевшись в кровати с боку на бок, поднялся в два часа, сел у окна, закурил, разглядывая огни на крыше соседнего дома, да так и просидел до пяти утра, вспоминая

прошлые годы. Его память давила как гидравлический пресс, не давая покоя телу, которое беспрестанно вздыхало, а бывший полковник буд-то сидел в стороне и наблюдал за этой странной картиной, — он, пельница и окно, — романтика, едрить её в дышло.

Шансин с вечера углубился в статьи, а потом его возбуждённый мозг не мог утихомириться, скакал по научным проблемам как колхозный козёл по капусте, которого кто-то по недосмотру запустил в огород. У Цитатника, пока он ехал домой, внутри кто-то жалобно заскулил, заскрёбся, оцарапывая старые душевные раны. А когда он добрался до своей комнатухи, умылся и завалился в кровать, то тут нашло, можно сказать накрыло суетное беспокойство по поводу прочитанного в прошлые годы. Перебирая в уме цитаты, он сбился и никак не мог вспомнить в каком томе полного собрания сочинений Ленина были такие строчки: «Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте». Знал точно, что это обращение к Луначарскому, но когда и где? Вопрос его мучил долго и непрерывно, подобно червяку в яблоке выгрызал у него внутреннее спокойствие. С этой завязшей строчкой он задремал. И увидел во сне похоронную процессию, в гробу лежал Драперович в полосатой пижаме, в обнимку с контрабасом, в первых рядах вышагивал он сам, Видлен Афанасьевич, держа громадный плакат, намалёванный на старой простыне. На ней кровавой краской было написано «Всех актёров в гроб!». За спиной кто-то шуршал газетой, сипло повторяя: «Ильичу ничего не говори, расстроится». Проснулся в поту от назойливого дребезжания будильника, но перед глазами ещё долго маячили красные буквы плаката и бледное си-нюшное лицо покойника.

Один лишь Тарабаркин, пришёл домой, принял пятьдесят на грудь, нарушая наставления бывшего полковника, и мгновенно заснул, только коснувшись ухом подушки. Но некая волна беспокойства, накрывшая его друзей, также не оставила Саньку в покое, сначала лёгким морским прибором омыла его мозг, а потом разбушеввалась. К нему пришёл сухопарый мужичонка в мятом поварском фартуке с буквами, сказал, что он есть указ о назначении его, Александра Тарабаркина, президентом России и всех прилежащих земель. И сразу же Санька услышал свой голос, какой-то чужой, но строгий, отеческий, с нотой назидания. Голос рождался во всех вещательных аппаратах от телевизоров до компьютеров и телефонов, отражаясь гулким эхом во всех унитазях страны.

— Повелеваю всем россиянам быть счастливыми! Правительству принять неотложные меры по выполнению майских указов, несчастных пороть без меры, регулярно и прилюдно. Осознавшим себя счастливыми давать талоны на отмену порки, а также прибавку к пенсии в размере ста рублей пожизненно.

За спиной зашкварчало радио хором с телевизором, бодрый голос из динамиков сообщил, что министерство науки и высшего образования во исполнения весенних указов президента уже приступило к порке преподавателей и научных сотрудников в количестве четырёхсот штук в неделю, но это не предел, руководство различных университе-

тов, академий, институтов берёт на себя повышенные обязательства. Передовики со спущенными штанами и задранными юбками уже встали в очередь на показательную порку, дабы собственным примером воодушевить студентов. — Что за бардак!? — возмутился Тарабаркин и сон с него слетел как курица с насеста. Санька вскочил, пощупал усы, сплюнул, и решил, что больше спать не будет, потом понял, торопливыми решениями проблемы не решить, тогда пошёл умываться, да и время было уже на излёте, пора вливаться в спасательную экспедицию, Драперович долго ждать не сможет, определённо сломается.

2

К пяти часам у дома Георгия Илларионовича рядом с его боевым запорожцем в кучку сбились три тени, одна из них курила, непрерывно бурча, другая бросала короткие реплики, похожие не послереволюционные лозунги, третья, сутулясь, молчало. Но как только открылись двери подъезда и оттуда в снопе света появился полковник словно ожидаемое вышестоящее небесное явление Голливуда, тени ожили, обрели телесное.

— Что ж, — мрачно разглядывая друзей, произнёс Георгий Илларионович, — уже радуется, что вовремя нарисовались, надеюсь твёрдые?

— Аки стёклышки, — бодро подхватил Тарабаркин, — но душа требует облегчения, сочувствия, а также тёплого слова, чтобы дорога была как кремлёвский ковёр.

— Разговорчики, — проговорил полковник, но как-то без надлежащей строгости, что сразу же привело к повышенному оживлению Тарабаркина, он встряхнулся как петух на заборе и пошёл в наступление, топорща свои прокуренные усы как боевой таракан.

— Всемерно вас поддерживаю, но учитывая тяжёлую ситуацию, можно сказать почти фронтовую, а также предстоящие нелёгкие бои в долгой дороге, предлагаю вспомнить исторические аномалии и параллели.

— Ты это о чём? — мрачно уставился на него полковник с опаской разглядывая всех троих.

— В первые годы войны, товарищ Сталин, по подсказке верных соратников, подписал указ о ста граммах.

— Вот тут неувязочка, — потирая руки, вступил в разговор повеселевший Видлен Афанасьевич, — впервые паёк ввели ещё в финскую по инициативе Клим Ворошилова, отчего тогда появилось название «ворошиловский паёк» или «наркомовские сто грамм», но к водке полагалось ещё пятьдесят граммов сала.

— Сало тоже есть, — подхватил его слова Санька, достал маленькую бутылку «чекушку» водки и свёрток, положил на капот горбатого.

— Да, — не унимался цитатник, лихо разворачивая свёрток с салом, — но в Великую Отечественную, подобное постановление было подписано в августе сорок первого, сто грамм на красноармейца и начальствующему составу войск первой линии действующей армии.

— Вот, — неопределённо качнул головой Шансин в знак согласия.

— Что значит твоё «вот»? — закрутил головой полковник, словно барбос окружённый бешеными котами.

— А то и значит, что это святое постановление вошло к нам в кровь, за нарушение коего полагается небесная кара самого генералиссимуса, зорко следящего за нами с небес, — пальцем в вверх ткнул Тарабаркин, пытаясь не потерять инициативы, — то есть перед началом важных дел, как перед атакой, надо выполнять постановление Совета народных комиссаров, накатить по маленькой дабы не накликать беды бдящих комиссаров.

— Ой, да делайте что хотите, — неожиданно легко сдался Георгий Илларионович, обречённо бросая сумки в багажник автомобиля.

Тарабаркин быстро схватил бутылочку, в народе прозванной «мерзавчиком», лихо откупорил, из кармана достал пластиковые стаканчики, поставил их рядом со свёртком на капот машины, разлил водку. В это время Костя достал ножик, накромсал сало и вытянулся верным караульным. Цитатник от возбуждения слегка подпрыгивал, первым схватил стаканчик, поднял его над головой.

— За всё предстоящее!

— Уж пили бы за всё хорошее, — пробурчал Илларионович.

— А я согласен с Видленом Афанасьевичем, — вступил в поддержку Цитатника Санька, — нельзя отказываться от будущих событий, ведь даже плохие обязательно обернутся чем-то для нас хорошим, ну, по крайней мере, украсят нашу серую обыденность.

— Хватит разглагольствовать, — взял себя в руки полковник, — заглотили свою гадость, какужи лягушек, и по местам. Прекратите пользоваться мой аппарат не по назначению.

— Всё верно, — утирая губы, проговорил старик Цитатник, прихватывая кусок сала из свёртка, — как говорил великий вождь пролетариата, товарищ Ленин, он же в быту Ильич, «...советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».

— Правильно, — согласился с ним Тарабаркин, доставая из-за пазухи следующего «мерзавчика», — нам не надо «идиотской волокиты», нужно продолжить и углубить, это уже классика советской истории новейших времён.

— Прекратить расхолаживать личный состав! — закричал полковник. — Все по машинам! А то я вам устрою волокиту и заговорщиков, точно поставлю к стенке, раздавлю каждого без очереди доньшком бутылки.

Цитатник спешно смёл остатки сала с капота, спрятал стаканчики, а Санька недоумённо посмотрел на бутылку, держащую в руке и спросил.

— А почему по машинам? Ведь у нас один автомобиль.

— Молчать! — рявкнул Илларионович. — По местам! Трогаемся, оставшихся бросим в канаву. Имейте ввиду, закапывать не будем, они пойдут по спискам дезертиров.

Свежая бодрость покинула друзей, они уныло полезли в машину. Полковник шумно втиснулся за руль, нажал на кнопку стартера и «горбатый» хрустко рыкнул двигателем, но не завёлся.

— Похоже стартер навернулся, — деловито заметил Шансин, но под испепеляющим взглядом полковника, виновато добавил, — ничего страшного, можно с толкача завести.

Тарабаркин сразу же выскочил из машины, за ним Цитатник с Костей, они пристроились за автомобилем и под короткую команду Саньки толкнули машину. Она прокатилась метров пять и полковник включил коробку передач. «Горбатый» дёрнулся, рыкнул, но тут же завёлся. Когда друзья садились обратно в машину, Илларионович гладил «Запорожец» по панели, приговаривая, «Птичка моя». Это выглядело настолько искренне и трогательно, что даже Тарабаркин воздержался от лишних комментариев.

На выезде из города их остановил дорожный патруль. Георгий Илларионович показал им кроме водительских прав ещё ветеранское удостоверение, добавив жестко, что он ушёл в отставку с генеральской должности. Обескураженные милиционеры невольно вытянулись, взяли под козырёк, пожелав счастливого пути.

— Вот что значит военная выучка у нормальных людей, — довольно заметил полковник, переключая скорость.

— Ох, скажите тоже, — вздохнул Тарабаркин, — им ведь тоже людское не чуждо.

— Ты на что намекаешь? — напустился Илларионович. — На нарушение устава или не соблюдение субординации.

— Нет, упаси меня от таких непристойностей, даже в мыслях не было, — потёрся об воротник своей шубейки Санька, — я про другое, вокруг нас люди в большинстве своём неплохие, хоть иногда совершают недостойные человека поступки, но это всё от шумного ветра вольности, гуляющей в их головах, что есть нормально для обычного человека, даже если он милиционер при исполнении. Вот, к примеру, все слышали, что «зэки» могут проиграть в карты какого-нибудь человека, потом с ним что-нибудь сотворить, вплоть до убийства. А ведь это всё от задорного ветра в голове, дерзости духа, и такое, но в более мягких оттенках, может произойти с каждым. Вот меня один раз проиграли в карты милиционеры, если быть точным — гаишники.

— С этого момента поподробней, — повернулся к нему Шансин. Старик Видлен от любопытства засопел, а Георгий Илларионович откинулся на подголовник, приготовясь выслушать очередную байку Тарабаркина.

— Было это года три назад, один знакомец уговорил меня поехать с ним в городок затерянный в степях Алтая по срочным делам, то ли он собирался жениться, то ли развестись, то ли купить корову, что однозначно. Хотя судя по его настрою, он пытался совместить все эти дела, но не о нём речь. Возвращались мы ночью, спешили. Он перед выездом прилично накатил по причине провала всех планов, поэтому отключился на заднем сиденье, храпел так жутко, что двигатель машины периодически сбивался на чих, а мои нервы начали сдавать. Поэтому стали меня посещать дорожные видения, то столб присядет как девица Смольного, изображая книксен, то заяц у обочины важно поглядывает первым секретарём обкома, раздувая щёки до брежневских размеров, в общем дорога приобрела основательную тяжесть. А тут впереди за-

маячил пост госавтоинспекции, то бишь ГАИ. Подъезжаю, вижу штук пять патрульных машин робко сбились овечьим гуртом у здания, рядом стоит кучка самих инспекторов, ржут как кони, покачиваются, друг друга по спинам хлопают. Я, грешным делом подумал, что у них пионерский слёт, в смысле милицейский, я даже попытался разглядеть среди них горниста, как же слёт без трубача. И тут вдруг один из товарищей с погонями, выходит к краю дороги с явным намерением остановить меня. Не люблю я такие моменты, тем более у меня на заднем сиденье храпящее благоухание, думаю унюхают, ко мне привяжутся. Начал шептать колдовские слова — «В будку барбос! В будку!» Знаете, часто помогает, но не в этот раз. Инспектор слов не услышал, тем более не прочувствовал мой ярый запал, решительно шагнул в мою сторону, остановился у края дороги, слегка наклонился, вставил полосатый жезл себе в глаз, после чего принялся махать головой с жезлом. Эдакий нервный семафор с перепитья дореволюционных времён. Я сразу понял, что пора остановиться и поспать, уж такое даже присниться не должно, потом понимаю, что всё это реально, слышу шум мотора, храп на заднем сиденье, чувствую движение. Останавливаюсь, открываю окно, протягиваю документы, а гаишник мне заявляет: — Убери свои бумажки, я тебя просто в карты проиграл.

За ним толпа сослуживцев заржала как табун сивых коней на случке. Я же ничего понять не могу, хлопаю глазами, вот тогда двое инспекторов подходят сзади, садятся на багажник моего несчастного «Жигулёнка» и начинают раскачивать, весело гикая, как пацаны на качелях, закинув свои автоматы на спины.

— Езжай, тебе говорят, а то они стойки поломают, — похохотавая, заявил милиционер, который меня проиграл. Я медленно тронулся, но инспектор крикнул «Газуй!», тогда я рванул по дороге. Вижу эти двое свалились прям на асфальт, ну думаю, теперь догонят, побьют. Но нет, они остались лежать и хохотать.

— Сразу видно, прилично приняли ребята, — заметил старик Видлен.

— Не без этого, — согласился Санька.

— Может ещё косяка даванули? — предположил Костя.

— Вряд ли, — засомневался Илларионович, — у них за выпивку то дерут, хотя могут и простить, а вот за косяк, поймают без вариантов.

— Хм, с нашим Тарабаркиным постоянно случаются истории в которых обязательно появляется милиция, — Шансин с интересом посмотрел на Саньку и спросил, — помнишь как после поминок ты залез в патрульную машину?

— С трудом, да и то, только с твоих слов, а ты ведь можешь приврать, с тебя станется, — поёжился Санька.

— Это было во время поминок одного известного профессора. К нам приехал полковник из военного госпиталя, привёз два литра водки без ничего. Закуской у нас служила старая селёдка, пожелтевшая как вокзальная путана от перекиси, булка хлеба и баранина, то есть кожушок полковника, кинутый им на соседний стул, он им занюхивал каждую стопку, приговаривая, мол хорош был баран, наваристый. Тарабаркин от такого коктейля чуть не помер, благо решил уехать, но

полковник уверял его, что сейчас приедет служебная машина с бойцами, всех развезут по домам, но наш комбинатор решил двинуть своим ходом, чувствуя, что ещё одна стопка и его можно будет похоронить на институтской клумбе. В растрёпанных чувствах он скрылся за дверями, но через минут пять вновь появился, без предисловий опрокинул стопку водки и заявил, что перепутал машины, сел в милицейскую патрульную, отдав приказ, везти его домой. Милиционеры со смешанным чувством удивления и сарказма посмотрели на него, вот тогда Тарабаркин строго им напомнил, что это распоряжение самого полковника. Патрульные растерялись, один из них робко попросил назвать адрес. И тут Тарабаркина осенило, что это не военные, а совершенно из другого ведомства, где могут без проблем набить морду, отнять деньги, как водится в нашей родной милиции, ведь она нас бережёт, а, как известно самое страшное зло, это деньги. Поэтому у нас на страже всегда стоят достойные личности, готовые с лёгкостью закрыть вас своей плоской грудью от любой суммы, желательно большой.

— Правильно, — встрепенулся задремавший Цитатник, — главный лозунг нашей милиции «Чутко относится к жалобам и заявлениям трудящихся!»

— Не отвлекайтесь, Константин, — Илларионович резко крутанул баранкой, пытаясь объехать пробойну на дороге, — а ты, Видлен Афанасьевич, прежде проснись, а уж потом говори.

— Ах, да, — схватился за слетевшую шапку Шансин, их «горбатого» порядком тряхануло, — Тарабаркин, как всегда остался на высоте, первым сообразив кто есть кто, он заявил, что пойдёт звонить полковнику, и что им сейчас надерут не только погоны, но и задницы. Я не поверил, тогда этот известный в широких кругах авантюрист, предложил выйти из института, осмотреть временную достопримечательность их двора, то есть патрульную машину. И когда мы вышли на крыльцо, а наш Александр вскинул руку в сторону автомобиля, почти как Владимир Ильич на известном транспортном средстве, усы и бородака прилагаются, то патрульный, топтавшийся рядом с открытой дверью, влетел в машину, что-то крикнул, «уазик» взревел и рванулся со двора. Мне с пьяного глаза показалось, что мчался он на задних колёсах. Эдакий необъезженный конь.

— Любите вы, молодые люди, — заскрипел Видлен, — насмеяться над представителями власти. А ведь без неё не было бы великой страны.

3

Вскоре в машине все заснули под мерное урчание «Запорожца». Кузов автомобиля прилично проржавел, отчего из многочисленных дырок поддувало, печка в машине не справлялась, но закутанные в одеяла, которые лежали в салоне, надвинув шапки на глаза, друзья мирно дремали. Страдал лишь водитель, Георгий Илларионович, и не только от того, что спящие невольно нагоняли на него сонливость, но и от холода, ему в бок постоянно дуло, и как только он не пытался прикрыться, через несколько километров с него сползло старое одея-

ло, обнажая бок боевой шинели. В конце концов наш полковник окончательно не только промёрз, но и простыл. Непрерывный чих, кашель, сморкание перекрывали храп, сопение спящих.

К позднему вечеру когда подъехали к Усуньчаку полковник уже вёл машину как сомнамбула. Остановились на краю посёлка, он откинулся на спинку сиденья и сказал, что дальше ехать не может, а грудь раздирает от кашля и боли так, что пора его хоронить в сугробе.

— Не надейся на геройскую смерть, — заявил Тарабаркин, — у меня в этом селении есть некоторые знакомства, в том числе лечебной направленности, подкатывай вон к тому крайнему домишку, там живёт знатный знахарь мужицких простуд и прочих недугов.

Полковник хотел возразить, но кашель сломил его волю, он подкатил к калитке, Санька выскочил, открыл ворота и велел въезжать. На крыльце тут же появилась женщина, прикрывая плечи платком. Она мягким, но сильным голосом спросила:

— Кого это мне принесло под самую ночь?

— Это я, Пелагеюшка, — Крикнул Тарабаркин, — не забыла своего сорванца?

— Ой, Шурик, ты ли это?! — хозяйка шустро спрыгнула с крыльца прямо в объятья Саньки. — Как же я могу тебя забыть, касатик ты наш.

— Ого, какие отношения, на самом высоком уровне, — удивился старик Цитатник.

— Я к тебе с просьбой, — Санька мягко отстранил женщину, — наш друг, товарищ, соратник по борьбе с бездорожьем, Георгий Илларионович, получил серьёзные ранения, в виде тяжёлой простуды. Нужна беззаветная помощь ласковой отзывчивой души.

— Шурик, когда я тебе отказывала? — широко улыбнулась Пелагея, поправляя пышный бюст. Её шуршащие юбки ввели старика Цитатника в состояние лёгкой протрации, он потянулся к большому дорожному телу, закатив глаза.

— Так, Видлен Афанасьевич, — Тарабаркин твёрдой рукой отстранил Цитатника, — вы здоровы, как племенной бычок, берегите силы, вам ещё общаться с Драперовичем, оттачивайте свои цитаты, готовьте лозунги. Я, дорогая Пелагея, хочу отдать в твои руки самого драгоценного члена нашего коллектива, вождя, настоящего полковника, — он быстро махнул Шансину и тот стал помогать Илларионычу. Краснощёкая Пелагея, как увидела большого мужчину, стала нервно прибирать свои кудряшки под цветастый платок, она легко подскочила к Косте, подхватила с другой стороны полковника, заворковала, словно голубка на жёрдочке. Илларионович попытался освободиться, но лишь смог оттолкнуть Шансина. Пышнотелая блондиночка не выпускала такого видного мужчину из своих рук. На крыльце он смог её немного разглядеть. Круглое лицо, светящиеся глаза зеленоватые с коричневыми крапинками, царапучие как кошачьи лапы, льняные волосы рассыпались по плечам, когда она зацепила платком за какой-то гвоздь в прихожей. И тело, отзывчатое, мягкое, манящее, с запахом лаванды. Илларионыч вдруг обмяк, полностью лёг на её руки, ласковые, но сильные, быстрые. Пелагее на вид было лет пятьдесят, а как

потом рассказал Санька, она уже лет десять во вдовах ходила. Бабка её, известная во всей округе травница, а злые языки поговаривали, что она ещё и ведунья, так вот бабка обучила её своему ремеслу, теперь Пелагея лечила травами хворых, да хромым, но особенно любила врачевать мужиков.

— Имей ввиду, — Тарабаркин ласково погладила её по круглому заду, — перед тобой стоит очень серьёзная задача, ответственная, можно сказать, что правительственного значения, в кротчайшие сроки поставить на ноги нашего мыслителя, мы без его отеческой руки, как беззащитные овцы, каждый волчара может схватить. Понятно?!

— Ой, Шурик, ты же меня знаешь.

— Поэтому привёл к тебе полковника на излечение, только не переусердствуй, мужику уже под семьдесят.

— Самый смачный возраст, — облизнулась Пелагея.

— С Илларионом разобралась, а случаем ты не знаешь художника Драперовича?

— Кто же не знает, этого малохольного мазилу.

— Как до него добраться?

— Погодь, — она выскочила на крыльцо, быстро перебежала двор, затем улицу и скрылась в соседнем доме. Через некоторое время она вытащила из дома сонного мужика, подвела к Тарабаркину.

— Вот, Шурик, помнишь Федьку, в прошлый раз ты его засранцем обозвал, и всё норовил зуб выдавить.

— Как же помню.

— О, Санёк, — оживился мужик, встряхивая пепельным чубом.

— Короче, Федька, заводи свой пепелац, отвези людей по адресу.

— Понял.

Поплутав по паутине улиц в центре посёлка на старом грузовичке, основательно промёрзнув в кузове, наконец в одном из тупиков нашли дом, в котором должен был жить Драперович. Это был двухэтажный деревянный барак, наполненный густым застоявшимся запахом старости, запахом спрессованных грехов прошлого, пропитавший каждый ржавый гвоздь в прогнивших досках. Сунулись в первую квартиру, в которой дверь была открыта, и наткнулись на сухого старика, тот сидел на краю кривоногой кровати у печки, переворачивая влажные подушки с застиранными мелкими васильками, похожие на голубины следы на матовом снегу. Сразу стало понятно, что спрашивать его было бесполезно, и они уже было собрались двигаться дальше, как из-за шторы, отделявшей угол у окна, высунулось конопатое личико мальчишки. Он задорно оскалился, хитро сузил глаза, проговорил: — Никак к художнику Володьке причадили? Так он живёт строго над нами, выше этажом.

Не успели они выйти из комнаты, как пацанёнок кинул им во след: — Коли начнёте пить, принесите мне конфет и колбасы, а то я с этим дедом цельный день не жрамши, а вы сейчас начнёте топтать ногами, да глотки драть как мартовские коты, мне с голодухи не уснуть. Понятно?

— Чего тут не понятного, — весело ответил ему Тарабаркин, — информация исчерпывающая, пояснений не надо, вот как распакуемся, товар для откупа доставим.

— Мне откупа не надо, — нахмурился малец, — мне поесть принесите.

— Не беспокойтесь, молодой человек, — поднял руку Цитатник, — дядюшка Видлен проследит.

— Вот суматошные, да ещё имена придурочные, — донеслось уже из-за шторы.

На втором этаже стены, за которыми должен был обитать Драперович, были исписаны мелом, красками, обклеена газетами, а на потолке роковая голая женщина с тремя грудями была выписана мастерской рукой художника, остальное, в том числе комментарии явно были оставлены почитателями его таланта. За незапертой дверью была навалена куча разнообразной обуви, поверх которой лежал бюстгальтер невероятного размера.

— Верной дорогой идём товарищи! — крикнул Тарабаркин, перепрыгивая через этот хлам. Он сразу попал в большую комнату, вдоль стенок стояли три кровати, в центре на высоком стуле возвышался Драперович с кистью в зубах, другую он держал в руке и выводил детали женского лица на холсте. Рядом с ним на столе стоял стакан, к которому была прислонена мятая фотокарточка, понятно, что сейчас он работал над халтурой. Художник Володя повернулся, увидел Тарабаркина, отпрянул и кистью почему-то перекрестил.

— Привет, бродяга! — заорал Санька. — Вынь свою кисть, а то будешь меня лобызать, можешь сотворить нежданчика, в виде мирового шедевра изобразительного искусства, только моя физиономия не совсем подходящая замена холсту.

За Тарабаркиным появилась радостное лицо Цитатника, он искренне обрадовался художнику, проскочил под поднятой рукой Тарабаркина и обхватил голову Драперовича, прижав её к груди, чмокнув в маковку.

— Живой! Невредимый! — запричитал старик Видлен. — Как мы тебе рады!

Его с трудом оторвал от художника Шансин, приобнял, потом хлопал по спине, добавив.

— Привет, старик! Вот и добрались до тебя.

— Правда с небольшими потерями, Илларионович простыл, мы его оставили у Пелагеи.

Кисть вывалилась изо рта Драперовича, он присвистнул, икнул, глянул на них рассерженной вороной, холодно проговорив.

— По этому поводу надо выпить, кто пойдёт со мной в магазин?

— С тобой мы можем пойти все и на всё! — из Видлена эта фраза выскочила как лозунг на маёвке.

— Учитывая гробовой, могильный приём, — Тарабаркин снял шубу, скинул на кровать шапку, — я остаюсь сторожить дом, а вы дуйте вторюём. И не забудьте про юное дарование с нижнего этажа, вернее про его заказ.

— Можешь не беспокоиться, — благодушие старика Видлена расплёскивалось во все стороны, он вновь ласково смотрел на Драперовича, но тот быстро вскочил, накинул пальтишко и потащил их на улицу.

Тарабаркин остался один, он решил осмотреть новое обиталище художника. Как это ни странно, но за следующим дверным проёмом он обнаружил кухню, а за ней ещё одну комнату, но чуть поменьше. С трудом нащупав выключатель, он включил свет и обомлел. Драперович не лукавил, он точно этот месяц непрерывно работал, вдоль стен комнаты были выставлены картины. Причём художник рисовал всё, от горных пейзажей с рекой Бией, натюрмортов в виде промысловых инструментов местных охотников, как и их добычи, так и портреты. Последних было очень много, некоторые были просто превосходны, особенно один небольшой портрет женщины, с истончёнными руками, включенными волосами, с безумно уставшими глазами. У одной стенки он увидел большое полотно обнажённой пышной женщины, Санька сразу признал её, — Пелагея. Она вульгарно выгнула спину, отчего её голый дородный зад выдавался на первый план и был похож на пухлую подушку, на одной её половине художник тщательно изобразил ценник, на котором можно было прочесть что-то про магазин уценённых товаров, чуть ниже красовалась этикетка с бутылки водки местного разлива. Сама Пелагея алчно смотрела с холста, сдавливая правую грудь мясистыми пальцами. Санька невольно сплюнул, повернулся и уже собрался уйти из комнаты, как его осенила одна мысль. Все картины были написаны в какой-то странной технике, вроде похожей на Драперовича, но было в них нечто таинственное. Он невольно придвинулся к одной из картин, долго рассматривал детали, пока не заметил, что она прокопчена. Так вот почему в комнате так сильно пахнет гарью, промелькнуло у него. В это время в соседней комнате зашумели, Тарабаркин двинулся на голоса.

Раскрасневшийся на морозе Драперович, уже выкладывал на стол яства, покрикивая на Шансина и Цитатника, раздавая ценные указания.

— Слушай, гений, — обратился к Драперовичу Санька, — отчего у тебя в соседней комнате пахнет гарью, и картины будто под утренней мглой от деревенских труб? Новый метод освоил, авангардное направление формируешь?

— Ой, не хаами, — отмахнулся от него Драперович, — пожар был у меня, небольшой, задымилась постель. Старая моя беда, бычок уронил.

— А что, новое направление, мглистый стиль, картина создаётся с помощью задымления от старого матраса.

— Не лей мне гадость на душу, сам ещё не отошёл от случившегося, столько работы, и всё коту под хвост. Сейчас вот сижу халтуру делаю, надо денег собрать, ремонт комнаты оплатить.

— Кстати, коллеги, — Тарабаркин взял бутылку с водкой откупорил её и, разливая по стопкам, рассказал одну историю, — с нашим художником всегда происходят странные события, многие из них мистические, а некоторые мирового уровня. Выпьем, за его здоровье, —

он чокнулся со всеми, опрокинул стопку, — нашего Владимира Драперовича знают многие люди различных профессий. Особенно, когда он возвращается из очередной поездки по родным весям, тогда он привозит новые впечатления от знакомств. Как-то раз, наш гений умудрился сдружиться с одним космонавтом, не буду называть его имя, а то ему придётся покинуть отряд, а он надеется ещё не раз слетать в космос. Наш самозабвенный Володя познакомился с ним на берегу Чёрного моря, а заодно и со специалистами из ЦУПа. Напоминаю неучам, что данная аббревиатура расшифровывается как центр управления полётами, понятно какими. И вот нашего космонавта отправляют на орбиту в многомесячное путешествие среди звёзд. Тяжёлая работа, надо вам сказать, нервы на пределе, и он слёзно просит рассказать ему что-нибудь ободряющее, весёлое. А перед этим одному спецу из вышеназванного центра позвонил Драперович вот с каким вопросом, мол, в прошлую ночь, приняв излишнюю дозу бодрящего напитка, он уснул с сигаретой во рту, как обычно не раздеваясь. На последнем обстоятельстве хочу заострить ваше внимание, а утром нашёл эту же сигарету, почти выкуренную в трусах, в которых было дырок, что в твоём друшлате. Вроде ординарная ситуация, хорошо хоть не погорел, но, самое пикантное — брюки были абсолютно целыми, ни дырочки, ни вырванного лоскутка, но трусы с прилегающей растительностью с известного причинного места пострадали. Высоколобый спец не смог найти объяснения столь неожиданному явлению, но рассказал эту историю космонавту, болтающемуся в космосе. А вы ведь понимаете, что все переговоры с нашими космонавтами не только прослушиваются, но и тщательно записываются иностранными разведками. Представляете какво им было? Ведь невероятно трудно понять смысл сказанного. Невольно приходит на ум выступление нашего полоумного генерально-го Никиты на трибуне ООН, когда тот стучал каблуком и кричал, что мы ещё покажем вам куськину мать. Тогда не один год враги работали, чтобы понять, что за военную систему придумали эти сумасшедшие русские. И тут история повторяется. Они ведь пару институтов открыли, чтобы разобраться в хитроумной системе ПВО имени Драперовича, то что это должно быть ПВО космического уровня никто из них не сомневался. А Драперовича штаны во все стороны равны! — молодым козлом он пропел последние слова.

— Вот откуда такое трепло рождается? — передёрнулся художник.

— Когда б вы знали, из какого сора/Растут стихи, не ведая стыда./Как жёлтый одуванчик у забора,/Как лопухи и лебеда, — Шансин прочитал стихи Ахматовой, поднял стопку, — за творческие личности, способные украсить наши безрадостные, и даже где-то серые будни.

— Не успели приехать, а уже надоели своей пошлой банальностью, — передёрнулся Драперович.

— Почему банальностью, — шумно возмутился Тарабаркин, — мой восторг твоим творчеством кристально чист. Помню у тебя была картина групповой, так сказать портрет оголённых натурщиц, мне она очень нравилась, особенно название.

— Название так себе, — художник зарделся от похвалы, — ну, «Милые потаскушки», что тут особенного.

— Не уничай себя, современный постмодернизм должен иметь своих кумиров, тем более у тебя её сразу же купили. В какой галереи она висит?

— В местной бане, — мрачно отмахнулся от него Драперович.

— Опять таки принялся принижать себя и своё творчество, что за пессимизм, баня по уровню посещений, а также по степени просвещения, приравнивается к любому музею, можешь спросить любого министра культуры или образования. Не стоит так недооценивать наши государственные институты, — Тарабаркин говорил настолько серьёзно, что вызвал смятение не только в душе художника, но и Цитатника.

— Кстати, — Санька выловил крупного груздя из банки, кинул его на тарелку, плюхнул сверху ложку сметаны и спросил, — там у тебя есть очень интересный портрет женщины с сиренью, очередная милая потаскушка?

Драперович побледнел, взял вилку, поднялся, не сводя взгляда с упоённо болтавшего Тарабаркина, но Шансин быстро перехватил его руку со словами: — Заткнись, балабол! Цитатник налей воды!

Старик от испуга вместо воды плеснул в стакан водки, протянул художнику.

— Если ты ещё хоть раз... — прошипел Драперович, но увидел стакан, опрокинул, бросил вилку на пол, рухнул на кровать и уткнулся носом в подушку.

— Эх, ты, — Видлен с укоризной посмотрел на Тарабаркина.

— Прости, — поперхнулся Санька, сел рядом с художником, положил ему руку на спину, — я ведь не со зла, а портрет мне очень понравился. Я может так хотел высказать свой восторг. Я может...

— Помолчи, — оборвал его Шансин.

4

«Боже! Как мне хочется работать на благо России!»

Светлый князь Олег Константинович

После Нового года в опохмелившейся стране настал очередной период гона политических деятелей, то есть выборы. В преддверии заветного дня политические страсти страны накалились до предела и стали подниматься в небеса, выше Луны, преобразуясь в космические потоки, отражающиеся от некоего вселенского зеркала и ниспадающие на Землю, вселяя в людей безумство, хрустящую лёгкость вафельных костей, безрассудство и чесоточную любовную ломоту к лозунгам, общественным выступлениям, маршам за толерантность и прочим гадостям. Один из лучей пробился через мгlistое небо Алтая, упал на сугроб в центре Усуньчака, отскочил футбольным мячиком от бесстыжего в своей белизне снега и влетел в форточку, под которой стоял Тарабаркин, безучастно смоливший цигарку, стараясь не впасть в меланхолию. Первоначально у Саньки щёлкнуло колхозным рубильником в районе затылка, потом на всю мощь прожекторов включилось озаре-

ние. Он стал отливать зеленовато-жёлтым как болотная гнилушка на старом пне. Драперович от увиденного с испугом приложил к щеке донышко пустой бутылки, а Шансин дрожащими пальцами включил дополнительный свет в комнате. Осветились дальние углы, Тарабаркин пристально стал вглядываться в них, словно увидел нечто пугающее, свечение его тела медленно угасло, но оставались ещё отблески в глазах. И тут его лицо просветлело, он вскинул голову, радостно заявив:

— Пора приступать к борьбе за справедливость и всеобщее счастье!

— О, о, — взвыл Костя, — я больше пить не могу, а в магазин путь идёт Володька.

Драперович, не убирая пустую бутылку от лица, зло скосился на Шансина, утробно прорывав неудобоваримое, закрыл глаза.

— Будем организовывать новую политическую партию, — не обращая на них внимания торжественно объявил Тарабаркин. Драперович оторвался от холодного стекла и нехотя собрался идти в магазин, но Саньку уже понесло в потоке мыслей, обломков слов, брызжущей слюны. От возбуждения он рванул на себя дверку гудящей печки, достал оттуда голый рукой горящий уголёк, прикурил и, не замечая дмящихся подпаленных пальцев, кинул уголёк обратно в топку. Комната наполнилась запахом палёной кошачьей шерсти, острым привкусом неминуемой опасности. Косте даже показалось, что запах был дьявольским, из преисподней. Тарабаркина понесло с такой скоростью, что за ним уже было не угнаться. От его бурного потока слов Драперович зарылся в подушки и неожиданно для себя уснул, а Санька как колхозная молотилка выдавал на гора зёрна политической праведности, способной увести континенты, разрушить цивилизации, затмить вселенные.

— Пора заняться реальными делами, пора раздвинуть масштаб нашего мышления. У нас на сегодняшний момент правят посредственности, не видящие дальше своего золотого унитаза, получившие громадную власть, подкреплённую чудовищными ресурсами. Они начинают шалеть от вседозволенности, а безумная пропасть безграмотности пожирает их мелкие благие намерения, они утешают себя дорогими игрушками, не понимая предназначения государства, а оно заключается в одном — служить простому человеку. Поэтому наипервейшая задача для нашей страны, вернее проживающего тут народа, это определиться с национальной идеей. В поисках последней мы блуждаем не один век, по перепутьям и весям. Умудрились потерять уйму народа, спалить бездну средств из казны, заодно присовокупив к потерям собственные медяки, каждый раз оставаясь с горбушкой хлеба да в драных портках, но гордые собственными победами, которые присвоили себе чужие, ухмыляющиеся личности. Всякий раз находятся у нас ушлые мордovorоты, жирно наживающиеся на народных поисках, умыкающие немереные богатства непонятно куда. Нам нужна ясная как день идея, простая как оглобля, но чтобы её невозможно было свернуть в какую-нибудь сторону. Нужны кристально чистые люди, несущие в массы эту идею, дабы в ближайшие годы своротить горы и погрузиться в блаженное расточительство сытой неспешной жизни. У нас

жёсткая потребность в непогрешимых личностях, готовых воткнуть эту оглоблю в ненасытное горло чиновников и олигархов, чтобы они как куски мяса на шампуре вертелись куда укажут, чтобы наконец перестали помыкать народом. И заметьте, при этом нужна определённая степень свободы, лёгкость в восприятии нового, бесшабашность, порождающая дерзость, направляющая нас к звёздам.

— Как-то сильно отдаёт демагогией, по моему мы уже это не раз проходили, но каждый раз оказывались в глубокой жо... — не успел Шансин закончить свою мысль, как Тарабаркин возмущённо его оборвал.

— Мнение гнилой интеллигенции нас не сильно волнует, вы ещё в девятнадцатом веке доигрались с революционерами, бросающими налево и направо бомбочки. А потом организовывали выступления в поддержку борцов с самодержавием, коих отправляли отдыхать на царскую каторгу.

Тут встрепенулся старик Цитатник похожий на петуха с насеста.

— Как вы смеете порочить наше славное прошлое?! — хрипло крикнул он.

— Смею и могу, — категорично перебил его Санька, — располагая на это абсолютным правом обманутого вкладчика, растерявшего не только родительский капитал, но и кучу родственников, сгнивших на уже революционерских рудниках, коммунистических лесоповалах, и оросивших собственной кровью не одну стенку. Могу, как человек, которому внушали страх с малых годов, который осызгал эту громадную машину красного государства по ломке человеков, до хруста костей, отстукивающих зубами чечётку при виде людей со строгими бесцветными лицами в серых костюмах. Извините, товарищ Видлен Афанасьевич, к вам не приходили интересующиеся? Забыли, где и при каких обстоятельствах сами родились? Вы запомнили, что ваша семья была в числе первых поселенцев на неподнятой целине? Это когда было? Нет, это не при Брежневке, да не жмурьтесь, вы не кот на печке, а было это в тридцать втором, тогда уже встал вопрос об освоении новых земель. И что ваши партийные начальники надумали, под руководством вожды всех народов, товарищем Сталиным? Ах, опять упустили из виду, напомним, они со средней полосы России выслали свыше пятидесяти тысяч крестьянских семей. Вывезли как уголовников, хоть они и безвинны, в вагонах для перевозки скота, да и были они для нашего тогдашнего правительства скотом. А это почитай свыше четырехсот тысяч человек. Первое переселение на целину, причём русских, потом будут другие народы, это была грандиозная репетиция. Нет, их не судили, на них не заводили обвинительные документы, поэтому они не вошли в уголовную хронику советского государства. А сколько умерло в первый же год твоих братьев и сестер? Младшему, кажется, было всего лишь три года. Вот какая радость ему привалила, от голода и холода, на руках обезумевшей матери, спасибо партии родной за счастливое детство! Вы уже родились, когда ваши родители хоть немного освоились на новом месте. Но их страх перед жерновами этой машины был настолько велик, что они вам привили дикую страсть к классикам марксизма, ленинизма и сталинизма. Они вам внушали, что их никогда не судили, они никогда не были даже свидетелями, потому что свидетелей потом убивали.

— Я, мне, у меня... да было, но это давно и это ни о чём не говорит, — Цитатник сник, опустил голову, сжал руки. Его пробивала мелкая дрожь. Потом он поднял голову и выкрикнул, — великий Сталин войну выиграл!

— Не надо путать народ с псевдо элитами любой окраски, борясь с сухостоем можно вырвать живые побеги. Наш народ великий, вынес на своих плечах столько страданий, создал столько, что весь мир содрогнулся, а ведь сделал бы ещё больше, если бы в него не вливали ведрами страх, не косили бы талантливых, умных, и... в общем советую мне не перечить, не уподобляйтесь нынешней молодёжи, эдаким диванным эксПерДам, которые сейчас возносят великого кормчего. Не забывайте свою историю, потому что те кто её не помнят, повторяют старые ошибки. И не воспринимайте её однобоко, вредно, спать будете плохо. Не забывайте, что возрождение кровавого кумира происходит на фоне деятельности нашей либеральной общественности, которая подпитывается вражьиими голосами, и как ни странно, нашим же действующим правительством. Им нужны такие деятели, чтобы дискредитировать любые демократические порывы в стране, они кивают на этих маргиналов и спрашивают, мол вы этого хотите, получить новых комиссаров, только поющих под дудку из-за бугра? Деятельность правительства создало ситуацию, когда очень большая часть населения живёт в нищете, другая без будущего, про незначительную жиреющую я не говорю. Поэтому многим хочется твёрдой руки, а кто у нас был кремень? Но основное уже забыли, в первую очередь не помнят цену, которую пришлось отдать народу. Невольно хочется привести слова Николая Устрякова, был такой оппонент Сталина, помните как он говорил про вашего вождя и про вашу партию? Конечно нет, вы даже имени такого не знаете, а он ведь в точку попал, за что в своё время был объявлен японским шпионом. Так вот, в целом он писал, что у партии к концу двадцатых годов не осталось ни одного идеолога, ни одного теоретика, ни одного публициста. Ни одного! Поразительно ловкими манёврами, ваш вождь, то есть к тому времени оформившийся партийный диктатор, завершил процесс формальной дереволуционизации, всеобщей мамелюкизации правящего строя. Прощай допотопный... сиречь подлинный революционизм! Да здравствует усердие вместо сердца и цитата вместо головы! Каково?! А ведь наше нынешнее правительство именно такое и есть! Все близстоящие смотрят в рот руководителю, яростно выражая свою приверженность, усердие, с головой набитой лозунгами, лживыми сентенциями, готовыми по мановению верховного бежать сломя голову, при этом не забывая про свой карман. Результат налицо, возник клан неприкасаемых, для которых закон не писан, а конституцию как туалетный листок дежурства можно помять в мгновения ока, под радостный крик, что давно пора, застоялась. И вновь идёт процесс перманентной дереволуционизации, замена демократии на автократию, под мудрым взглядом с экрана, и организованные крики — всё во благо стабильности, пусть нищенской, но всё же. А главное — стабильность верхушки. Но тот же Устряков, как истинный патриот, всегда говорил, что надо обязательно работать на Отечество — строить, лечить, учить... Потому что власть меняется, а

Россия остаётся. Вот так! Об этом наш народ не только помнил и помнит, а внутренне осознаёт, поэтому какой бы человек ни был партийной принадлежности, он всегда стоял за свою Родину, чем и пользовались верховные большевики, — как мудрый учитель Тарабаркин смягчился, увидев волнение старика. — Один из чудесных поэтов сказал, что «наши красные матросы, создавая царствие небесное на земле, увлеклись, своевременно не почувствовали, что тешат Сатану». И не стоит в суете произносить его имя. Вы не думайте, я не осуждаю простых коммунистов, они ведь положили свои жизни на благо Отечества, но они также обмануты. Меня всегда удивляла желание наших людей иметь крепкую руку. Я не удивлюсь, если у нас с лёгкостью фокусников переиначат конституцию и утвердят вечного президента, не заметив, как мы вновь окажемся в яме культа одной личности, и не важно какого он цвета, красный, зелёный... хотя чаще, они все серого цвета, самый чудесный, его легко выдать за любой. Например внушить, что серый цвет может быть разных оттенков, объявить всенародный референдум, а потом утвердить. Вы лучше выслушайте меня до конца, потом уж возражайте и цитируйте. Я предлагаю создать партию свободных людей, которым не чуждо, способным с лихой бесшабашностью идти на слом старых устоев, могущих крушить привычное, создавать новое.

— Как я понимаю, ты метишь на место нового идеолога эпохи? — спросил Костя. — Ладно, с этим я могу согласиться, твоя кандидатура не столь уж и плоха на фоне наших одиозных личностей прошлых эпох, не говоря про нынешних, но товарищ новый вождь, объясните мне, что такое люди, которым не чуждо.

— Всё! — Тарабаркин задрал нос, поглядывая на Шансина с превосходством нового оракула.

— Повторюсь, мы уже проходили подобное, а которым не чуждо созвучно с Булгаковским Шариковым.

— Не перечь, не придирайся к мелочам, нам необходимо для начала продумать структуру партии. Начать надо с названия.

— Постой, — замахал руками Шансин, — а что делать с идеей, ты её так и не озвучил.

— Для этого создаётся партия, чтобы в бурных дебатах рождалась истина, а в горниле бытового шума она закалялась. Все остальные партии пытались сразу оформить свои взгляды, что приводило их к волюнтаризму, деспотизму, демонизму...

— И онанизму, — неожиданно проснулся Драперович, скинул с себя подушку, поднялся, свесил ноги с кровати, очумело рассматривая вновь рождённого вождя.

— Замечание верное, но это относится уже к стадии старения партии, а сейчас мы молоды, готовы к подвигам, готовы сеять вечное, доброе...

— Выпить у нас ничего не осталось? — художник нещадно тёр свою впалую грудь.

— Дельное предложение! — воскликнул Тарабаркин. — Предлагаю ввести партийные взносы, литр водки с носу или четыре бутылки портвейна.

— Можно вермута, — добавил Драперович.

— Не возражаю, — по барски согласился Санька. — Также я предлагаю сделать председателем нашей партии всем известного художника.

— В Усунчаке один художник, остальные жопорукие неучи, — ревниво заметил Драперович.

— Тебе и быть председателем!

— Генеральным секретарём!

— Президентом!

— До президента надо ещё дойти, — Тарабаркин принялся мерить шагами комнату, новые горизонты предстали перед ним во всей нагоде, от чего он сильно возбудился и жмурился как кот под солнцем.

— А какое название партии? — с интересом спросил Видлен, он тоже оживился, ему нарвались речи Тарабаркина, он уже потянулся за ним.

— Партия свободных людей! — бросил Тарабаркин.

— Избито, — усмехнулся Шансин, — коряво, заштамповано, чистый канцеляризм с прыщавым юношеским запалом.

— Тогда вольных людей, — Санька стал немного паниковать.

— Ага, вольных каменщиков, — сарказм Шансина убивал предложения Тарабаркина, как дихлофос надоедливых мух.

— Вольные, свободные, — заворчал Драперович, — по мне все они распиздяи.

— Гениально! — заорал Тарабаркин. — Броско, точно, прямо в десятку! Распиздяи России! Ведь это политическое будущее нашей многострадальной родины, притихшего народа, измученного очередями, демагогией партийных мракобесов..

— Идиоматические словечки с сексуальным характером не пройдут цензуру. — Костя был неумолим, а Тарабаркин нервно реагировал на каждое его замечание. Он после каждого слова Шансина, метался по комнате, как загнанный в клетку зверь.

— Правильное замечание, товарищ! — неожиданно возбудился Цитатник. — Предлагаю Распиндяи России!

— Видлен Афанасьевич, вы превзошли себя, снимаю шляпу и прочие вещи дабы выразить своё восхищение. Думаю нашему председателю стоит предложить вам какой-нибудь министерский портфель в будущем правительстве.

— Я согласен на министерство пропаганды, — загордился цитатник.

— Отдаёт гебельсовщиной, уймитесь, великий старец, доведёте нас до Нюрнберга, — строгость Кости была неумолима.

— С этими господами нам не по пути, я с вами согласен, тогда пусть будет министерство печати, — таким счастливым никто не видел старика Видлена.

— Ой, да бери уж, — тяжело качнул головой Драперович, — только выпить принеси.

— Отлично, я пошёл в магазин, — загадочно улыбнулся Видлен, в его движениях появилась какая-то неторопливость, отражающая собственное величие.

— Колбасы с хлебом возьми, а то опять в пустую, давиться твоей водкой, — заворчал Шансин.

— Не хлебом единым, как говорится, — Цитатник вздёрнул кулак вверх. — Рот фронт, мы не сдаёмся, а эти сволочи не пройдут!

— Хорошо, дело пошло, — Санька сунул руки в карманы штанов, стал раскачиваться на пятках стоптанных туфель, — а секретарём при нашем председателе я предлагаю Шансина Константина, по совместительству пусть ведаёт ревизионной комиссией, он так много знает, пусть свой нос суёт в нужные для дела бумажки.

— Знаете, что! — вскочил Шансин, но Драперович жалобно попросил его сильно не топать, отдаётся в голове. — И потом, — добавил он, — почему бы не попробовать, корову не проиграешь.

— Я больше боюсь за свою голову.

— Она всё равно у тебя не при делах, тебе сколько раз предлагали уехать из этой страны, чтобы ты нормально жил и по назначению пользовался ею. Так что, давай, попробуй на новой стезе, смотришь, сработает во благо родины, — подхватил Санька, хитро посмеиваясь.

— Ладно, — хмуро согласился Шансин, — шоу кривоzubых начинается, покупайте билеты, запасайтесь поп-корном, семечками.

— Не оскверняй светлое, лучше подумай о новом гимне для нашей партии, — Тарабаркин смотрел поверх оконной рамы, видимо уже пред ним предстали проспекты увешанные лозунгами, с идущими наливными женщинами.

— Это не ко мне, — отмахнулся Костя, — вот если развести партийных глистов, пожалуйста.

— Зачем? — брезгливо передёрнулся Драперович.

— Надо же как-то отличать своих от чужих, потом может нам ещё в подполье придётся уходить, а тут такая метка.

— Кончай свои биологические изыски, меня и так тошнит, — у художника зачесалось где-то чуть ниже спины.

— Партийные глисты, это свежо, необычно, хотя немного отталкивает, мы об этом потом поговорим, когда власть к рукам прибёрём, — деловито сказал Тарабаркин, не отрывая взгляда от окна. — Про гимн я тоже преждевременно заговорил, но вот лозунги нам нужны сейчас. Садись Костя, бери бумагу начнём записывать, пока что будем принимать любые, потом отбросим ненужное. Вот мне в голову пришёл первый лозунг, такой сильный, характерный, отражающий суть нашей партии. Послушайте, как вам, — он вскинул руку в сторону стены и завопил: — Свободу возлияниям!

— Неплохо, — мрачно согласился Шансин, — тогда надо взять и моё: Право на долбопрудство!

— Всем по муссалам! — подхватил Драперович.

— Очумели, — растерялся Тарабаркин, — вы что тут устроили, цирк с кривлянием?

— Любая политическая борьба есть кривляние партий в русле пошлых обещаний, кои не выполняются, — рассмеялся Костя, — а мы любой из вышеупомянутых лозунгов можем легко выполнить.

— Правильно, — одобрил новый председатель партии, — мы должны отвечать за свои слова, а по мусалам, да завсегда.

— Кстати, — Тарабаркин подошёл вплотную к Драперовичу и, глядя ему в глаза, как железный Феликс, спросил, — Володя, какое у вас отчество.

— Ильич, а что?

— Вот это поворот, — присвистнул Шансин, поёжившись.

— Председатель партии «Распиндяи России» Владимир Ильич... Драперович. Ведь правда, лихой поворот истории, — от восхищения у Тарабаркино свело дыхание.

— Первоначально в виде трагедии, а теперь в виде фарса.

— Всё в наших руках, мы должны избежать фарс, нам нужны реальные...

— Сегодня ты об это уже говорил, верно, Владимир Ильич? — Костя склонил голову над хмурым художником. — Поэтому я предлагаю ещё один лозунг: Каждому бобру по дереву, чебаку по червяку!

— Чиновников в общую очередь! — выкрикнул вернувшийся из магазина старик Видлен, потрясая продуктовой сумкой.

— Раз так, — возмутился Тарабаркин, — тогда как вам такой лозунг — Чистую воду в бассейны, крепкую водку на прилавки!

— Верно! — подхватил Костя. — Прекратить эксплуатацию карасей!

— Причём категорично! — живо согласился с ним новый министр печати.

— Таксистам — свежих путан! — новый председатель партии кажется вошёл во вкус. — А также: Вы ответите за всё на свете, за газ и за воду тоже!

— Отлично, смотрите как идёт наша работа, в общем я согласен отвечать за идеологическую составляющую партии, — Тарабаркин был доволен, — поэтому — Всех вперёд, многожелающих в зад!

— Многожёнство в партийные ряды, а жаждающих в зады! — Драперовича трудно было сбить с верного пути.

— Что ж, — утомлённый Костя потёр переносицу, — если про ряды, то ловите: Не испортим скромностью ровные ряды партии!

— Серьёзная заявка на всеобщее благосостояние, — по отечески одобрил его Санька, — а созвучное с этим лозунгом должно звучать примерно так — Мы достигнем всеобщего вопреки настоящему!

— Всех порвать, кому не хватит! — Драперович рванул край рубахи, оголив редкую растительность на груди, чем испугал Тарабаркина, поэтому он сказал ему примирительно, пытаясь усадить на кровать.

— Мощно, хотя нас могу понять превратно, оставим как запасной вариант, — потом он обратился к Цитаткнику. — Министр, налейте председателю, великий мозг начал перегреваться. А нам пора идти во власть, регистрировать партию. Так что не стоит откладывать, питье пора отставить, кроме председателя, разумеется, и на баррикады.

— Мне кажется, что регистрация дело геморройное, — сомнения стали проникать в душу Шансина, лозунговый запал поутих, уныние от выпитого брало своё.

— Верно, — твёрдо заявил идеолог партии, — для начала нам нужно провести учредительный съезд, что, по сути, мы уже сделали. Дальше — документальное оформление. Решаемо! Не забывайте, когда-то я владел банком. В этом, далеко не забытом Богом месте, у меня было отделение, поэтому остались ещё кое-какие связи, есть доверенные люди, главное нужна идея, а она у нас есть. Так что со мной пойдут Шансин и Цитатник. Председателю тоже есть задание, нам нужно оформить красочные лозунги. Текстовки у тебя уже есть, приступай! Твоё творчество на благо партии и народа!

Они быстро оделись и ушли. Драперович немного посидел, рассматривая беспорядок на столе, потом устало поднялся, пошёл в подвал, где у него остался тент от автомобиля. Он решил, что если его разрезать, то на транспаранты пойдёт в самый раз, а также на различные плакаты.

Как ни странно, а Тарабаркин в самом деле быстро оформил подачу документов. Через знакомых получил временную регистрацию партии, узнал о конкурентах на предстоящих выборах. Неожиданно им оказался местный олигарх, владелец всей местной вино-водочной продукции, лесных заготовок и прочих производств.

— Надо же, — удивился Тарабаркин, — это же мой бывший охранник. Так вот куда уплывали денежки из банка. Этот ворюга был в сговоре с бухгалтером, того, правда, должны были посадить, однако он избежал наказания.

— Каким это образом? — заинтересовался Цитатник.

— Помер, — коротко бросил Санька.

— Печально, — протянул Видлен.

— Не знаю, не знаю, в некоторых случаях это лучший выход из мерзкого положения. Но всё в прошлом, нам надо смотреть вперёд. Да, название конкурирующей партии «Наш дом Алтай». Я бы не сказал, что слишком оригинально, а вот их лозунг мне нравится. «Мы гарантируем крышу каждому жителю Алтая!» Чувствуется размах, падают слова на наши неокрепшие души, а если всё сдобрить продуктовым пакетом, то выборы обеспечены. Васька Чирквякин не мог бы додуматься до такого, у него, наверное, есть свой идеолог, эдакий мыслитель местного разлива.

— Ты про кого говоришь? — не понял Шансин.

— Про бывшего охранника, теперь он глава партии.

— Нам не страшны препоны, мы их порвём во благо партии, которая должна быть в единении с народом! — воинственно заявил Видлен.

— Кажется массы начали пробуждаться от векового сна, — Тарабаркин посмотрел на Цитатника, будто впервые его увидел, — я никогда в вас не сомневался, а теперь вижу, что мои надежды оправдываются. Не зря мы решили отдать вам портфель министра.

— А водку твой охранник делает палёную, — поморщился Шансин, — пеннистая, дешёвая, стоимость двух бутылок тянет на пачку яблочного сока, не спраста.

— Всё верно, потому что партия его палёная, воровская, — не понятно чему обрадовался Тарабаркин, и тут он увидел деревянную три-

буну на местной площади. Наверное её использовали при проведении местных парадов, а может как приступку для разгрузки автомобилей, трудно сказать, но на Саньку она произвела впечатление. Он забрался на неё и начал вещать о мировых проблемах. Видлен с Костей слегка ошарашено повертели головой, пытаясь понять с какого перепугу их идеолога понесло. Вроде слушателей не было, не считая их двоих, но проходящий люд останавливался, с любопытством разглядывая странных незнакомцев, потом стали собираться, и даже с интересом слушать. Вскоре подтянулись рабочие, служащие, прохожие, шумливой толпой остановились школьники. Мелкотня побежала дальше, а вот старшекласники с удивлением слушали оратора. Не часто в этих местах появляются такие люди.

— Кто есть вы? — пламенно вопрошал Тарабаркин, протягивая по ленински руку в сторону толпы. И сам же отвечал: — Вы есть народ, которому всё отведено, всё принадлежит, а пользуются этим лишние люди с непомерным алчущим аппетитом. Им мало, они готовы продать вас в рабство, обирая, обманывая, загоняя в тиски кредитов, повышенных платежей и неудержимой нищеты. Пора их остановить, вернуться к нашим корням, поэтому мы формируем партию свободоизлияния, партию простых людей, которым на этих кровососов наплевать. Помните, презрение есть наше оружие против любой несправедливой власти. Вступайте в ряды нашей партии «Распиндя России». Взнос скромный, четыре портвейна или литр водки, закуска своя. И поверьте, никто не зажилит ваши кровные, мы их выставим на всеобщее обозрение и потребление, мы за равенство. Нам нечего прятать от вас, мы готовы всем делиться, а крохоборов к стенке!

— Верно, пора уже, — завопил рядом стоящий с Цитатником основательно выпивший мужик, — я готов вступить в партию, записывайте меня.

— Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ. — Цитатник схватил его за руку и стал трясти

— А ты кремь, — довольнo хмыкнул бухарик, доставая из-под полы недопитую бутылку водки с уже известной этикеткой, — давай дёрнем.

— Не мои слова, а великого Че, ну то есть Эрнесто Че Гевары.

— На Эрнесту не хватит, тут только по паре глотков на двоих.

— Не стоит беспокоится, его уже убили, — благодушно сказал Видлен.

— Вот суки, — заскрежетал зубами бухарик, — его то за что?

— За справедливость.

— Падлы! — окончательнo рассердился мужик, потом дёрнул за рукав Цитатника, — пошли со мной, братишкам покажу.

И утащил Цитатника в проулок посёлка. А Тарабаркин уже закидывал толпу вновь рождёнными лозунгами и призывами: «Воров к ответу! Распиндя России вперёд! Утопим в гальюнах нечисть Алтая! Нам нужно помнить о нашей истории, в том числе социалистической, нельзя всё огульно выбрасывать в помойное ведро, надо тщательнo выбирать крупицы лучшего, заработанное нашими предками!» Одобрение

его выступлением было всеобщим. Усталого Саньку, но довольного собой, Шансин с трудом уговорил спуститься с трибуны, где к нему сразу же потянулись люди с вопросами, одобрительно похлопывали по спине, некоторые жали руку. И как только Тарабаркин с Шансиным и новыми апологетами партии скрылись в конце улицы недалеко от дома Драперовича, на площадь выехала патрульная машина милиции. Из неё вывалилось пару осоловелых постовых, они посмотрели с недоумением на серую трибуну, пожалы плечами, прошлись вдоль тротуара и уехали.

5

После демонстрации Тарабаркину кто-то прикрутил саморезами к внутренней стороне затылка лампу с абажуром. Теперь она постоянно освещала его нутро, по ночам из ноздрей лился свет, глаза поблёскивали утробным, а если он открывал рот, то становится похож на пещеру Али Бабы. От шурпов сильно разболелась голова, мучился остатки ночи, а на утро пропала лампа и даже желание похмелится, но боль осталась. Тарабаркин сел на кровати, посмотрел на многочисленное сидящее, лежащее, храпящее население комнаты. С трудом сообразил, что это новые члены партии, рухнул на кровать и забылся в тяжёлом сне, обнимая новое знамя свободы и сытой жизни. Оказывается они ночью успели придумать знамя в диагональную полоску, а местная швея быстро его сшила из обрезков меха, шёлка, сатина и прочего подручного материала. Знамя удалось и уже стало местной достопримечательностью, почитаемой всеми пьющими членами партии. А Тарабаркину во сне пришла мысль, что «надо издавать свою газету, свой печатный голос...» Мысль преобразилась в нечто эфемерное, зыбкое, мерцающее. Вдруг она лопнула и он попал на рынок. Его окутало густым облаком разномастных запахов, замешанных на плотной разногосице. Однако из этого пёстрого потока его чуткое ухо выхватило странный диалог двух мужиков в тугих тулупах.

— Свежие строчки, берите свежие строчки, ещё не залёжанные на газетных мятых колонках, не пропылившиеся на пожелтевших страницах никому ненужных книг. Берите, только что испекли, только что слепили, не пожалеете! Наши писаки лучшие писаки в стране, а журналисты — журналистее перелётных птиц, — кричал один, раскачиваясь с поддоном, заваленным чем-то непонятным.

— Эти откуда? — хмыкнул в бороду другой, сутулый, громадного роста, в жёлтом полушубке и сандалиях на босу ногу.

— С астраханских плавней, видите слегка тинной отдают, не подумайте это не плесень, это ихнее, доморощенное, мужицкое достоинство восстанавливает, стоит только произнести перед голой бабой... продам по рублю за десяток...

— С бабами у меня разговор короткий, для них не стоит лишних слов покупать, пустые траты.

— Так берёшь или будешь рассусоливать? Могу по копейке скинуть.

— Эк хватил, дороговато, да мне надоть с морозцем, с хрустом, а эти ж квёлые, видать заветрились... .

— Окстись, всё сегодняшнее, а с морозцем, пожалте, вот вам архангельские, вот с Нарыма, а это что ни на есть якутские, вот уж где мороз, так мороз, а хрусту, до самых звёзд...

— Хорошо, беру эти... в дупло заверни, выбери по старее... не жадничай! Да побольше крепышей, таких суровых, чтобы как выскочили, так до самых лопаток пробирали. Слово должно быть крепким, смолянистым, основательным...

Тарабаркин встрепыхнулся, сон слетел с него как курица с насеста, но он вновь упал, на этот раз в пустую бездну, лишь обрывок фразы повис в темноте — «Не искушай себя политикой ибо то есть лукавство и обман!»

А небо над ним было цвета мокрых камелий.

К полудню новые члены партии, а также отцы основатели, проснулись почти одновременно. Не успели протереть глаза, как к ним заявилось нечто растопыренное, в лохматой шапке

— Я местный писатель, летописец, архивариус и по совместительству настройщик музыкальных инструментов. Вот принёс вам свой последний труд, можно сказать труд жизни, корпел многие лета над ним.

— Какой он летописец, прихлебатель Васьки, — сердито оборвал его один из новых членов партии.

— Точно, — вставил другой, — это наш настройщик музыкальных инструментов. Для Васьки Чирквякина пишет поганые лозунги, и как его ещё к детям допускают. Пришёл вынюхивать, стукач проклятый.

— О, местная интеллигенция! — воскликнул Тарабаркин, хватая за полу шубейки вошедшего. — Безмерно радуется и веселит душу. Вы ещё и настройщик музыкальных инструментов. Похвально.

— Собственно говоря, да, — засмутился писатель, — но в основном балалаек. Хотя больше я люблю писать книги, особенно истории местного края. Так сказать Усуньчак, каков он есть. Хроники и реальность. Вот принёс вам показать новый труд. Одобрите?

— Как поэтично, сколько в этом смысла. Ведь если подумать правильно, то книги как инструмент настройщика, только одни настраивают музыкальный инструмент, другие душу. Хотя есть книги, вводящие нас в состояние низости, тогда надо призывать авторов в рюмочную, где класть с полусасохшего бутерброда шпротину ему на переносицу, хлеб толкать в зубы, выпить стопку и пустой посудой припечатать рыбину, как сургучный штамп на посылке, отправляемой по неизвестному адресу в далёкие леса.

— Не стоит, — настройщик прижал свой опус к груди, — не беспокойтесь попусту, я лучше пойду, может...

— В следующий раз, без сомнения, тогда мы готовы будем вас принять и выслушать, — Санька по отчески приобнял его, потихоньку подтолкнул к двери, — только помните, мы всегда где-то рядом, мы придём к вам, когда вы уже устанете о нас думать. Так и скажите вашему хозяину, мы не устоим ни перед чем, всё возьмём, а с него натурой, как и с вас.

— Может не надо? — взмолился пришедший.

— К сожалению, это уже не вам решать, вы как только переступили порог этого жилища, запустили механизм мирового масштаба, теперь с вас спросится, ждите, — строгим голосом наставлял его Тарабаркин.

Тот заскулил и торопливо спустился с лестницы, выбежав на улицу. Не успели члены партии обсудить пришествие представителя конкурентов, как в комнату ввалился мужик и заявил, что Видлена с Пахомом взяли менты за неразрешённую агитацию.

— Вот и настал их час расплаты! — Вскрикнул Санька резвым утренним петухом. — Вперёд, мои верные соратники, не оставим в беде наших товарищей! Шансин, не забудь портфель с документами, а вы, — он обратился к мелкому белобрысому мужичку с стёганном пальто, — бегите к юристу, скажите, чтобы позвонил в отделение и доходчиво объяснил им, что они зря с нами связались.

Когда они вышли на улицу, то увидели небольшой старый автомобильчик с выдвинутой корзиной, поднятой у столба. Рабочие растягивали плакат, на котором яркой краской было написано: «Торговая фирма Долголет-100, уникальные разработки фармацевтических препаратов для продления жизни. Гарантия сто процентов. Если после приёма наших препаратов вы проживёте меньше ста лет, фирма вернёт деньги.» Тарабаркин остановился и с восхищением произнёс: — Смотрите, какие идеи плещутся в мозгах нашего народа, ведь никому не придёт в голову давать такие гарантии, а наши могут, без зазрения и стыда. Как только возьмём власть в свои руки, этих охламонов надо пристроить к чему-нибудь полезному.

— Если сейчас рядом с нами был бы Цитатник, то он предложил бы их на лесоповал, — заметил Костя.

— Нам не нужен радикализм, надо поступать конструктивно, творческую силу народа в каменные берега общей партийной линии, — твёрдо выдал Тарабаркин и двинулся в сторону милиции. За ним потянулись вновь принятые партийцы, с помятыми лицами истинных эпигонов вождя.

— Господи, ну почему все вожди так похожи друг на друга? — вздохнул Шансин и побрёл за всеми.

6

Сержант Иннокентий Горемыко, в просторечии Кеша, был романтичным человеком, склонным к воздушным мечтаниям, особенно, когда перед ним была еда. В это утро, сменив дежурного по отделению, он отправился принять второй завтрак. Мероприятие необычной важности в размеренной жизни молодого милиционера с широкими щеками, небольшим животиком, круглым лицом с чудным носом картофелиной. Преддверие второго завтрака было самым щемящим временем дня, от него веяло чужим аристократизмом, размытым видениями некой потусторонней жизни с другого континента в ином обществе. Кеша смутно подозревал, что далёкое общество должно быть высшим, на этом его фантазия начинала буксовать, пытаясь опереться на обрывки зарубежных фильмов. Однако большее удовольствие он получал от второго завтрака только за небольшим столиком в конце узкого коридора.

дорчика перед решётками двух камер предварительного заключения. Тогда он мнил себя настоящим американским шерифом, поглощающим немеренные тонны сосисок и пива, чувствуя спиной жадные взгляды временно задержанных, обостряющее собственное величие и аппетит. К сожалению, в последнее время таковые посетители были крайне редки, а без их вздохов, иногда комментариев, Иннокентию кусок не лез в горло, не второй завтрак, а жалкая сухомятка на привокзальном перроне. В это утро, увидев в дежурном журнале, что ночью к ним поступили два субъекта, Горемыко возликовал. Шкала настроения прыгнула высоко вверх. Он с блаженством достал тонкие ломтики холодного мяса, зелень, несколько кусков сыра, банку со специями, майонез с кетчупом, а также приличных размеров батон, разложил их на столе и принялся собирать заветный бутерброд по имени Кинг. Потом из сумки вытащил затёртый, но надёжный термос с зерновым кофе и пошёл к заветному месту, где второй завтрак приобретёт крепкий жизненный смысл. За решёткой на двух скамьях лежали скрюченные фигуры неизвестных. Когда он шумно стал выставлять на стол свою снедь, задержанные зашевелились, поднялись. Одного Кеша сразу узнал, это был завсегдатай их заведения, скандалист, шумный алкоголик Пахом из посёлка Манькин-Аил, другой незнакомый — аккуратенький старичок. Пахом глянул мутным глазом на Кешу, бросил своё обычное «мирод пожаловал» и вновь завалился спать. А старичок подошёл к прутьям, поправил воротничок рубашки, кашлянул и представился:

— Видлен Афанасьевич, будущий министр печати, а ныне активный помощник баллотирующегося в депутаты товарища Драперовича.

Горемыко ошалело посмотрел на старичка, подумав, что давно к ним чокнутые не поступали, отодвинул стул и сел спиной к прутьям камеры.

— Вы, товарищ милиционер, зря меня игнорируете. Помните, внимание наших стражей — залог успеха общества, — Цитатник сглотнул слюну, увидев громадный бутерброд, а уж когда Кеша открыл термос с кофе, у Видлена замутилось в голове и его словесный ветер вырвался на просторы.

— Вы, наверное, забыли главный лозунг нашей милиции, которая нас бережёт, а именно — чутко относится к жалобам и заявлениям трудящихся!

— Вот гнида, — беззлобно проговорил Кеша, поглядывая на вытекающий майонез из бутерброда.

— Участковый уполномоченный! Постоянно опирайся в своей работе на помощь общественности! — не унимался старик.

Горемыко поёжился, с сожалением положил булку на стол, налил кофе, это ещё больше возбудило задержанного.

— Отличник — опора начальника в решении служебно-оперативных задач! — голосом диктора уже вещал Видлен, но Горемыко так легко было не сломать, он даже не повёл ухом, а твёрдой рукой направил верхушку бутерброда в рот. Тогда Цитатник решил обратиться к классическим лозунгам братского Китая, как известно, люди, проживающие на данной территории, знали толк в еде, её приготовления, а также в утилизации.

— Помни, товарищ! Твой желудок — это небольшая фабрика по производству натурального удобрения! — после таких слов рука милиционера застыла с поднятой едой, он медленно повернулся, пытаясь вникнуть в смысл выброшенного лозунга. В Кешу забралось сомнение, а не издевается ли над ним этот сухой стручок?

— Нет на свете краше птицы, чем свиная колбаса! — старик уже выдавал лозунги в стиле рэпа.

«Как же мне его заткнуть?» — уныло повисло кривым вопросом в организме Горемыко.

— Работник милиции! Зорко охраняй народное достояние, это твой свинячий э-э-э священный долг! — Цитатник стал выдыхаться, сбиваться, что вселило надежду в милиционера, но Видлен просто так не сдавался. — Уголовный розыск — передний край преступности э-э-э борьбы с преступностью!

В это время бушующей стихией в отделение влетел Санька Тарабаркин со товарищи. Он не останавливаясь, стремительно ворвался в коридор, где Горемыко пытался откусить кусок вождяленного яства.

— Как я вижу на лицо грубейшее нарушение конституции! — заявил подошедший к милиционеру Тарабаркин, указав пальцем на термос. — Вы хоть осознаёте меру ответственности происшедшего? — но Горемыко не мог оторвать взгляда от злосчастного будерброда, его переклинило. Кеша лишь вздёргивал брови, словно пытался спугнуть это незапланированное нашествие говорунов, но всё было тщетно, Саньку уже несло по всем пунктам кодекса от уголовного, административного до кодекса чести.

— Вы хоть обратили внимание, что взяли не вора, не бродягу, а ветерана коммунистических маёвок, демонстраций, не говоря уже о субботниках. Я могу это рассматривать только как вопиющее попрание свободы слова. Хочу вас предупредить, что после выборов, которые я без сомнения выиграю, я как представитель новой партии, распушу к чёртовой матери всю вашу милицию. Вас выметут грязным венником на улицу! — Тарабаркин уже навис над милиционером, вырвал у него бутерброд и грозно потребовал:

— Ключи!

— Сила милиции — в её связи с народом! — обрадовался Видлен

— Да, — подхватил Драперович, — и эта связь будет многосторонней. Кого-то поимеют вышестоящие органы за превышение власти.

— Начнут с вас, — строго ткнул пальцем в китель сержанта Костя. Видлен же выскочил радостным щенком из камеры, и принялся без меры изливать свой восторг освобождения, обнимая всех под руку попавшихся. На последок даже успел ткнуться в китель милиционера и поблагодарить за службу.

На улице их ждала толпа сочувствующих. Новость, что новая партия идёт брать отделение милиции облетела посёлок вмиг. Когда Тарабаркин с Видленом вышли на крыльцо по улице пронёсся радостный возглас. Пахома с Цитатником подняли на руки и понесли на площадь, где водрузили на трибуну в ожидании откровений. Пахом коротко матюгнулся, сгорбился и спешно слез вниз, где тут же затерялся среди своих корешей. Видлен же с горящими глазами припал к трибуне и начал вещать.

— Нас не сломить! Нас не купить! — толпа колыхнулась выдавая одобрение говорившему. — Грядёт новый мир, новые порядки!

— О, опять вас понесло, — обратился Шансин к Тарабаркину, — вы что, по одной бумажке выступаете?

— Нет, у нас разные платформы, — заверил его Санька.

— Они только примыкают друг к другу, можно сказать, остановок не будет, одно переходит в другое, а результат всё равно будет один, — недоверие не покидало Костю.

— Мне хочется, товарищи, вспомнить замечательные слова наших пламенных революционеров, — Видлен оседлал своего конька и, по всей видимости, не собирался с него слезать. — В первую очередь товарища Мартина Лациса, верного соратника и правой руки Феликса Эдмундовича Дзержинского.

— Вот и Эдмундовича вспомнили, — передёрнулся Шансин, делая ударение на «о».

— Товарищ Лацис говорил, — не унимался Цитатник — Для нас нет и не может быть старых устоев морали и «гуманности»... Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная... Нам всё разрешено... Только полная смерть старого мира избавит нас от возрождения старых шакалов, с которыми мы миндальничаем и никак не можем кончить раз и навсегда.

— Правильно! — закричали в толпе.

— Надоели эти кровопийцы!

— Бандиты присосались к власти! Долой олигархов!

— Верно! — ещё больше воодушевился Видлен. — Я также хочу вспомнить слова нашего Ильича, когда он беседовал с буржуйским журналистом. Он говорил, что видит единственное решение в том, чтобы угроза массового террора способствовала распространению ужаса и вынудила их, то есть буржуазию и высшие классы, бежать.

— Гнать их в три шеи!

— К стенке паршивых гнид!

— Сейчас в самое время вспомнить Сталина, — Шансин совсем сник.

— Сталина на них нет! — словно кто-то услышал слова Кости, но на трибуну уже выскочил Тарабаркин. Он вытаращил глаза, дёрнул себя за бородку, отодвинув Цитатника, и стал зажигать народ.

— Наши товарищи пострадали от нынешнего режима, их заточили в темницу, но они себя показали достойными людьми. Мы можем ими гордиться, — толпа разразилась аплодисментами. Цитатник, выглядывая из-за спины Тарабаркина, складывал руки в условном рукопожатии, а окружающие Пахома дружески толкали его под бока. Но Санька решил на этом не останавливаться.

— Наш народ прошёл славный путь свершений, гениальных достижений, но нас всех обманули, всё отняли. А теперь спрашивается кто это сделал, и ответ очевиден, ведь все руководители это бывшие коммунистические и комсомольские функционеры. Даже наши обожравшиеся олигархи многие из комсомольцев, об надо помнить, чтобы при создании новой партии, новой идеологии нам взять только лучшее, а вредное решительно ампутировать как болезненный негодный орган.

— Давайте всем мироедам яйцаотрежем! — предложил конопатый здоровяк в шубе, стоявший в первом ряду.

— Можно, конечно и отрезать, но как бы не ошибиться, — поленински сощурившись, посмотрел на него Тарабаркин.

— Ничего страшного, зовите меня, я знаете скольких бычков охолостил, а про свиней вообще молчу.

— Верно заметил товарищ, нам нужны решительные меры, но продуманные, как бы своих не порезать, не говоря уже про невинных.

— Потом разберёмся, — загоготал здоровяк.

— И тогда будет поздно, — остановил его Тарабаркин, — я ещё раз вам говорю, нам не стоит повторять ошибки прошлой власти. Нам нужны новые пути, новые подходы. Поэтому я предлагаю всем вступить в ряды нашей партии свободных людей, партии «Распиндия России». Отрицанием их порядков, бесцензурное общение, вольность во взглядах приведёт нас к правильным поступкам и позволит скинуть ярмо захребетников.

Нам навязывают свои бредовые конструкции, накладывают их, впечатывают в живой народ через газеты, телевидение, радио. А потом по прошествии времени будут сидеть на диванах с девицами, смотреть как на улице хлещет кровиче и вновь будут рассуждать о том, что их мысль была верна, идея превосходна, кровожадный вождь был душкой, а вот быдло народ не понял их, не принял благих намерений, потому что не по плечу ему такая дармовая благодать. Наши политики живут призрачными идеями, не понимая, что ими правят призраки, не осознавая, что призрак есть искушение, есть зло! И это зло тянет нас всех в бездну, зло обряженное в цветастые одежды псевдоправды, то есть лжи, заманчиво гремит колокольцами, проникает нас, отравляет души, утаскивая в бездну.

Тарабаркин говорил ещё с полчаса и всё об одном же, пока Пахом со товарищами не спросили его, куда сдавать партийные взносы, гремя солидными авоськами с вермутом и водкой. Решили пока собраться на квартире председателя партии Драперовича Владимира Ильича.

Жизнь многогранна в своих действиях, протекающих плотным потоком в коротком промежутке времени, но нам трудно воспринимать всё в целостной картине, и лишь по прошествии мы узнаём о событиях, прошедших совсем рядом с вами. Так и в этот раз, в этой временной точке в милицию приехал майор начальник отделения с местным бандитом Васькой Чирквякиным, главой партии «Наш дом Алтай». Они выслушали сбивчивый рассказ сержанта Горемыки, после чего Василий подвёл черту, обращаясь к майору.

— Ты понял, когда они возьмут власть, они не только выкинут нас на помойку, но ещё и поимеют, — Чирквякин нервничал, скалился, сжимая кулаки.

— Как так? — не понял начальник отделения.

— В извращённой форме, — пояснил бандит, кандидат в депутаты. — Поэтому бери всех своих охламонов, да отлавливай этих идиотов.

— А может что-нибудь по существенней?

— Да, ты прав, сами разберёмся, — Чирквякин потянул за погон начальника, зло выплёвывая ему в лицо слова со слюной, — не спите, потом по полной спрощу. Будешь уродом на вокзале в банку стучать, копейки собирать. Понял?!

7

Сей час, сей, сей, засевай этот час, воскуряй смоляные палочки событий, относящих лёгкий дымок наших душ для других миров, где этот дым сложится в чудодейственные костры неведомых праздников и непонятных богов... дымок, отдающий новыми запахами и красками... а какие могут быть краски в других мирах, а может быть там не столько краски, сколько наше видение расширяется, или ссужается, смешиваясь в неведомые спектры, и тогда мир становится другим... а может краски остаются, но наше нутро начинает их воспринимать совершенно по иному, сносит чуткий ветер все цвета в сторону запахов и вот они не только блистают, но и чудотворно пахнут, исцеляя наше существо, а иные... отравляют, рожают ужасы, монстров из наших снов, которые на утро становятся тварными... Пока Тарабаркин и сотоварищи готовили как минимум районную революцию, Георгий Илларионович лежал среди подушек, ощущая забытую батонную твёрдость между ног, а у себя под боком мягкую тёплую необъятность женского тела вдовушки, говорливой и жадной до ласк. Она трепетно лечила полковника бодрящими травами, прикладывала к груди больного тряпицы, пропитанные ароматными возбуждающими составами, а потом старательно разогревала собственным телом. Её напористая пульсирующая жадность обволокла полковника, а чарующий мягкий голос уводил за молочную завесу забвения. Илларионович погрузился в такие райские кущи, что потерял себя, а простуду, эту драную уличную кошку, окончательно забыл. Так продолжалось без перерыва почти три дня, но на четвёртый выдалось пронзительно чистое утро и полковник услышал петуха. Тот не кукарекал по обыкновению, а выл, вытягивая унылым протяжным голосом словно тяжёлый кобель на цепи, отчего куры в испуге забились по углам и стали нести солёные огурцы. Удручающая картина на мгновение предстала перед Георгием Илларионовичем, но он успел разглядеть столько деталей, особенно его удивили пупырчатые овощи, открытый большой рот вдовушки, издающий сиплые звуки. Тогда полковнику кто-то шепнул на ухо, что его опоили дурманящими травами. Он вскочил, выпучил глаза, сорвал штаны, висящие на рядом стоящем стуле, спешно их натянул, стараясь не смотреть на раскинутое на подушках обнажённое тело, и босиком выскочил на крыльцо. Рядом со старыми ступеньками сидел блохастый кобель с обрубленным хвостом. Позвякивая цепью, он смотрел на полковника с ухмылкой пропойцы, морщил нос, показывая клыки, но не успел полковник на него выругаться, как пёс неожиданно прохрипел.

— Что, вырвался? — полковник чуть не свалился с крыльца, сплюнул, потёр глаза, но пёс кашлянул, прочистил горло и уже чистым голосом спросил:

— Сам удивляюсь, отчего меня пробило на речь, но одно могу тебе сказать, беги, пока не одурел окончательно, а то греметь тебе цепью до конца жизни как мне.

Полковник подпрыгнул на месте, гикнул молодым гайдуком, и кинулся к «Запорожцу», припорошенному снегом, как рождественский кулич. Рванул дверь, уселся на холодное кресло, перекрестился и крутанул ключ зажигания. Машина утробно рыкнула, но со второго разу завелась. Пёс залаял, дёргая цепь. Полковнику почудилось, что в этом лае слышны слова, то ли барбос просил сигарет, то ли выпить, но Илларионович нажал на педаль и собачьи стенания утонули в выхлопных газах, смешанных с хлопьями снега, летящих из-под колёс.

В дом Драперовича он влетел как разъярённая фурия, раскидывая бутылки, спотыкаясь о тела спящих партийцев на полу. Наконец добрался до кровати, где покоилось тело главного идеолога новой партии. Тарабаркин, сладко обнимая знамя будущей совести страны, просматривал во сне апрельские тезисы предстоящего съезда, поэтому долго не мог придти в себя, пока полковник, категорично не заявил, что он больше не будет их ждать, а через десять минут отбывает обратно в родимую квартиру. Вид у полковника был внушительный, в одной майке, босиком, в волосах торчали перья, а голос был подобен Иерихонской трубе. «Выздоровел!», — ударило кузнечным молотом в мозг Тарабаркину, он окончательно протрезвел, встрепенулся, от охватившего его ужаса начал заикаться, однако перед этим успел сказать, что за десять минут соберутся. Полковник бросил его обратно на подушки, пригрозил высунувшемуся из-под кровати Читатнику, выскочил на улицу.

В жуткой суматохе они собрали свои вещички, упаковали Драперовича с его нетленной, но закопчённой картиной и уже через двенадцать минут выезжали из Усуньчака. Полковник, не отрываясь от лобового стекла, жал на «гашетку» своего железного друга до самого моста через Бию. Там он остановился и попросил выделить ему одежды, а то больно зябко ехать в одной майке да босиком.

А в это время к бывшему дому Драперовича, где однопартийцы досматривали сладкие сны о светлом будущем, пришли тёмные личности бить конкурентов. Это были рядовые «домушники», а присланы они были лидером партии «Наш дом Алтай» с благой мыслью, чтобы не было недоразумений на предстоящих выборах, кои должны состояться на следующий день.

По окончании выборов в местной газете были опубликованы результаты. Ничего необычного там не было, как и предполагало население, первым вышли на финишную прямую «домушники» с Чирквякиным, а вот вторыми оказалась партия «Распиндяи России». Данное обстоятельство велено было не обсуждать во всяких средствах, а замять для благополучия района и спокойствия страны. Об этом наши деятели так и не узнали, а ведь, если подумать, да пораскинуть мозгами, ведь судьба России могла бы измениться. Думаю многие проголосовали бы за «Распиндяев России»!

Расстрел без права переписки

«...ибо огрубело сердце людей сих,
и ушами с трудом слышат,
и глаза свои сомкнули...»

Евангелие от Матфея 13 стих 15

«Уж никогда не сговориться
с возникшими в эпоху смут»

Игорь Северянин

Пролетели девяностые годы как лихотанка человека, метущегося в бреду и горячке, пролетели, коснулись крылом лихолетья, разрухи, грабежей на всех уровнях и горячей отрывки от новой правды, вперемешку с человеческой кровью, обильно пролившейся в череде войн. В остывающих нулевых, после горячих девяностых, умер полковник Георгий Илларионович Петлин. Хоронили его всем районом, пришло уйма народу, не только старых, но и молодых. Немало было сказано о его честности, порядочности, удивительной принципиальности и смелости. Оказалось, стольким людям он помог, что некоторым даже десятка жизней не хватило бы на такие дела.

После его смерти, как-то иссох старик Видлен, сник, перестал наш Цитатник читать классиков революции, занялся тихой охотой на грибы, пропадая неделями в лесу, потом обжился на каком-то затерянном среди леса дорожном полустанке у горячей молодухи, и больше о нём никто ничего не слышал.

Костя Шансин стал получать разнообразные научные гранты, работая в основном за рубежом, раз в год меняя страны, как похотливая красавица нижнее бельё. Он не смог вынести происходящего в большой Академии наук, её поставили на голодный паёк, обобрали, кинули тряпочку для прикрытия стыда, назвав пафосно — научное руководство, хотя реально во главе Академии поставили бухгалтера со стеклянными глазами и «по детски подрезанной наглой чёлкой». А чтобы окончательно её унижить, слили с двумя Академиями внешне похожими на научные учреждения — медицинских и сельхоз наук, что без сомнения привело к падению уровня в целом всей Академии. Никто до сих пор не отменил усреднение. Поэтому Шансин не смог этого пережить, подался в странствия.

Драперович от тоски и невыраженной творческой силы, спился, попал в психиатрическую больницу в ту же палату, где обитали Георгий Илларионович с Цитатником. Пациент Сталин взял над ним шефство, но Драперович любил поспать в будке у философа.

Тарабаркин устроился заведующим складом, стал вести размеренный образ жизни, почти не отрываясь от семьи, но в промежутках между работой и семьёй за кружкой пива, его пробивало на невероятные истории, за что он был любим в одной захудалой рюмочной, где собиралась бывшая техническая интеллигенция, в основном уволенные инженера с авиационного завода имени известного пилота.

Пролетели девяностые...

Не дай Бог, чтобы они повторились...

А Тарабаркину долго снился один и тот же сон, где он ложился под грубое шерстяное одеяло, пытаясь укрыться от душевных терзаний, когда когтистые лапы отчаяния слабнут, и ему казалось, что он способен вырваться в туманную действительность по ту сторону сознания. В этот мигновение Санька предвкушал тихую свободу, но как всегда приходил другой Сон, пахнувший весенней сливой, в старой порванной рубахе, парусиновых штанах с бутылкой плотоядного вина. Он, кряхтя, сутулясь, пришептывая и поправляя край одеяла, приседал на край лежанки, раскрывал потрепанную книгу все на той же странице, где Тарабаркин брёл по крошеву осеннего снега, смешанного с жирной глиной и пожелтевшими листьями берез, проваливаясь в студеную воду рытвин, в холщовой рубахе, босой, с отощавшим щенком за пазухой и душой изъеденной одиночеством...

Александр ШМИДТ

Родился 13.06.1949 в с. Новопокровка Семипалат. области. Окончил Казахский Госуниверситет, в 1989 г. — Высшие литкурсы при Литинституте им. Горького. Публикации в журналах: «Простор», «Юность», «Крещатик» и др. Автор сборников: «Земная ось», «Родство», «Преломление света», «Зерна дней», «Здесь и там». Стихи включены в «Антологию русского верлибра» — издания: «Русская поэзия XX», «Освобожденный Улисс», «И реквиема медь...» и т.д. Стихи переведены на немецкий, польский, корейский. С 2001 г. — в Германии, в Берлине — с 2005.



ПОЛНОЛУНИЕ

Солона моя кровь, солона,
Как бессонная в море волна.
А коль встанет луна над ней —
Так бессоннее и солоней.

И волнуется кровь, как волна,
Видно, тянет к себе луна.

Словно влаги соленой и впрямь
Не хватает лунным морям.

СОСНА

Как кожа сосны нежна и шелковиста.
Щекой прижмешься, как к родной щеке.
Вот отдышусь под свежестью игольной,
Слезу — смолу увижу на песке.

Я сосенку тихонечко поглажу.
Как рассказать? Словами все не скажешь.
Пила ль ты солоней водицу?
Боюсь, пила; слезу зовут — живица.

ВРЕМЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Сквернословит ворон в сквере —
Кар да кар над головой.
Я в приметы слабо верю,
Но досаден голос злой.

Видно, чует пир кровавый,
Жертву будущую зрит,-

Этот выговор картавый
Мне о многом говорит.

Я случайно в этом месте,
Ты случайно черной масти.
Чур меня, судеб grossмейстер,
Репродуктор бед, напастей.

Норов ворона тяжелый:
Чистит перья, смотрит косо.
Хрустнет на асфальте жёлудь —
Время задавать вопросы.

МОТИВ Р.М. РИЛЬКЕ

В селенье этом дом стоит последний,
Как дом последний на краю вселенной.

А улица, последний дом минуя,
Идет, забывшись, в темноту ночную.

Две бесконечности... селенья промежутков,
Такой заброшенный в пространствах жутких.

А кто ушёл — свой дом родной забудет
И в странствиях судьбу свою избудет.

ВЕЛОСИПЕД

Знак бесконечности — велосипед.
Пока не проткнул шину гвоздь,
Она, как змея, от злости шипит
И вечно заглатывает свой хвост.

Знак бесконечности — пара колёс.
Твой локон душистей июльских лип.
Вот так бы велосипед нас вез и вез,
А жаркий асфальт к шинам лип.

РАЗГОВОРЫ

1

Вспышка мертвящего света.
Ты, прищурившись, скажешь:
— Смотри, силуэт человека
Похож на замочную скважину.

Вот попадешь и откроешь
Двери в светлое завтра,

Руки от крови отмоешь
Тобой убиенного брата.

Что, ангел — божия птичка, —
Бежишь от классовой рубки?
О, как я хочу стать спичкой
Бессонной отцовской трубки.

2

Перестройку матерком
Помянет в сердцах:
Вам бы выписал нарком
Досьюта свинца.

Вот бы наш отец родной
Ожил хоть на час, —
Свежей кровью над страной
Зорька б занялась.

ПЕСЕНКА ВОЗДУШНОГО ШАРИКА

От твоих прикосновений молекулы нежности остаются.
Проникают сквозь поры невидимой радости семена.
И тогда я взлетаю в область облачного уютца
И от счастья всего распирает меня.

Ах, как славно витать, видеть свет и быть целым,
Чувствовать, как ласково увлекает солнечная река.
Но уже специалисты по воздушным целям
Ловят в паутину прицела круглого дурака.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Конец,
Конец истории, -
Объявил кто-то.
А мы обрадовались,
А мы побежали:
Наконец,
Конец
Этой грязи и крови,
Крови и грязи.
И вляпались.

ВООБРАЖЕНИЕ

Чтобы развить воображение,
Учил Леонардо да Винчи,
Надо смотреть на стену.

Желательно старую,
Непреренно пристально,
По возможности долго...
Не надо разрушать стены,
Они великолепно
Развивают воображение.

* * *

Как мышцы качает права
И строит слепые прожекты.
Есть грубое слово: жратва
И эхо молящее — жертвы.

Но я не пойму почему,
Согласно какому указу,
Возносят вот эту чуму
В каком-то священном экстазе.

И снова как встарь, как всегда,
Как стадо влекутся народы
В зияющее никуда,
Под пристальный окрик урода.

ПЛЮС МИНУС ЧЕЛОВЕК

Ты уловлен холодным зрачком камеры слежения.
На тебя завели биометрический паспорт.
Отпечатки твоих пальцев,
Рисунок радужки твоих глаз,
Хранит электронная бестия.

Ты расчислен до последнего гена.
Окончательно оцифрован.
Плюс минус человек.

БОГАТСТВО

Рубины,
Сапфиры,
Изумруды,
Алмазы.
Россыпи драгоценных камней.
Какое тебе привалило богатство!
А всего-то,
преломился в твоей слезе
Свет одинокой звезды.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Чужая речь раздражает.
Но, в конце концов, и птицы
чирикают на непонятном языке.
Здесь жители
на тебя уже не обращают никакого внимания,

ведь ты здесь
Тоже на птичьих правах.

* * *

Пора. Проснись. Глаза протри,
С обломовского встань диванчика.
Смотри, весь мир пускает пузыри
младенческие одуванчиков.

Тебе поверить сызнова пора
В невероятную свободу —
Смотри, по летним лужам детвора
Несется, как Христос по водам.

ДОЖДЬ

Бежит капля
По стеклу окна.
Весело бежит,
Такая юная,
Такая беспечная.
А рядом бежит — вторая.
Наперегонки.
Еще та вертихвостка.
Бегут, переглядываются.
Их обгоняет третья
Капля.
Хвост трубой:
Попробуй, догони.
И еще,
И еще капли...
Уже не сосчитать
Столько их.
— вот дуры беспечные,
Даже завидно,-
Улыбнулась сквозь слезы
Слеза.

Антонина ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА



Поволжская немка. Образование — ист-филолог. факультет БГПУ (ныне АГПУ). Лауреат фестивалей «ЛитВена-2008», «ЛитПрага-2010». Публикации: Россия, Германия, Прага, Вена, Торонто, Польша. Книги: диалогия «Жизнь — что простокваша» (на русском и немецком), роман «Айсберги колонизации» (на русском и немецком); сб. рассказов «Жизнь в два листа» (на русском, С-Петербург). Параллельно на двух языках издана в её переводе на русский язык кн. Антона Шнайдера «Мариенталь XVIII–XIX немецкое Поволжье». ПМЖ в Берлине — с 2003г. С 2015 — руководитель и глред Интернет-Портала rd-autoren.de

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

(из повести «Винтики эпохи»)

Баба Лиля в густых уже сумерках сидела обычно летними вечерами на завалинке — вспоминала жизнь...

Ни дурнушка, ни красавица, она была немка, а в годы войны это было страшнее страшного — во всяком случае, так было в Светлановке, что в военные и первые послевоенные годы из маленькой сибирской деревушки превратилось в многонациональное село: одних (калмыков, немцев, армян, прибалтов) привезли насильно, другие бежали от войны. Из депортированных немцев было всего пять семей, но дух неприязни к ним и от них висел в воздухе, этот дух Лиля чуяла нутром — было ей уже семь.

Многоцветный язык села усваивался ею с трудом и потому училась на тройки: к «балаканиям-трандычениям-мычаниям-рассусоливаниям-шкворчаниям-сюсюканиям-вяканиям-каляканиям» не умела подбирать синонимы. Бывало, учительница русского языка цитировала на уроках «лексические ошибки» в изложениях Лили, и тогда класс не веселился — он непристойно ржал. Её это обижало, она не раз бросала школу — за парту её возвращали настоятельные просьбы матери-инвалидки.

С «товарками» (русскими, в её понимании, были все, кроме немки: украинки, польки, белоруски, калмычки, армянки) Лиля собирала ягоды, купалась в реке, бегала, играла в лапту, но, чтоб не выглядеть смешной или, не дай Бог, «фашисткой», лишней раз рта не раскрывала, хотя и была заводной. Тем не менее, национальность играла не главную роль — главное, чтоб уютно, интересно и легко вместе было.

Эта дружба расширила не только географию страны, но и знания. От «товарок» Лиля узнала о белорусских болотах и птицах счастья — аистах; о юртах и кумысе; о любимых поляками супах. Выходило, обычаи, традиции и кухня были когда-то одинаковыми, но люди разбежались, а потом встретились и назвали «новым» то, что успели забыть в разлуке: к примеру, русские пироги поляки называли варениками, окрошку — супом «холодник». Лиля осмелела и рассказала о раках, которых в довоенном прошлом никто из детей не то что бы ни ел,

но даже и не видел; о кухне и плюшках, вкус которых ещё помнила. Сейчас не только плюшек — картошки досыта не было. Грибы ели теперь все: поляки, русские, украинцы, немцы, латыши и даже калмыки. Короче, межнациональное слово «товарки» сплотило детей — помогло вобрать в себя не только кухню, но и манеры, традиции, обычаи разных народов.

7-й класс был позади, 8-й предстояло начинать в районном центре, но страх «лексических» ошибок остался, и она наотрез отказалась ехать в центр. Её доводы: нет одежды, обуви, пальто — были правдой, так что «университетом» Лили стало неполное среднее образование.

* * *

Жить в селе без работы в четырнадцать лет не полагалось, и мать уговорила председателя устроить дочь телятницей на ферму. На русском, немецком и тарабарском Лиля нахваливала и поругивала телят, вовремя подкладывала им солому, поила молоком, пела песни сельского люда — словом, была счастлива, что телята реагировали на её голос. За зиму у неё не пал ни один телёнок — страх «лексических ошибок» исчезал, она обретала уверенность.

В середине марта на общем собрании чествовали в клубе колхозников. Радуюсь за других, она от души всем хлопала и вздрогнула, когда услышала свою фамилию. Оказалось, за сохранение «поголовья вверенных ей телят» Лиле Цингер объявляли благодарность. Выходить на сцену она не хотела, но председатель колхоза настаивал — пришлось подчиниться. Ей вручили похвальную грамоту — огромный лист с золотым гербом и красным флагом, на фоне которого в левом углу был Ленин, в правом — Сталин. Лиля переминалась, не зная, как себя вести.

— Что в таких случаях говорят? — улыбнулся председатель.

Она опустила голову.

— Ну? Что говорят-то?.. Что?..

— Что это лексическая ошибка, — произнесла она тихо, но так, что все услышали, и зал раскатисто вздрогнул. Лиля не понимала, что такого, уж очень смешного, она сказала — в глазах стояли слёзы. Когда угомонились, председатель назидательно объяснил:

— Надо говорить: «Служу Советскому Союзу!»

Лиля пылливо на него взглянула, нехотя улыбнулась и после некоторого колебания негромко повторила:

— Служу Советскому Союзу!

— Вот так-то. А то выдала... На немецком. Не понять чего. Иди на место.

Её провожали весело, а она готова была провалиться сквозь землю.

«Не понять чего... на немецком... — передразнила она про себя председателя. — А смеются, как в школе...» Мать обнимала дочь и со слезами в голосе утешала:

— Ничего, кому-то и работать надо, — и, разглядывая грамоту, наполнялась гордостью за красавицу-дочь. На её вопрос, отчего смеялись, мать не могла дать ответа — спрашивать посторонних Лиля не стала.

* * *

В семнадцать её поставили кладовщицей склада, и в колхозе прекратились жалобы на воровство — белой муки пекарям Лиля взвешивала ровно столько, сколько полагалось. Осенью 1945-го трудодни колхозников начали отоваривать свежее испеченным хлебом, килограммы и граммы калача Лиля делила строго по трудодням. Запах у амбара, где взвешивали пышные румяные караваи, дурманит на расстоянии.

За семейным пайком 10-летняя Света Нечепуренко пришла однажды с сестрёнкой Глашей — белокурой девочкой трёх лет. Их отец вернулся с войны без ноги, но световой день работал наравне со всеми. Лиля взвесила Свете четверть каравая и завернула пайку в её тряпицу, та прижала пайку к себе и дёрнула сестрёнку за руку:

— Пошли домой.

Глаша вырвалась и подбежала к Лиле:

— Я тоже хочу.

— Попроси у сестры.

— Пойдём, мы разделим пайку дома, — покраснела Света.

— А я сейчас хочу.

— Ыж яка! Мала да рання, — раздалось в очереди. — Догоняй сестру.

Света знала: «мала» закатит истерику, и потому удалялась, не оглядываясь. Истерика, действительно, случилась, но очередь молчала... Лиля присела перед малышкой, прижала её к себе и серьёзно объяснила:

— Смотри, сколько народу. Надо, чтобы всем хватило.

— Я е-есть хочу-у, — завелась Глаша с новой силой.

— Все, кто стоит в очереди, тоже хотят есть, но никто не плачет.

Давай станешь в очередь. Подойдёт — взвешу. Договорились?

Девочка кивнула, приглушила плач и послушно встала в очередь.

— Ну, вот и молодец. Маленькая, а лексической ошибки не допускаешь. Не то, что я в своё время, — похвалила её Лиля.

Это разрядило обстановку. Все знали историю про «лексические ошибки», и разговор обрёл другую тему: не все, мол, «балакают як хохлы, особливо нерусь: німці, латыши, казахи, армяне, полякы». Глаша терпеливо ждала. Когда подошла очередь, Лиля отрезала ей внушительный кусок от своего пайка.

— Хватит?

— Мне — хватит, а маме с папой — нет.

— Маме с папой унесла Света. Я отрезала от своего пайка, но я тоже есть хочу — понимаешь?

Глаша кивнула и откусила хрустящую корочку. С заречной стороны к амбару спешила Света, чтобы перенести сестру через речку, которую надо было перейти вброд.

* * *

В начале 1947-го из трудлагерей начали возвращаться мужчины, а отца всё не было и не было. Трудармеец, вернувшийся из того же лаге-

ря, что и отец, рассказал, что он умер в тайге, на лесоповале. Известие подкосило больную ногами мать, что жила ожиданием встречи с мужем. Она потеряла волю к жизни и вскоре умерла, оставив Лилю сиротой.

В 1954-м ей исполнилось двадцать. Как и все девушки, она мечтала о любви — не было, из кого выбрать. Давид Федер, единственный жених из немцев, с дразнилкой: «David Feder — Welschkopf Fleder»¹ — ей не нравился.

Но вскоре произошло нечто особенное. С песней «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами и ты, и я!» к сельсовету по накатанной грунтовой дороге подкатили полуторки, и деревушка загудела-запела в молодёжном вихре — начиналась эпопея освоения целины. Лично для Лили ничего не изменилось — как работала, так и работала, но раньше, бывало, по деревне пройдёт — никого не встретит, а теперь чуть ли не на каждом шагу люди! И всё незнакомые. Парней и девчат — видимо-невидимо! По тесным землянкам размещали до пяти-семи целинников. Заработал клуб. По субботам — вечера, кино, концерты, танцы. Не деревушка, а оживший муравейник, и в этом муравейнике каждый искал любви. Лиля не была исключением — несколько месяцев продружила с целинником из Воронежа и вышла замуж. Официально их расписал, как было принято, районный отдел записей актов гражданского состояния — ЗАГС.

* * *

Молодые построили саманную избушку с окном в горнице и окном в кухне. Родили троих сыновей. Трудились от зари до зари — для блага страны и семьи. Муж работал трактористом, а Лиля — на подхвате: дояркой, весовщицей, продавщицей, приёмщицей молока. Боясь издевательски-осуждающего ржача по причине «лексических ошибок», жертвовала личным ради общественного. Однажды на ток прибежала русская соседка и выпалила:

— У вас двэрі настижь открыты, на столі — вуті и куры, а дітэй я клыккала-клыккала и ны доклыккалась.

Босые ноги Лили рванули к заведующему током — отпроситься. В темпе быстро тикающего метронома бешено билось сердце, этот ритм мешал скорости: она с трудом поднималась по обрыву. К саманному домику, что стоял на берегу реки, подбегала, надрывая голос:

— Федя-я! Вова-а! Стё-ёпа!

Грязные, босые, полуголые, они обычно бежали ей навстречу — сейчас было подозрительно тихо. Заглянула в сарай, пробежала по огороду, где они частенько лакомились паслёном. Никого. Не было детей и на реке. Плача и размазывая по лицу грязь, Лиля опустила на завалинку — передохнуть. Сколько так просидела, сказать не смогла бы. Надвигались сумерки. Надо было кормить поросёнка, птицу, разжигать огонь в плите, но безвольное тело, скованное несчастьем, не подчинялось голове.

Звенящую тишину разрезал крик «Ма-ама!» Её мальчики двух, четырёх и шести лет неслись к ней чистые и ухоженные. Она их не узна-

¹ досл. Welschkopf Fleder — кукурузный пушок (рыльца).

ла — почувствовала. Сзади колесил 2-летний Стёпа. Лиля разом зачерпнула всех троих, прижала и заголосила волчьим воем. Два старших глязели, не понимая, — младший из солидарности поддержал маму.

Подошла незнакомка, поздоровалась, приложила к груди руку:

— Простите, если что... Я их искупала, выстирала им одежду. Муж подстриг — чёлки оставил. Они сытые. Встретила их у магазина, угостила конфетами, они и привязались.

«Выстирала... В таком платье?..» — пронеслось в голове Лили, будто это для неё в данный момент было важнее важного.

— Вы — кто? — пришла, наконец, она в себя.

— Ах, да! Я жена офицера Михаила Сорокина — брата Гали Сорокиной. Мы в гости приехали. На месяц. Весь день с вашими детьми провели. Им понравилось.

— Да, мам. Мы мармелад ели и молоком запивали. Вку-усностища! — сообщил старшенький Федя.

— Мармелад? С молоком?

— И борщ. С белым хлебом.

Лиля смотрела, как в шоке, во все глаза — перед нею стояла живая картинка из модного журнала, человек из другого мира!.. Выходило, есть другая жизнь, совсем не похожая на её! Женщина из незнакомого ей мира — в воздушном голубом платье с рукавчиком «фонарик», в босоножках на высоких каблуках, с аккуратной собранной на затылке русской косой — мыла её детей!.. И от того, что жизнь 30-летней Лили разительно отличалась от жизни этой красавицы, Лиля завывала так, что испугала гостью: «Вы что?.. Почему?.. Мы из жалости... бескорыстно»

* * *

Вспоминая на завалинке тот случай, 80-летняя Лиля улыбнулась: сегодня, слава Богу, она сыта, обута, одета. Ну и что, что одевается по-деревенски! Она и в жару платочка не снимает. И в тапочках всю жизнь проходила. Привыкла. У них нет театров, все выходы «в люди» сходятся на одной точке — магазине.

И нахмурилась: память высветила эпизод, когда поздней осенью спешила после работы домой, а дети — в огне и дыму. Старший зажёл 7-линейную лампу, поставил её на стол, младший крутанулся, опрокинул её, и разлившийся керосин полыхнул огненной змейкой. Младший завернулся в одеяло и — под кровать; средний натянул фуфайку и — на улицу; старший Федя плеснёт на огонь ковшик — горит. Вот уж язычок до кровати добрался, лизнул тюлевую занавеску, загорелось покрывало. Федя сорвал горящее покрывало и — на пол; хорошо — земляной был. Стёпа кашляет в одеяле, Федя плачет — руку обжёг. В это время Лиля и вбежала. Сдёрнула с гвоздя старую фуфайку и начала огонь забивать. Подъехал на тракторе муж. Огонь потушили, но домик сделался чёрным.

Было 12 ночи, дети боялись спать. Успокаивая их: «Ничего — живы остались», Лиля плакала вместе с ними. Домик надо было мыть-белить, и утром, впервые не подумав о «лексической ошибке», Лиля устроила себе на неделю отпуск. Белила, скоблила, детей кормила, но

за то, что не вышла на работу, правление колхоза объявило ей выговор. Выходило, кроме неё, дети Лили были никому не нужны, и мозг засвербел от крамольной по тому времени мысли: «лексическую ошибку» совершила не она, а правление.

* * *

В статусе мужней жены Лиля пробыла двадцать лет. Первый год был годом счастья, в нём и Федя родился, а потом у мужа обнаружили туберкулёз лёгких, и все последующие годы превратились в борьбу за его жизнь — делала разные настойки, следила, чтобы муж вовремя их пил. По маленькой дозе для профилактики пила сама и давала детям. Когда начиналось кровохарканье, беспокоилась: не заразил бы семью. И следила, чтобы платки не попадали в общую стирку, отнимавшей много сил и времени: стиральной машины не было — всё приходилось кипятить. Заболевание не давало освобождения от работы, но с учётом болезни колхоз выделил мужу трактор с кабиной, что защищала от холода и ветра. Однажды его ждали с кормами на свиноферме. Он подъехал, но из кабины не вылез. Подошли — голова на руле; не понять — спит или отдыхает. Окликнули — молчит. Сняли, а он остывать уже начал. Так в сорок лет Лиля перешла в статус вдовы, и все последующие годы в этом статусе и прожила.

* * *

Сыновья обрели профессии, в которых нуждался колхоз: старший Федя стал, как и отец, трактористом, Вова и Стёпа — шофёрами. Воспитание детей Лиля сводила к тому, чтобы учились без двоек и не воровали:

— Такую лексическую ошибку вам не простят.

В 1973 г. до ухода в армию Федя уговорил председателя колхоза помочь сосновыми брёвнами для нового домика, потому как саманный годился разве что для сарая. И колхоз помог, но не сосновыми брёвнами, а списанными шпалами, пропитанными дёгтем.

— Стены потолще промажете, и запаха не будет, — обнадёжил председатель, — зато домик будет вечным: ни крысы его не возьмут, ни гниение.

Домик выстроили за месяц. То лето выдалось жарким и сухим — стены, обмазанные изнутри на два раза, высохли быстро. С высокого крыльца поднимались в маленькую крытую веранду, из неё проходили в большую, где одна дверь вела в кухню, другая — в так называемый «зал» со смежной спальней. Через неделю при закрытых окнах и дверях обнаружилось, что комнаты пропахли дёгтем. Пока было тепло, двери держали открытыми. Зимой от густого, удушливого запаха часто болела голова, но Лиля вскоре поняла, что едкий запах менее чувствителен при температуре не выше восемнадцати градусов. В этом режиме первую зиму и перезимовали. В следующее лето на стены нанесли ещё один внушительный слой глины, в завалинке проделали «окна», чтоб проветривалось под полом, и дегтярный запах сделался едва уловимым — на запах жаловались только гости.

Лиля крутилась, как белка в колесе, но жила с ощущением богатого человека: радовали голубые ставни на шести окнах; баловал электрический свет; не протекавшая после дождя крыша; входная дверь, которую зимой не заносило снегом.

— В моём тереме, — хвасталась она, — я золой не пылю: зал и спальня обогреваются стеной от печи, что топится из кухни.

Протопить печку, вынести золу, принести воды, сготовить еду, убраться, постирать — какая ж это работа? Это о-отдых!.. Лиля находила время и на участие в клубных концертах, где запевала «Ой, при лужку», «Вечер на рейде», песню «О Днепре». Бывало, «товарки» затягивали матерные частушки, и тогда Лиля озорства ради затягивала свои, немецкие:

Ich han dr schun so oft gesagt:
Geh doch nit zu deren.
Sie hat ken rode Backe
Und den Asch voll Schweren.

Hier sind Gräbchen, drüben Gräbchen.
In dr Mit der Grabe —
Sitzt die alte Russe-Matschka
Handelt mit Kohlrabe.

Dreimal übr die Keller Tür,
Viermal in die Weise,
Wenn du mir ken Schnäpschen gibst,
Tu mit dir nit reiten.

Die Rutatu ist schun kaput,
Sie kamm-r nit mehr machen,
Die naje Blättern müssen sein,
die alte tun al krachen¹.

¹ Часто я те говорил,
Чтоб до ней ты не ходил.
У неё не красны щёки
И вся в чирях жопа.

Ямка тут, другая — там,
Посередь — канава,
В ней матрёшка русская
Торг ведёт с кольраби.

Трижды я — у дверь подвала
И четыре — на луга,
А не дашь мне стопку шнапса —
Гарцевать с тобой не буду.

Ногой в гробу уж Рутату —
Её ты не починишь.
Ей листья новые нужны —
Все старые ошипаны.

Привычный припев «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла — ба-алаболю я» женщины повторяли, смеясь, вместе с Лилей.

Маша-джян, Маша-джян,
Прыхады на лавка,
Будэм кушат баклашян,
Разна фкусна трафка.

* * *

Как прокралась в дом беда, Лиля проглядела. На тракторе Федя привозил, бывало, кому уголь, кому сено, кому дрова (да мало ли чего!), и все благодарили — кто «Столичной», кто «Московской, кто «Перцовкой». И начал Федя прикладываться к бутылке. Боясь обидеть и отдалить от себя трудолюбивого сына, Лиля молчала, плакала и надеялась, что армия его исправит, но после армии началось то же, что было до. А тут ещё «сухой закон» 1985г... В магазинах исчезла водка и начали пить что ни попадя: одеколоны, клеи, моющие средства. В гостях выпил Федя денатурат, в гостях и помер — больницы в селе не было.

Лилия поседела за одну ночь. Из природной веселушки превратилась в немую немку — а на кого жаловаться, если такая судьба ей уготована свыше? Чужим до кома в её душе не было дела — с комом и жила.

* * *

Наступили девяностые — немцы целыми деревнями и семьями уезжали в Германию. Тёти по матери и отцу уговаривали подать заявление на выезд, но Лилю бросало в дрожь от одного слова «Германия». В деревне её давно признали своей — забыли, что она немка. Если честно, она тоже забыла — слабо помнит мамини песни и бытовой немецкий диалект. От былых страхов осталось разве что выражение «лексические ошибки». В селе оно стало привычным, и употребляли его, когда не хотели говорить «наступить в говно». Лилия прижилась, все её знают — от добра добро не ищут. Кто ей в той Германии дом построит? А здесь у неё вон какие хоромы: две комнаты, кухня, просторная веранда, летняя кухня — наследие саманного домика. Рядом — огород в двадцать соток. Из года в год мало-помалу копила-копила и накопила столько, что и внукам, и правнукам хватит: шкафы забиты носками, постельным бельём, платками, одеялами, подушками, перинами, коврами — всего не перечислить.

И всё бросать? Не-ет, «лексическим ошибкам» не бывать: помнит, с каким трудом всё доставалось!.. Мать до самой смерти вспоминала свою Мариенталь, её Breitgasse (широкую улицу) и всё, что пришлось оставить: большое зеркало на стене, шкафы, столы, стулья, погреб со всякой всячиной. Всего этого у неё сегодня навалом, а в погребе и картошка, и солонина, сало-шпик и сало топлёное. К тому же и кладбище рядышком — с могилами матери, сына и мужа. Все трудности позади. Серёжа и Вова поженались, внуков нарожали — она всем помогает. Кому она в той Германии нужна? Кто её там ждёт?! Здесь она своя, а там — ни Богу свечка, ни черту кочерга.

Настали, конечно, тяжёлые перестроечные времена, но от голода, как было в войну, слава Богу, в деревне никто ещё не помер. А будет совсем невмоготу — содержимое шкафов начнёт менять на продукты: вместе с детьми и внуками сто лет продержится. Так при детях и внуках рассуждала Лиля, вкладывая свои убеждения в их души. Да, 32 года без мужа, но жизнью она довольна: замужняя внучка живёт рядом; бабушку навещает каждый день, вместе телевизор смотрят, только что её проводила. Перед тем, как лечь спать, вышла в кухню закрыть вьюшку: тепло в январские морозы надо беречь.

* * *

Ночью Лиля проснулась — сходить по маленькой нужде на ведро, которое с вечера заносила в холодную веранду. Засунула босые ноги в валенки, полусонно подумала, что мороз, видимо, пошёл на убыль: в спальне было непривычно жарко. В ночной рубашке открыла массивную дверь на веранду, и — о Боже! — из кухонной двери прорывались языки пламени. Заглянула — кухня полыхала костром. Захлопнула дверь, сдёрнула с гвоздя в зале старое пальто, натянула его на ходу и бросилась к колодцу, наматывая на голову платок. Принесла два ведра, но вырвавшийся на веранду огонь набросился на неё, однако два ведра всё же выплеснула. Пламя на минуту задумалось и, словно придя в себя, с силой рвануло к противоположной, смежной со спальней стене. Лиля захлопнула кухонную дверь и снова кинулась к колодцу.

В спешке спускаясь с крыльца, упала, ощутив на обгоревшем лице приятный холод снега. Пока тащила из колодца воду, огонь снова вырвался на веранду, и она, хотя и бывало всяко, впервые почувствовала себя беспомощной: одной пожар ей не потушить. Глядя на набравший силу огонь, вспомнила о деньгах в шкафу спальни, а их ни много ни мало, тридцать тысяч — вся сэкономленная за последние годы пенсия. Вылила на себя воду и бросилась в огонь, прикрывая лицо мокрым воротником. Нащупала в шкафу целлофановый пакет, прикрыла его полой мокрого пальто, и сквозь огонь — к выходу.

Глядя со двора, как перебрасывался огонь сначала в зал, затем в спальню, как разгоралась крыша, как теряла всё, что с трудом жила, почувствовала себя бездомной девочкой, какой в 1941-м привезли её сюда с родителями. Сбегались люди, о чём-то спрашивали, но она никого не слышала и ничего не понимала — к лицу и голове больно было притронуться.

В районной больнице Лиля очнулась через месяц. Обгоревшее лицо и уши подлечили, но куда её выписывать, не знали — больная молчала. В конце концов, её взяла к себе внучка. После ухода внучки и её мужа на работу Лиля оставалась в доме одна и от нечего делать отправлялась на пепелище, что находилось рядом, — вытаскивала обгоревшие кастрюли, сковородки, вёдра, и к ней вернулась память. Соседи рассказывали, как, мол, однажды на пепелище она прогневала Бога. Подняла к небу руки, крикнула, что было силы: «За что ты, Господи, всё у меня отнял?.. За что-о?..» и — началась такая гроза, припомнить какую не могли старожилы. Ещё, бывало, она на пепелище в сердцах передразнивала председателя:

— Ве-ечный дом! Ни крысы не возьмут, ни гниение»!.. Взя-ял! Дё-ёготь взял! Паразит, брёвен не дал...

После пожара, что случился из-за замыкания в проводке, жизнь Лили превратилась в гостевую — у одного сына, у другого либо внучки. Эту жизнь она не любила, полноценно жила лишь в воспоминаниях: расхаживала по дому из пропитанных дёгтем шпал — единственному богатству, что питало жизненный дух и давало ощущение свободы, когда она была царицей и владычицей собственных желаний. Садилась во дворе на прохладную, плюшевую зелень и подолгу любовалась слепыми котятками, что тыкались к соскам своей лениво развалившейся на солнцепёке матери; тянула из колодца ведро и выплёскивала по корытам и ямкам воду, в которой плескались утята; на горячем летнем солнце прожаривала всё от моли; перекладывала содержимое шкафов; пропалывала огород; топила холодными зимами печь и готовила в кухне еду.

* * *

Однажды к дому внучки летним вечером на завалинку к бабе Лили присела соседка. Притронулась — мертва.

На кладбище, где лежит она сегодня по соседству с матерью, сыном и мужем, ей приносят обычно цветы.

— Тут наша баба Лиля лежит, — крестятся те, что помоложе.

— Не-емочка ты наша ро-оденька! Ны було у тэбэ няяких «лексічных помилок», — крестятся «товарки» её возраста.

Старик Цыбуля, одноклассник, не крестится — кладёт один пучок полевых ромашек на могилу жены, второй — на могилу Лили и непременно вздохнёт:

— Эх, Лиля-Лиля, пійшла б за мЭнэ заміж — усэ б по-другому выйшло.

2008-2018

ЗАРНИЦЫ ДЕДА МИШИ **(из повести «Винтики эпохи»)**

С его уходом яркими зарницами унеслись в бесконечность бабушка, дедушка, наводнение и бычок...

* * *

Лёгкое, нежное прикосновение мешало спать. Миша отмахнулся, увернулся, но кто-то надоедливой мухой снова коснулся волос. Чтобы отделаться от этих прикосновений, он натянул на голову лохмотья одеяла.

— Мишенька, пора, — прошептали голосом бабушки, и рука убрала с головы лохмотья. — Пора, сынок.

— Не мешай... спа-ать, — гнусаво отозвался он, не открывая глаз.

— Подымайся, родной, я тя на саночках повезу. Добудем пшенички, сварю чо-нить и выпишься, — потянула она его за руки.

Он приоткрыл веки. Коптилка тускло высветила телогрейку и серую кайму тёмной шали поверх телогрейки. Бабушка была одета. На-

тянув на внука старый дедов ватник, она опоясала его верёвкой, на голову водрузила вытертую цигейковую шапку с ушами, что побывала не на одной только его голове. Ноги в бабушкиных носках Миша затолкал в подшитые валенки, руки просунул в протянутые варежки, и они вышли в ночь.

Было тихо и морозно. Тёмное небо украшали горохом рассыпанные звёзды. Бабушка бросила на сани немного соломы, накрыла её мешком и тихо велела:

— Садись, поспи ещё.

Захрумтел затянутый ледком снег, и сани покатали мимо тёмных землянок. И от того, что ни одно окошко не светилось, казалось: на всём белом свете никого больше нет — только они одни. Проехав длинную и единственную улицу, выехали с одного конца деревни на другой. Накатанную дорогу сменили бугры и колдобины — приходилось держаться, чтоб не вывалиться из санок.

— Я замёрз, — пожаловался Миша.

— Пройдись — согреешься. Бог даст, наберём полмешка, и голод нас минует. Хорошо — никого не встретили.

Она взяла его за руку, они пошли рядом, и он забыл про холод. Шли, казалось, в степи по бездорожью.

— Ба, мы заблудились?

— Нет, вот колея — вишь? Неделю назад женщины на розвальнях возили отсюда солому на ферму. Под скирдой мама тогда заприметила зерно, а то — откуда б я знала. Думаю, за неделю оно вытаяло. Бог даст, намолотим зерна, и — заживём.

Он плёлся рядом, а бабушка тянула сани и без конца говорила, что, если доберутся к скирде на рассвете, домой придут с поживой.

— Вишь, световой день какой длинный — хватит времени, чтоб добыть зерна. За него ж, — приглушила она голос, — в тюрьму сажают, но мы, слава Богу, никого не встретили. Домой придём, как партизаны, ночью — в деревне уже все спать будут.

— Ба, я есть хочу.

— Потерпи, милоч, придём — наедемся. Светает, скоро будем.

— Я устал.

— Ну, садись — покачу.

Белая, бескрайняя степь не имела, казалось, конца, и Миша снова замёрз. Он только собрался было на это пожаловаться, как бабушка вскрикнула:

— Мишенька, а вот и скирда — вишь?

Миша скирды не видел — никакой. Бросив саночки, бабушка молодно крикнула «ура-а!» и устремила к снежной горке. Упала на колени и энергично, как делают куры, начала разгребать снег и что-то из-под него извлекать. Рукавицы, видимо, мешали, и она отложила их в сторону. Миша видел, как бабушка без конца что-то растирала в ладошках, дула в них и бросала в рот. И он понял: это место спасёт их от голода — недаром шли всю ночь. Роясь, растирая и всё бросая что-то в рот, бабушка совсем забыла о любимом, но замёрзшем и голодном шестилетнем внуке. Ему стало обидно, он слез с саней и вплотную подошёл к ней.

— Ми-ишенька? — нараспев, точно вспомнив о его существовании, удивилась она и протянула ладошку с зерном. — На вот, сынок, поешь.

Зёрна обожгли холодом. Тягучая от долгого разжёвывания масса оказалась вкусной, и он решил, что зёрна прячутся в снегу так же, как прячется смерть Кашея Бессмертного: дуб, сундук, заяц, утка, яйцо, игла. Вместо всех этих предметов в хитроумной сказке перед ними было только два: снег и полова, но находить в них зёрна было так же трудно, как искать иглу со смертью Кашея. И всё же определять беременные колоски и добывать зерно он научился довольно быстро. Радуюсь каждому зёрнышку, делал то же, что и бабушка, — растирал, дул и сорсал в рот. Первое время мёрзли руки, но потом притерпелись, да и солнце стало пригревать.

— Ба, я пить хочу.

— Значит, наелся. Поешь снегу. Только немного.

Вынув из мешка дерюгу, бабушка расстелила её на снегу, и они начали бросать на неё колосья вместе с половой¹. Когда образовалась внушительная горка, бабушка попросила:

— Миш, попрыгай на них — у меня ладошки болят.

— А у меня зубки.

— Ну-к, покажь.

— Не-ет, то не зубки, то дёсна. И у меня болят. Ничо — пройдёт боль.

— Ну да, зёрнушки твёрдые, — рассудил Миша по-взрослому.

Солнце грело по-летнему. К обеду ледяная корка исчезла, снег сделался мягким, рыхлым; разгребать его становилось всё легче. Когда на дерюге образовывалась внушительная горка, бабушка запускала в неё пригоршню, поднимала и пропускала содержимое сквозь ладошки — зёрна падали вниз, а отходы относил ветром. Сытому Мише надоело рыться в снегу, и он начал бегать за сусликами и мышами, что без стеснения шныряли туда-сюда, точно соревнуясь с людьми, которые отнимали то, что по праву принадлежало им, жителям степи. Рыться в снегу Миша устал, и он попросил бабушку разрешить ему просеивать сквозь ладошки полову, но вскоре и это надоело.

— Ба, пойдём домой.

— Мишенька, — не время. До темноты ещё далеко. Смотри, сколь снега осталось, сколь перебрать ещё надо. Помогги. Чем больше наберём, тем сытней заживём. Бросай колоски на дерюгу и не ленись молотить ножками.

И Миша снова начал разгребать снег рядом с бабушкой. Ближе к вечеру он в очередной раз пожаловался на голод.

— Ну, давай пожуём, — согласилась бабушка, мостясь рядом с ним.

Отбрасывая голых мышат, они выискивали зёрна и бросали их в рот со снегом. Утолив голод, бабушка продолжила с жадностью разгребать снег. Миша какое-то время наблюдал и, так как заняться было больше нечем, начал вяло бросать на дерюгу колоски вместе с половой. Солнце пряталось за горизонт. Холодало.

¹ отбросы молотья.

— Ба, темнеет — пойдём, а? Пока дойдём, все уснут, и нас никто не увидит.

— Сейчас, сынок, сейчас, — а сама всё продолжала рыть, растирать, дуть и сеять.

В полной почти темноте собрала с дерюги последние зёрна, бросила их в мешок, подняла его и удовлетворённо оценила:

— Килограммов пять будет. Всё, пошли домой.

Отсыревшие валенки передвигались с трудом, с трудом скользили и санки. Миша сонно спотыкался, но молчал. Молчала и бабушка.

— Садись, — разрешила, наконец, она.

Он плюхнулся, свернулся на дерюге, под которой скрывался мешок с зёрнышками, и уснул, словно на топчане за печкой, — лучшего места было не сыскать! Как проехали деревню, как оказался на реальном топчане за печкой, не помнил. Проснулся от праздничного запаха. На ручной мельнице, рУшилке, бабушка перетёрла немного зерна и утром порадовала внука хлебными лепёшками. Запивая их душистым чаем из чабреца, Миша догадался спросить:

— Ба, ты не спала?

— Как только дед занёс ты в домик, я свалилась от усталости. По-спала чуток, поднялась, затопила печь, перетёрла немного зерна и настряпала лепёшек. Мама тож поела, но ушла уже на ферму.

— Ты самая хорошая бабушка. Лучше тебя нет в целом мире! Вот вырасту, буду работать и тогда есть хлеб будем от пуза.

Незаметно смахнув слёзы, бабушка обняла его:

— Будет время, и есть от пуза будем не только хлеб. Скорей бы войне конец.

Снег таял быстро. Весну Миша наблюдал из окна. Он знал жизнь всех ручейков за окном — как они пробивали себе дорогу; как вымерзали за ночь; как превращались в реки, и тогда по ним корабликами носились прутики, что прибывались водой к бережку.

Маму видел он редко — на работу она уходила, когда он ещё спал, и приходила, когда уже спал. Однажды дед выложил на шесток несколько картофелин, живо взглянул на Мишу, что сидел по обыкновению у окна и вынул из-за пазухи большие галоши.

— Гостинец достал. Таперь во двор выходить мошшь. Ничо, шо малость больши, намотам чо-нить, и хорош, — загадочно произнёс он.

* * *

Вечером пришла мама, когда Миша ещё не спал. В кои-то веки семья была в полном сборе, и дед сообщил, что правление командирует его на всё лето в степь спасать мериносов — ценную породу тонкорунных овец. Женщину посылать опасно, а мужиков, кроме него, в колхозе нет. Дед просил дать ему Мишу: «На вольном воздухе малой чуток окрепнет. Будет морозно — обует галоши».

— Ой, пап, не знаю, — засомневалась мама, — а ежли чо случится? Там волков полно.

— И чо — штоль я внука не уберегу?

Дед убеждал маму отпустить мальчика в степь. В конце концов, она согласилась, и утром они выехали в темноте. Бычок медленно тянул телегу, не обращая внимания на лёгкие удары и понукания «цоб-цобе». Миша досыпал под теплым боком деда. Проскочили зайцы, пробежала косуля, дед начал беспокойно оглядываться, и Миша проснулся. Телегу трясло, солнце припекало в спину — время приближалось к обеду. В серой степи начинала местами проклёвываться зелень, вдали чернели холмы, голые деревья, а дед всё не переставал беспокойно оглядываться.

Интереса ради оглянулся и Миша. И испугался того, что увидел: степь, которую они проехали, держа путь к черневшим впереди холмам, бесшумно накатывалась ковром зеркально гладкой, блестящей на солнце воды.

— Деда, нас вода... догоняет, — заволновался он.

— Снег тает. Наводнение началось, — произнёс дед обыденным голосом. — Хде-сь, должно, реку прорвало.

— А мы?

— Бычок чуе дорогу — вывезе. Понукать его таперь не надо.

Вода накатилась, обогнала, и телега не то поплыла, не то покати-лась. Никем не понукаемый бычок брёл по брюхо в воде, и телегу поднимало-качало, как лодку. Бывало, из-под ног бычка уходила земля; тогда он, теряя опору, начинал плавать. Ничего подобного Миша раньше не видел — не знал, что бычки умеют плавать. Степь превращалась в море, которому, казалось, не было конца — по ней плыл бычок, телега и они на телеге. Солнце припекало.

— Деда, а если бычок не найдёт дорогу?

— Найдё-ёт.

Дед стоял во весь рост на местах катившейся, местами плившей телеге и крепко прижимал к себе внука. И чувство страха покинуло Мишу: в детской душе зрела уверенность, что дед, талисман и гарант безопасности, не даст им погибнуть! Плыли-катились они весь день. К вечеру, когда солнечный зайчик от воды перестал слепить глаза, бычок вытащил их к холмику с белым домиком, печкой, деревянным полом, колодцем-журавлём и продолговатым жёлобом. Море осталось позади, они были спасены.

К обеду — времени, когда дед пригонял на водопой овец — Миша обязан был наполнять жёлоб водой. Эта взрослая обязанность доставляла ему такое же удовольствие, как знакомство с многочисленными и разнообразными капканами, применение которых он осваивал.

* * *

По возвращению их ждала неприятная новость: в счёт налога председатель колхоза приказал сдать бычка.

— Тебе уже семь, — грустно сказала бабушка, — отведи на ферму бычка.

И Миша отвёл. Перед отправкой на мясокомбинат скот сгоняли в длинный загон рядом с конторой, где записывали фамилию владельца и вид живности. Во дворе Мишу встретил мужик.

— Загонишь в загородку, зайдёшь в контору и распишешься, — распорядился он и скрылся за дверью, ёжась от холода.

В загоне мычали коровы и блеяли овцы. Миша отогнал бычка поглубже, погладил его, постоял возле и зашёл в контору.

— Как фамилия? — спросил мужик.

— Хитрова Мария, — ответил Миша.

— Это ты — Мария? — усмехнулся мужик.

— Мария — это моя мама, а я Михаил. Она работает. Окромя меня, привести больш некому.

— Ну, ладно, — враз стал серьёзным мужик. — Значит, сдаёте бычка?

— Бы-ычка, — вздохнул Миша.

— Распишись.

Миша знал только первую букву фамилии и первую букву своего имени, и там, куда ткнул пальцем мужик, написал печатными буквами две буквы алфавита: **ХМ**. Вышел из конторы, остановился у загородки и стал выглядывать бычка, чтоб попрощаться. Бычка не было. Решив, что его увели, Миша отправился домой.

Вечером в дверь землянки кто-то начал тыкаться, и Миша с бабушкой притаились, прижавшись друг к другу: жили они на самом краю глухой сибирской деревушки, рядом рыскало много волков. Как только тыкания прекратились, дед решил выйти и посмотреть, что произошло.

— Може, ветром чо прибило.

Его долго не было. Узнать, что случилось, не терпелось теперь и бабушке, она натянула фуфайку и вышла следом. Со двора донеслось её радостное восклицание, но вскоре всё стихло. Нетерпение передалось Мише, однако выходить за бабушкой он не стал — боялся. Время тянулось. На топчане за печкой сидел он, напружинясь, — ждал. Наконец, заиграла щеколда, дверь открылась, и у порога показалась бабушка. Миша уставился на неё с немым вопросом в глазах.

— Ложись. Спи, — наигранно спокойно велела она, — придёт наш деда, никуда не денется.

Утром Миша проснулся от запаха наваристого супа. Всю голодную зиму 1943-го бабушка готовила его по ночам, так что перезимовали почти безбедно. Секрет наваристого супа раскрыли Мише, когда он повзрослел. Оказалось, бычок вырвался из загона, прибежал домой, и бабушка убедила деда не возвращать его в колхоз: по таблице отчётности значилось, что бычка они сдали, а колхоз его принял. И доказательством тому служила роспись Миши — **ХМ**.

Февраль 2019

МИНИ-ТЮРИ

Человек и река

Человек обуздывает реку, но, вырвавшись на волю и мстя за стремление ограничить её свободу, она всё разрушает на своём пути.

Вынужденно находясь в неволе, человек вырывается на свободу, по существу для него дикую, а дальше — что на роду написано... Насытившись, он, как и река, возвращается либо в прежнее русло жизни, либо погружается в болото обывателя, либо испаряется — незаметно исчезает от болезней и жгучей людской жестокости.

2008

Писатель влюбился

Писатель влюбился... Выразить это состояние могли лишь особенные слова, но они не находились. И он написал: «Писатель воспринимает слова, как композитор ноты, но, как певцу, ему не всякая нота по силам» и отложил ручку.

Надолго ли? Кто знает — может, навсегда...

Вес страданий

— Ну, подумаешь, страдал!.. — возмутился он. — Какое ж это страдание? Так себе, цветочки...

Но как, скажите, измерить силу и вес страданий? Один поседел в день похорон любимого, другой — потеряв в войну хлебную карточку, третий не вынес измены...

Три года вздохов

Черноглазый красавец, он приезжал из соседнего села по субботам на танцы. 15-летняя, она тайно по нему вздыхала. Через два года он пригласил её на вальс. Так знакомились в середине двадцатого столетия.

Человек и Собака

Скрестя руки на спине, Старик лениво и задумчиво брёл по плюшевому дну оврага; шагах в двадцати за ним — старая, как и он, Собака. Старик оглянулся — Собака засеменила мелкой рысью, притворяясь, что догоняет. Старик повернулся и лениво продолжил путь — собака сделала то же...

Взгляд, поворот головы, дыхание, шаги — это всё слова...

Июль 2015

Не слова — ласка!

По аллее парка идёт молодая мать с громко плачущим 2-3-летним малышом. Мать увещевает — он не унимается. К ним приближается женщина в шляпе. Улыбаясь, она выбрасывает руки, садится на корточки, прижимает малыша и шепчет: «Тс-с-с!» Он замолкает на полувздохе и с мокрыми от слёз глазами доверчиво прижимается к ней.

Бывает, слова не нужны — достаточно приласкать...

август 2015

И районный центр — Рим

Степной Кучук — деревня на Алтае. Вспоминаются почерневшие от давности дома, спящие и заросшие лопухом подворья, их старожилы... Им не до Рима, им и районный центр — Рим...

ноябрь 2015

История России-СССР — XX век

- В России-СССР XX столетия неугодных «уходили»:
- в 10-е годы свергали и подавляли...
 - в 20-е «чистками» выявляли «вредителей»...
 - в 30-е раскулачивали и расстреливали «врагов народа»...
 - в 40-е ссылали «шпионов», «диверсантов» и «дезертиров»...
 - в 50-е разоблачали культ и вдохновляли целинной оттепелью.
 - в 60-70-е приспособляли в «психушках»...
 - в 80-е дали глоток свободы...
 - в 90-е бросили в беспредел...
 - с 2000-х учат улыбаться — шагать в ногу...

декабрь 2012

Читают второе столетие

— Г-мм, — недобро усмехнулся он, — написал рассказик, и писателем себя называет. Вот моего отца-писателя знала вся страна, но он называл себя «Автор».

«Нам не дано предугадать»... «Автора» не помнят, а «рассказик» охотно читают второе столетие.

август 2015

В мусор

Его романы помнят по количеству — тридцать. Вдова после смерти выбросила рукописи в мусор...

август 2015

Умный я, понимаешь?

- Деда, и чего ты всё пишешь?
 - Умный я, понимаешь? Не напишу — умрёт всё со мной.
- Внуку тоже захотелось быть умным — начал конспектировать лекции.

август 2015

Только себя

Других не читал — только себя. С годами писал он всё хуже...

август 2015

Вылебать можно, если...

Её депортировали в 5-летнем возрасте. Голодала, тонула, горела, много работала — не сломалась. Она и в старости не выглядела дряхлой. От продолжительных трудностей мы застываем, как после длительного томления застывает холодец.

Вылебать нас можно, лишь если разогреть...

август 2016

Я ж работаю

— А почитать вас можно? — спросила парикмахерша, энергично лязгая ножницами.

— Для того и пишу.

— А книги где взять?

— Купить.

— Да-а? — зависли в воздухе короткие и ритмичные звуки.

— А как же! Вы свой труд продаёте, я — свой.

— Так я ж работаю!..

Помню сердце твоё

*Отцу А. П. Шнайдер, погибшему
23.01.43. Карлаг, станция Ивдель*

Я не помню лицо — помню сердце твоё.

Грусть-тоска на душе и мурашки...

Я не помню лицо, но всегда жил во мне

запах папы и запах рубашки.

Помню мягкие руки твои и тепло,

Помню, в вальсе с нами кружился.

Я забыла лицо — столько лет пролегло...

Ты на корточках вдруг опустился,

Прошептал: „Ангелочки, — к себе нас прижал, — я вернусь... Остаётесь вы с мамой».

И накрыло нас вскоре, как девятый вал,
безутешной бедой — панорамной.

Ты прости мне, отец, я не помню лицо —
помню сердце твоё золотое.

Это сердце во мне наливалось свинцом,
но ни разу не знало простоя.

Я не помню лицо — помню сердце твоё...

июнь 2012

Без тебя я — льдинка

Матери Элле Ал-дровне

Без тебя я просто льдинка,
что на солнце лишь блестит.
Без тебя на сердце дымка...
Голос твой во мне журчит
слабый, властный и весёлый.
Он в семье, как камертон.
В праздники — пирог с паслёном,
жмыха кус, пустой бульон.

А весной — солнца нега,
и в логу журчит вода.
И картошка из-под снега —
тоже сносная еда.
В стужу были мы водою —
той, что в реках, подо льдом.
Лето нежило прохладой,
Пахло тёплым молоком.
Нас готова к жизни взрослой,
где любовь поёт и плачет,
утепляла домик мохом
белкою, увы, незрячей.

Без тебя я стала льдинкой.
Будет время — растоплюсь
лёгким облаком, пушинкой,
кем, не важно — воскреснусь...
Нащебечемся мы вволю,
Вспомним недругов, друзей,
что не выстрелят укором
за ошибки на Земле.

декабрь 2016

* * *

«Не лги, не укради и не убий», —
нас учат с детства мамы, школы,
но заповеди взрослым не указ,
и, вырастая, маленький Андрий
строчит уже не Бога — свой приказ
по праву силы, а не протокола.

2015

Горькая память — Богу упрёк

Как угадать бесполой пули свист,
что знай себе танцует смертный твист?
Ей все равно, с каких солдат краёв, —
ни генералов ей не жалко, ни бойцов.

И кланяются вечности бойцы,
что наши-ваши — Богу все свои.
Как далеки жена, отец и мать!..
Хотя бы раз-разочек всех поцеловать!

А в глубине России их сыны,
обласканные ласками войны,
росли-мужали в сёлах трын-травой,
ютясь с клопами, вошью и блохой.

Давно уж нет отцов и той страны,
дошаркивают нищие сыны —
свидетели тех чёрных, грозных лет,
но мёртвым до живых теперь и дела нет...

У них уж дом другой — погост и крест,
смиренье в нём да тишина окрест.
Поют там ангелы, поёт Христос...
Зачем, Господь, бросаешь нас в хаОс?

2016

Ждёт поцелуя солнца

Молчит берёзка голая зимой...
Печально и стыдливо-одинок:
ждёт поцелуя солнца, чтоб весной
вином хмельным наполниться и соком.

В предчувствии любви все дни и ночи
объятий жаждет, и тепла, и света.
И вот уже беременеют почки —
и воскресает юная принцесса.

За боль любви, надрежут если ствол,
поплачется слезою благородной,
чуть сладкой и живительно-святой,
всегда и всюду лишь здоровьеродной.

Начнёт шептаться клейкая листва,
начнут рождаться нежные серёжки.
От поцелуя солнца и тепла
задорно закурдювятся берёзки.

октябрь 2017

Осенние женщины

Осенняя пора. Дары и разнотравье.
Пленительная радуга цветов.
И в этом мире, красочном, нарядном,
мы наслаждаемся обилием плодов
и женщинами в возрасте осеннем.
Пусть личные плоды их подросли...
В любви они искусней, совершенней —
ромашковую осенью сильны!

июнь 2017

Край детства

Взрослеют люди, но земля,
что с детством связана была,
вращается в душу навсегда.
Мой свёкор век провёл в лесу.
Не верил он, что я люблю
Алтая степи, их красу.

«Любовь к степям? — смеялся он. —
Пустые, голые, они
лишь для кочевников годны.
Мы в голод выжили в лесах
с грибами, ягодой, зверьём.
С сырьём всяк жил себе — царём».

Не знал ковыль он распушённый,
простор степей, их миражи
и бесконечности земли.
И слёзы матери по Волге,
её тоску не разделял:
влюблённости не понимал.

Познала к старости я Мир...
Край гор, лесов и край снегов
так хороши — сказать нет слов.
Край детства, пусть и бедный, голый,
он навсегда. Он до конца —
в нём бабушка моя ушла.

Торчит занозой он в раю —
о нём обычно слёзы лью.

июль 2019

Мы все — из темноты

Мы в Мир пришли из темноты и втайне,
и также втайне в темноту уйдём,
но в жизнь ворвёмся ветерком бескрайним,
все возрасты сезонные пройдем.

Прочувствуем и солнца теплоту,
и град, и радугу весны цветенья,
но осень жизни встретим на бегу,
чтоб избежать зимы-оцепененья.
Встречаемся мы с нею все двояко.
Одни всё хмурятся, другие стонут,
а третьи пчёлкой трудятся, однако
поют, танцуют — держат жизни тонус.

Приходим мы на Свет из темноты
в любви к родным краям, плодам и звёздам,
но ягодка одна на всей длине лозы —
совсем не то, что налитые гроздьа.

апрель 2018

Ты меня собою наполняешь

Вглядываюсь в лица я прохожих —
разных и нисколько не похожих.
И тебя вдруг замечаю, — знаешь,
ты меня собою наполняешь.

В хмурый день морозный прячут лица —
на моём же солнышко искрится:
поцелуи вспоминаю... Знаешь,
ты меня собою наполняешь.

Я в твоих глазах себя лишь вижу,
счастливо скользим вдвоём на лыжах.
Сосны и снега, как в сказке... Знаешь,
ты меня собою наполняешь.

Я спешу к трамваю, на работу, —
муравьями мельтешат заботы.
Нам бы супчику на ужин... Знаешь,
ты меня собою наполняешь.

Вот уж гомон в доме слышен детский,
скачут малыши орехом грецким.

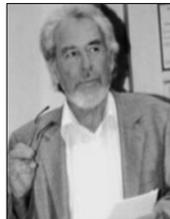
Улыбаемся друг другу... Знаешь,
ты меня собою наполняешь.

Чувствую я: холод в спину дышит,
оттого что ты меня не слышишь.
Страстью новой нынче ты охвачен —
смак семьи тобою, жаль, утрачен.

февраль 1990

Виктор ГЕЙНЦ

Поэт, прозаик, драматург. Родился в Омской области в 1937 г. Учился в Новосибирске. Занимался исследованием немецких диалектов в Сибири. Работал завкафедрой иностранных языков в пединституте Петропавловска, литературным редактором еженедельника «DeutscheAllgemeine» (Алма-Ата). В 1992 г. эмигрировал в Германию. Автор десяти книг, в том числе исторической трилогии «На волнах истории».



ОБРАТНАЯ ДОРОГА

Мать наклонилась немного вперёд, чтобы лучше видеть стрелки спидометра.

— Ты опять слишком быстро едешь, Роберт.

— Ну, что ты, мама? Каких-то несчастных 60 км. Да при таком движении можно и прибавить.

— Да, да, — отозвался с заднего сиденья отец, — мы уже видели, как ты можешь.

Роберт промолчал — однажды он уже разбил машину; почти сразу после того, как вместе с «Жигулями» забрал родителей к себе, в город. Но что делать, если черепашня скорость действует на нервы.

— Один раз не считается, — сказал он вслух в оправдание.

— Два раза, — поправила мать.

— Второй раз был виноват не я, меня стукнули сзади.

— Ты виноват или не ты, а могло и хуже кончиться.

Да, могло быть гораздо хуже, согласился Роберт про себя. Но ведь не из-за этого же родителям осточертела городская жизнь за два года. Не из-за страха перед авариями. Отец и сам неплохо водит машину; правда, только за городом. В городе он не решается. И всё же не в этом причина их возвращения.

И он, Роберт, вроде, не виноват. Квартира у него большая, места всем хватит. Правда, высоко — девятый этаж, но ведь есть лифт. Значит, не в этом дело. Скандалов у него в семье как будто не было. Да и со снохой родители нашли общий язык. Они с женой и ребёнком вообще днём дома не бывают. Родители чаще всего оставались одни. Стоп! Может, здесь собака и зарыта? Одиночество? Дефицит общения...

Роберт выключил мотор, и машина остановилась на обочине. За их спиной дымил, шипел и громыхал город. Вдали тяли голубоватые берёзовые колки, далеко на горизонте сверкал под солнцем Иртыш. Серая лента асфальта чёткой прямой линией рассекала равнину и, казалось, уходила в небо.

— Дальше можете ехать сами, — сказал Роберт, открыл дверцу и взглянул на часы. — А мне надо поторапливаться, иначе на работу опоздаю. В воскресенье наведу вас. Может быть, надумаете всё-таки вернуться.

— Что ты, нет, нет! — замахала руками мать.

— Посмотрим, — рассмеялся сын.

Отец тоже вылез из машины, пожал сыну на прощанье руки и сел за руль. Родители посмотрели вслед переходившему дорогу сыну, одетому в потёртые джинсы.

Затем отец тронул машину с места и улыбнулся матери:

— Поехали, мать!

Она согласно кивнула. Когда он сам вёл машину, она чувствовала себя намного уверенней, хотя время от времени и делала ему замечания. Но теперь она могла спокойно отдаться своим мыслям. А какие мысли у 70-летней женщины?

Посадили много лет тому назад на прекрасном клочке молодое деревце. С годами его ствол становился всё крепче, ветки образовали крону, оно уже не боялось дождя и сильного ветра. Осенью с веток падали плоды, их подхватывал ветер и уносил далеко от дерева. Да, плоды ветер разнёс по всей земле, но всё остальное осталось: журчащая песенка лесного ручья, утренний привет степного жаворонка и голубизна летнего неба...

Правду говорят: старые деревья нельзя пересаживать.

Когда-то в живописном селе с красивым названием Шёнталь в прекрасный летний день из леса вышла девушка с голубыми глазами, с корзинкой земляники в руках — светловолосая, босая, в светлом ситцевом платье в голубой горошек. Спелые ягоды блестели на солнце, но ещё ярче блестели её глаза. Девушка была влюблена в солдата, только что вернувшегося из армии. Солдат Клеменс Герц тоже любил её.

Первые годы их семейной жизни принесли много забот. Не было детей. Беата (так звали девушку) не могла донашивать их до конца. Клеменс защищал её от упреков матери, ободрял: «Выше голову! Всё у нас впереди!» Лишь на третьем году супружества громкий крик возвестил о рождении нового человека. В доме стало светлее. Девочка была белокурой и кудрявой. Повеселела мама, оттаяла свекровь.

Затем родился второй ребёнок, третий... Не заметили, как домик оказался полон. Пятеро детей, мал-мала меньше. И тут грянула война...

Беата вздрогнула, когда мысли коснулись этого события. Она вообще старалась об этом не вспоминать.

— Это Яблоновка уже? — спросила она и показала вперёд, где за зеленью берёз проглядывали шиферные крыши.

— Да, Яблоновка. Считай, полдороги осилили.

— Смотри-ка, и здесь много строят.

— Значит, и Шёнталь будет городом? — с живостью спросила она.

— И Шёнталь будет похож на город, — ответил он спокойным ровным тоном.

Сейчас они ехали по сельской улице. Старые берёзы с узловатыми грязными стволами тесно стояли у самой дороги. «И здесь зелень потеряла свою первозданную свежесть, — подумал он. — Сильно поредели леса». До войны эта деревенька стояла посреди леса. Здесь, в крошечной сельской школе, Клеменс Герц начал свой долгий учительский путь. Перед мысленным взором всплыли давно забытые картины...

Поезд громыхал и трясся от напряжения. На верхних нарах лежал молодой человек. Он был голоден. Студенты в те годы всегда хотели есть. Дорога от Маркштадта до Омска показалась ему бесконечной.

За окном мелькали деревеньки, одинокие дворы, бесчисленные телеграфные столбы и пустые поля. Кости онемели от долгого лежания на твёрдых нарах. На нижней полке какой-то крестьянин узловатыми пальцами резал копчёное сало. Запах сала щекотал ноздри. Клеменс повернулся лицом к стене, но желудок заныл ещё сильнее. «Держись!» — уговаривал он себя. Не было у него ни денег, ни харчей. Но в кармане лежал диплом. Это придавало силы и успокаивало.

В Яблоновке он учительствовал только год. Однажды он нашёл на своём столе повестку; его призывали в армию.

Едва вернулся со службы в отцовский дом, как к отцу пришли из райкома партии.

— Нам нужен председатель для вашего сельсовета. Выборы на носу.

— Чем же я могу вам помочь? — спросил отец. — Не доверите же вы такую ответственность мне?

— Речь не о вас, Август Филиппович.

— Тогда не знаю, кого бы я мог Вам предложить.

— Да сына вашего! Порекомендуйте нам своего сына.

— Сына? Клеменса? Нет, он слишком молод для такой должности.

— Молод — не беда. Напротив, Советской власти нужны молодые. У него педагогическое образование, в армии служил. А это в наше время немало. Справится. Подскажем. Если надо, поможем.

И вот Клеменс сидит за письменным столом в сельсовете, представляя советскую власть.

Дверь в сельсовете не закрывалась: кто с жалобой, кто с заявлением, кто со спорным делом. Чаще всего вопросы, связанные с коллективизацией, которую не все понимали. Надо было терпеливо переубеждать, постоянно разъяснять...

Но были и зачерствшие души, которые до самой смерти так и не расстались со своим индивидуализмом, с психологией крестьянина-единоличника. Над ними даже время оказалось бессильным. Слишком закоренелые были их привычки, покорёжены души...

Помнится, Клеменс положил на стол список с бесчисленными подписями и обратился к одному из таких:

— Вот, дядя Ханнес, подпишите, пожалуйста, что Вы против войны.

Старому Муффу¹, как его все звали в селе, было далеко за семьдесят. Он выпустил дым из-под серо-жёлтых усов, бросил окурок на пол так, что искры разлетелись во все стороны, смачно плюнул на него, тщательно растёр ногою и сказал сквозь зубы:

— А пусть её! Пусть будет война, чтоб эти колхозы развалились.

У молодого председателя свело от ярости скулы. Руки дрожали от гнева, пока он собирал бумаги. Что он мог сказать этому старому хрычу? Что с него взять? Его уже не переделаешь. Не говоря ни слова, он покинул дом.

¹ нем. — ворчун.

Они тогда уже поженились с Беатой. Купили себе домик у самой опушки леса. Это была маленькая хата из саманного кирпича, на земляной крыше которой летом буйно росли лебеда и полынь. В снежные зимы вокруг вырастали сугробы выше крыши, так что приходилось прорывать в снегу туннели, потому что дверь и окна заносило полностью. Весной, когда сходила талая вода, земля покрывалась сочной зеленью. Но лес, лес был гордостью председателя. Сохрани Бог, чтобы кто-нибудь был замечен в лесу с пилой или топором!

— Осталось ещё десять километров, — прервала Беата свои мысли, — теперь, думаю, ничего уже не случится.

— А ты боялась, случится что? — спросил он с улыбкой.

— Мало ли что...

— Считай, мы уже дома.

Прямо у дороги паслось стадо. Пастух остановил свою лошадь и с любопытством посмотрел на приближающиеся «Жигули». Очевидно, он узнал пассажиров, потому что приветственно поднял руку.

— Это же Петер Адамс, — сказала мама Беата.

На сердце стало легко: она вновь увидит знакомых, с которыми так много прожила вместе, делила горе и радости...

В мыслях она унеслась опять далеко-далеко, в прошлое. Она ведь тоже была пастухом. Во время войны, когда осталась одна со своими сорванцами. Она увидела себя совсем ещё молодой, в замызганном ватнике и растоптанных мужских сапогах здесь, вот среди этой степи, ждущей, когда, наконец, взойдёт солнце и подсушит траву.

Вечером навстречу ей бежали голодные ребятишки. Надо было быстро хоть что-нибудь приготовить. То суп из листьев свёклы или лебеды, если не было ничего другого, то из клевера с полусгнившим картофелем. Хлеба не было.

Осенью работала на току, натягивала на себя длинные шаровары, перевязанные на лодыжках верёвочками. Во время работы время от времени бросала горсточку пшеницы в шаровары. Зёрна были прохладны, но жгли кожу, как раскалённые угли. «Что ж ты делаешь? — казнила она себя. — Воруешь... Если бы это узнал Клеменс, он бы тебя из хаты выбросил» Но что было делать? Чем заткнуть пять голодных ртов? Как выжить?

Дома она развязывала тесёмки, и зерно из штанин высыпалось на старое вафельное полотенце. На полу возникала маленькая кучка золотых зёрнышек. Дети стояли в другой комнате за прикрытой дверью и, открыв рты, смотрели в щелку за мамой. Мама была волшебница. Затем доставала ручную мельницу, перетирала зёрна и варила из муки вкусную жиденькую кашу. Малыши были довольны и облизывали пальчики.

— Знаешь что, мать? — сказал вдруг Клеменс. — А ведь мы в третий раз начинаем новую жизнь.

— В каком смысле?

— В первый раз — когда поженились, второй — сразу после войны, и третий раз — сейчас. И каждый раз в другом доме. Два года, что жили в городе, не в счёт.

Он думал о своём доме, который построил сам после войны и который продали перед отъездом. Он тоже стоял у самого леса. Подросли опять берёзы. Подросли дети. Родились ещё.

Всё это время он учительствовал и полностью отдавался работе. Для дома оставались только вечера да ночь. Беата, бывало, спрашивала: «Когла сегодня придёшь домой?» Он обычно старался отделаться шуткой: «Если не сгорю на работе».

И тогда она резко обрывала его:

— Конечно, без тебя и земля вертеться не будет. В каждую дыру тебя суют...

Проходили годы. Их дети... стоп! Что-то не заметил он, пропустил в жизни. Дети-то давно выросли. И один за другим покинули родительский дом. Не успели оглянуться, как вновь остались вдвоём.

Когда младший, Роберт, вернулся из армии, у них появилась искорка надежды. Дом ещё в хорошем состоянии. Корова, птица, «Жигули» в гараже — что ещё ему нужно? Мать даже невестку красивую подыскала.

— Я в городе был — сказал Роберт. — Уже принят на работу. На завод. Нам квартиру обещают. К себе вас заберу. А дом можете продать, Бог с ним!

Они промолчали. Надо хорошенько подумать. «Нам обещают», — сказал он. Значит, и невестку себе нашёл. И мечты матери рухнули.

Позднее отец уговорил её:

— Я думаю, нам всё-таки придётся переехать в город. Ты не совсем здорова, тяжело уже управляться с хозяйством. А в городе врачи хорошие. Всегда помогут, если что.

Вскоре они уже поднимались в лифте на девятый этаж огромного дома. Квартира была большая, комнаты просторные, но не было дали степной. Вокруг окутанные клубами пара фабричные трубы. А подстриженные тополя у подъезда леса не заменят.

Они были на пенсии. Могли бы наслаждаться покоем, но это им быстро надоело. «Лень да безделье — чёрту веселье», — говорят в народе. Руки истосковались по работе, нуждались в ней.

Машина приближалась к селу. Повеяло чем-то неуловимо родным. Почувствовали, как вдруг радостно встрепенулись сердца.

У дома с голубыми ставнями машина затормозила. Посидели немало ещё внутри и полюбовались своим новым домом, который купили несколько дней тому назад. Он был ещё в порядке, но надворные постройки покосились и требовали ремонта. Да и гараж надо было строить. Работы хватало.

— Пошли, мать! — весело произнёс он. — Жизнь продолжается.

перевод Р. Вайнбергера

ПОДРУГЕ

Ты другом моим быть хочешь, любовь?
Тогда оживи меня.
Ты хочешь проверить меня, любовь?
Тогда позови меня.
Неправильно я поступил, говоришь?
Кори за это меня.
Резцом я высеку
На скале:
Я люблю тебя.

Но если лгать ты будешь, любовь,
Тогда позабудь меня.
Но если фальшивой ты будешь, любовь,
Тогда уйди от меня.
Если хоть капля крови твоей
Неверна,
Я начертаю огнём
В ночи:
Я ненавижу тебя.

ПРОЩАНИЕ

Ты помнишь?
Ночь. Прощанье приближалось.
Вокзал
был неподвижен, как скала,
и в слабом свете фонарей
казалось,
что ты лишь тень,
что на руку легла.
Когла вагон
к составу прицепили
и лязг тяжёлый,
наконец, затих,
молчали губы —
руки говорили,
разбитый мир
тонул в зрачках твоих.

В тот миг,
бумагу неба разрывая,
пронёсся метеор
и вдруг погас,
а серп луны
стоял, как запятая,
на небосклоне, разделяя нас.

ТОСКА

Пунцовый рот влечёт всех нас —
похож на вишню он.
И часто к нам в полночный час
прийти не может сон.
Дороже прочих — в темноте
бегущая стезя.
Дороже прочих губы те,
что целовать нельзя.
О жажды вечная тщета!
Ты как бокал без дна.
Из всех страстей сильнее та,
что не утолена.

переводы В. Швыряева

Нелли КОССКО



Родилась в 1937 г. в нем. с. Мариенхайм под Одессой. В 1944 г. вывезли с матерью в Германию, после войны — репатриация в СССР. После ссылки поступила в Свердловский институт ин. языков. Работала в педвузах на кафедрах нем. языка и литературы. 19 лет проработала на радиостанции «Немецкая Волна» — переводчиком, диктором, корреспондентом, редактором, автором интервью, комментариев, статей, эссе, рассказов. Трилогия «In den Fängen der Zeit» вышла в Москве под названием «Судьбы нетканое полотно». В 2020 будет издана книга «Как песок сквозь пальцы...» («Wie Sand zwischen meinen Fingern...») Пишет на немецком и русском. В Германии с 1975 г. Живёт под Бонном.

**Главы из трилогии
«Судьбы нетканое полотно»
(In den Fängen der Zeit)**

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «ЗАГОВОР» ОБРЕЧЕННЫХ

Рождество 1946 года выдалось невеселое. И хотя мама принесла из лесу красавицу-елку, украсить ее мы смогли лишь клочками ваты из остатков нашего стеганого одеяла. Свечи заменил фитиль, плававший в банке с керосином, а подарков в этот раз вообще не было. Я даже как-то не особенно и огорчилась, ведь мне и раньше подарков перепало не густо. Но теперь нам в довершение всего еще и нечего было есть. Мама затянула было нашу любимую «Тихая ночь, святая ночь», но, не допев и первого куплета, умолкла и начала лихорадочно одеваться:

— Пойдем, малышка, в бараки, пастор Вагнер обещал провести рождественское богослужение.

На улице стояла поистине Рождественская ночь: зимняя деревня была залита ярким лунным светом, а над заснеженными домами, деревьями и улицей царил величавая, возвышенная, тишина. Настоящая тихая, святая Рождественская ночь! Я чувствовала, что сейчас не надо ничего говорить, чтобы не потревожить этот волшебный покой — только скрип снега под ногами нарушал эту неземную тишину.

В бараке на нас обрушился гул голосов: вдоль длинного коридора-кишки, там, где низкие и узкие двери вели в комнаты отдельных семей, сидели и стояли наши немцы, большей частью женщины и дети. Их худые и бледные лица освещала керосиновая лампа, подвешенная на стенке в конце коридора. Вдруг кто-то из женщин затыкнул «О ты счастливая, радостная пора», ее поддержали — сначала робко, потом смелее — и постепенно образовался многоголосый хор. Пение нарастало, ширилось, песня поднималась ввысь, словно стремясь вырваться

на свободу, но потом, наткнувшись на препятствие, падала, чтобы взмыть вверх с новой силой. Казалось, люди хотят — нет, не выплакать — выпеть свое горе, разделить с кем-то там, наверху хотя бы малую толику своих несчастий и страданий.

Но не успев окрепнув, хор начал распадаться, когда запели второй куплет, а после слов «Несущая нам милость и благодать Рождественская пора» пение вдруг прекратилось, и все, как один, стали истошно молиться, хотя пастор еще не начал богослужение. Слезы текли по лицам детей и женщин, просивших Всевышнего об избавлении от мук холода и голода, о помощи в эту страшную пору безысходности.

Вдруг дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял взбешенный комендант:

— Прекратить! — рявкнул он.

Но люди, не обращая на него внимания, продолжали молиться, словно от этого зависела вся их жизнь.

— Прекратить, я кому сказал?! Стрелять буду! — выхватывая из кобуры пистолет, снова заорал он с искаженным от злобы лицом.

В бараке воцарилась мертвая тишина.

— Кто вам разрешил здесь собираться?

Никто не ответил.

— Кто зачинщик?

В ответ снова молчание.

— Последний раз спрашиваю вас, фашистские ублюдки, кто все это затеял, кто организовал, а?

Молчание.

Но тут вперед вышел пастор Вагнер:

— Господин комендант, мы ведь всего-навсего празднуем Рождество — Рождение Господа нашего Иисуса Христа...

Комендант грубо перебил пастора:

— Запомни, поп, ваш Бог — это я, понял? И вы все запомните хорошенько: ваш Бог — я! Рождество, говорите? — сощурил он глаза. — Какое такое Рождество, а? Рождество наступит через две недели. Нет, не Рождество вы празднуете, вы заговор устроили против советской власти и нашей родины. Но я вас выведу на чистую воду, фашистские ублюдки, я вас научу свободу любить! А ну, по домам, гады! Завтра, — тут он усмехнулся, как гиена, учуявшая падаль, — завтра мы все, все выясним. Так легко вы у меня не отделаетесь, немчура недобитая! — И, презрительно сплюнув себе под ноги, комендант ушёл в тёмную, тихую ночь.

Рано утром на следующий день деревенский мальчишка «разносил» приказ коменданта. Он бегал по деревне, стучал в окна домов, где жили немцы, и, прыгая с ножки на ножку, кричал в звонкую морозную тишину: «Всем немцам сегодня приказано не выходить из домов».

Как и все в жизни, эта новость имела и свою хорошую сторону: нежданно-негаданно мама получила выходной и была даже рада этому. Но радоваться, увы, было рано. В 11 часов перед домом коменданта остановились сани. Из них вылезли четверо военных в толстых тулупах. А через несколько минут наша деревня — которая, казалось, вымерла — ожила: к дому коменданта небольшими группками стали

водить жителей барака. Их сопровождал красноармеец с винтовкой наперевес. Когда люди через некоторое время выходили из дома, они казались ниже ростом: втянув головы в плечи и стараясь не смотреть по сторонам, они быстро, почти бегом, направлялись в свои бараки.

Надо было разузнать, что происходит — любой ценой! Павлик, который бы мне обязательно помог, был, к несчастью, в школе, поэтому нужно было самой думать, как выбраться на улицу. Мама, конечно же, бурно запротестовала, но мне удалось ее успокоить:

— Мам, но ведь приказ коменданта, наверное, не касается детей, а только взрослых. Я просто на санках покатаюсь. Терзаемая страхом неизвестности, мама нехотя согласилась.

Взяв свои санки, я помчалась к баракам. Ночью выпал снег, день выдался солнечный и ясный, и вокруг все было так красиво, что я едва не забыла о своих страхах, когда летела с горы на санках. Но кучка моих друзей у бараков сразу же вернула меня в суровую действительность: в другое время они надорвали бы животы от смеха, видя, как я кубарем скатилась в сугроб, а тут...

Я посмотрела в сторону бараков — в окна видны были бледные, застывшие от страха лица. Мне даже не пришлось задавать вопросов своим друзьям, новости на меня посыпались градом — им тоже не терпелось ими поделиться:

— ...из района приехали какие-то большие начальники, говорят, многих арестуют...

— ...они спрашивают, куда подевались все наши мужики...

— ...да, да, они всё выпытывали у мамы, где мои папа и старший брат, — пропичал Йоганнес, самый маленький из нас.

У меня потемнело в глазах: я вдруг чётко увидела опасность, которая нависла над моей мамой: папа осуждён как «немецкий шпион», братья пропали без вести во время бомбёжки в Германии... Да им, только этого и надо! Я резко повернулась и стремглав кинулась домой, чтобы рассказать новости маме.

...Странно, но мама мне показалась очень спокойной. Вот только лицо стало белым, как стена. Глядя в пространство застывшим взглядом, она прошептала:

— Это конец! Я обо всем умолчала, и если теперь кто-нибудь из соседей скажет хотя бы одно словечко, я — погибла...

...Летом 1944 года в наше село пришли симпатичные весёлые немецкие солдаты, которые понимали наш «доисторический» швабский диалект, если, конечно, мы очень старались и говорили медленно, помогая себе при этом руками и ногами. И мы старались изо всех сил. У солдат при звуках родного языка на глаза наворачивались слёзы, и ничего, что язык наш был немного странный и «законсервированный». Нас одаривали конфетами, а иногда и шоколадками, а перед этим меркли все семь чудес света!

Весной 1944 года стало известно, что все «фольксдойче» — так теперь нас стали называть — будут вывезены в Германию...

Для жителей нашего села Мариенхайм час этот пробил 17 марта 1944 года. Было воскресенье, и прежде, чем пуститься в путь, люди прощались с отчим домом — с родной деревней, полями, простирав-

шимися до горизонта, с кладбищем, на котором были похоронены предки. Прощались с каждым деревом, с каждым кустиком, с каждой до боли знакомой вещью в родительском доме. И, несмотря на лихорадочную спешку, на страх перед участвовавшими бомбёжками, люди не торопились, будто понимали уже тогда, что это прощание — навеки, что нигде и никогда больше они не смогут обрести родину, что никогда больше у них не будет настоящего дома.

Наконец обоз крытых брезентом повозок медленно тронулся, оставив позади обезлюдившую деревню. Позднее мы присоединились к другим таким же «деревням-обозам», а после нас ещё десятки других, и вся эта колонна нескончаемой вереницей потянулась на Запад — через Тирасполь, Бессарабию, Румынию, Венгрию в Польшу. Путь этот был долгим, изнурительным и полным лишений: жуткие погодные условия — дожди и слякоть, размытые просёлочные дороги, эпидемии, нехватка фуража для лошадей. Но самой страшной бедой были налёты советской авиации и набеги партизан.

Самолёты прилетали днём, внезапно появляясь именно тогда, когда обоз останавливался на привал. Они расстреливали на бреющем полёте всё, что передвигалось по земле и «работали» основательно, не давая никому пощады. В неопишемом хаосе, возникавшем каждый раз во время таких налётов, зачастую теряли друг друга люди, чтобы встретиться лишь через годы, а то и десятки лет. А некоторые не находили друг друга никогда.

В один из таких налётов несколько пар лошадей с испугу понесли, и через несколько минут вся огромная колонна оказалась неуправляемой. В хаосе пропали мои братья, отлучившиеся «на минутку», когда мы делали привал. Обезумевшая от горя мама отказывалась ехать дальше, пока не вернутся её сыновья. Но они не вернулись, не нашлись, и никто не знал, как и где их искать: исчезли, пропали без вести...

ЧУЖИЕ В ДЕРЕВНЕ

Наступил полдень, а мы, забыв о холоде и голоде, не могли думать ни о чём другом, кроме «чужаков» в нашей деревне. Время шло, и когда начала было зарождаться робкая надежда на то, что беда пройдёт стороной, они пришли.

Мама, не говоря ни слова, встала и надела телогрейку — Затопи печку, я скоро вернусь, — мама была спокойна, будто собиралась забежать к соседке на пару минут...

Потом дверь с шумом захлопнулась, и я осталась одна. Обезумев от страха, я подбежала к окну и успела увидеть три фигуры: проваливаясь глубоко в снег, они шли к дому коменданта — впереди моя мама, а за ней два конвоира. Потом все трое скрылись в доме.

Не знаю, как долго я сидела так, не спуская глаз с двери комендантского дома, но мне показалось, что прошла целая вечность. Потом дверь вдруг отворилась, и на улицу вышел человек. Зайдя за угол, он через несколько минут подъехал к дому коменданта на санях, и, осадив лошадей, резко остановил. В проёме двери показались военные из района и группа обитателей бараков, а с ними и моя мама.

Я чуть было не запрыгала от радости, но что-то удержало меня у окна: военные усаживались поудобнее в санях, а группка немцев, как мне показалось, вообще не торопилась возвращаться в свои дома. А когда сани тронулись, они, словно связанные с четвёркой в санях невидимыми нитями, побежали за ними, понуро опустив головы.

«...Наверное, многих арестуют, — вспомнила я слова, сказанные маленьким Йоганнесом сегодня утром. И вдруг всё поняла.

Забыв о пальто, я выскочила на улицу и побежала за санями, не обращая внимания на снег и мороз. Я падала, поднималась, падала вновь, плакала и звала маму, крича из последних сил.

Меня заметили. Мама кинулась мне навстречу, один из конвоиров — за ней. Подбежав ко мне, мама хотела поднять меня с земли, но милиционер грубо оттолкнул её, крепко схватив меня за руки. На помощь ему подоспел его товарищ: схватив упиравшуюся маму за шиворот, он волоком потащил её к саням. Я, как могла, сопротивлялась, упираясь ногами в снег и отчаянно колотя здорового мужика кулачками, но он был сильнее. Милиционер взял меня, как обычное полено, подмышку и понёс назад в деревню. Вдруг дорогу ему перегородил Сергей Иванович. Я так испугалась, что перестала кричать, и крепко зажмурилась.

— Слышь, друг, — сказал милиционер, — отнеси девчонку в деревню, а? А то орёт, как оглашенная, и ничего с ней не поделаешь.

— Слушай ты, легавый, — Сергей Иванович говорил медленно и тихо, но в его голосе слышалась угроза, — я солдат, понимаешь, и с детьми не воюю, заруби себе это на носу, понял?

Он обошёл милиционера стороной и, тяжело ступая, пошёл дальше. А мой обидчик, грязно выругавшись, кинул Сергею Ивановичу вдогонку какие-то слова, которые были, видимо, настолько оскорбительны, что тот, вернувшись, бросился на ошеломлённого милиционера с кулаками. Потом Сергей Иванович выхватил меня у него из рук, и милиционер позорно бежал. Только теперь я почувствовала, что замёрзла. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, но мне было всё безразлично, потому что сани удалялись всё дальше и дальше, а группа людей становилась всё меньше и меньше, пока не превратилась в точку, а затем и вовсе исчезла в лесу...

ЖЕСТОКИЙ МИР ВЗРОСЛЫХ

Они вернулись на третий день — все, в том числе и моя мама. С тёмными кругами под глазами, обмороженным лицом и руками. Она выглядела очень усталой и похудевшей, хотя трудно было себе представить, что можно быть ещё более худой, чем она уже была раньше.

Мама присела на краешек кровати и заплакала, прижав меня к себе. Мы сидели, плача, судорожно вцепившись друг в друга, потому что, кроме меня, у мамы не было больше никого на свете, а у меня — никого, кроме нее.

Она смертельно устала и вскоре заснула. Стараясь не дышать, чтобы не разбудить ее, я не сводила с нее глаз и молила, молила Бога, чтобы он не забирал у меня мою маму.

Мне очень хотелось сделать что-нибудь для мамы.

— Она, наверное, голодна, — подумала я и осторожно вылезла из постели... Заглянув в тумбочку, я нашла там три картофелины и морковку — это были все наши запасы. Я могла бы поджарить картошку, но у нас не было масла, к тому же мама запретила ее чистить, чтобы ничего съедобного не пропало...

Спала мама беспокойно, металась, стонала во сне, всхлипывала, плакала и все время звала меня. Не выдержав, я подбежала к кровати и принялась трясти ее:

— Я тут, мама, я тут, ты не видишь меня, что ли?! — Кричала я, видя, что она никак не может прийти в себя. Наконец она поднялась, испуганно озираясь, словно не могла понять, где находится и что с ней происходит.

Я подбежала к печке, вытащила из чугунка наши три картофелины и принесла их маме. Она вопросительно посмотрела на меня.

— Ешь, ешь, я уже много картошки съела, — я быстро отвернулась, чтобы она не заметила, что я вру.

Мама ела молча, а я не решалась приставать к ней с расспросами. Молчание затянулось. Потом она заговорила...

— Как же всё-таки слаб человек, как слаб! — мама пожалла плечами. — Но вот чего я не пойму: почему же он должен ещё и быть подлецом, можешь ты мне сказать? Она внимательно посмотрела на меня, будто и в самом деле ждала ответа.

— Они там уже всё знали о нашей семье, когда меня привели на первый допрос. Один из следователей НКВД спросил, где вся остальная моя родня. А когда я ответила, что сама бы очень хотела это знать, они избили меня, решив, что я издеваюсь над ними. Они били нас, требуя, чтобы мы сознались в том, что готовили заговор и собирались бежать! Это мы-то готовили заговор — один мужчина, три женщины и молоденькая девчушка — Кати Майер! Я не могла поверить, что они это говорят серьёзно, но у энкавэдешников был свидетель — ты только представь себе — свидетель! Вернее, свидетельница. Ты никогда не угадаешь, кого привели в качестве свидетельницы! — Она сделала паузу. — Это была фрау Шёнбергер, да-да, тетя Тина, наша тетя Тина!

Я была настолько ошеломлена услышанным, что затаила дыхание: как, тетя Тина, милая, симпатичная тётя Тина, мамина лучшая подруга и моя вторая «мама»?

— Да, да, — мама, казалось, подслушала мои мысли, — милая, всеми уважаемая тетя Тина!

— Господи Боже мой, сделай так, чтобы это все было неправдой, ну, пожалуйста, пожалуйста — я не хочу этому верить! — Шептала я про себя, ужасаясь жестокости окружающего мира. Где-то очень далеко я услышала голос мамы:

— Почему она это делает? Ведь она же одна из нас, она же немка?..

«...Немка! Всё время одно и тоже — немка, немец, немцы... почему именно мы должны быть немцами? Почему мы не русские, как все вокруг? Тогда бы все, все было гораздо проще — проще для нас и всех остальных», — подумала я, а вслух спросила:

— Мама, это проклятие — быть немцами?

— Да ты что, дочурка, конечно же, нет, — мама сразу заволновалась. — Немцы считались трудолюбивыми, порядочными и способными людьми... А потом они начали эту безумную войну, и теперь вокруг — только груды развалин... Но — проклятие или позор? Нет и нет! До войны, когда мы еще жили дома, нас уважали, уважали плоды нашего труда, наше умение, наше трудолюбие... Нет, нет, стыдиться того, что мы — немцы, у нас действительно нет причин. Мы, правда, не можем знать, что нас ждет завтра, но мы знаем, что мы — немцы и должны помнить об этом, — она вдруг замолчала, не объяснив, что же хорошего в том, что мы — немцы, и в отчаянии взглянула на меня:

— Доченька, умоляю, обещай, что ты всегда будешь помнить, что ты — немка, хорошо?

Я покраснела — мне показалось, что мама угадала, о чём я только что думала.

— Боже мой, — подумала я, — ну почему эти взрослые всегда всё усложняют? — Но пообещала маме оставаться немкой.

Допросы прочно вошли в нашу жизнь. Мама менялась в лице и дрожала всем телом, когда её или кого-то из наших вызывали в районное отделение НКВД. А тётя Тина старалась вовсю, роя нашим одну яму за другой. Её избегали, как прокаженную. В один прекрасный день она исчезла. Говорят, ее арестовали и отправили ещё дальше, на север.

Немцы в нашей деревне боялись смотреть друг другу в глаза. И на то была причина: когда у них уже не было выхода, а тётя Тина продолжала «закладывать» одного за другим, кто-то не выдержал и на одном из допросов поведал, что в своё время она так же рьяно работала на гестапо. Меня ужасно мучила мысль, что к печальной участи тети Тины могла быть причастна и моя мама, но прямо спросить ее об этом я не решалась. В это время всеобщей и повальной лжи я боялась, что единственный человек, которому я могла еще доверять, обманет меня, и тогда у меня уже ничего и никого не останется.

И всё же бремя это оказалось непосильным для моих детских плеч, и однажды вечером я спросила:

— Мам, а есть справедливая месть, месть, которая бы не была грехом?

Мама сразу все поняла:

— Я никогда бы не стала мстить, Бог все видит. Он один наш судия.

Я чуть было не расплакалась от радости и облегчения — моя мама греха на душу не взяла!

ФРИЦЫ ИДУТ!

Между тем в школе началось второе полугодие. Теперь пришлось ходить туда и нам, немецким детям. Но добраться до школы было не так-то легко: дети из небольших близлежащих деревень ходили в школу в Дорофеево — большую деревню, где располагался, так сказать, административный центр. А от нашей деревни до Дорофеева было ни много ни мало — шесть километров.

Когда мы вошли в школьный двор, мальчишки и девчонки устроили нам «встречу», крича на все лады: «Фрицы пришли, фрицы!».

От неожиданности мы остановились, как вкопанные. Наши друзья из деревни, с которыми мы до тех пор мирно играли и никогда не ссорились, смутившись, сбежали, бросив нас на произвол судьбы, а некоторые даже присоединились к крикунам во дворе, с каким-то, одним им понятным удовольствием выкрикивая: «Фрицы! Фрицы!»

Мы сгрудились, втянув головы в плечи, а на нас со всех сторон сыпались эти, непонятно почему, обидные прозвища. Дразнили нас весело, почти шутя, с чувством превосходства и безнаказанности, но сколько презрения было во всём этом!

Прозвенел звонок. Ребята ринулись в классы, на ходу бросая нам: «Фрицы!». А мы не сдвинулись с места, и, если бы не страх перед нашими матерями, не задумываясь, повернули бы обратно.

Потом пришла учительница и отправила всех в первый класс, где нас снова встретили обидными выкриками. «Фрицы! Фашисты!» — ревел класс, и с ним не могла справиться даже учительница — худенькое, тщедушное и беспомощное создание.

И ребята в классе, и мы смотрели друг на друга, сгорая от ненависти: мы молчали, а русские громко орали. Опустив головы, мы направились к партам, всё время глядя только перед собой. Учительница продолжала вести урок, а я никак не могла сосредоточиться и слушать ее. В мыслях я все еще была на школьном дворе, снова и снова переживая страшные минуты унижения. Меня не покидало чувство беспомощности и стыда за то, что мы струсили и не дали отпора.

После уроков мы поспешили уйти со школьного двора, сопровождаемые всё теми же криками «Фрицы!». Мы пошли домой одни, без наших друзей из Горок — они нарочно отстали, боясь, что другие увидят их вместе с нами. Это чуть было не разрушило нашу дружбу.

Школа стала для нас настоящей пыткой. Каждое утро нас встречал хор — «Фрицы!», «Фашисты!», мы избегали выходить на переменах в коридор играть вместе со всеми, потому что только в классе с нашей учительницей чувствовали себя хоть отчасти в безопасности. По вечерам я подолгу смотрела в наше маленькое, чудом уцелевшее зеркало: я видела девочку, самую обыкновенную девочку, не красивую и не уродину, не злую и не добродушную, — короче, девчонка как девчонка, каких вокруг множество. Я смотрела на бледное, худое лицо со вздернутой верхней губой, придававшей ему дерзкое выражение, и никак не могла понять, что же случилось? Ведь после всего происшедшего у меня, по меньшей мере, должны были бы вырасти рога или что-то в этом роде!

Когда же нас вдобавок ко всему жестоко избил старшекласник, потому что для игры в войну им нужны были «настоящие фашисты», я поклялась, что ни за что больше не пойду в школу.

Почти полмесяца я прогуливала уроки, а мама и ведать об этом не ведала. Да и откуда ей было знать, чем я занимаюсь, когда она и дома-то бывала только по ночам? Но потом всё же грянул гром: Павлик принёс маме письмо от директора школы с требованием немед-

ленно отправить меня на занятия. Мама не стала ругаться, не наказала меня, нет, она просто заплакала. Заплакала, потому что я её обманывала? Или потому, что понимала мои мучения, но не могла ничем помочь?

МОЙ ДРУГ КАРЛ МАРКС

Пятый урок по понедельникам — классный час. Учительница третьего класса, наш ангел-хранитель Людмила Петровна, задумала положить конец вражде «народов».

— Сегодня мы поговорим о дружбе народов и об интернационализме. У нас в классе учатся дети самых разных национальностей — русские, татары, украинцы, немцы...

По классу прошел шумок, все головы повернулись к нам, а мы со страхом и ненавистью, ставшей уже привычной, как защитная реакция, глядели на счастливчиков, относившихся к «хорошим» народам.

— ...В последнее время, — продолжала, словно ничего не замечая, Людмила Петровна, — мне неоднократно приходилось наблюдать безобразное явление, когда часть ребят, пользуясь своим большинством, издеваются над слабыми. Это недостойно человека...

— И поделом им, — перебил ее Лешка, самый хулиганистый мальчишка в нашем классе, — немцы были и останутся нашими злейшими врагами!

— Попридержи язык, Алексей! — Видно было, что Людмила Петровна рассердилась. — Вы еще многого не знаете. Немцы ведь тоже разные бывают. Взять, к примеру, вождя мирового пролетариата, Карла Маркса — он был немцем.

— Это ещё кто такой? — шепотом спросила Кларка.

— Не знаю, не слышала, — сказала я, чтобы отвязаться. Меня озадачили слова Людмилы Петровны. Что же получается: есть, оказывается, немец, которого русские не только не презирают, как нас, а ещё и выбрали своим вождём?

— ...Но и Фридрих Энгельс, друг и соратник Карла Маркса, был немцем, и вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман, погибший, как и тысячи его товарищей, в нацистских застенках...

Людмила Петровна рассказывала, а мы с каждым ее словом все больше распрямлялись и даже стали как будто выше ростом. Мы были потрясены: оказывается, «светлое будущее», «общество нового типа» — то есть все, что русские построили после революции 1917 года — было заслугой немцев: Карла Маркса и Фридриха Энгельса, дело которых продолжили русские вожди — Ленин и Сталин!

— ...И, как вы все знаете, мы говорим — великое и всепобеждающее учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, — завершила свой рассказ Людмила Петровна.

Я была счастлива! Теперь у меня был ответ на «фрица»! Я хорошо запомнила всех этих либкнехтов и тельманов, но своим защитником я выбрала именно Карла Маркса, человека с широкой, окладистой бородой, и каждый раз бросалась в бой с его именем. А он ни разу меня

не подвел! В своём рвении я даже стала утверждать, что без *нашего* Карла Маркса русские бы сами ни за что не догадались построить коммунизм, да и Ленина со Сталиным у них тоже бы не было!

Людмила Петровна пришла в ужас, услышав как-то мое толкование ее рассказа, и потребовала, чтобы я никогда больше такого не говорила. Но откуда мне было тогда знать, что дело было вовсе не в Марксе, Ленине или Сталине, а в том, что наша учительница могла поплатиться жизнью за такие бредовые рассуждения своей воспитанницы?

ГОЛОД

Людмиле Петровне удалось все же создать сносную атмосферу в классе и даже добиться, чтобы учащихся-немцев тоже принимали в пионеры. Мне с самого начала страшно понравились яркие красные галстуки юных пионеров — они так скрашивали серую, изношенную одежду.

После уроков Людмила Петровна готовила нас к вступлению, потому что стать пионером было не так-то просто — нужно было многое знать. Она рассказывала нам о пионерской символике, например, что галстук — часть красного знамени революции. Красного потому, что оно пропитано кровью рабочих и крестьян. Три конца галстука означали союз между компартией, комсомолом и пионерией. Но ещё интересней был рассказ о салюте: пять пальцев руки означали, оказывается, пять континентов, а то, что пальцы были тесно прижаты друг к другу, символизировало дружбу всех народов этих континентов.

— А мы, немцы, тоже входим в их число? — спросила я Людмилу Петровну.

— Естественно, — ответила учительница, не исключавшая нас из дружной семьи коммунистических народов.

Совсем иначе повели себя наши мамы... Дома мне здорово попало от мамы, когда она узнала, чем я занимаюсь в школе. Она запретила мне даже думать о пионерах. Голубая мечта о пионерском галстуке враз улетучилась. Но Костя разрешал мне дома поносить свой галстук и даже играл иногда со мной в «пионеры»: он был «пионервожатым», и после слов «Пионеры, к борьбе за дело Ленина-Сталина — будьте готовы!» я должна была встать по стойке смирно, отдать салют и крикнуть в ответ: «Всегда готовы!» Я так увлеклась игрой, что, скидывая правую руку, нередко автоматически тянула ее в привычном еще по Германии приветствии и едва успевала проглотить «Хайль Гитлер!». После этого Костя страшно выкатывал глаза и басом орал: «Гитлер — капут!» Валя, Павлик и я оралы что было мочи в ответ, хохотали, баловались — как всё же хорошо было дома, особенно, если в наши дела не вмешивались взрослые! А когда Костя узнал, кто нас избил, он разделался с «бесстрашными вояками» по-своему, отколошматив их так, что они уже не отваживались трогать нас. Костю вообще все уважали, иногда его слушались даже больше, чем учителей.

...А порции хлеба становились всё меньше, да и картофеля — тоже. Весна, с которой мы связывали все свои надежды на спасение от голодной смерти, запаздывала. Первые умершие от голода «перекоче-

вали» из барачков на маленькое деревенское кладбище. Надежда на то, что нам удастся избежать беды и выжить, таяла на глазах. Затем всё пошло, как по конвейеру: люди гибли от голода и холода массами. От холода потому, что уже не находили в себе сил принести из лесу дров. И это — среди дремучих-то лесов! Жители деревни тоже не могли нам помочь. Они уже не хотели выменивать у нас одежду на картошку, потому что подходили к концу их собственные припасы...

После уроков я часто околачивалась на колхозном дворе, забегала к коровам и овцам и, поиграв с телятами, шла к «моей» лошади по кличке Голубка.

Её можно было погладить, ласково похлопать по крупу, а ещё с ней можно было разговаривать. Однажды, болтая с ней, я остановилась на полуслове: Голубке только что принесли корм — ведро, почти до самых краев наполненное плотными, золотистыми зёрнами овса. Словно зачарованная следила я за каждым движением лошади: как она склонила голову к яслям, как мягкими и толстыми губами подобрала зёрна и начала жевать.

Неожиданно для самой себя я протянула руку, погрузив её в овёс, и... одёрнула себя... «Не укради...» Ну почему эта заповедь вспомнилась мне именно сейчас?! Но жуткий изнуряющий голод, подтачивавший все силы и вытеснявший все чувства, пересилил страх перед грехом. Я торопливо бросила пригоршню овса в рот и принялась жевать, жевать, жевать — самозабвенно и с наслаждением, не решаясь поднять голову и посмотреть Голубке в глаза. Мне казалось — нет, я знала наверняка! — что она глядит на меня укоризненно своими большими печальными глазами. — Но ведь я тоже голодна, — постаралась я оправдаться перед ней...

Легко сказать — «живи с достоинством, блюди себя». В нашей жизни всё выглядело совершенно иначе. В свои девять лет мне довелось видеть множество смертей, ведь старуха с косой была нашей постоянной спутницей. Только вот смерть эта никогда не была преисполненной достоинства, наоборот: люди гибли, умирали в муках и просто подыхали; на войне их разрывали в клочья гранаты и бомбы, в мирное время они пухли от голода и замерзали. Вокруг меня постоянно шла борьба за выживание, и те, кому удавалось выжить, забывали под конец и совесть, и даже приличия. Что такое, в принципе, эта пригоршня овса? Случались вещи и похлеще, но и они никого особенно не трогали.

...Умирал дед Кольберг. Долгое время прикованный к постели, он однажды сказал благостным голосом, что, слава Богу, теперь, наконец, умрет, но перед смертью хотел бы съесть хотя бы маленький кусочек хлеба. У тети Ани, его дочери, было пятеро детей, но не было хлеба. Она побежала по барачку, чтобы занять хлеба у соседей. Старик плакал, как малое дитя, когда в его руке оказался чёрный липкий комочек, называвшийся тогда хлебом. Ему было суждено откусить всего один маленький кусочек... Дед Кольберг так и умер, не дождав свой хлеб, и его лицо было единственным умиротворённым изо всех лиц наших прежних и будущих покойников. А кусочек хлеба, который был у деда во рту, исчез. Исчез бесследно. И никому это не показалось тогда странным или кощунственным...

Главы из книги**«Как песок сквозь пальцы...»**

И воскресают, словно сон,
Былые времена...

Владимир Высоцкий

В этой книге речь идет об опыте жизни в Германии, об опыте моем и только моем, сугубо личном, исключительно приватном со всеми частностями и особенностями.

* * *

Мы купили дом! Не то чтобы мы неожиданно разбогатели, нет, наш кошелек был по-прежнему хил, жалок и по большей части до безобразия пуст, да и в остальном всюду ощущался недостаток самого необходимого. Но случилось чудо: мы с мужем оба получили постоянную работу — он на заводе «Форд», а я на «Немецкой волне».

ЧУЖАЯ СРЕДИ СВОИХ

В моем случае это был просто подарок судьбы, ибо означало, что я как государственная служащая практически не увольняема, разве что, как говорят в народе, «серебряную ложку украду». Столовое серебро я красть не собиралась, как и вообще что-либо другое, поэтому можно было надеяться на некоторую финансовую стабильность. Так, видимо, рассудили и в банке, который без всяких проволочек дал нам кредит на дом, заломив, однако, огромные проценты. Не зная, что нам как переселенцам полагаются кредиты на льготных условиях, мы подмахнули договор и на десятки лет оказались в долгах как в шелках. Но зато въехали в недостроенный дом, доставшийся нам на аукционе по сравнительно низкой цене.

Мы не унывали: ну и что, что недостроенный? Мой рукастый муж, отработав смену на заводе, достраивал его по вечерам и выходным, а мы с девчонками, его верный «бабский батальон», помогали, как могли. И все было бы замечательно, если бы за нашей бурной деятельностью с презрительным любопытством не наблюдали соседи, обмениваясь ядовитыми репликами. Накануне нашего приезда они собрали десятки подписей под письмом протеста бургомистру «против заселения дома в нашем поселке иностранцами».

— Ты только посмотри! — кричал наш сосед, бездельник и пропойца, хозяину дома напротив, показывая на меня пальцем. — Нет, ты только посмотри, как она ловко орудует лопатой! Хорошо видать их в колхозах-то научили вкалывать, ха-ха-а!

Другие соседи собирались кучками возле нашего дома и подолгу бесцеремонно наблюдали за каждым нашим шагом, будто пришли в зоопарк. Под неодобрительные, порой даже враждебные взгляды и реплики, мы, не реагируя, но глотая слезы обиды, довели до ума дом с участком, запущенный «настоящим немцем» и проданный поэтому с молотка.

Стоп! Уточнение: слезы обиды глотала только я, «истая немка», вопреки всем моим радужным надеждам не пришедшая ко двору на своей, как мне казалось, родине и совершенно неожиданно для себя оказавшаяся чужой среди своих. А вот муж начертал на своих знаменах лозунг: «Мы к ним приехали, а не они к нам», а потому, следуя его логике, нам надобно приспособливаться к местным немцам и к порядкам в этой стране. Ну а для девчонок, попавших в круг сверстников, этот вопрос вообще не стоял. К моему ужасу они, стараясь привлечь к себе внимание, выдавали себя за русских! И их расчет оправдывался. К счастью, тогда в Германии еще не было такой русофобии, как в наше время.

Постепенно антагонизм в наших отношениях с новыми соседями начал переходить в легкую антипатию, а потом и вовсе наступило примирение: немцы-трудяги высоко ценят усердие и трудолюбие, трудоголики у них в большом почете. Правда, пора горячей любви так и не наступила, просто установились типичные для Германии ни к чему не обязывающие добрососедские отношения. Но за глаза нас продолжали называть «Russen» со всем негативом, заложенным в звучание этого слова в немецком языке.

КАКИЕ ИМЕНА, КАКИЕ ЛИЧНОСТИ!

Вначале я страдала от такого безразличия, от холода в отношениях и одиночества, но во всем была виновата сама: поняв с первых же дней пребывания в Германии, что здесь не любят пришлых и иностранцев, я долго выбирала место жительства в «свободной от чужестранцев зоне». И нашла его в одном из пригородов Кельна. Однако это была лишь крыша над головой, но не призрачное «место под солнцем», фантом, за которым я гонялась всю свою сознательную жизнь.

Когда становилось уж совсем невмоготу, я отправлялась на «Немецкую волну», в мою маленькую Россию, где между сотрудниками, людьми второй и даже первой волны эмиграции, тоже были сложные отношения, но все же они были мне близки и понятны. Поэтому я с радостью спешила в свой второй дом на окраине Кельна и... забывала обо всем.

Да и какие мелочи наших будней могли бы омрачить радость встреч с известными советскими диссидентами, с которыми мне довелось познакомиться в стенах «Волны»! Резкий, с барскими замашками умница В.Максимов, артистичный, благородный и обаятельный В.Некрасов (лауреат Сталинской премии!), сдержанный, молчаливый скромняга Г.Владимов, аристократичный и блистательный А.Галич, открытый и очень демократичный В.Войнович, импозантный германист и друг Генриха Бёлля Лев Копелев, добродушный, рассеянный и необычайно обаятельный добряк Э.Коржавин — какие имена! Какие личности! Со многими из них мне посчастливилось сделать интервью, с другими побеседовать, с третьими пообщаться в неформальной обстановке.

Но при всей моей восторженности, при всем признании несомненных заслуг и благих намерений этих людей, я никак не могла взять в толк, почему они, борцы за свободу и права человека, не выступали в

защиту прав советских немцев? Почему у них зачастую были весьма смутные представления об этой проблеме? Отвечая на этот вопрос в интервью, большинство пространно говорили о притеснении евреев, крымских татар, чеченцев, ингушей и что-то совсем уж невнятное о советских немцах. Для меня до сих пор остается загадкой, почему русская интеллигенция с ее сверх обостренным чувством справедливости закрывала глаза на рабский удел не десятков и не сотен тысяч, а более двух миллионов человек немецкого национального меньшинства, по численности превосходившего население Эстонии с ее статусом союзной республики?

Да и здесь, в Германии, та же незадача: ни одна организация, ни одна партия, ни одно общественное движение этой проблематикой серьезно не занимались. А если и затрагивался вопрос немцев в СССР, как, например, в ХДС/ХСС, то только за закрытыми дверями и очень осторожно, чтобы, не дай Бог, не наступить советскому руководству на любимую мозоль. Оставались Общество защиты прав человека во Франкфурте-на-Майне, наша небольшая группа активистов, «дежурившая» с транспарантами и плакатами у ворот советского посольства, и Землячество немцев из России с его робкими призывами отпустить российских немцев на историческую родину.

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ДРОГНУЛО...

Позицию тогдашнего руководства Землячества можно понять: его создали и возглавили немцы, выходцы из СССР, оказавшиеся после окончания Второй мировой войны на территории оккупированной Германии. В соответствии с ялтинским соглашением от одиннадцатого февраля 1945 г. относительно военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками СССР, США и Великобритании, на них была открыта настоящая охота. Отсюда закрытость, чрезмерная осмотрительность, осторожность и подозрительность, царившие тогда в Землячестве немцев из России. Но с притоком новых сил и здесь постепенно менялась атмосфера, а значит и тактика. Уж не помню, в каком году, но нам удалось «раскачать» Землячество на участие в крупной демонстрации правозащитников в Бонне, тогдашней столице Германии.

Во время таких массовых протестных акций мне удавалось собрать богатый «урожай» актуальных материалов, интервью и бесед для передачи «Мосты», чем сама же обрекала себя на адскую работу в студии звукозаписи: забытые, ни на что не претендующие, покорные, изуродованные режимом косноязычные мои земляки терялись перед микрофоном, с трудом, запинаясь и заикаясь, излагали мысли — иногда на обработку трехминутного материала уходило два-три часа, а то и больше. Это вам не диссиденты — уверенные в себе, образованные, эрудированные, с красивым, грамотным языком и оригинальными мыслями. Это, к примеру, дядя Йоханнес, невзрачный мужичонка с узловатыми, натруженными руками и потухшим взглядом. Он ничем не возмущается, никого не обличает, ничего требует. Он лишь просит, слезно просит отпустить к нему в Германию единственную дочь с

семьей и будет за это «премного благодарен». А потом замолкает. Молчит, и никак его не разговоришь, потому что он — рабочий человек, привык трудиться, а не лясы точить:

— Ты уж там сама пропиши, дочка... да так пропиши, чтобы сердце у них дрогнуло. Есть же у них сердце, не может быть того, чтобы не поняли отца...

Сколько мне пришлось выслушать таких жалоб, сколько увидеть слез, боли и отчаяния! Перед лицом моих ничтожных возможностей часто опускались руки. Ну что бы вы сказали женщине, у которой муж увез общего ребенка в СССР?! Не без помощи советского посольства, кстати. Как ей помочь, если у супругов двойное гражданство, а значит, на территории СССР в отношении них действуют советские законы, а германский паспорт — просто бумажка? Женщина бьется в истерике, просит помощи или хотя бы совета. А что тут посоветуешь? Чудес не бывает, тяжба может затянуться на годы, на десятки лет, и еще не известно, чем закончится. Мне хочется крикнуть женщине: «Беги к дочери! Хоть на край земли — беги! Ты ей нужна!» Но мне нельзя этого говорить, я не имею права. И я молчу.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Человеческому легкомыслию нет предела: на заре перемен в СССР два великовозрастных юнца решили по советским паспортам съездить на родину — на друзей посмотреть, себя, «иностранцев», показать, покуражиться. А их взяли, да и забрили в армию — советские граждане! А чтоб неповадно было, уpekли в секретные войска! Капкан захлопнулся: быть бы им «невъездными» еще три года после службы в армии, но ребят в конце концов удалось «выбить», сработали дипломатия, пресса и общественное мнение.

Но урока мы из этого случая не извлекли: стараемся во что бы то ни стало усидеть на двух стульях, не задумываясь о возможных последствиях, не говоря уже об этической стороне вопроса. Актуальный пример — шумиха, поднятая вокруг дела «девочки Лизы»: не будь у родителей, а значит и у девочки, двойного гражданства — германского и российского, у К.Лаврова не было бы повода говорить о «нашей девочке Лизе», а Германи — впадать в истерику по поводу «путинистов» среди российских немцев и вмешательства в ее внутренние дела. Но это уже тема особого разговора.

От советского гражданства мы «откупились» в 1980 г., причем в полном смысле этого слова. По принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», бывшая родина в очередной раз обобрала нас, нищих на то время переселенцев, что называется, до нитки, потребовав шестьсот марок выкупа за каждого члена семьи! Мы пришли в ужас, «клок шерсти» — 2400 марок (!) — для нашей семьи оказался просто неподъемным. Пришлось взять кредит.

Но не это было самым унизительным во всей процедуре выхода из советского гражданства, а чувство бессилия, беспомощности перед хамоватыми сотрудниками, перед умением советских чиновников по-

давливать чужую волю: ты обреченно выслушиваешь их, не смея возразить, ибо твой опыт советской жизни подсказывает, что самодурство их безгранично и стоит тебе возразить, считай — дело пропало, быть тебе вечным подданным этой треклятой страны. И ты униженно молчишь, выслушивая обличительные тирады, словно кролик, попадаешь во власть чиновника со взглядом анаконды и с ужасом чувствуешь, как в тебе просыпается синдром преступника, исподволь прививавшийся советским гражданам. А вокруг — напряженная, гнетущая атмосфера, пропитанная страхом и отчаянием посетителей, униженно и терпеливо ожидающих своей очереди у окошечка, из которого то и дело слышатся команды:

— Фотографии! Анкеты! Квитанция об уплате пошлины!

С нами — ох, как это знакомо! — разговаривают грубо, презрительно цедя слова сквозь зубы, как и положено говорить с врагами, предателями и отщепенцами. Стараясь не замечать хамского тона, прошу выдать квитанцию об уплате пошлины.

— Какую такую квитанцию?! — глаза чиновника белеют от бешенства. — Какую еще квитанцию тебе надо? — понизив голос до шепота, он шипит: — Уноси ноги подобру-поздорову, пока не поздно. А ну выметайся! Вон пошла!

Четырех лет, прожитых в вежливой, пусть и холодной и равнодушной Германии, где уважают чувство собственного достоинства человека, причем любого и каждого, как не бывало: я словно снова оказалась на прежней родине, в стране господ и рабов, где человек не представляет из себя никакой ценности. Угроза подействовала на меня отрезвляюще, и я, не помня себя, выбежала из здания консульства, зажав в руке четыре своеобразные индульгенции — справки о выходе из гражданства СССР. За воротами, где меня ждала моя семья, я с облегчением вздохнула: всё! Наконец ничего больше не связывает меня с этой страной, и можно забыть ее, как кошмарный сон...

Но как же я ошибалась! Это я поняла гораздо позднее, хотя и всё еще не могу привыкнуть к суровой неприступности пограничников в аэропортах Москвы, к резкости официальных лиц, спорадическому хамству обслуживающего персонала. Но я очень надеюсь, что и эти рудименты советского образа жизни когда-нибудь канут в Лету. Надеюсь, потому что люблю эту страну!

НЕМЦЫ, НО НЕМНОГО ДРУГИЕ

Со временем ощущение «инаковости» не проходило, более того, с годами даже усилилось. Впрочем, нам, в принципе, и не давали от него избавиться ни там, в СССР, ни здесь, в Германии. Уезжая из Страны Советов, мы с мясом отдирали от себя клеймо фашистов и изгоев в надежде на то, что на этом самом месте скоро засияет гордое «Deutsche/Deutscher». Но, к вящему нашему изумлению, нам ничтоже сумняшеся тут же приклеили ярлык (если бы русских, куда ни шло!) — нет, не просто русских, но... русских варваров.

И какое счастье, что мы поначалу этого не замечали, осознавали это исподволь, постепенно привыкая к своему статусу, закаляясь и

вырабатывая иммунитет. Я беззаветно любила (и люблю до сих пор!) эту страну, восхищалась и гордилась ею, но когда видела, как к ней относятся сами немцы, меня брала оторопь: они, видите ли, не хотят быть немцами, они — европейцы!

Думаю, ни один народ в мире не поймет склонности немцев к столь критическому отношению к своей стране, ее истории и своему народу. Но когда среди молодых немцев провели опрос на тему: «Можно ли гордиться тем, что ты немец?», я, перед лицом ужасающего количества отрицательных ответов, и вовсе пала духом. И памятуя, что в детстве, юности и даже в зрелом возрасте самым страстным желанием было — быть как все, без каких-либо отличительных признаков, кроме одного: человек один из многих, я все чаще ловила себя на мысли: а хочу ли я в этом плане быть такой, как мои новые соотечественники?

Я вслушиваюсь в себя, спрашиваю свое русское и немецкое начало, ищу ответ на вопрос: к чему и к кому мы тяготеем — знаем ли, знали ли? Наш своеобразный дуализм — русское и немецкое начало — грозит из богатства нашего этноса превратиться в нашу беду. И сколько можно оставаться чужаком у тех и у этих?

Однажды шеф отправил меня в Вупперталь, где по приглашению местного хора должен был выступить с концертом Эстонский государственный национальный мужской хор. Для провинциального города в Рурской области — событие из ряда вон выходящее. Контрамарка прилагалась. Взвалив на плечи пятнадцатикилограммовый студийный магнитофон (концерт как-никак, качество записи очень важно), я отправилась на задание.

Устроители были весьма предупредительны, мне показали мое место в зале, предложив предварительно чашечку кофе, и устроили встречу с руководителем хора, вместе с которым пришел еще один, ничем не приметный на вид господин.

Как всегда, когда я имела дело с официальными советскими представителями, я первым делом отрекомендовалась как репортер «Немецкой волны» и спросила, согласны ли они дать мне интервью. Чтобы не было, так сказать, «разночтений», я еще раз представилась, сделала упор на радиостанции «Немецкая волна». Они сразу же дали согласие, сказав, чтобы я подошла к ним после концерта. Такая непривычная сговорчивость немного удивила, но... «Прибалты, — подумала я, — все-таки не совсем «советчики»», — и отправилась в зал настраивать свою аппаратуру.

Но вдруг в зале и фойе началось какое-то странное волнение. Казалось, устроители кого-то искали, и этим «кем-то» была я, как выяснилось позднее. Наконец меня обнаружили и попросили зайти к администратору. Я не могла поверить своим ушам, но он, извиняясь, извиняясь, кланяясь и с мольбой простирая ко мне руки, просил, заклинал меня... уйти из театра!

— Наши эстонские друзья отказываются выступать, если вы не покинете зал! Пожалуйста, поймите меня, мы не можем ставить под угрозу концерт! И потом... может разразиться международный скандал! Боже мой!

— Может! — с жесткостью, которой я сама от себя не ожидала, подтвердила я. — Может вполне! Но вы забываете, что мы находимся у себя дома, в свободной стране и что я — ее подданная. Хотите посмотреть паспорт?

Он молча замахал руками.

— Вот вам ваша контрамарка. Я покупаю сейчас билет в кассе и иду в зал как свободный гражданин свободного государства. Повторяю: я у себя дома! И я, клянусь, не сдвинусь с места, даже если в зале не останется ни одного зрителя!

Я уж не знаю, как администрации удалось уговорить эстонцев все-таки выступить, но концерт был бесподобный! На приеме у бургомистра все, в том числе руководитель хора и его сотоварищ, делали вид, будто ничего не произошло. Меня они, конечно же, не «узнавали». Вполне возможно, что они в начале нашего «знакомства» не поняли, что перед ними «отравитель эфира» и «эмигрантское отребье», а наведя справки, решили исправить свою оплошность.

Чувствуя, что мои силы на исходе и опасаясь срыва, я ушла с приема, пожалуй, одной из первых. Я одиноко брела по безлюдным улицам Вупперталя и, подняв лицо к бескрайнему шатру декабрьского неба, из которого в звенящую тишину морозной предрождественской ночи тихо падали огромные белые хлопья снега, вдруг зарыдала — горько, безутешно и громко, во весь голос. От обиды? Отчаяния? Одиночества и неприкаянности? От осознания того, что мы всюду чужие, отверженные?

И БЫЛИ ЛЮДИ БЛАГОЧЕСТИВЕЙ И СМИРЕННЕЙ

И вспомнилось мне другое наше Рождество Христово в Германии — в новом доме с голыми стенами, полупустыми комнатами, где «из-за каждого угла рожи корчила нужда». Мы с девчонками ломали себе голову над тем, как украсить бедное наше жилище, когда вдруг раздался звонок. Звонили не откуда-нибудь, а из редакции Второго канала германского телевидения — ZDF!

— Мы хотели бы навестить вас и, если возможно, взять интервью...

Оказалось, что в поисках переселенцев из СССР, говорящих по-немецки, они обратились к начальнику нашей редакции на «Немецкой волне». Ну а он направил их ко мне.

Домочадцы отреагировали на новость по-разному. Глава семьи сразу отрезал:

— Нет! Это — уж как-нибудь без меня!

Зато девчонки обрадовались — событие! Нас покажут по телеку!

Телевизионщики оказались замечательными молодыми ребятами. С их приходом в нашем доме сразу стало шумно и весело. Кроме аппаратуры, они приволокли нам в подарок красавицу-елку с игрушками, сами установили и украсили ее, и наша гостиная прихорошилась, за-

сияла. По замыслу редактора, передача должна была быть предельно близкой к жизни. Главную сцену он запланировал снять на... кухне, и с места в карьер спросил мою маму, умеет ли она варить борщ.

Умеет ли?! И действие незамедлительно переместилось на кухню: под стук ножей и умопомрачительный запах булькающего в кастрюле настоящего, наваристого украинского борща здесь действительно шел очень непринужденный разговор: Наташа, наша младшая, поведала о своих впечатлениях о школе (не очень лестных) и, нарезая овощи, как бы между прочим, обронила:

— А вы знаете, я вообще-то помесь! (Нем.: Mischling).

— Как?! — Телевизионщики приготовились выпасть в осадок.

— Ничего странного: мой папа — русский, а мама — немка. Так кто же я по-вашему? — Видно было, что Наташа по-настоящему гордится этой своей особенностью.

Много было забавных сцен, но разговор по существу — о традициях празднования Рождества Христова в нашей семье — редактор повел со взрослыми.

— Какие такие традиции?! — Моя мама, казалось, не поняла вопроса. — Праздновали, как положено. В последнее время Рождество в России превратили в гулянки с танцами, вином и водкой, как на Новый год. Но это в семьях безбожников, где не чтут Бога и не соблюдают Его заповеди. А мы старались блюсти веру. Вон моя дочка рассказывала: на работе немцы удивляются, откуда она знает так много немецких рождественских песен. Ну а как же ей не знать их, когда мы в семье всегда пели эти песни и детей к этому приучали?

— А как вам здесь? — не сдавался редактор. — Вы ходите в церковь?

— Хожу, — мама горестно вздохнула, — но я не такой представляла себе церковь в Германии. Вы только подумайте: прихожане приходят в церковь, как в клуб, смеются, шутят, громко разговаривают, женщины заходят в церковь без головных уборов и даже... Господи прости! — в шляпах! А то вдруг начинают хлопать в такт музыке, как на концерте! Никакого смирения, никакой покорности и кротости! Словно на концерте побывала... У нас в добрые старые времена, когда еще мы жили в немецкой деревне Мариенхайм под Одессой, все было иначе...

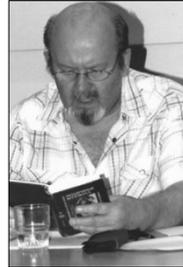
Как это было иначе, маме рассказать не дали: редактор дал отмашку, и ребята начали собирать аппаратуру.

Потом мы дружно уселись за стол, и все вместе налегли на мамин борщ — телевизионщики уверяли, что ничего подобного (и в таком количестве!) никогда не ели!

Передача получилась замечательная, письма приходили со всей Германии. Особенно трогательным было письмо третьеклассников одной из школ Мангейма, которые вложили в него 30 марок, чтобы мои дочки могли купить рождественские подарки. Многих телезрителей насмешила наша «помесь», но больше всех откликов получила наша бабушка: ее благодарили за стойкость и верность христианской вере, утешали, подбадривали, желали мира и счастья на прародине.

Роберт ВЕБЕР

Родился 1.01.1938 в Подмосковье, в Карабаново в ста км от Москвы. Детство — годы войны. Был чернорабочим, электриком, изучал медицину, окончил ин. яз им. Мориса Тореза в Москве. 13 лет работал спецкорреспондентом газеты «Нойес Лебен», 10 лет — Председателем Комиссии по литературе роснемцев при Союзе писателей СССР. Поэмы, стихи, рассказы, эссе, переводы публиковались в сборниках русской и немецкой поэзии и прозы. Его двуязычное творчество — преимущественно немецкоязычное. Русскоязычное — интересно как страницы одного из самых значительных писателей из российских немцев.



ЛЕБЕДИ

А лебеди опять
по осени летят,
и лебединый пух
снежинками слетает,
витает в воздухе
Но пламень октября
под снегом
не потух...
Пусть лебеди летят,
теплее ищут крова —
они ко мне вернуться
снова!
Снова!
Снова!

Без грусти их полёт
пусть провожает око —
до лебединой песни
мне еще далёко!..

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКАЯ ПРИТЧА

Однажды бешеный вихрь
взбудоражил мирную Волгу,
взвил стаю серебряных рыб
из клокочущей воды,
погнал их, как рваные облака,
по пылающему небу,
позволяя то здесь, то там
опуститься на горькую землю —
почти бездыханные —

попадали они в чужие
лужи и болота,
ручьи, пруды и озёра...
И вот затосковали они
по родным волнам,
а слышат только лишь
старые надоедливые сказки —
о грядущих спасительных северных реках,
которые когда-нибудь кто-нибудь
повернёт на юг...
«Но пустые слова никого никогда не спасали!» —
шепчут бездомные тихо.
«Неужели мать-природа никак не поймёт,
что нас изгнали из нашей стаи и стихии?»
«Скоро новый шквал будет искать и найдёт нас
на чужеземном рынке —
возможно, вялеными и засоленными,
но, возможно, серебряными и свежими...»

ЗЕМЛЯ

Ковёр цветистый — луговые травы.
Синь неба. Белых лебедей полёт.
Густая зелень молодой дубравы.
Лесное сердце — земляники плод.

Сугробов скрипы. Вьюг прощальных гуды.
Крик журавлей. Лосей любовный стон.
Кузнечиков скрипичные этюды.
Осенних листьев грустный перезвон.

Смолистый аромат еловых шишек.
Морошки вкус — попробуй и замри ...
Всем этим я живу, дышу и вижу-слышу.
Всё это я люблю. Я — сын Земли.

Вот самолёт гудит над тихим миром —
стального цвета раскрасавец ТУ.
В чём вам завидовать, чудные пассажиры?
Ведь вы ж покинули земную красоту.

На высоте двенадцать тысяч метров
в иллюминаторах три сотни глаз.
Что там внизу? Чего-нибудь заметно?
Средь облаков Земля видна подчас.

Вы всё спешите, люди, всё спешите?
Природа-мать под крыльями во мгле...
Но прилетит грядущий звездный житель
Землёю любоваться на земле.

ЗВЕЗДНЫЕ МЕЧТЫ

А много ли человеку нужно?
Чутьочку неба и красоты.
Скажем, хочется в тундре вьюжной
выращивать южные цветы.
Один заводит
огромный аквариум.
Другой мечтает об антиквариате.
Третий увлётся стихами.
Каждая женщина хотела бы ребенка.
Еще долго хотел бы жить старик.
Всё это — наши близкие звёзды,
наши земные дела и мечты.

Человечеству нужно очень много,
всё небо с бескрайним туманом звёзд!
Тянется в космос земная дорога
от колыбели надежд и грёз.
Я слышу: «Ещё на земле неполадки,
зачем же счастья искать в небесах?
Благоустроить пора бы планету,
чтоб на всех континентах были мир и уют!
А потом уж спокойно вести ракету,
Земле отдавая звёздный салют».
Порой человеку достаточно хлеба,
телеэкрана и шума берёз...
А всему человечеству нужно всё небо
с бескрайним туманом загадочных звёзд.

КТО ПРАВИТ МИРОМ?

Перламутровый солнечный луч
на твоём плече
разбудил меня.
Я с улыбкой взглянул
на созвездие родинок —
среди спутанных сном разметавшихся волос
и вдруг подумал совершенно серьёзно:
«Какая счастливая звезда
обручила нас?
Почему среди миллиардов
подобных нам людей
мы выбрали друг друга?
Чьи законы правят миром?»
Нет, я никогда не верил
в поповского бога на небе.
Все браки заключаются на земле.

Но сколько ещё вопросов
остаются для меня открытыми.
Ребёнком
я как-то спросил мать:
«Откуда появился человек?»
Она ответила: «Марш в постель!»
Юношей
я спросил отца:
«Что такое человек?»
Он подарил мне учебник истории.
Мужчиною
я спрашиваю:
«Куда идёт человек?»
Все отвечают с улыбкой:
«Мы решаем насущные проблемы».
Но это я делаю тоже...
Я живу. Я дышу. Я мыслю.
И я верю,
что всё вокруг меня
имеет глубокий смысл:
перламутровый солнечный луч
на твоём плече,
созвездие родинок
среди спутанных сном разметавшихся волос,
беспечное дыхание нашего ребёнка,
посапывающего в постельке,
тяжёлые от мыслей и фактов
исторические книги
и счастливое решение
насущных проблем.
Этой верой
я живу на планете Земля.
И когда ты проснёшься,
свежая-свежая,
как новорождённая,
мне вдруг снова покажется,
что это ты — правишь миром...

ПРОСПЕКТ МИРА

Над чем он так хохочет —
этот забавный карапуз,
которого кто-то нарисовал
на оконном стекле
троллейбуса,
идущего по маршруту
«Универмаг “Детский мир” — “Проспект мира”»?
Не надо мной ли?

Когда я был маленьким,
таким же маленьким, как он,
я тоже был
тонконогим пузаном —
зеркальным отражением
рахитичного времени.

Я разучился смеяться.
Я научился ждать.

По вечерам
мама приносила
то пряник,
сладкий, как мечта
о возвращении отца,
то горбушку хлеба,
прогорклую,
как небо над многострадальной страной,
то картофельную пышку,
тёплую,
как редко свободная от работы
материнская любовь.

Я был обжорой —
досыта не накормишь.
Мама изображала сытое лицо,
которое странным образом
становилось всё худее.
Всё голубее светилась
сквозь бледную кожу
человечность...

Так над чем он хохочет,
этот забавный человечек,
которого кто-то нарисовал
на оконном стекле
троллейбуса,
идущего по маршруту
«Универмаг “Детский мир” — “Проспект мира”»?

Медленная слеза
скатилась и обезобразила
его мордашку...

У первого попавшегося почтамта
я выхожу,
чтобы на последние
студенческие гроши
поцеловать маму.

КОНФЛИКТ

Однажды я раскрыл перед Вами
своё сердце.
Вы с любопытством осмотрелись
в совершенно для Вас новой душе,
нашли мой мир допотопным
и принялись всё выбрасывать в окно —
книги мудрости, картины тонкого вкуса,
ночник мечтательности,
раскладушку неприязтельности,
лёгкие занавески откровения.
Вы поставили в моё приветливое жильё
стол парадности, софу пышности,
рояль погони за эффектом,
повесили ковры благополучия
и хрустальные люстры самодовольства.
Затем плотно закрыли окна, поскольку всегда ещё
боялись простудиться от резкого ветра эпохи.
Так Вы создали искусственный климат счастья.
Поскольку мне вдруг стало тесно,
душно в собственной душе,
Вы тут же решили
расширить площадь моего сердца.
Тогда пришёл хирург тупоумия
в сером халате равнодушия
с пинцетом грубости...
Я спустил его вниз с лестницы
и оставил дверь открытой!
К счастью моему, Вы ушли,
забрав с собою всю Вашу роскошь
вместе с тяжёлыми замками мешанства.

КОВШИК

Листья облетели.
Улица — рябая.
Осень снова плачет,
сдерживая дрожь.
Ты сложила ковшиком,
нежно улыбаясь,
белые ладони,
чистые, как дождь.

Скоро будет полным
ковшик твой бездонный.
Не скупясь, его ты
до краёв нальёшь.

Скоро буду жадно я
пить с твоих ладоней
озорное счастье,
как дождь.

Ветер собирает
влажных листьев бронзу
вдоль усталых улиц
с грустными людьми...
Скоро тихим заревом
на ладонях Солнца
улыбнётся в небе
радуга Любви.

БЕССОННИЦА

И снова строки, рифмы...
Что ж, мои хорошие,
помучайте меня —
я благодарен вам!

Поэзия-принцесса,
где торчит горошина,
что душу будоражит
по ночам?

Безветренная ночь —
в ней сердцу душно.
Но вот пахнуло
свежестью с бульвара...

Скрипит окно.
А под моей подушкой
вращается
клубок Земного шара.

ПЕСЧИНКА

Песчинка!
Оторвавшись от скалы,
ты улетела с пыльным вихрем горя...
где же ты теперь,
скажи?
На дне, на берегу какого моря?
В каком краю,
в какой земле
нашла ты свой оплот?
Ты не живёшь в своей скале,
а вот скала в тебе живёт!

Николай ДИК



Родился в 1954 г. в пос. Ново-Ильиновка Тарановского р-на Кустанайской обл. Казахстана, месте депортации родителей. Образование — истфак Ростовского университета. Работал учителем, завучем по воспит. работе, старшим преподавателем Ростовского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, зав. город. метод. Центром Управления образования и зав. организационно-массовым отделом Дома детского творчества Азова. Член Союза писателей России. Живёт в Азове.

Из цикла «Жизнь на двоих...»

* * *

Для двоих совсем нестрашен
вечер зимнего покроя...
Если в полночь тени башен
вдруг короче станут вдвое,
между стен и спящих окон,
на брусчатке, в снег одетой,
для двоих луною соткан
звёздный путь в просторы лета.

В гололедицу — удобней,
с гор обрывистых — надёжней...
Двум влюблённым ветер злобный,
что очаг в избе таёжной,
и способны только двое
убежать, держась за руки,
от коварности покоя
и бессмысленности скуки.

* * *

Но не всем же болеть стихами.
Кто-то должен рождаться Музой,
чтобы крылья взлетали сами,
не считая полёт обузой.
Для двоих заболеть — удача;
для себя же — не видеть света.
Одиночке полдня до плача,
а в объятьях душа согрета.

Так предписано — жить по парам.
Если строчка кого-то лечит,
то поверьте, всю ночь недаром
два крыла разрывали плечи.

Если чувства уходят в песни,
то кому-то их надо слышать.
Но приятней полночи вместе
под гитару на старой крыше.

Можно снова простыть стихами
и повторно родиться Музой,
если в паре закружит с вами
кто-то юный из ретро-блюза.

* * *

Выпить море бы — не пьётся,
влезть на гору — силы мало;
улететь вдвоём на солнце,
но сединам не пристало.
Закатить бы голенища,
щегольнуть бы, но, похоже,
мой мундир давно не чищен
и, скорей всего, изношен.

Неужели отлетелся
и неужто крылья сдали?
Но недавно ж в темпе вальса
мы на них кружились в зале
и казалось, будет вечно
на двоих слегка за сорок,
а наивная беспечность
путеводной отговорок.

Накружилась и устала,
поседела поневоле...
Но прожить её сначала
вряд ли кто-нибудь позволит.

* * *

Не пойму ни тебя, ни себя я —
то ли двое нас, то ли одно?
Ты живёшь, ежедневно влюбляя,
я влюбляюсь и тут же на дно
потому, что теряюсь в догадках —
ты реальность, а может, во сне
появилась восточной загадкой,
не понятной ни богу, ни мне...
То ты счастье моё, то кручина,
то заветное имя в бреду...
Почему молчаливый мужчина
при тебе вдруг несёт ерунду?
То мой сон, то посланница рая,

то судьбы путеводная нить...
Почему без тебя умираю,
а с тобой — не решаюсь ожить?
То из осени ты, то из мая,
то печаль, то желанная весть.
Я и знаю тебя, и не знаю,
но живу, потому что ты есть.
Перед завтрашним днём не завоем,
не боимся заснеженных зим.
Будь что будет...
Нас всё-таки двое...
А вдвоём и пургу усмирим.

* * *

Что легче верится делам,
давно усвоил...
Позвольте горе пополам —
так легче вдвое.
А ваша боль почти моя.
Совсем несложно
вдвоём за тонкие края,
зато надёжней.

Пушай скрываются права
за копирайтом,
перенасыщенным словам
не доверяйте.
И даже мне, пока вдвоём
три пуда соли
не уплетём, не наживём
свои мозоли.

Когда я стану только ваш,
то в час разлуки
не отдавайте наш багаж
в чужие руки.
Перетерплю и доживу
до новой встречи...
Тогда доверьте randevu
на целый вечер.

* * *

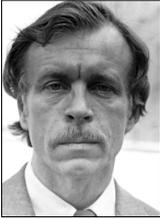
Ты ангел мой, судьба моя и бог...
Не в небесах, а здесь, где ежечасно
приходится из тысячи дорог
одну искать, но ту, что неопасна.

Находишь ты, а я вслед за тобой.
И даже в битвах за щепотку рая
ты полководец, я же — рядовой.
Вот почему мы чаще побеждаем.
За первенство не спорим, не идём
на поводу у зависти и злости.
Не любим вечерами под окном
перемывать стареющие кости.
Тебе обязан за уютный дом,
за randevу уже почти полвека,
что не прослыл бродячим босяком,
а удостоен званья Человека.
И на закате нынешнего дня
молю у неба, в принципе, немного —
чтобы ещё полвека для меня
ты оставалась ангелом и богом.

* * *

Луна щекой прижалась к небесам,
не видно звёзд в предутреннем тумане,
лишь ветерок подыгрывает нам
в ночной тиши на сказочном органе.
Рука в руке, и речи не нужны.
Глаза успеют рассказать о многом,
пока тропинка не свернёт к порогу
такой реальной сказочной княжны.
Ещё осталось несколько минут...
Как их продлить до утренней жар-птицы?
А попроси, тебя ж и упрекнут,
что не успел реальностью напиться.
И остаёмся в сказочной стране,
пока тропинка скатертью-дорожкой,
а мы по ней, как будто понарошку,
плывем вдвоём в рассветной тишине.
Да будет сказка вечна для двоих
как под луной, так вечером и в полдень,
и никогда не приведут к щеколде
пути-дороги счастье молодых.

Гуго ВОРМСБЕХЕР



Родился 26.06.1938 в АССР НП. В 1941-м — депортация в Сибирь. После школы — служба в армии. Работал токарем, электриком, учителем, в газетах «Фройндшафт» (Целиноград), «Neues Leben» (Москва), редактором литературного альманаха «Heimatliche Weiten». Окончил Московский полиграфический институт, редакторский факультет. С 1963 г. по настоящее время — в движении российских немцев за реабилитацию и восстановление государственности.

НАШ ДВОР (Повесть)

«По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья.

...Государственному Комитету Обороны... срочно произвести переселение всех немцев Поволжья...».

(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г.)

1. Папин след

Дождь уже давно кончился, и мне хочется на улицу. Хайнчик, наверно, уже на улице. И Карлуша, наверно, там. И Эльза. Мне дома скучно, но выйти, наверно, нехорошо, ведь и другим хочется, а не выходят. Это мы из-за папы. Он сидит за столом, положил на него руки и смотрит на них. Он давно уже так сидит. Мама сидит напротив и тоже смотрит на папины руки. Арно устроился у печки. Он сидит к столу боком, опустил голову и смотрит как будто на пол. Но я-то вижу, что он незаметно смотрит на папу. Посмотрит и опять опустит глаза, только волосы на макушке у него вверх торчат. А Мария все нянчит свою тряпочную куклу с фиолетовыми глазами, которые сама нарисовала ей химическим карандашом, когда мы еще дома жили.

Мне все хорошо видно, потому что свой чурбачок я откатил к окну, залез на него и смотрю то на улицу, то в комнату.

У нас у каждого свой чурбачок. Это дедушка Семеныч, который с нами рядом живет, напиллил нам. Я люблю свой чурбачок. Он у меня уже гладкий-гладкий стал. Это потому, что я на нем все время елзю и последние штаны протираю...

Я смотрю в окно. Там в одном месте даже солнышко уже вышло.
— Солнышко вышло, — говорю я.

— Помолчи, Фрицик, — говорит мама.

Я вздыхаю. Мама никогда ничего не говорит зря, значит, мне надо молчать. И сидеть дома.

Мой папа уезжает сегодня далеко-далеко, в какую-то деревню. И Володин папа туда едет, и Карлушин папа, и Эльзин папа. И у всех ребят, которых я знаю, папы едут сегодня в далекую деревню. Только у Отто папа не едет — у него папа на фронте. И у всех русских ребят папы на фронте.

Наши папы едут работать. Там, наверно, много-много работы, вон сколько их едет. Правда, у нас в деревне тоже много работы, потому что, когда мы просыпаемся утром, папы никогда уже нету дома, а приходит он, только когда мама задвигает табуреткой окно, чтобы с улицы не было видно, как мы садимся ужинать.

А еще в той деревне, куда едет папа, наверно, много-много детей, потому что мой папа учитель и он сказал: «Там все будут нужны...» Значит, там и учитель будет нужен, и мой папа будет там детей учить.

Эльзин папа тоже учитель. Только он не такой учитель, как мой папа. Мой папа — учитель русского языка, и он может разговаривать в деревне со всеми, даже с хромым председателем, который на двухколесной тележке ездит.

Мы тоже умеем разговаривать по-русски, потому что когда мы еще дома жили, то мы один день разговаривали по-немецки, а другой день по-русски. А здесь мы делаем не так. Здесь мы с мамой говорим по-немецки, а с папой по-русски. И с соседями мы тоже разговариваем по-русски, потому что они не понимают по-немецки. Вот только дедушка Семеныч смеется всегда, когда я говорю с ним по-русски. Он меня даже передразнивает, как маленький. Но я не обижаюсь на него. Я тогда начинаю говорить с ним по-немецки, и он ничего-ничего не понимает. Тогда и я над ним смеюсь. Но он тоже не обижается. Он тогда говорит:

— Ну ладно, Федька, не буду больше дразниться. Иди, так и быть, потереби мне бороду.

Я люблю теребить дедушки Семеныча бороду, она у него большая, и я всегда в ней что-нибудь нахожу: то травинку, то ниточку, а раз даже укололся — там маленькая щепочка была. Только я не люблю, когда он меня Федькой зовет. Я ему тогда говорю, что меня зовут Фрицик, а по-взрослому Фриц, или Фридрих, как моего папу. А когда я вырасту, говорю я ему, меня, как и моего папу, будут звать Фридрих Карлович. Но дедушка Семеныч тогда опять смеется.

На улице кто-то кричит. Я выглядываю в окно.

— Подводы едут! — соскакиваю я с чурбачка.

Папа встает. И мама тоже встает. Она говорит мне:

— Скорей, Фрицик, надень, ботинки.

Мама торопит меня. Она даже помогает мне.

В дверь кто-то стучит. Входит Карлушин папа.

— Здравствуйте, — говорит он. — Учитель, вас ждут.

Все взрослые называют папу учитель и говорят ему «вы». А ребята, с которыми Арно учился в школе, называют папу Фридрих Карло-

вич. И все русские называют его Фридрих Карлович. Когда я спросил маму, почему взрослые называют папу учитель, она сказала, что раньше дома всегда так обращались к учителям, поэтому и сейчас так, говорят. А когда раньше? Когда меня еще на свете не было, говорит мама. А когда меня на свете не было? Это мама не может мне объяснить; наверно, этого она сама не знает.

Мой папа надевает свое длинное пальто, которым мама всегда укрывает меня с Арно на ночь, берет шапку и узел и подходит к двери. Он осматривает еще раз всю комнату, наверно, чтобы что-нибудь не забыть, смотрит на нас и говорит:

— Ну, пошли.

На улице грязно. На дороге стоит несколько подвод. На них сидят дяди. Они смотрят на нас. Они ждут моего папу.

Вокруг подвод стоят тети и ребяташки. Они тоже смотрят на нас.

Мой папа идет по дорожке около нашего дома. На дорожке чистый песок. Это папа насыпал его сюда, чтобы не ходить по грязи. Песок на дорожке мокрый.

На углу папа сходит с дорожки, прямо на размокшую землю. Он пропускает вперед Карлушиного папу, и тот идет к подводам.

Папа не хочет, чтобы мы шли дальше. Он поворачивается к Арно и протягивает ему руку. Арно тоже протягивает ему руку — Арно уже большой, у него есть красный галстук.

— Ну, сын, до свиданья, — говорит папа. — Помни, о чем мы говорили. Ты теперь один в доме мужчина.

— Я все буду делать, — говорит Арно, не поднимая головы.

Мой папа обнимает Арно. Нет, он только прижимает голову Арно к своему пальто чуть повыше кармана. Потому что Арно хоть и большой, но маленький, а папа вон какой высокий. Папа стоит совсем прямой, только наклонил голову. Он приглаживает Арно волосы на макушке, потом кладет ему руку на плечо.

— До свиданья, — говорит он. — Я надеюсь на тебя.

Арно глядит вниз и кивает. Он отходит от папы. На глазах у него слезы. Он отворачивается от меня, но я все равно видел, и вечером я его буду дразнить: стыдно, такой большой, а плачет.

А Мария тоже: еще к папе не успела подойти, как уже разревелась. Даже и не стесняется несколько, ведь скоро в школу пойдет. Ох и достанется им сегодня от меня!

Папа целует ее прямо в мокрую щеку.

Теперь он поворачивается ко мне. Мама подталкивает меня к нему. Я иду прямо в его вытянутые руки. Мой папа поднимает меня высоко-высоко, так что его лицо прямо передо мной.

— Обними меня, сыночек, — тихо говорит папа.

Я люблю обнимать папу. Я обхватываю его шею руками и тяну изо всех сил к себе. Подбородок у папы немножко колючий, и мне приятно. Я не отпускаю его, я жду, когда папа скажет: «Ой, ой, отпусти меня, а то ты совсем меня задушишь!»

Но папа ничего не говорит. Может, я его уже задушил? Я отпускаю его и смотрю, живой он еще или нет. Две слезы катятся вниз по его щекам. Это, наверно, Марийкины слезы. Сначала они большие, по-

том они опускаются все ниже и становятся все меньше. Это потому, что из них на щеках делаются блестящие дорожки. Когда дорожки доходят почти до рта, слезы быстро расходятся в стороны: у папы вокруг рта две глубокие морщинки, и слезы никак не могут из них выбраться.

Я разглаживаю пальцем морщинку. Одна слеза подходит к моему пальцу. Я веду пальцем прямо вниз, и слеза идет тоже прямо вниз, как капля на стекле окошка, когда на улице холодно, а в доме тепло.

Папа целует меня в обе щеки. Я не люблю, когда меня целуют: я ведь не девчонка, я ведь красным командиром буду, как мой дедушка. Я вытираю ладошкой щеки и говорю:

— Папа, ты привези мне верблюдика. Такого, серебристого, на елку которого вешать.

Но папа ничего не отвечает. Он только придавливает меня к себе так, что я чуть не ойкаю. Может, папа меня не расслышал?

— Папа, верблюдика, такого, как Мария потеряла.

— Ладно, сыночек, ладно, — опять совсем тихо говорит папа.

Но он говорит это так, как говорила бабушка, когда хотела, чтобы я не приставал к ней. О серебристом верблюдице так не говорят.

— Такого, с двумя горбиками... — показываю я согнутыми ладошками.

Папа опускает меня на землю.

К нему подходит мама. Ну вот, и она тоже плачет! Правда, не очень громко, но ведь на дороге могут услышать, и тогда будет стыдно. Она уткнулась лицом папе в грудь, обхватила его и гладит пальто у него на спине. Может, ей жалко пальто, потому что нас с Арно теперь нечем будет на ночь укрывать?

— Пора, — говорит папа и немного отодвигает от себя маму. — Не беспокойся. Все будет хорошо. Мы докажем, что это не так, — говорит он. — Любой ценой. Это надо. Хотя бы для них, — папа кивает в нашу с Марийкой и Арно сторону. Он еще раз смотрит на всех нас. — Пора. До свиданья.

Большими шагами папа идет к подводам.

Там уже много людей. Но из дворов все выходят тети и дети. Наверно, они пойдут за подводами до конца деревни. Я тоже хочу пойти за подводами до конца деревни, но меня не пускают. Мы остаемся стоять возле дома и смотрим на дорогу.

Вот папа залез на подводу. Подводы тронулись, заскрипели. Все пошли за ними. Многие плачут, а мы машем папе руками. Но папа не смотрит в нашу сторону, а потом его уже не видно.

На другой день я иду гулять. Я надеваю рукавички, потому что стало холодно. Везде, где вчера были лужи, сегодня лед. Лед тонкий и белый, и, когда по нему ударишь каблуком, он ломается, а под ним, оказывается, ничего нет. Куда же делась вода? Ведь вверх она не могла уйти, там лед, а снизу земля замерзла-замерзла и тоже не пропустит воду. Я даже гвоздиком не могу проделать дырочки в земле.

Дорога вся неровная, и как проезжали здесь на лошадях, так все и застыло. По ней лучше не ходить — все время спотыкаешься.

Я иду домой. На углу дома около дорожки я замечаю большой след. Это же папин след! Это же папа стоял здесь вчера! След замерз

и такой, будто папа только что сошел с этого места. Я осторожно вставляю в папин след мой ботинок и пробую, хорошо ли замерзло. След твердый.

Я бегу домой. Я никому ничего не говорю про след. Я только боюсь, как бы он не растаял. Вечером я спрашиваю маму:

— А завтра не будет тепло?

— Наверное, нет, сынок, — говорит мама, — Что-то ветер такой холодный дует. Ты не ходи зря на улицу.

Я не хожу зря на улицу. Там и правда все время холодно. Я выхожу на улицу, только чтобы посмотреть папин след. Папин след замерз крепко-крепко, и внутри у него по краю белая полоска. Может, кто-то там мелом провел? Я знаю, что такое мел. Мел — это такой брусок, которым в школе пишут. Когда мы жили еще дома, у нас был мел, и Марийка писала мне буквы на крыльце. Марийка умеет писать буквы. Ее папа научил. Он ее и в школу с собой брал.

Марийка тогда исписала все крыльцо. Потом вышла мама и сказала, что писать уже хватит и надо стереть с доски. Марийка намочила тряпку и стала стирать буквы со всех досок. Я сказал ей, что мама сказала, чтобы она стерла только с одной доски, а не со всех, а Марийка сказала мне, что все крыльцо — это доска. Она стерла буквы, но все равно их еще немножко было видно. Ей пришлось вымыть крыльцо.

Я пробую кончиком пальца белую полоску в папином следе. Под пальцем сразу показывается черная земля, а кончик пальца становится мокрый. Нет, это, наверно, не мел. Я не буду стирать всю полоску, пусть так останется, так красивее.

На улице мороз. Папиному следу, наверно, холодно. Я выдергиваю из крыши сарая немного соломы и укрываю папин след. На следующее утро соломы на следе нет. Это ветер сдул ее.

В сарае я видел старую тряпку. Я вытряхиваю из нее пыль и стелю на папин след. Чтобы ветер не сдул тряпку, я кладу на нее по краям камни. Теперь папиному следу будет тепло.

Вечером мама спрашивает: кто это натаскал камней под окно? Я говорю, что я — я там играю.

Ночью выпал снег. Снег выпал и на тряпку. Я убираю камни, стряхиваю с тряпки снег и снова стелю ее.

Вечером мама говорит:

— Слава богу, снег пошел. Побольше бы навалило, а то земля вся промерзнет.

— Разве под снегом ей будет тепло? — спрашиваю я.

— Под снегом ей будет тепло, — говорит мама.

Я не понимаю, как под холодным снегом может быть тепло, но раз мама говорит, то это, наверно, так. Мама и раньше иногда говорила такое, что я не понимал, а потом, когда я проверял, всегда было так, как она говорила.

Больше я не стряхиваю снег с тряпки. Пусть на папин след нанесет много-много снега, чтобы ему было тепло.

Мама на работе. Арно тоже на работе — он возит с поля на санях свеклу. Все большие ребята в деревне возят с поля свеклу.

Свекла лежит на поле в большой куче, как наш дом. Всю кучу занесло снегом, и получилась снежная гора. К этой горе прибегают зайцы. Они наедятся свеклы, потом залезают на гору и катятся вниз. Арно видит их каждый день.

Я зайцев не видел и не знаю, как они катаются с горы, если у них нет санок или старого мешка, на который можно садиться. Может, у них такие загнутые доски, как у дедушки Семеныча? Эти доски называются лыжи, и дедушка Семеныч привязывает их к валенкам. Но Арно говорит, что у зайцев нет ни лыж, ни валенок.

Каждый день Арно получает за работу две большие свеклы. Мы печем свеклы в печке, и тогда они вкусные-вкусные. Одной свеклы хватает нам всем раз поесть.

На обед мама оставляет нам с Марийкой полсвеклы. Мы не можем съесть сразу столько, но к вечеру съедаем всё.

Мы только что пообедали с Марийкой. Она сидит на печке, вяжет носок. Наверно, она уже намного обогнала меня. Ну и пусть. Мне надоело вязать. Если бы эти носки были для нас, то я бы тоже вязал, а то мама все равно отнесет их кому-нибудь. Не хочу я вязать, я устал. У меня поясницу ломит, вот. Я даже во сне всё вяжу и вяжу, и петли ползут и ползут по спицам, и их так много, что они ползут весь сон. Марийка меня во сне всегда обгоняет, а стоит мне заторопиться, как все петли сразу сползают со спиц и никак не даются, чтобы их снова набрать. Я тогда кричу и просыпаюсь.

Марийка что-то ничего не говорит мне. Наверно, она хочет, чтобы я подольше не вязал. Тогда она первая закончит носок.

Нет, у меня поясница не болит. Это я пошутил. Это только ленивые так говорят. Я не ленивый. Я только хотел бы поиграть немножко, да не с кем. Ладно, сейчас я посмотрю еще чуточку в окно, а потом буду опять вязать.

Я дышу на стекло, пока там не появляется светлый кружочек. Я смотрю в этот кружочек. Под окном большой-большой сугроб. Он даже немножко окно закрыл — край стекла внизу темный. Теперь папиному следу, наверно, тепло.

На улице все бело, и солнце светит ярко-ярко. Хорошо, что кружочек на стекле маленький и можно смотреть только одним глазом. А то если бы сразу двумя глазами посмотреть, можно, наверно, ослепнуть.

На улице никого нет. Там всегда никого нет. Все ребята сидят дома.

Я смотрю туда, где живет Эльза. Там кто-то идет по улице. Это тетя Даша, которая носит письма. Она проходит мимо Эльзино дома. Она всегда заходит в дома только к русским. После этого некоторые тети ходят в черных платках. Может, тетя Даша разносит черные платки? Наверно, их русские папы с фронта присылают.

Хорошо, если бы и мой папа прислал маме черный платок. У мамы платок уже совсем старый.

Тетя Даша поравнялась с нашим домом. Она открывает сумку, смотрит в нее и идет прямо к нашему дому.

— Ты принесла маме черный платок? — спрашиваю я тетю Дашу, когда она заходит к нам.

— Какой еще платок? — говорит она. — Я принесла вам письмо от папы. Пляшите!

Письмо от папы! Может, папа прислал мне и верблюдика? Вот было бы здорово!

Марийка поет по-немецки частушку и пляшет. Я прыгаю высоко-высоко!

Письмо мы не открываем. Пусть все придут домой, тогда мама прочтает его вслух. Мы залезаем на печку и вяжем дальше. Мы хотим закончить носки, пока мама придет. Она нас похвалит, а завтра отнесет носки в сельсовет, чтобы сельсовет послал их на фронт. Там наши красные солдаты и командиры наденут носки, их ножкам будет тепло, и они смогут быстрее идти вперед и прогнать фашистов. Тогда война кончится, и все папы вернуться опять к своим детям, и все люди смогут опять жить у себя дома.

Мама приходит вместе с Арно. Марийка хочет, чтобы мама тоже сплясала, но она не пляшет. Она только садится на скамейку, расстегивает верхнюю пуговицу пальто, сдвигает платок на затылок да так и сидит. Зато Арно прыгает до потолка и кричит: «Ура! Смерть фашистским оккупантам!» — и кидает вверх шапку, рукавицы и шарф. Мы с Марийкой опять прыгаем и кричим вместе с Арно.

Папа ничего не пишет про школу. И про то, какая у него деревня, тоже не пишет. Он только пишет, что работает в Тайге — так, наверно, деревня его называется. И еще он пишет, что у него все хорошо, и что там много-много елок стоит, и зимой очень красиво, и чтобы мама не беспокоилась — работа у него не тяжелая. Я никак не могу запомнить, кем он работает. Мама объясняет мне, что он говорит по-русски то, что говорят одни по-немецки, а потом говорит по-немецки то, что другие говорят по-русски. Мне непонятно, зачем папе надо обязательно говорить все не так, как говорят остальные. Но мама говорит, что так нужно, чтобы люди понимали друг друга, тогда они смогут хорошо работать. И еще она говорит, что у папы хорошая работа и что, слава Богу, это не деревья валить.

Про верблюдика папа ничего не написал; наверно, он хочет сразу привезти его. Я говорю маме, чтобы она написала ему, что он может и прислать мне верблюдика, не обязательно его с собой везти. Пусть снимет с какой-нибудь елки — там же много елок — и пришлет мне в письме. Но мама говорит, что в письме верблюдик весь изомнется и поломается. И правда, письмо от папы совсем измятое. Ладно, так и быть, я подожду, пока папа придет.

Ночью мне снится папина деревня Тайга. Она большая-большая, и на всех улицах в ней стоят высокие елки, и все-все елки в игрушках, и блестят-блестят, и мы ходим с папой среди елок, и когда я говорю с ним по-немецки, он мне отвечает по-русски, а когда я говорю по-русски, он отвечает мне по-немецки. Это интересно, как игра, и я смеюсь, и папа смеется, и я теперь знаю, зачем папа говорит все не так, — это чтобы людям было весело. А потом мы срываем с елок маленьких серебристых верблюдинок. Мы набираем их много-много, и,

когда мне уже некуда их класть, они вдруг падают у меня из рук прямо на белый снег. Я хочу их подобрать, но на снегу их совсем не видно. Я говорю об этом моему папе, но папа ничего не отвечает. Я смотрю вверх. Папа стоит и смотрит на меня. По его щекам катятся две большие слезы. Я показываю папе мои руки, в которых ничего нет, потому что верблюдиков не видно на снегу, но папа только смотрит на меня и молчит. Потом он начинает куда-то уплывать и уплывает, уплывает, пока не исчезает совсем.

Я хочу посмотреть папин след. Но если его раскрыть от снега, ему будет холодно. Я лучше вырою в сугробе нору, какую вырыли перед своим домом соседские ребята.

Лопатой рыть неудобно. Она тяжелая, и черенок у нее толстый. Как только я наберу на нее снегу, она крутнется у меня в руках, и весь снег опять сваливается с нее. Я беру кастрюлю, в которой мама растапливает снег, когда собирается мыть голову. С кастрюлей лучше. Я нагребая в нее снег и отношу в сторону.

Вот уже и камни. Я приношу веник, сметаю с тряпки весь снег, подметаю и в норе. Потом открываю след. Папин след такой же, как и когда я его закрывал.

Теперь я часто хожу смотреть папин след. В норе, под снегом, и правда теплее, чем снаружи. Когда я ухожу, я закрываю вход старой заслонкой от русской печки и присыпаю снегом.

Тетя Даша заходит теперь в дома и к немцам. Туда она тоже принесла уже несколько черных платков. А нам она носит только письма. Папа все пишет, что работает на той же работе и чтобы мама не беспокоилась. Потом писем долго-долго нет. А когда снег уже почти растаял и нора над папиным следом завалилась, мама и Арно привозят со станции какого-то дядю. Они снимают его с телеги и заносят на руках в дом. Они говорят, что это мой папа. Но это не мой папа. Его только зовут как моего папу — Фридрих Карлович.

Фридрих Карлович все время лежит на кровати, которую мама попросила у бабушки Семеныча, а вставать он не может. И сидеть он не может — мама подкладывает ему под спину подушки, и тогда он как будто сидит. Шея у него тонкая и длинная, и нос длинный, а глаза большие и смотрят так, будто перед ними совсем ничего нет. Где у папы щеки были, там у Фридриха Карловича глубокие ямки. Верхняя губа у него короткая, и он все время показывает зубы. Когда я спрашиваю маму, почему Фридрих Карлович все время зубы показывает, она говорит, что это потому, что он худой. Но ведь я тоже худой, мама сама говорила, а я же зубы не показываю.

Каждый вечер теперь к нам приходят разные тети. Они расспрашивают Фридриха Карловича. Фридрих Карлович не может долго разговаривать. Он скажет несколько слов, потом долго дышит открытым ртом. Каждый вечер он рассказывает только одной тете про ее мужа. Так тети сами договорились. Но приходят они все. И часто плачут. Только они плачут не так, как мы с Марийкой. Мы когда плачем, то плачем и голосом, и носом, и глазами. А тети плачут только глазами.

Мама тоже с ними плачет. Она говорит:

— Подумать только, он все это время валил лес. А домой писал...

Фридрих Карлович закончит рассказывать и смотрит куда-то далеко-далеко. Все смотрят на него, но он молчит и даже не пошевелится. Только левый глаз у него иногда дергается. Это оттого, что у него над глазом глубокий шрам. Шрам у него от сучка, который упал с высокого дерева прямо ему на голову. Так Фридрих Карлович тетям сказал. А маме, когда она раньше его про шрам спрашивала, он не так сказал. Маме он сказал совсем по-другому, я это сам слышал.

— На партсобрание вели...— сказал он тогда и подышал. — Я уже не мог, упал... Прикладом...

Марийка тоже стала называть Фридриха Карловича папой. Она, наверно, как и мама с Арно, забыла моего папу.

Раз, когда все куда-то вышли, я подхожу к Фридриху Карловичу и спрашиваю:

— Скажи, а в твоей деревне на елках много игрушек было?

Он качает головой.

— А ты знаешь, где моего папы след?

Конечно, он не знает. Он только поворачивает ко мне лицо и глаза, которые не видят меня, потому что они как будто совсем засыпаны мягкой серой золой, и кладет свою руку мне на голову. Рука у него как кусок коры. Я отодвигаюсь, и рука падает на постель.

Если бы это был мой папа, он бы знал, где его след и как много игрушек на елках в красивой папиной деревне Тайга.

Сначала мама кормит Фридриха Карловича с ложки. Потом он уже сам пьет из стакана молоко. Он всегда просит еще, но мама дает ему только по полстакана.

Бабушка дедушки Семеныча принесла нам в кринке сливок. Она со своим дедушкой никогда не жила дома. Они всегда жили здесь, в деревне, поэтому и корову они дома не оставили. Их корову зовут Зорька.

Мама ставит кринку под лавку и говорит нам, что это только для папы.

Но поит она сливками, конечно, Фридриха Карловича. Сливки она дает ему тоже по полстакана. Он выпьет, и смотрит на кринку, и дрожит весь.

— Ах, Фриц, ну нельзя же тебе много, — говорит мама. — Потерпи еще несколько дней.

Сегодня ночью моя очередь лежать не рядом с мамой. Я лежу с краю. Справа от меня лежит Марийка, потом мама, потом Арно.

У нас только Марийка не лежит с краю — она ведь девчонка и никогда не будет красным командиром.

Марийка лежит сейчас рядом со мной, подтянула к животу ноги, обхватила мамину руку, уткнулась ей носом в плечо и сопит. Я обнял Марийку, уткнулся ей в шею. Попка у Марийки теплая, и вся она теплая, поэтому и мне тепло. Только сзади поддувает. Наверно, Арно с другого края потянул одеяло на себя — там от окна тоже дует. Я пробую перетянуть одеяло к себе, но не получается. Тогда я поворачиваю к Марийке спиной, чтобы погреть немножко и спину. Марийкина попа сразу отодвигается от меня. Теперь места под одеялом уже боль-

ше, я укрываюсь и снова придвигаюсь к Марийке. Она еще ворочается немножко и пищит, но дальше ей двигаться некуда, и она успокаивается. Мне теперь тепло, и я засыпаю.

Во сне я вижу два сна. Сначала я вижу сон про папу. Этот сон какой-то темный. Наверное, потому, что папа далеко.

Сон про папу еще не кончился, как начался сон про Фридриха Карловича. Этот сон светлый, потому что когда мама ложится спать, она убирает табуретку от окна, и в комнате все видно.

Я лежу на полу около кровати Фридриха Карловича. Фридрих Карлович слезает с кровати, встает на четвереньки и ползет мимо меня. Рукой он опирается на мою ногу, но мне не больно, а он и не замечает. Он подползает к лавке, садится на пол, берет кринку со сливками и пьет. Он пьет долго, кринка у него в руках дрожит, и сливки каплют ему на рубашку. Потом он опять становится на четвереньки и ползет обратно. Когда он ползет мимо меня, он тяжело дышит и на лице у него блестят капельки пота. Он, наверно, очень устал. У него же мало сил, он и ходить-то не может, а кринка тяжелая, я и то еле поднимаю ее.

— Что, тяжелая? — спрашиваю я его шепотом. Но он ничего не отвечает. Он даже не смотрит на меня. Он опять залезает на кровать.

Просыпаюсь я оттого, что мама громко плачет. Я спрашиваю Арно, почему мама плачет. Арно говорит, что Фридрих Карлович умер.

Потом к нам приходит много людей. Они пришли хоронить Фридриха Карловича. Схоронить — это значит отнести на горку за деревней и положить на солнышке. Там тепло и птички поют. Я хочу, чтобы меня до вечера тоже схоронили, но Арно говорит, что идти туда грязно, а ботинки у меня худые. Арно ведет меня к дедушке Семеньчу. Я бы и сам дошел, да Зорька стоит у сарая. Зорька бодучая, и я ее боюсь.

Зорька трется боком об угол. Дома у нас тоже была корова. Весной она тоже терлась об углы. Это они так линяют. Арно тогда собирал старую шерсть и скатывал из нее мячик. Этим мячиком он играл потом с ребятами на улице.

— Арно, — говорю я, — смотри, Зорька линяет. Ты скатаешь мне мячик?

— Ладно, — говорит Арно, — катаю.

Арно хороший. Я его люблю.

Вечером Арно приходит за мной. Мы идем домой. Около угла дома, где был папин след, я останавливаюсь. Арно тоже останавливается.

Папиного следа больше нет. На его месте много следов от коровьих копыт. На черных, в трещинах, торцах бревен налипли красные клочки шерсти.

— Арно, — говорю я, — давай соберем эту шерсть.

Арно ничего не отвечает. Он берет меня за руку и ведет домой.

Дома у нас прохладно. Мама в расстегнутом пальто сидит у стола, смотрит прямо перед собой и молчит. Марийка залезла на печь, укуталась и тоже молчит. Арно принес из сенок дров, достал из-за печки сухое полено и щепает лучинки, чтобы растопить печь. Он тоже ничего не говорит. Значит, и мне надо молчать и ни к кому не приставать.

Я не раздеваюсь, я только снимаю ботинки и залезаю на кровать, на которой лежал Фридрих Карлович. Постель с кровати уже сняли, и я хожу по доскам, как по полу. В углу над кроватью приделана небольшая полочка. На полочке лежат всякие бумаги, которые мама называет «документы». Трогать документы нам с Марийкой нельзя.

На полочке лежат и разные фотокарточки. Больше всего карточек, на которых мой папа сидит в середине, а вокруг него много-много детей. Фотокарточки нам можно трогать. Я люблю смотреть фотокарточки.

Я сажусь на кровать и раскладываю все фотокарточки, на которых дети, справа. Детей получается много-много. Я даже не знал раньше, что на свете так много детей. Интересно только, куда они все делись? У нас в деревне детей не хватит даже на одну такую фотокарточку.

Потом я достаю с полочки другие фотокарточки. На них нет детей, на них только дяди и тети. Эти фотокарточки я раскладываю слева от меня. Вокруг меня получается много-много людей.

Многих из них я знаю.

Вот этого дядю с круглой штучкой на цепочке на гимнастерке зовут дядя Вилли. Это моего папы брат. Он воюет на фронте. Раз мы даже от него письмо получили оттуда. А недавно опять получили от него письмо. Он писал, что их всех, кто живой остался, собрали с фронта и отправили в Тайгу. Фридрих Карлович, когда мама показывала ему это письмо, сказал, что это хоть и далеко от него было, но все равно то же самое.

Дядя Вилли на фотокарточке улыбается. А вот этот дядя с усами и с саблей, который сидит на стуле, это мамин дядя. Он был буденовец. Буденовцы — это такие люди, которые скакали на лошадях с красным флагом и дрались с белыми. В одной руке у каждого красный флаг, в другой сабля. А кто такие белые, я не знаю. Знаю только, что они много людей убили там, где папа и мама жили, когда еще дома были, а меня на свете не было. Они и мамино дядю убили. Они ему голову совсем отрубили белой саблей. Поэтому когда его хоронили, то сначала в гроб положили его, а потом его голову,

А вот это мой родной дедушка. Потому что он папин папа. Он тоже с саблей и с наганом, только на коне. Мой дедушка был командир. У него был целый отряд, и все на конях. Дедушка дрался с Вакулиным, который ездил с бандой.

Бабушка часто говорила дедушке: «Бросил бы ты это, доберется до тебя Вакулин, плохо тебе будет». Но мой дедушка только смеялся и говорил: «Подожди, мать, я еще сам до него доберусь».

А потом Вакулин пришел ночью в деревню и окружил моего дедушку. А утром согнал всю деревню к церкви и повесил моего дедушку за шею на веревке. Дедушка весь день висел и не мог дышать и поэтому умер. Только вечером перерезали веревку и сняли дедушку.

Я очень люблю смотреть эти фотографии. Я только не люблю, когда мама рассказывает кому-нибудь про них. Я тогда затыкаю уши крепко-крепко, чтобы ничего не слышать, смотрю маме на губы и жду, когда она заговорит про что-нибудь другое. Слушать это очень страш-

но, мне всегда потом снится, что мне тоже отрубает голову гладкой прохладной саблей. Мне не больно, мне только очень страшно, что моя голова будет отдельно от меня и что я после этого буду, наверно, мертвый.

На карточке дедушка совсем как живой. Он похож на моего папу, и я долго-долго смотрю на него. Я его люблю. Я часто вижу его во сне. Он сажает меня перед собой на коня, и мы скачем с ним высоко-высоко над землей: я держу вверх красный флаг, а дедушка — саблю...

А еще у нас есть фотокарточка с трактором. Трактор идет по улице, а кругом много-много народу, и впереди ребяташки бегут.

И фотокарточка, где много дядей и тетя сажают маленькие тоненькие деревья, тоже у нас есть.

Я смотрю еще раз на все фотокарточки, разложенные вокруг меня, потом собираю их и кладу опять на полочку.

А это что тут за книжечка? Совсем маленькая и совсем тоненькая. Раньше ее здесь не было.

Я открываю книжечку. В ней тоже маленькая фотокарточка, только приклеенная. Это же мой папа! Мой па-апа-а... Он смотрит прямо на меня! Он смотрит так, будто очень старается быть строгим, но все равно видно, что он добрый. Так он смотрел на меня, когда мама говорила ему: «А наш Фрицик, папа, сегодня что-то не очень слушался». Папа делал тогда такое же строгое лицо и говорил: «Ну-у? И в чем же дело, Фрицик? Ну-ка, иди сюда, поговорим с тобой по-мужски».

Я любил, когда папа говорил со мной по-мужски. Он сажал меня рядом с собой на стул, и глаза у него были добрые-добрые, и я честно-честно все рассказывал ему. Он никогда меня не ругал. И все-все понимал! И говорил мне потом:

— Ну что ж, я только прошу тебя помнить, что маму огорчать не надо. Дело в том, — он наклонялся ко мне и говорил совсем тихо, чтобы только я слышал. — Дело в том, что к женщинам мы должны с тобой быть очень внимательными. Они ведь слабые, не то что мы, мужчины. Согласен?

Я был согласен с папой. И от разговора с ним становился почти такой же большой и сильный, как он. Только ростом был маленький. А папа говорил мне:

— Ну, я рад, что мы оба думаем одинаково. Всегда, знаешь ли, приятно иметь единомышленников... А теперь ты можешь подушить меня.

Я обнимал папу за шею и душил изо всех сил. После этого он уже не старался делать строгое лицо, как на фотокарточке...

Я соскакиваю с кровати:

— Мама! Смотри, мой папа!

Мама вздрагивает, поворачивается ко мне и берет книжечку.

— Это папин партбилет, сыночек, — говорит она.

— А что такое партбилет? — спрашиваю я.

— Твой папа был коммунистом, — говорит мама.

Но мне все равно непонятно.

— А кто такие коммунисты? — спрашиваю я.

Мама думает. Потом говорит:

— Коммунисты — это те, кто хочет, чтобы всем рабочим людям на Земле жилось хорошо.

Теперь думаю я. Я думаю о том, что раньше, когда мы еще дома жили, мы жили хорошо — ведь все так говорят.

— Mam, а когда мы еще дома жили, мы ведь рабочие люди были, да?

— Конечно, маленький.

Значит, правильно. Мы были рабочие люди, и нам было хорошо. А почему же теперь нам плохо? Может, мы уже не рабочие люди?

— А сейчас мы рабочие люди, мама?

— И сейчас тоже, — говорит мама.

Мама снова непонятно. Я долго думаю, но мне все равно непонятно.

— И мы на Земле живем? — спрашиваю я.

Мама смотрит на меня, как будто ей тоже что-то непонятно.

— Ну да, а где же? — медленно отвечает она, поворачивается ко мне еще больше и смотрит на меня, будто я очень болен. Потом она вдруг резко прижимает мою голову к груди, и на макушку мне одна за другой падают теплые капли.

2. Мама

Уже совсем стемнело. И холодно уже становится. Внизу, наверно, уже совсем холодно.

Мы с Марийкой лежим на печи. Печь еще чуточку теплая. Мы завернулись в одеяло и гадаем, что принесут мама и Арно.

— Сегодня они принесут хлеб, — говорю я. — Вот такой кусок. Мне очень хочется хлеба. Мама уже давно-давно не приносила его.

«Сейчас ни у кого нет хлеба», — говорит она. Вчера они принесли пять вареных картошин и миску толстых картофельных очисток. Когда Арно будет дома, мы будем печь очистки в печи. Печеные, они вкусные-вкусные. Шелуха на них почти вся сгорает, и, когда потрешь немножко пальцем, остается только белое. А еще хорошо бы опять какая-нибудь тетя получила письмо из Тайги. Как тетя Берта тогда. Она пришла к нам, когда Фридриха Карловича уже похоронили, и принесла полкастрюли овсяной каши.

— Возьми... Твоим детям... — сказала тетя Берта, протянула кастрюлю маме и заплакала. — Мой младший, Эвальд, прислал письмо... Он совсем слабый был, похудел... норму уже не мог выполнять... паек меньше стал... Учитель давал ему от своего хлеба... спас его... Эвальд ведь был его уче-ник...

Мама тогда долго плакала и никак не могла успокоиться. Тете Берте пришлось даже стакан воды ей дать. Потом мама поставила кастрюлю на стол, и мы все стали есть кашу. И тетю Берту мама заставила есть с нами. Каша была еще вкуснее, чем печеные очистки...

Да, хорошо бы мама и Арно принесли хлеба. Может, сегодня у кого-нибудь будет и они дадут?

— Нет, хлеб они не принесут. Сейчас ни у кого нет хлеба, — вторяет Марийка мамины слова.

— А раньше был?

— Раньше у всех был, — говорит Марийка. — Дома у всех моих подружек был хлеб. Когда я долго играла у них, нам давали по куску хлеба. И когда у нас играли, мама тоже давала нам. Хлеб белый-белый и мягкий, и корочка такая... ну, хрустит которая. Мама намазывала на хлеб масло, а сверху посыпала сахар. Знаешь, как вкусно!.. С солью тоже вкусно, — добавляет Марийка.

— И у всех был хлеб? — спрашиваю я.

— У всех, — говорит Марийка.

Я люблю, когда Марийка про дом рассказывает. Ей повезло — мама купила ее раньше, и она ела белый хлеб с маслом, сколько хотела. А меня купили, уже когда хлеба ни у кого нет. Даже черного. А может, Марийка выдумывает? Как это может быть, что у всех есть хлеб?! Откуда столько возьмется? Да еще белый. И с маслом. И с сахаром... Выдумывает, конечно... Ну, пусть выдумывает. Все равно интересно.

— И папы у всех были дома? — спрашиваю я Марийку.

— Были, — отвечает она. Потом начинает плакать.

— Ты что плачешь? — спрашиваю я ее.

Она еще немного плачет, потом говорит:

— Ты меня про папу не спрашивай, а то я расстраиваюсь.

— Ладно, не буду... Есть хочется. И холодно. Может, печку растопим? — говорю я.

— Нет, мама не велела.

— А если они сегодня не придут?

Марийка молчит. Потом говорит:

— Придут. Всегда ведь приходили. Надо только не забыть сказать, что тетя Ида была.

Мы молчим. Зачем маму вызывают в сельсовет? Работы сейчас нет. Да и не может мама работать. Она болеет. У нее в животике что-то болит... Тихо. На улице где-то скрипит снег. Скрип все ближе. Кто-то стучит в дверь. Мы соскакиваем с печи, Марийка бежит открывать, я выглядываю в сенки. Это мама и Арно пришли. Марийка обметает им снег с валенок. Мама кладет на стол мешочек, снимает рукавицы, разматывает платок.

— Расстегни мне пальто, Фрицик, — садится она на скамейку.

Я расстегиваю ей пальто. Потом беру ее холодные руки и кладу себе на голову.

— Погрей, — говорю я. Волосы у меня длинные. Мама запускает в них руки и трет их о волосы. Руки ее совсем не гнутся.

— Держи крепко, — говорю я и начинаю быстро-быстро крутить головой влево-вправо, вперед-назад. Аж голова закруживается.

— Согрелись? — спрашиваю я.

— Согрелись, спасибо, — говорит мама и приглаживает мои волосы.

Она идет к печи, открывает заслонку, разгребает кучку золы. Там еще есть уголек. Слава Богу, а то пришлось бы бежать за углями к дедушке Семеньчу. Мама раздувает уголек, зажигает от него лучинку. В комнате становится светло. Сейчас Арно быстро растопит печь, нагре-

ет кипятку, и мы будем ужинать. Нам хочется посмотреть, что принесли мама и Арно. Но лезть в мешочек нельзя. Нехорошо. Надо подождать, пока мы все сядем за стол и мама нальет кипятку в глиняные горшочки. Горшочки Арно принес из лесу. Там их развешивают на деревьях, чтобы в них стекала смола. Из них очень вкусно пить кипяток. Губы не обжигаются, и рукам не горячо. Когда мама нальет кипяток, она перевернет мешочек и высыплет все на стол. Вот мы и за столом. Сегодня в мамином мешочке для каждого по две вареные картофелины и еще одна остается. Картофелины холодные и рассыпчатые. Они обвалялись в мешочке, и к ним прилипли всякие крошки. Мы счищаем крошки и посыпаем картошки крупной солью. Вкусно! Еще в мешочке кусок печеной тыквы.

— Это мне дали! — говорит Арно, показывая на тыкву. — Тетя хорошая попалась. Говорит, сядь, съешь кусок. Я говорю, нет, у меня дома сестренка и брат еще есть, не могу. Она говорит, ладно, все равно сядь. Если съешь, я тебе еще кусок дам, домой понесешь. Я хотел, мам, для тебя половину моего куса спрятать, а она заметила. Говорит, не съешь — не дам...

— Ладно, сынок, — говорит мама. — Мне тоже дали поесть там, где я платье перелицевала...

— А в другом доме дядька злой попался. Ты, говорит, что-то не совсем правильно по-русски говоришь. Ты кто? Я говорю, немец. А он: немец? И еще просишь, чтоб тебе подали что? Пусть фашисты тебе подадут! Мотай отсюда, щенок, пока цел! И выгнал меня. Я даже не успел сказать ему, что я совсем другой немец, что я пионер.

Арно шмыгнул носом.

— Успокойся, сынок. Люди ведь разные бывают. Все равно больше хороших.

— Стыдно, мам. Я уж стараюсь, чтобы правильно все по-русски сказать, а все равно сразу узнают, что немец.

— Ну что ты, сынок. Ты хорошо говоришь. Если бы я так умела...

Мы макаем картофелины в тряпочку с солью и слушаем маму и Арно.

— Ой, чуть не забыла, — говорит вдруг Марийка. — Мам, тетя Ида приходила, велела передать, что завтра утром всех вас в сельсовет вызывают. Обязательно-обязательно.

— А зачем вызывают, не сказала?

— Не сказала. Она сама не знает. Мама надолго задумывается и вздыхает.

— Ну ладно, давайте спать укладываться, — говорит она.

Мы расстилаем на полу пальто, стаскиваем с печи одеяло. Печь еще не совсем протопилась. В комнате прохладно, и не хочется вставать на колени, чтобы молиться. Молиться — это говорить что-нибудь Богу. Раньше мы не молились, а теперь молимся. Это дедушки Семеныча бабушка посоветовала маме. Она сказала:

— Ну и что ж, что не верите. А все равно молитесь. Какая-никакая, а опора. А так-то тяжело сейчас устоять. Пошатает-пошатает, да и опрокинет. Не-ет, во что-нибудь верить да надо.

— Да во что еще? — сказала мама. — Больше уж и не во что...

Когда дедушки Семеныча бабушка ушла, то Володина бабушка Луиза, которая тоже тогда у нас была, сказала маме:

— Умная старушка... Ну, мне-то на старости лет поздно еще раз начинать, а им вот, — она кивнула на нас с Марийкой, — может, и правда стоит. Через несколько дней она принесла исписанные листочки, и мама научила нас молиться. А потом мама и сама стала. Только после всех нас. Молиться — это хорошо. Как помолишься Боженьке, так сразу забываешь про все, что было днем, и начинаешь думать: что же Боженька завтра нам хорошего сделает? И всю ночь спишь, и ждешь, и радуешься. Только вот не хочется на колени вставать, когда холодно. Раньше, если было холодно, мы читали молитвы лежа под одеялом. Но теперь мама строгая, она смотрит, чтобы мы хорошо молились. Если стоять на коленях, говорит мама, то Бог лучше услышит нашу молитву. Первым читаю я — я самый маленький, и молитва у меня самая короткая:

Ich bin ein kleines Kindelein,
meine Kraft ist schwach.
Ich möchte gerne selig sein,
weiss nicht,
wie ich's mach.
Amen.

У Марийки и Арно молитвы длинней. Я их тоже уже знаю наизусть.

Дольше всех молится мама. Я уже засыпаю, а она все стоит на коленях, что-то шепчет и просит у Боженьки.

Марийка сидит за столом и рисует нашим красным карандашом двор, который был у нас дома. У нас только один карандаш, это был папин карандаш, и у Марийки все получается красным: и двор, и дом, и наша корова Мета, и солнце, и деревья. Сейчас она рисует колодец во дворе. А потом она будет рисовать себя на крыльце с куском хлеба в руках. Я уже знаю это. Она всегда так рисует. В сенках скрипит дверь. Это пришла мама.

— Ну что там было? — спрашивает Арно, который печет нам очистки.

— Да ничего. Просто собрание, — говорит мама и вытирает глаза.

Глаза у нее красные. Мы смотрим на нее. Мама замечает, что мы смотрим.

— Ветер на улице такой... — говорит она. — Прямо в глаза дует, натерла, даже больно.

Арно набирает горсть готовых очисток.

— Это маме, ладно? — говорит он нам тихо.

— Ладно, — соглашаемся мы.

Арно относит очистки на стол.

— Вкусные, мам, — говорит он. — Попробуй.

Мама ест очистки и смотрит куда-то далеко. Потом она говорит мне и Марийке:

— Идите погуляйте немножко на улице.

— Там, наверно, холодно, ведь ветер, — говорит Марийка.

— Да нет, ветер слабенький. Пойдите погуляйте.

И правда, ветра на улице почти нет. Но холодно. Мы скоро замерзаем и бежим домой. Арно сидит и плачет. Мама успокаивает его.

— Арно, ты что плачешь? — спрашиваю я.

Арно не отвечает. Отвечает мама:

— Мне надо в район съездить на несколько дней, вот Арно и расстроился. Но я скоро вернусь.

— А зачем в район? — спрашивает Марийка.

— Да так, вызывают что-то.

— А зачем вызывают?

— Ну ладно, ладно вам... Тоже уже глаза мокрые... Я вернусь, вернусь!..

Но тут мама сама начинает громко-громко плакать, и мы все за ней...

Вечером к нам приходит тетя Ида со своим Хайнчиком. Они пришли просто так, в гости. Мы играем с Хайнчиком. Хайнца папа никогда больше не вернется, его насовсем схоронили в деревне Тайге. Тетя Ида и мама разговаривают. Тетя Ида говорит:

— Ну, ничего. Председатель сказал ведь, что в детдом устроят. Может, так даже лучше будет.

А потом еще говорит маме:

— Тебе хорошо. Тебя не возьмут. Со своими останешься.

— Ах, — говорит мама, — сейчас всех берут. Больная, не больная, на это не смотрят. Не то время. Сама ведь слышала, что в сельсовете сказали.

— Нет, не говори.

Тетя Ида как будто сердится на маму за то, что она больная. Даже начинает громче разговаривать.

— Ты дома останешься.

— Перестань же, ради Бога, Ида, — говорит мама и кивает на нас.

— Да что перестань! — тетя Ида, наверно, обиделась за что-то на маму. — Давай поспорим, что тебя не возьмут. Если останешься, дашь мне свои валенки, а я тебе мои.

— Ладно тебе, — мама тоже сердится.

Ей, наверно, не хочется менять свои валенки, которые она сама подшивала, на стоптанные валенки тети Иды, из которых через дыры сзади выглядывают разноцветные тряпки.

— Я бы всё отдала, чтобы только остаться.

— Ну, вот и хорошо, — радуется тетя Ида. — Валенки, считай, мои.

Марийка уже спит, Арно тоже спит. А я все не могу уснуть. Мама сегодня долго-долго стоит на коленях и молится. Рано утром нам приносят две круглые буханки хлеба. Это, говорят маме, от сельсовета. Мама заворачивает одну буханку в белую тряпку и кладет на полку рядом с посудой.

— Это вам, — говорит мама. — Арно, поделишь это на четыре дня. Каждому в день по кусочку.

Потом мама немного глядит на вторую булку, берет нож и отрезает от нее кусок. Остальное кладет в свой мешочек. Кусок она разрезает еще на четыре. Хлеб мягкий, а ножик острый, поэтому крошек почти нет. Только от хрустящей корочки на столе коричневая пыль.

— Это мышкам? — спрашиваем мы с Марийкой.

— Давайте дадим мышкам. Тоже, наверно, голодные, — говорит мама.

Мы с Марийкой собираем хлебную пыль в кучку, делим ее пополам и несем к печке. Там в полу две дырочки. Из них, если в комнате тихо, вылезают мышки. У нас у каждого своя мышка. Мы ссыпаем пыль нашим мышкам и садимся за стол. Теперь все в доме будут завтракать.

Хороший все-таки сельсовет. Хлеб нам дал. А может, это Боженька нам прислал? Услышал, что мы хорошо молимся, и сказал сельсовету: вот те ребятки хорошие, дай им хлеба... Надо будет не лениться вставать на колени.

— Ты так быстро не ешь, — говорит мне Марийка. — Так и не вкусно. Надо вот так отщипнуть немножко, положить в рот и сосать. Тогда и вкусно будет, и надолго хватит.

И правда, у меня уже от кусочка почти ничего не осталось, а у Марийки еще половина. Я пробую делать так же как она, но у меня не получается.

— У меня не получается, — говорю я.

— Ты не жадничай, не глотай сразу, тогда получится.

Я пробую еще раз, но вкусный кусочек сам идет к горлу.

— Опять проглотил, — говорю я. У меня осталось только немножко от корочки.

— Не расстраивайся, маленький, — говорит мама. — Все равно ведь хлеб в животике.

На улице кто-то кричит. Мама вздрагивает. Она выпрямляется, встает и начинает быстро одеваться.

— Мама, а ты не насовсем уедешь? — спрашиваю я.

— Нет, маленький, я скоро вернусь. Вот как хлеб съедите, так и вернусь.

Папа тоже говорил, что скоро вернется, а все еще не вернулся. А может, мама попадет к папе и они вместе потом приедут?

— А ты к папе не попадешь? — спрашиваю я.

Мама опускается на скамейку. На темную потресканную пуговицу ее пальто падают слезы. Слезы падают и разбиваются на много маленьких брызг. Одна капелька попадает мне в глаз. В глазах у меня начинается что-то щипать. На улице снова кричат. Мама притягивает меня и Марийку к себе, Арно тоже обнимает маму. Мы плачем. В сенки стучат. Открывается дверь, входит чужой дедушка в тулупе и с бичом.

— Давай быстрее, Петровна, — говорит он. — Ах, мать твою, и тут тоже... — Он хлопает длинными рукавами по бокам. Мама плачет еще сильнее. — Ну, будет убиваться-то, будет. Давай, Петровна, пошли. Ехать надо... — Он немного слушает нас еще, потом сердито кричит: — А ну-ка, быстро собирайся! Ты чё, думаешь, ждать будем? Пешком пойдешь! Живо! В район опоздаем, ругать будут! Начальник сердитый! Быстро!

Мама встает.

— Молиться не забывайте, дети, — говорит она. — Трубу рано не закрывайте... На улицу зря не ходите...

Это мама всегда говорит, когда уходит из дому. Наверно, и правда она ненадолго уезжает.

— Да пошли, пошли, — берет ее бабушка за рукав.

— Багаж-то забыла... — бабушка берет маленький мамин мешочек. — Э-э-э, и эта тоже одну буханку с собой берет. Что, на именины поехали? Вить сказано вам: на десять дней паек. Только в районе три дня будете, а там еще куда повезут, неизвестно... — ворчит бабушка. — Ну, выходи, выходи, и так уж давно надо было выехать.

Мама выходит на улицу. Мы быстро надеваем пальтишки и бежим за ней. На дороге стоит несколько саней. Мы видим, как мама садится на последние сани спиной к нашему домику. Бабушка кричит:

— Но-о, трогай!..

Впереди защелкали бичи, зашкрябел снег. Первые лошади уже бегут. Из их ноздрей, к которым примерзли сосульки, в дорогу бьют струи пара. Вот и последняя сдернула сани с места.

— Ма-ма! — кричим мы с Марийкой.

Мама оборачивается. Она видит нас, хочет спрыгнуть с саней, но другие тети удерживают ее. Мы бежим на дорогу. Сани уже далеко. От них остаются две глубокие ровные полоски. Полоски становятся все длинней и все ближе подходят друг к другу. От телеги, на которой увезли тогда папу, тоже остались полоски. Только не такие ровные и красивые...

Лошади, сани и мама опускаются куда-то вниз. Вот осталась только одна дуга. Над ней поднялся и опустился бич.

Через два дня к нам приходят Роберт и Артур. Это друзья Арно. Они вместе с ним работают и ходят в лес за дровами. У них мамы тоже уехали в район. Они тоже остались с маленькими. У Артура двое, а у Роберта трое. Роберт и Артур хотят, чтобы мы все перебрались в один дом и жили вместе. Так, говорят они, веселее и дров меньше надо.

Арно соглашается с ними. Мы тоже радуемся — мы не будем оставаться весь день одни, а будем играть с другими ребятами. Мы будем играть в жмурки и в пять камешков и пуговицы на нитке крутить, так что аж гудит. Мы собираемся, подпираем дверь палкой и идем все к Роберту — его домик самый большой.

Хлеб мы весь съели, а мама все еще не пришла. Я хотел, чтобы мы его съели побыстрее, ведь мама сказала, что вернется, как только мы хлеб съедим. Но Арно сказал, что мама велела разделить его на четыре дня. Если мы не послушаемся маму, она может не вернуться.

Мы ели хлеб четыре дня, но мама все равно не вернулась. Есть у нас больше нечего. У Роберта и Артура тоже. Сегодня мы еще ничего не ели. Арно, Роберт и Артур ушли куда-то утром. Мы все семеро залезли на печь. Нам сказали, чтобы мы в обед поспали, тогда нам не захочется есть. Мы поспали и теперь рассказываем друг другу, кто что видел во сне. Все видели один сон: вернулась мама и принесла с собой хлеба. Все уже рассказали свой сон. Отто и Эльза, которые меньше меня, стали плакать. Мы тоже начинаем потихоньку плакать. Мама говорила, что если у человека горе и он поплачет, то станет легче. И правда, когда мы поплакали, нам уже не так хочется есть. Мы начинаем играть в жмурки.

Когда начинает темнеть, приходят Арно, Роберт и Артур. Они приносят картошки. Сегодня мы ничего еще не ели, поэтому для каждого кладут в кастрюлю по две картошины. После ужина каждый говорит:

— Спасибо тебе, господи, за хлеб наш насущный. Аминь.

Роберт говорит, что сегодня надо поблагодарить и председателя. Это он повел их к себе домой, слазил в подпол и дал им ведро картошки. Мы хором говорим:

— Спасибо тебе, председатель, за хлеб наш насущный. Аминь.

Еще через два дня ночью кто-то стучит к нам. Роберт подходит к двери, Арно и Артур берут свои топоры, с которыми они ходят в лес, и становятся рядом. Мы все проснулись и смотрим на них. Нам страшно.

— Кто там? — спрашивает Роберт.

— Роберт, это ты? — слышно из-за двери.

— Я.

— А мои здесь?

— А кто это?

— Мама Арно. Открой скорей.

— Ма-ма! — кричим мы с Марийкой и бежим к двери. — Ма-ма!

Остальные, наверно, думают, что их мамы тоже пришли. Они тоже вскакивают и кричат:

— Ма-ма!

Дверь открывается. Входит наша мама. Сначала мы не узнаем ее — она одета во все чужое. Она заходит и опускается на пол. Я кидаюсь к ней на шею — моя мама пришла! Я целую ее холодные щеки, нос, губы. Марийка хочет меня оттолкнуть, но я вцепился в мамин платок и не пускаю ее.

— А наша мама где? — спрашивает вдруг Эльза.

Я отпускаю маму. Все стоят вокруг нас, смотрят на маму и молчат.

— Она еще не пришла, — говорит мама. — Она потом придет.

— Когда? — спрашивает опять Эльза.

— Скоро, Эльзочка, скоро.

— А наша мама придет? — спрашивает Отто.

— Придет. Только не сегодня.

— Завтра?

— Нет, наверно, немножко позже... Сынок, — говорит мама Арно, — разденьте меня и принесите снегу. Я, кажется, вся обморозилась. Арно быстро снимает с мамы старый чужой платок, расстегивает всю в заплатках телогрейку, стягивает дырявые тети Идины валенки, какие-то портянки.

— Ма-ам! — говорит он. — У тебя же ноги совсем белые!

— Да, сынок, — говорит мама. — Давай скорей снегу.

Пришла Володина бабушка Луиза. Пришли и другие бабушки. Они расспрашивают маму. Мама рассказывает, что комиссия началась только через три дня, и было очень много народу, и им пришлось долго ждать, пока их посмотрят. В последний день она молилась и обещала Богу, что если он сделает так, что она не пройдет комиссию, то в тот же день пойдет домой пешком. И вот она не прошла комиссию. «Куда ж ты такая, милая», — сказал ей врач. Мама отдала тетям, у кого было похуже, все свое, взяла их одежду и пошла. Был уже вечер,

ее уговаривали: не ходи, ночь скоро, мороз вон какой, да и волки. Но мама пошла — она ведь обещала Богу, а слово надо держать. И всю дорогу опять молилась, чтобы волки не напали. И вот дошла, все хорошо. Только вот ноги немного...

Ноги у мамы начали чернеть. Внизу они черные, сверху белые. Между черным и белым красная полоска. Полоска каждый день поднимается выше. Мама все время лежит. Вчера приходил председатель. Он посмотрел мамины ноги и начал ругать ее:

— Да ты, Петровна, маленькая, что ли? Почему не позвала меня сразу? Ведь давно надо было в больницу...

Дедушка, который возил маму в район, пришел к нам опять. Он повезет маму в больницу. Там ей вылечат ножки, и она приедет. Бабушка Луиза и бабушка дедушки Семеныча одевают и укутывают маму. Потом все вместе переносят ее на сани. Мы провожаем маму. Мы не плачем — мама скоро вернется.

Мамы уже давно-давно нет. Я гуляю по улице. На улице хорошо. Много снега и не холодно. На дороге разговаривают две тети. Я прохожу мимо.

— ...И что не согласилась, — говорит одна.

— Да, может, так и лучше, — говорит другая. — Что ж без ног-то за жизнь.

— Здравствуйте, тети, — здороваюсь я.

— Здравствуй, милый, — одна тетя наклоняется ко мне, берет меня на руки и целует.

— Не надо, — хочу я опять на землю. — Я уже большой.

— Ах ты сердешный, — говорит тетя. — Ну иди, иди.

Она еще раз целует меня в щеку и опускает на землю.

— Мамы долго нет, — хочется мне поговорить с тетями. — Я скучаю.

— Конечно, миленький, конечно.

Одна тетя вытирает слезы. Наверно, она расстроилась, что я скучаю по маме. Мне жалко тетю. Я ее успокаиваю:

— Ну, ничего. Она скоро приедет. Вот только ножки ей вылечат, — говорю я, как мне говорил Арно.

— Правильно, миленький, правильно. Ты молодец.

Я иду дальше. Я рад — я молодец.

3. Мария

В районе есть большой дом. Там живут только дети. Детей там много-много. Они играют там разными игрушками. Игрушек там тоже много-много. А еще там кормят три раза в день. И суп дают, и кашу, и хлеб. В этом доме хорошо. Дедушка Семеныч везет нас в этот дом. Он сидит впереди в санях. Рядом с ним сидит Отто. Он самый маленький. Потом Эльза. Потом я. А сзади Марийка — чтобы я не выпал.

Напротив нас сидят тоже четверо. И один мальчик посредине. Мы едем пока без Арно. Арно потом приедет — он обещал. И будет жить с нами. Мы уже долго едем. Выехали, как только светать начало, а теперь уже, наверно, обед. Мы опять замерзли. Дедушка Семеныч оставливает лошадь.

— А ну-ка, пробежимся, — говорит он.

Мы вылезаем из саней. Дедушка Семеныч тоже вылезает и идет рядом с санями. Он быстро уходит вперед, потом кричит:

— Догоня-яй! Шевели ногами!

Мы бежим по дороге. Если бежать, то становится тепло. Мы бежим, падаем, встаем и снова бежим. Я упал на обочине прямо на какой-то холмик. Я хочу встать, упираюсь руками в холмик, под ним что-то твердое. Я сгребая снег. Открывается лицо мальчика.

— Мария, — кричу я. — Тут мальчик!

Все подходят ко мне. Мария сгребает с холмика снег. Рядом с мальчиком лежат еще две девочки. Все прижались друг к другу. Наверное, им так теплее. Дедушка Семеныч крестится, потом опять нагребает на детей снег. Мы садимся в сани и едем дальше... Мы выезжаем из леса. Начинается большая-большая деревня. Домов здесь много-много, и людей тоже много. Это, наверно, уже район.

Мы подъезжаем к длинному-длинному дому. Дедушка Семеныч останавливает лошадь у крыльца и высаживает всех. Он заводит нас в дом. Там к нам подходит тетя.

— Ах ты, господи, — говорит она дедушке Семенычу. — Да кто же их посылает-то к нам? Ведь не разрешено их принимать. Вчера семеро, только большевиков, пришло. Пешком, целый день шли, все обмороженные. У нас-то и мест уже нету. Как же мне быть с вами?

Она куда-то уходит. В комнате тепло. Мы раздеваемся и садимся на скамейки. Хочется спать и есть. Дедушка Семеныч тоже сидит с нами. Он курит и молчит. Тетя приходит.

— Ладно, — говорит она. — Троих возьму. А остальных попозже подвези. Недельки через две. Может, места будут: слабеньких много... Давай пока самых маленьких. Она берет Отто, Эльзу и меня.

— А Марийку? — спрашиваю я.

— Ее потом, — говорит тетя. — В другой раз.

Я иду к Марийке. Я буду с ней. Я приеду с ней лучше в другой раз. Вместо меня тетя берет мальчика, который сидел в санях посредине.

Нам дают по тарелке горячего супа с картошкой и немножко гороховой каши. Вкусно. Наверно, тут всегда так вкусно кормят. Хорошо бы здесь остаться. Но после обеда мы опять одеваемся и едем домой.

Обратно ехать хуже. Темнеет уже, и холодно. Лучше бы я остался в том доме. Там тепло. И суп дают. А сейчас приедем домой, и есть нечего.

Нет, нельзя мне было оставаться. Что ж, Марийка одна дома будет сидеть, когда Арно уйдет на работу? Да и Арно будет скучать без меня. Он сам говорил, что скоро приедет к нам, потому что ему скучно будет без нас. Вот, наверно, обрадуется, когда мы сейчас вернемся! Мы залезем на теплую печку и все трое будем там спать. Вместе!..

Я, наверно, уснул. Сани сильно дернулись. Я даже на бок упал. Я хочу опереться на Марийку и подняться, но ее что-то нет.

«А где же Марийка?» — хочу я спросить. Но тут сзади на дороге раздается громкий-громкий крик. Крик обрывается, и теперь слышно, как кто-то там рычит и визжит. Как будто дерется много собак.

Лошадь храпит и бежит быстро-быстро. Дедушка Семеныч стоит на коленях, все время бьет лошадь бичом и часто оглядывается назад. Сани кидает из стороны в сторону. Дедушка Семеныч пересаживает нас вперед, сам передвигается назад. Рядом с ним лежит ружье.

Впереди мы видим несколько огоньков. Это, наверно, уже наша деревня. Огоньки все ближе. Сзади, далеко, тоже огоньки. Их много. Мы быстро едем от них, но они почему-то тоже все ближе. Вот они уже совсем близко.

Это же собаки бегут! Их много!

Дедушка Семеныч два раза стреляет назад. Собаки сбегают с дороги и бегут с двух сторон к нам. Светит луна, и снег из-под их лап сверкает. Дедушка Семеныч снимает свою большую шапку и бросает ее назад. Собаки опять прыгают на дорогу. Снова слышно, как они громко рычат и дерутся. Пока они дерутся, мы уже далеко. Вот уже и деревня. Дедушка Семеныч быстро везет нас к своему дому, заталкивает всех на крыльцо, а сам перезаряжает ружье. Уже в доме мы слышим, как он стреляет еще два раза. Потом он заходит в дом.

— Что случилось? — испуганно спрашивает бабушка.

— Волки, мать их так, — говорит дедушка. — Еле отбились. Девка вот только одна выпала.

Мне вдруг становится тепло-тепло. Это, наверно, потому, что я в избе и одетый. Нет, наверно, не поэтому. Ведь я и раньше был одетый в избе, а так мне никогда не было. Мне тепло-тяжело. Нет, уже не так. Мне тепло-легко. Потому что все от меня куда-то уходит. У меня уже ничего нет — ни рук, ни ног, ничего. Наверно, от меня осталась только душа. Может быть, я умер? А почему тогда моя душа не летит к небу? Моя душа куда-то падает. Но мне не страшно — я падаю мягко. Я падаю как на вату. И правда, я опускаюсь на вату, на мягкую белую вату. Не-ет, это же не вата, это снег. А вот и дорога. По сторонам дороги все еще бегут по снегу собаки. Нет, это же не собаки. Это же волки. Дедушка Семеныч ведь сказал, что это волки. Волки бегут по сторонам дороги, и снег из-под их лап сверкает.

А вон на дороге еще волки. Они сбились в кучу и дерутся. Это же они едят Марийку! «А-а-а!» — кричит Марийка. Мне тоже больно. Я тоже кричу. Нет, я не кричу, я только хочу крикнуть, но никак не могу. И сдвинуться с места никак не могу. Даже пошевелить ничем не могу. Я только смотрю, как волки едят Марийку. Один волк схватил ее зубами за лицо. А-а-а, мне больно! Я дергаюсь, чтобы вырвать мое лицо, но вижу только желтые зубы и красный язык. Я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть. А волки всё рычат, дерутся и что-то грызут. Они грызут Марийкины кости! Я не могу слышать, как грызут кости! Я затыкаю уши, но все равно все слышу. Я чувствую, как острые зубы скребут по моим костям. А по сторонам дороги все бегут, мягко и тихо, другие волки, и медленно сверкает снег из-под их лап, а здесь волки всё рычат и дерутся, рычат и дерутся...

Куда это все пропало? Теперь просто темно. И совсем тихо. Рядом со мной кто-то дышит. Может, волки убежали и это Марийка рядом дышит?

— Марийка! — зову я.

Нет, это не я зову. Я только хочу позвать, а зовет кто-то другой вместо меня, потому что голос не мой.

— Фрицик, ты проснулся? — слышу я Арно.

— А где Марийка? — спрашиваю я.

— Бабушка, бабушка, — тихо зовет Арно. — Фрицик проснулся.

— Что? Очнулся? — слышу я голос бабушки дедушки Семеныча. — Ох, слава тебе, господи! Сейчас, я только свет зажгу.

Скрипит кровать. Значит, я дома? Но откуда у нас кровать? Ведь уже давно-давно, еще когда Фридрих Карлович умер, мама отнесла кровать обратно к бабушке Семенычу. Становится светло. Я лежу на печке. Но это не наша печка — стенка с другой стороны. Рядом сидит Арно.

— Арно, а где Марийка? — спрашиваю я.

— Ты хочешь есть? — говорит Арно.

Я не хочу есть. Я хочу пить.

— Сейчас, сейчас, деточка, я тебе молочка дам, — говорит бабушка.

Она подает мне кружку. Я хочу взять кружку, но не могу сесть. И кружку держать не могу. Арно берет кружку, поддерживает меня и пьет. Я не напился, я хочу еще пить.

— Нельзя, деточка, — говорит бабушка. — Ты три дня в рот ничего не брал, желудочек, поди, весь сохся. Потерпи чуток, потом еще дам...

— Что, Федька, живой? — появляется из горницы бабушка Семеныч. Он в одних подштанниках, борода его сдвинулась набок.

— Живой, слава тебе господи, — говорит бабушка.

— Ну и молодец, — радуется бабушка Семеныч. — Давай поправляйся, я тебе лыжи сделаю, в лес с тобой пойдем.

Я давно хотел лыжи и в лес с бабушкой Семенычем сходить хотел. А теперь я не хочу идти в лес. И лыжи не хочу. Я ничего сейчас не хочу.

4. 4. Арно

Арно собирается уехать. Он хочет разыскать нашего дедушку с бабушкой, которые мамыны дедушка с бабушкой. Они попали куда-то в другую деревню, говорила мама, потому что в нашем поезде им места не хватило. Еще мама говорила, что это очень далеко. Это там, где живут казахи.

Арно никому не говорит, что он хочет уехать. Потому что немцам уезжать не разрешается. Если Арно поймут, ему будет плохо. Он сам так сказал. Арно только не знает, что делать со мной. Сначала он хочет попросить бабушку Луизу взять меня к себе, пока меня в детский дом устроят. Но я не хочу к бабушке Луизе. Я хочу к бабушке Семенычу.

— Ладно, — говорит Арно. — Только не плакать, когда буду уходить. Договорились?

— Договорились, — обещаю я.

Мы идем к бабушке Семенычу.

— Дедушка Семеныч, — говорю я, — возьми меня к себе.

— А что такое? — спрашивает дедушка у Арно. Арно рассказывает ему, что хочет найти нашего дедушку с бабушкой.

— Куда ж ты, сынок, в такие холода? — говорит дедушки Семеныча бабушка. — Подождал бы хоть до лета.

Дедушка Семеныч ничего не говорит. Он долго думает и качает головой.

— Дедушка Семеныч, — говорю я, — возьми меня. Я буду тебе помогать. Я тебе носки свяжу. И бабушке свяжу. И по-немецки говорить научу.

Дедушка берет меня к себе на колени. Я глажу его бороду.

— Ну ладно, Федька, — наконец говорит он. — Так и быть, живи.

Я рад. Я крепко-крепко обнимаю дедушку Семеныча. Бабушка сварила в чугунке картошки. Она укладывает ее в мешочек. Потом заворачивает в тряпочку соль и тоже кладет в мешочек. Это Арно на дороге. Бабушка уложила уже всё, но мешочек наполовину пустой. Она задумывается. Потом лезет на печку, нагревает большой ковшик семечек и высыпает в мешочек. Теперь он почти полный. Она завязывает его, садится на скамейку и подолом вытирает слезы.

— Господи, за что ж ты их так... — вздыхает она, потом поворачивается к иконе и быстро-быстро крестится.

Арно уже одетый. Он привязывает к концам мешочка веревочку, закидывает мешочек за спину и вдевает руки в лямки.

— Готово, — говорит он. — Спасибо, дедушка, — он подает руку дедушке Семенычу. — Спасибо, бабушка, — он целует бабушку в щеку. — До свиданья. Я скоро приеду за Фрициком.

Арно поворачивается ко мне.

— До свиданья, Фрицик, — говорит он. — Слушайся бабушку и дедушку.

Я забываю про все, о чем мы договаривались с Арно. Я спрыгиваю с дедушкиных колен и бегу к Арно. Я обхватываю его за шею и громко плачу.

— Не уходи, Арно, — говорю я. — Братик, не уходи. У меня ведь больше никого нет.

Арно крепко обнимает меня. Он тоже плачет.

— Я приду скоро, Фрицик, — говорит он. — Я только дедушку с бабушкой разыщу, а потом вернусь за тобой.

— Нет, — говорю я. — Папа тоже хотел вернуться, а не вернулся. И мама не вернулась. И ты не вернешься.

— Я вернусь, Фрицик, — говорит Арно. — Только дедушку найду, нашего дедушку.

— Не хочу нашего дедушку. Наш дедушка тоже уйдет и больше не придет. Я хочу с дедушкой Семенычем жить.

Арно ставит меня на пол и хочет расцепить мои руки. Но я еще крепче обнимаю его за шею.

— Нет, — кричу я, — нет...

Арно садится со мной на скамейку. Мы оба плачем. Потом он снимает шапку, расстегивает пальто.

— Арно, ты останешься? — спрашиваю я.

— Останусь, — говорит Арно и крепко прижимает меня к себе.

Я изо всех сил обнимаю его за шею. Я рад, что Арно остается. Он хороший. И он мой брат. Я его люблю. Я его люблю больше всех на свете.

Ночью мы спим рядом на печке. Я обнимаю Арно, а он обнимает меня. Мы долго шепчемся. Он мне рассказывает сказки. Утром, когда я просыпаюсь, Арно рядом со мной нет. Пальто его тоже нет.

— Арно! — кричу я. — Арно!

Из-за печки выходит бабушка. Она несет что-то на тарелке.

— Где Арно? — спрашиваю я.

— Не плачь, деточка, — говорит бабушка. — Я тебе вот драников испекла, горяченьких, покушай иди.

Я спрыгиваю на пол и в одних носках выбегаю на крыльцо.

— Арно-о! — кричу я изо всех сил.

Кругом все тихо. Ночью выпал снег. От крыльца дома дедушки Семеныча ведут свежие следы. Они ведут к нашему домику. Там они поворачивают и по дорожке, мимо места, где был папин след, идут на улицу. Они ведут в ту сторону, куда увезли папу, куда увезли маму, откуда не вернулась Марийка.

— Арно, братик, а я? — тихо шепчу я и чувствую, что слезы у меня совсем холодные.

Две большие руки закрывают мне плечи.

— Пойдем, Федька, в избу, — говорит дедушка Семеныч. — Холодно.

5. 5. Над водой только темный флаг

Мне и правда холодно. Дедушка Семеныч заводит меня в избу. Мне очень холодно. Я весь дрожу. У меня даже зубы стучат.

— Попей вот молочка и драников горяченьких покушай, — усаживает меня бабушка за стол. Кружка дрожит у меня в руках. Зубы стучат о кружку. Кружка очень тяжелая. Я не могу ее больше удержать. Я и сидеть больше не могу.

— Господи, опять, — слышу я бабушку.

Меня поднимают и куда-то несут. Меня несут на снег, потому что мне становится еще холоднее. Ну да, на снег. На свежий снег, который только что выпал. Вон еще и следы Арно... Следы Арно? Так по этим следам ушел Арно? Ну, конечно. И если я пойду по этим следам, я догоню Арно. Только надо быстрее идти. Надо бежать. Вот так, быстрее, быстрее... Как хорошо видно следы! Вот я пробегу по этим следам, и там будет Арно. Почему я сразу не побежал? Я бы давно уже догнал Арно.

Когда бежишь, становится тепло. Когда мы ездили в район, мы тоже так грелись. Мне уже не холодно. Мне уже жарко. Я даже весь вспотел. Но надо бежать, надо догнать Арно. Только вот следов его уже не видно. Это потому, что снег весь растаял. Снег растаял, потому что светит солнце. Солнце светит сильно-сильно. И дорога уже совсем сухая. Я все бегу по этой дороге, ведь по ней ушел Арно. Как долго я уже бегу! Наверно, день. Нет, больше — ведь уже снег растаял и везде сухо.

Где это я? Куда это я прибежал?

Ой, да это же пристань! Это же пристань у нас дома на Волге, где всех нас погрузили на пароход, чтобы довезти до станции и потом на поезд пересадить. Нас погрузили, и когда пароход стал отходить от пристани, то все запели песню и стали плакать. И русские, которые на берегу стояли и на нас смотрели, стали плакать. Только солдаты с винтовками, которые сторожили нас, чтобы мы хорошо погрузились, не плакали. Потому что они настоящие солдаты и красные командиры и никогда не плачут. Они только опустили головы, чтобы лучше слышать песню.

Я и сейчас слышу эту песню! Она откуда-то сама себя поет... Нет, она себя не поет. Она просто осталась здесь еще с нашего отъезда. Конечно, ее ведь к берегу пели, она так у берега и осталась. А что же это я здесь стою? Почему я домой не бегу? Ведь отсюда наша деревня теперь совсем недалеко... Ну да, вот она уже, наша деревня. Вот и наша улица. И наш дом. Я его сразу узнал! Потому что он весь красный. Он точно такой, как Марийка его рисовала. Вон и колодец с воротом во дворе. А около колодца кадушка стоит. В эту кадушку папа утром наливал воду, и днем Арно в ней купался. Ну конечно, он и сейчас купается в ней. И Роберт, с которым он вместе в школу ходит, купается с ним. Они в одних трусах и совсем мокрые. Даже мешочек у Арно на спине весь мокрый. А они всё обливают друг друга водой и хохочут, хохочут. А вон на крыльце и Марийка сидит. В руках она держит большой кусок красного хлеба с маслом. Она ест хлеб и смотрит на нашу Мету. Мета трется об угол. Значит, Мета линяет, и мы с Арно скажем мячик...

А какие большие куски сахара у Марийки на хлебе! Значит, она правду тогда говорила. А я думал, что она сочиняет. А что же они сидят, как будто я дома? Ведь меня нету дома, а они и не беспокоятся. Может, меня собака укусила или колхозный бык задал. А может быть, они искали меня и не нашли? Я же далеко был, вон как долго бежал. Ладно, я сам зайду во двор. Нет, я лучше крикну, и пусть меня ищут.

— Ар-но! — кричу я.

Арно перестает смеяться. Он оглядывается вокруг. Но я спрятался за воротами, и он меня не видит.

— Ар-но! — кричу я еще раз.

Арно начинает меня искать. Но разве он найдет меня? Я ведь маленький, меня трудно найти. Я вбегаю во двор.

— Вот я! — кричу я громко и бегу к Арно. — Я тебя догнал! Я тебя догнал!

— Мама! — кричит Арно. — Фрицик вернулся!

Из дома выбегает мама. Значит, ей уже вылечили ножки_ и она сразу домой пошла?

— Мой маленький, — говорит мама, берет меня на руки, и целует, и плачет. — Где ты так долго был? Ну, пойдём скорее к папе, он тоже ждёт. Значит, и папа здесь? Значит, мама все же попала к папе и они вместе пришли домой? Как хорошо! Мы заходим в дом.

— Фриц, — говорит мама, — а ну-ка, посмотри сюда, кто к нам пришел!

— Ну-ну, и кто же это? — говорит папа. — О-о, неужели это Фрицик?! Ну конечно!

— Папа приседает и широко расставляет руки: — А ну, бегом!

Я бегу прямо к папе в руки. Папа подхватывает меня и поднимает высоко-высоко, к самому потолку. У меня даже между ног что-то замирает, так высоко.

— Ну, подуши меня, — говорит папа.

Я давно не душил папу. И я уже большой и сильный. Сейчас я его так подушу, что он сразу ойкнет. Я обнимаю папу за шею и тяну к себе изо всех сил. Папа даже глаза закрывает, так сильно я его душу. И он сразу говорит:

— Ой, Фрицик, отпусти меня. Ты такой сильный стал! Наверно, тебя уже скоро можно будет в школу с собой взять.

Я рад — я давно уже хотел сходить с папой в его школу. Папа опускается со мной на пол. Значит, мы будем сейчас с ним бороться. Я люблю с папой бороться. Когда я за обедом съедал все, что мама накладывала мне в тарелку, я всегда папу перебарывал. Только сегодня, наверно, папа меня переборет, потому что я давно уже не обедал. Но тут в дом входит Арно. Он говорит:

— Пап, можно, я Фрицика возьму в кадушке понырять?

— Ну ладно, идите, — говорит папа. — Мы после обеда поборемся.

Я люблю нырять с Арно в кадушке, и мы бежим с ним во двор. Во дворе у нас откуда-то много-много народу. Я никогда еще столько народу не видел. Ой, да ведь это всё знакомые! Справа во дворе одни дети. Они стоят и сидят большими группами, одна возле другой. И в каждой группе в середине сидит мой папа. А слева сидят и стоят взрослые. Их тоже много-много, и их я тоже всех-всех знаю. Вон и дедушка наш. Он сидит на коне, в одной руке он держит красный флаг, а в другой опущенную саблю. А с шеи у него свисает обрезанная веревка. Конец веревки распустился и достает до сабли.

Я оглядываюсь назад. Папа вынес на крыльцо стул с высокой спинкой. Он сидит на стуле прямо-прямо и смотрит на меня. А рядом с ним стоит мама, она положила ему руку на плечо и тоже смотрит на меня. Они смотрят на меня и улыбаются. Значит, это они пригласили всех-всех к нам в гости? Как здорово! А как жарко! Это потому, что печет солнце. Солнце печет сильно-сильно, даже голова болит. И трудно дышать. Я дышу всем ртом, но все равно никак не надышиваюсь. Только во рту все пересохло, и язык такой... как сырые картофельные очистки.

— Пить, — хриплю я.

Бабушка дедушки Семеныча подает мне ковшик с водой. Она кладет мне руку на лоб и говорит:

— Господи, прямо горит весь!

Потом она опять расплывается и пропадает куда-то.

Солнце все так же печет. Только ногам стало прохладнее. Наверно, это потому, что вода, которую я выпил, в ноги ушла. Нет, это потому, что земля во дворе прохладная. Она прохладная, потому что влажная. Наверно, Арно с Робертом побрызгали двор водой. Не-ет, это не потому, что побрызгали. Это потому, что наш двор вдвинулся в Волгу.

Кто-то двигает наш двор в Волгу, и он все дальше входит в нее. Ведь наш двор как большой-большой поднос. Только дно у него земляное, а по краю стенки из изгороди.

Вот наш двор уже весь на воде. Как хорошо! Наш двор плывет по воде, как пароход! Здесь, на Волге, солнце светит еще ярче. Даже смотреть больно, и все небо в кругах, разноцветных и черных. А из этих кругов падают снежинки. Снежинки падают прямо в воду. А в воде из них получаются серебристые рыбки.

Не-ет, это же не рыбки. Это же верблюдки! Это же маленькие серебристые верблюдки! Упадет снежинка, и из воды выбулькивает верблюдик. Он вытянет длинную шею, стряхнет с себя воду и пойдет потом рядом со двором по воде. Снежинки падают густо-густо, и по всей воде идет медленно, подняв головы вверх, маленькие верблюдки. Как красиво!

А это что там за изгородью? Это катится телега. Телега катится по воде? Ну да, прямо по воде. Вода ведь ровная, гладкая, и телега катится по ней легко. Телега катится вдоль изгороди. Она катится к нашим воротам.

А кто это запряжен в телегу? Ой, да это же тетя Ида! Она упирается в воду своими старыми валенками и тащит телегу за оглобли. Из дырок в валенках торчат разноцветные тряпки. Тетя Ида тащит телегу и медленно вскидывает назад и в стороны ноги в валенках с тряпками. А кто это у нее сзади на телеге? Ой, это ведь тоже тетя Ида! Как интересно: тетя Ида везет саму себя.

Та тетя Ида, которая сидит на телеге, смотрит на меня. Она смотрит на меня, хитро улыбается и манит меня пальцем. Зачем она зовет меня к себе? Она хочет поменяться со мной валенками? Но у меня ведь нету валенок, я же босиком.

А может, она хочет, чтобы я покинул наш двор? Она что, думает, что я смогу быть без нашего двора? Без нашего двора, где живет моя мама, и мой папа, и Арно, и Марийка, и все-все, кого я люблю? Как же я могу их всех покинуть? И ведь я уже большой и должен теперь помогать содержать двор в порядке... О чем себе думает тетя Ида?

Но, может, она тоже хочет заехать к нам во двор и зовет меня, чтобы я открыл ей ворота? Но ворота ведь нельзя открывать, ведь тогда в них польется вода, и наш двор уйдет под воду, и нас больше никого не будет. Разве она этого не знает? Зачем же она зовет меня?

— Зачем ты зовешь меня? — спрашиваю я, но она молчит.

И тут я замечаю, что наш двор уже далеко-далеко отошел от берега в Волгу... Не-ет, это, наверно, уже не Волга. Конечно, это не Волга! Это другая вода. Потому что нигде не видно берега. Кругом одна вода. Где же мы плывем? И куда мы плывем? А как же я теперь назад побегу? Я ведь хочу побежать назад, к дедушке Семенычу и его бабушке. Я хочу побежать за ними, чтобы привести их сюда, чтобы они тоже были здесь, с нами. Я хочу, чтобы они были с нами, потому что я их люблю. И тетю Дашу я люблю — она добрая, она всем черные платки разносит, пусть она тоже будет с нами. И председатель, который картошки нам дал, пусть будет с нами. Я их всех приведу. И мы будем жить все вместе, на одном дворе. И всем будет хорошо. Только как я

теперь побегу за ними? Когда наш двор опять пристанет к берегу и станет на свое место?.. Телега, которую тащит тетя Ида, уже у ворот. Тетя Ида, которая сидит на телеге, снова манит меня пальцем. Она уже не улыбается. Она смотрит на меня страшно-страшно.

— Нет! Я не открою ворота!

Тогда другая тетя Ида, которая тащит телегу, согнутым пальцем строго стучит в ворота. Тук. Тук. Тук. Я качаю головой: нет! Она снова стучит. Тук. Тук. Тук. Теперь уже обе тети Иды смотрят на меня страшно-страшно.

— Не-ет! — хочу я крикнуть. — Не-ет!

Но я не могу крикнуть. Я и пошевелиться не могу. Потому что мне так страшно, что вся кожа у меня сделалась колючими мурашками и волосы на голове шевелятся.

— Не-ет! — кричу я без голоса, но тут обе тети Иды враз бьют ногами в наши ворота, задвижка с них слетает, и они широко распахиваются. Я вижу, как телега катится дальше и как обе тети Иды смотрят на меня и злорадно улыбаются. А в ворота несется вода. Она сбивает меня с ног, несет меня по двору, заворачивает и тащит обратно к колодезю. Вместе с ведром, размотав цепь, она падает подо мной в колодезь, а я успеваю обхватить ворот руками и держусь за него крепко-крепко.

Отсюда, сверху, мне видно всех, кто был у нас во дворе. Вода доходит им уже до пояса, но они молчат и даже не пошевеливаются. Почему же они молчат? Ведь надо кричать, ведь вода бежит в наш двор! Почему же они все стоят, ничего не делают и молчат?!

— Почему вы молчите? — кричу я, держась из последних сил над колодезцем. — Почему вы ничего не делаете? Ведь наш двор тонет! Но меня, наверно, никто не слышит, ведь я кричу без голоса, потому что голоса у меня почему-то совсем нет. Я смотрю туда, где с моим папой были дети. Там уже всех залило. Только папину голову в нескольких местах еще видно над водой. Папа смотрит куда-то далеко и тоже молчит.

Ой, что это? Да ведь у него на лбу шрам! Точно такой, как был у Фридриха Карловича! Откуда это у него? Я смотрю в другую сторону. Да ведь такой шрам, оказывается, у всех, кто был у нас во дворе! Даже у детей видно маленькие шрамики. И у меня такой шрамик, я его тоже вижу. Так вот почему мы все ничего не можем сделать и даже крикнуть не можем! Только у моего дедушки нет шрама.

А вода все поднимается, поднимается. Она скрывает плечи, плечет по лицам, которые даже не дрогнули. Вот и глаза уже смотрят из-под воды, все так же куда-то далеко. Вот и шрамы скрываются под водой. Шрамов больше нет. Никаких шрамов больше нет. Потому что никого больше нет.

Теперь над водой остался один мой дедушка. Это потому, что он сидит на коне. Он все так же держит одной рукой флаг, другой саблю.

Бревнышко, за которое я держусь, снялось из петель, и я плаваю вместе с ним на воде. Но меня никуда не унесит: наверно, цепь зацепилась за сруб и не отпускает меня от нашего двора. Двор опускается все ниже. Скоро скроет и дедушку, и тогда я останусь совсем один на этой воде. Что мне тогда делать?.. Нет, я не хочу быть один. Я хочу быть со всеми, кто был у нас во дворе. Да, я хочу быть со всеми.

Со всеми? Значит, мне тоже надо уйти под воду? Ну да, мне тоже надо уйти под воду. Мне просто надо отпустить бревнышко. Я ведь не умею плавать на этой воде — и сразу уйду под воду.

И буду вместе со всеми. Только можно ли мне это сделать? Ведь я остался один от всех, и если я тоже уйду под воду, то не будет уже никого. Даже помнить некому будет о том, что мы были и что у нас был свой двор.

Но зачем еще помнить об этом? И почему один я должен и быть, и помнить? Я не могу больше. Я уже хотел все забыть, но не могу. Я ничего не могу забыть. Но и помнить все это и быть я тоже не могу.

Что же мне делать? Я уже так от всего устал. Я столько лет бежал к дому, который теперь под водой! Столько лет меня носит по другой воде! И столько лет я из последних сил держусь над колодцем! Я больше не могу. Я тоже хочу под воду. Чтобы все забыть. И чтобы больше не быть. Я смотрю на дедушку: дедушка, ну можно, я тоже уйду под воду, ко всем? Зачем еще ждать? И чего ждать? Ну скажи мне, что можно. Дедушка, скажи! Ну пожалуйста! Я смотрю на дедушку. Я смотрю на дедушку и вижу, что веревка у него на шее начинает двигаться. Наверно, дедушка хочет мне что-то сказать! Наверно, он хочет разрешить! Ну же, дедушка! Но дедушка молчит. Это, оказывается, вода двигает веревку. Вода поднимается все выше и начинает медленно скрывать моего дедушку.

В последний раз я смотрю вокруг. Над водой, над темной водой, ничего больше нет. Один только темный флаг. Под ним чуть вздрагивает веревка.

В Указе от 28 авг. 1941г... в отношении больших групп немцев — советских граждан были выдвинуты обвинения в активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Жизнь показала, что эти огульные обвинения были необоснованными...

(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года)

Александр РУДТ

Поволжский немец. Место рождения ссылка — Каспийск. «Немецким вопросом» интересовался с детства. Знакомился со знающими людьми, изучал разные аспекты трагедии моего народа. В 1983 г. окончил Литинститут им. А. Горького, но продолжал работать слесарем 6 разряда. В 33 года написал поэму «Плотина». Прежде, чем она вышла в свет, долго пролежала в столе. Публиковался только в России, где вышло 18 поэтических сборников.



ПЛОТИНА

(поэма)

Вступление

Привет, поэма. Столько лет
Ты уклонялась, обходила,
То посылала слабый свет,
То чернотой своей давила.

И я был к встрече не готов:
Максимализм мешал и шоры.
Но чушь прогнали шаг годов
И просветляющие горы.

Ты на пороге. Все сошлось:
Желанье, матерьял, уменье...
И входит первый звук как гвоздь,
Меняя ритм сердцебиенья.

Твой контур четче проступил.
Ну, обретай скорей реальность!
Я ничего не утаил —
Ни мига, ни судьбы тональность.

В печать тебя вовек не сдать.
Но будешь греть меня на Стиксе.
Я должен это написать! —
Чтобы потом вздохнулось: «Дикси!»¹

Ты — индульгенция моя,
За соплеменников молчанье...
Ты — хрип предсмертный соловья
И с эхом истины венчанье...

¹ Дикси (лат.) — сказал.

1

Истома пляжа. Отпуск. Счастье.
В пакете — вишня да журнал.
Но — волжской знойности подвластен —
Журнала я не раскрывал,
Ни день назад, ни в полдень этот.

*

Лишь сына взглядом не терял,
Пока он в Волге перегретой
В заливе малышни нырял.
На берегу другом — Саратов.
Ах, Фамусов, на эту пядь
Ты Софью, осерчав, когда-то,
Грозил — как в глухомань — заслать.
Пичуги рядом голосили...
Жена вздохнула: «Благодать».
И я сказал: — Вот пуп России...
Тут ни прибавить, ни отнять.
И вдруг соседка — ведь дремала! —
Сказала: «Так все и не так.
Ах молодые... Знают мало,
Все зубоскальство да пустяк...
Здесь немцы жили! Центр России!
У них республика была ..
В войну — согнали, не спросили —
Да и в Сибирь! И все дела!
А вы об этом не слыхали!
— Откуда нам, уральцам, знать?
...Под солнцем воды полыхали...

...И как сумел я промолчать?
А прямо в ране ковыряли.
Да не ланцетом, а кайлом.
Мил город Энгельс. Но едва ли
О чем-то помнит старый дом.
На взгорке он — резной, просторный,
В окно кричит магнитофон.
И, подпевая песне вздорной,
Малыш стучит в пустой бидон.
— Пацан — дай яблоко из сада.
— Они зеленые еще.
— А мне как раз такое надо.
Жую. Согрет и посвящен.
Как мякоть эта терпковата.
Как странно окна вслед глядят.
Здесь жили мать с отцом когда-то.
До репрессанса.
Жизнь назад.

2

Это 28-ое. Над Волгой стоят облака.
Некурящий отец у соседа стрельнул папиросу.
И лежат их две тени на бочке, на куче песка.
И едва шевелит своей кроною ясень белесый.
Это 28-ое. С утра объявили Указ:
«Немцев выслать. Они все — предатели.
В спину ударят...
Только смену белья...
И к вокзалу в указанный час».
Это август палящий. И сумерки свежесть не дарят
— Что твои — собрались?
— Подпоясаться — много ли дел?
У меня-то вон трое... А младший двухмесячный вовсе.
Потому военком в добровольцы нас брать не хотел,
Что Указ сочиняли.
Теперь — хоть к расстрелу готовься.
— С нами ясно: на зоны... А Вилька с Карлушкой? Они?
— Из-под Бреста, где служат, сам помнишь —
— Нам слали приветы...
(Да о чем ты, отец? И архив это не сохранит!
И Смирнов никакой никогда не напишет про это!)
Ты попробуй пока хоть разок папиросой пыхнуть ..
Мать уложит детишек, помолится — утром в дорогу.
Но и сад свой прощально не дали до сердца вдохнуть:
Глянь-ка — Мойша-портной припадает на левую ногу.
— Слышал, гонят вас завтра ..
— Ну. Гонят... А ты-то причем?
— Да хочу застолбить твой диванчик и библиотеку...
— Вон! Уедем — бери с потрохами хоть мебель, хоть дом.
— А пока — пропади! Не сдержусь, измочалю, калека...
...Бросил житель Кремля свою трубку на карту страны.
Разломал папиросу. Взял трубку опять, а под нею —
— нет на карте республики! Даже следы не видны! —
Воплотили уже дорогого владыки идею...

3

Балезино... Здесь дремлют паровозы...
Начищены и смазаны стоят.
Я выбегал здесь летом и в морозы
К киоску за углом — шесть лет подряд.
Потом в вагоне с другом пиво пили,
Лениво вспоминали институт.
Здесь длинная стоянка... Изучили
Железо, что хранят — на случай — тут.
И я читал Володьке Смелякова
Про голоса, что свинчены давно.

А эти паровозы, право слово —
Так хороши — переплавлять грешно!
И где-то в стаде — знаю, понимаю, —
Тот, что тащил телятники тогда.
И в памяти его — не в центре, с краю —
Молчащих, оклеветанных беда.
Возил потом зенитки на платформах,
«Катюши», танки, миллионы мин.
Укладывался в графики и нормы,
Пыхтел среди увалов и долин.
И мальчиков остриженных, безусых
В шинелях серых все возил, возил.
Нанизывались день за днем как бусы
Истер реборды паровоз, простыл.
Покашливал, сопел, когда к Берлину
Боеприпасы вез последний раз.
Как весело он покидал чужбину.
Надеясь отдохнуть хотя бы час.
В депо переобули, освежили
Проверили котел и шатуны —
И вновь на рельсы гулкие пустили
В просторы возрождавшейся страны.
И вот ленивей, реже стал он бегать...
Потом ему сказал электровоз:
«Пора тебе на пенсию, коллега...
Резерв. Среди братьев... Под волшебу берез.
Но хоть однажды сна осколок будет:
Разъезд. Тьма эшелонов. Плач детей.
Солдатами оцепленные люди
Идут, идут, идут — плотней, тесней.
И ясно: это не село, не племя,
А целый — боже праведный! — народ —
Как повелели вождь крутой и время —
На каторгу бессрочную идет.
Изгои... Патриоты. Коммунисты.
Умелый люд — не лодыри, не слизь..
Кровиночки России. Не фашисты.
Но немцами — к несчастью — родились.
В тайге, заводах, шахтах растворятся
И большей частью сгинут, чтоб страна
Могла с врагами под Москвою драться,
И в сам рейхстаг отпрянула война.
Ты, паровоз, их не свезешь на Волгу.
Туда и возвращаться запретят.
Проблему эту бросят в ящик долгий
И вряд ли на моем веку решат.
Балезино.. Пройдусь-ка по перрону.
До отправленья целых пять минут...
Как шелестят уютно эти кроны!
Благослови, всевышний, мой маршрут...

4

\Ну — мороз! Индевеют веки.
Речь майора... Да стук в висках.
— Вы — трудармия. Вы не зэки.
«Зыки, зэки», — рефрен в рядах
— Ваше дело — завод построить
И плотину быстрее поднять.
«Из пяти там загнутся трое,
А кой-где из пяти все пять».
— Разговоры! — над головами
Режет очередь синеву.
— В снег лицом! Разберусь я с вами!
Отогрели хайлом траву?
...Поскорей бы в барак холодный
Провалиться на полчаса.
Лишь во сне ты еще свободный.
Как недобры вокруг леса.
— По пятеркам, в отряды! Шагом!
Даже воздух примерз к губам.
Богословская сыпь ГУЛАГа
По закатным бредет снегам.

«От Москвы отогнали фрицев».
«Гот сай данк¹.* Наконец. Пора».

Сквозь полвека гляжу в их лица.
О поволжская немчура!
Все добротнo привыкли делать..
Ну, стахановцы, навались!
Вой, не вой — но на свете белом
Только эта досталась жизнь.
В телогрейках, в бушлатах старых
Вы идете за рядом ряд...
Бог и черт неразлучной парой
У ворот на часах стоят.

5

Плотина, — вот она, родимая.
Водохранилище и сброс.
Ах, время, быстрорастворимое!
Что помнит каменный откос?
Что людям в лодках многочисленных
До тех годов сороковых?
До экскурсов словесных, мысленных
Туда, где не бывало их?

¹ (нем) слава богу.

Но холм с гадирнями огромными?
Но эти камни? — где на них
Щербинками, штрихами скромными
Следы времен, людей былых?
...При производстве алюминия
Нужна вода, вода, вода..
И все дробили скалы в инее,
И камни все — сюда, сюда.
Война не ждет. Работа адская.
Плотина строится, растет.
А в стороне — могилы братские
Вбирают тающий народ
Цеха в пространстве все отчетливей
Глядишь, из труб повалит дым.
Ах, чуть добрее б, чуть заботливей,
Страна, к работникам своим!
Вольнонаемные с опаскою
Должны, как будто бы, смотреть.
Но все не так... Пускай не с ласкою —
Смогли понять. Как не суметь? —
Когда отцы иль сами ссыльные —
Так людом полнился Урал.
Здесь ярлыки — слова бессильные
И в деле всяк себя казал.
Отец, что те года надрывные
Ты так не любишь вспоминать?
Да что слова мои наивные!
Какое солнце — благодать!
И шашлыки, и тень уютная
От старых сосен, тополей...
И крошится тоска минутная
В душе улыбчивой моей.

6

Андропово — Антипино... Дорога
Засыпана местами... Что ж — февраль.
И солнце медлит над грядой пологой...
Слышь, мама, запахни плотнее шаль.
Ты — транспорт. Как и две твои подружки.
И в трое санок вы запряжены
Краснеете, порою, от натуги
И матюгом своим не смущены.
По три мешка с зерном опять везете
На мельницу. Потом с мукой назад.
А дома — в лесопункте — упадете
И — в потолок барака сонный взгляд.
И мужика умают версты эти.
На круг — их 20. Как же, мама, ты?

А у печи не кормленные дети.
Раздай-ка им капустные листы.
Ты их несла за пазухой и грела,
Пока врезались в плечи постромки.
И проверяла: «Здесь ли?» — то и дело.
Дремли, родные слыша голоски.

Так дважды в месяц. (А лошадку жалко:
«На вывоз леса, — бригадир сказал, —
А женщины все сдюжат», — и на палку
Зло навалясь, вослед им помахал).
А завтра лес пилить, о доме думать
И греться чаем с доброго костра.
А ты еще смешлива, не угрюма...
И самой бабьей зрелости пора.
— Дождемся лета — бабы. Легше будет.
И не заплачу — не дождетесь. Шиш.

Осилишь! Лихолетье не остудит...
Ты через 10 лет меня родишь!
Ты маленькая, сухонькая, мама...
Ты вся в коротком емком слове «жить».
Через февраль шагаешь ты упрямо...
Как мне тебя от холода прикрыть?
Андропово? Антипино?.. Вдыхаешь... —
Неужто было? В давние века.
Но ты во сне их часто повторяешь...
И я их не забуду, жив пока.

7

Тем, кто погиб на фронте — честь и слава.
А тем, кто под ярмом НКВД?
Когда на «искупление» нет права,
Когда просвета нет в твоей беде?
Но методом затратным — побеждали...
Кого жалели в яростном пылу?
И армии свои в прорыв бросали:
На фронте — Жуков, Берия — в тылу.
Все для победы, каждый вздох — в победу.
А как иначе дело повернешь?
Все личные отбрось обиды, беды —
Спасай страну. И тем себя спасешь.
И у стены Кремля чуть виновато
Зажжет сыновья, вдовья ли рука
Огонь в честь неизвестного солдата
А что в честь неизвестного ээка?

Да что это? О чем я? — Бог со мною! —
Об этом ты не думаешь, отец —

Толкаешь камни, долбишь грунт киркою,
Вгоняешь бут в болотный холодец,
Жуешь паек в барачном полумраке...
Тридцатилетний — ты седой совсем,
Хоть для тебя нет лобовой атаки
И нет приказа двести двадцать семь!
И гул в висках, иль голос чей-то будит?
Или всевышний шепчет в темноту:
«Вгрызайтесь, люди, созидайте, люди...
Зачтет Россия, нет ли — я зачту»...

8

— Поднимите доходягу... Дышит?
Пусть в больнице полежит чуток.
Мне? Не нужен... Да вон в справке пишут:
Слишком образован он, милоч...
Эшелоны пленных на подходе.
Вот готовлю группу толмачей.
Все интеллигенты... Чтобы вроде
Выглядеть солидной и умней.
Едут хоть фашисты, но — Европа.
Да офицерьа полным-полно...
Фукать будут, иль глазами хлопать —
Коменданту — мне — не все равно.
Да, фашисты, лейтенант, фашисты...
Только ты энергию уйми.
Завтра растолкуют все юристы...
Это — сплошь политика, пойми...
Этих семерых одень получше,
Подкорми — а то ведь срам смотреть.
Пусть присмотрит врач на всякий случай,
Чтоб никто не вздумал умереть.
Действуй, лейтенант... В конце недели
Первый эшелон сюда придет...
До Урала, слышь, дойти хотели... —
Добрались! Работы прорва ждет...

9

Я убегал от этой тьмы.
Не потому, что трус такой.
А просто суть тугой проблемы
Не разрубить одной строкой.
И знаю: нет семьи в России,
Чтоб вал репрессий да задел.
В каких домах не голосили?
В родне хоть кто-то не сидел?
И все же — целые народы!
Не немцам лишь одним клеймо! —

При всех плакатах про свободу —
И всю страну лицом в дерьмо.
Татары Крыма и калмыки,
Чеченцы, греки, ингуши —
Всем этот переезд великий.
Как раб трудись — и не грехи!
Неужто кто-то вправду верил,
Что мой народ предать готов?
Но Кремль-то сам, по крайней мере,
Знал цену всех облыжных слов!

Дивизию — для пробы... Роту
Из немцев не могли создать?
В многострадальную пехоту
Под Ржев, под Сталинград послать?
Ведь сколотили из поляков,
Из чехов корпуса тогда!
А немцы — злее б шли в атаку:
Двойная бы гнала беда.
И смертный вал заградотрядов
В тыл ставить было б ни к чему...
Не горечь здесь и не досада —
Я дури власти не пойму...
Ведь здесь для нас родные стены,
И кто-то в маминой родне —
Я это знаю, несомненно, —
Участвовал в Бородине.

Ваш фронт — плотина. Ваше дело —
Поднять завод. Без всяких «но».
Вон трубы прорастают смело.
И вы — страны, войны звено.
Поклон, родные, за работу...
Вам в память всем зажгу свечу...
Всмотрюсь в былое, прошепчу:
Ну — полк, ну — батальон, ну — роту...

10

— Что так рвался пленный на прием?
Протолмачь. Не жалоба? Не склока?
— Герр начальник, шлак сплошной кругом.
Горько видеть это мне из окон.
Я строитель — инженер. Могу
Помочь наладить производство
Кирпича из шлака.
— Нам? Врагу?
— Это не иудство, и не скотство.
Просто я, во-первых, — инженер.
А солдат, наверное, в-десятых.

Идеологических химер
Не люблю. Они — нанос, заплаты.
Надо строить — буду и с душой.
Это не окопы и не ДОТЫ.
Что же спорить с выпавшей судьбой?
Одичало сердце без работы.
— Коммунист?
— Да нет, я — пацифист.
Впрочем, все неважно, кроме дела.
— Слышь, толмач, какой пошел фашист —
Нам помочь желает. Знать, заело.
Ну, черти, коль дело так пошло,
Строй. А то порушили вы много.
Видно, утомило парня зло...
Это знак, толмач... И слава богу.
Месяцы — и кончится война.
Вон уже и в Польшу мы вступили...
Как завод глядится из окна.
Глянь, уже и трубы задымили.

11

По Сибири — июльской, пахучей
Ты спешишь, моя мама, опять.
Этот день самый светлый и лучший:
Едет муж. Надо встретить, обнять.
Слава богу, детишки здоровы —
Одолели и голод и хворь.
И наладится в жизни все скоро.
Поезд, поезд, движенье ускорь.
И слышна уже жизнь полустанка.
А до поезда — час. Отдохни.
Как тепла в белой тряпке буханка!
Как уютно в сосновой тени!
— Добрый день, — окликают негромко.
Украинка. Красива. Юна.
За плечами пустая котомка.
— И куда, ты, девчонка, одна?
— Да в деревню. Я на поселеньи...
кто — бандеровец там, кто — бандит...
Вот сходила с отцу с разрешенья...
Он в лагпункте за лесом сидит.
Очень сдал. Десять лет не осилит.
Все поел, что ему принесла...
(Западенцы. Жрать в банду носили.
Власть радяньска сюда упекла.)
Что ты, девочка, слезы глотаешь?
Что ты маме уткнулась в плечо?
Что ты, мама, буханку ломаешь?
У обеих — что слезы ручьем?

Не могу. Отвернусь в светлой шири.
Не постичь, не вобрать до конца
Это счастье и горе в Сибири.
Два заплаканных женских лица.

12

Уже война окончена. Уже
Завод дает желанный алюминий.
Вы в комнате в подвальном этаже,
Где с подоконника не сходит иней.
Уже колючка с лагеря снята.
Живи и стройся. Но — не уезжая.

Внезапно проступила красота
Таежного увалистого края.
Но вот в комендатуру — каждый день —
Горчинка и привязка, и помеха.
А на полях — от края леса тень.
Тысячекратно и бездонно эхо.
Турья — не Волга. Но просторен пруд.
А земляника, господи, какая!
И здесь есть счастье. Хоть совсем не тут
Бог уронил с небес кусочек рая.
Сестренки мои старшие и брат, —
Вы Волгу и не помните, конечно.
Пусть вас взрастят, полюбят, оградят
Уральский дух и отблеск вод неспешных.
Ты, как шагрень, умелый мой народ...
И я с тобою растворюсь, исчезну.
Но я вдохнул Уральский небосвод,
И слышал шаг истории железный.

13

Я не рожденным был уже наказан.
А с первым криком был учтен как враг.
Еще владел страной сын Кавказа.
Что я ему? — пустее, чем пустяк!
Три месяца я жил в его эпоху.
Империя, всосалась ты в меня?
Ненужная, подтравленная кроха
Вступила в мир, обиды не храня.
Вдали река дробилась и мерцала,
Из-под обрыва так несло травой,
Что маленькое сердце замирало...
А лес томил дрожащей синевой.
Бык-тугодум, петух с отливом синим,
Сестра в окне — реперы первых лет.

Кругами расширялся мир — Россия...
Уж я-то был Уралом обогрет. —
И по тайге немало пошатался,
И все в округе горы обошел.
И по весенним рекам посплавлялся.
Здесь дома я. Лишь здесь мне хорошо ..
Но я, прости мне, мама, — так случилось,

Я думаю на русском языке.
Все русское всосалось, отразилось.
И Пушкин — мой до пульса на виске.
Да, понимаю, мама, я — граница.
Ассимилянт. Не плачу ни о чем.
И Мономах мне, а не Лютер снится,
И русским околдован я стихом.
Хоть на немецком книги я читаю
И восхищаюсь чем-то, — видит бог! —
Но в церкви православной замираю.
Я русский немец, — вот какой итог.
Зато в Москве в музеях очень часто
К экскурсиям немецким в строй встаю.
(А гид, и не заметивши балласта,
читает внятно лекцию свою.)
Полезное с приятным. Как-то было —
Двум немцам путь помог найти в метро,
И пара кофе и вином поила,
Желая расплатиться за добро.
И смех, и грех... А в общем-то — банально.
Два мира в сердце — вот такой удел.
И все ж не равно, не диаметрально
Проходит меж миров водораздел.
И русского все больше непрестанно,
Хотя немецким в сердце дорожу.
Когда ж пред ликом господя предстану,
Не «Фатер унс», а «Отче наш» — скажу...
Пусть не найду на многое ответа,
Не покривлю душой нигде ни в чем.
И с горьким званием русского поэта
В земле Уральской растворюсь потом...

14

— Отец, нальем за мой диплом.
— За это можно. По стакану.
Да, подзабыл ты отчий дом,
И где летаешь постоянно?
Понятно: молодость, дела...
Звонил тут мне приятель Яша.
Что встреча у тебя была
С последним из семерки нашей.

— Была. И документ держал
О той поездке в Кремль актива...
— А я давно уже устал...
Все меньше тех, кто прошлым живы.
Хоть сняли обвиненье с нас,
А что республики не будет —
Вам все равно уже сейчас...
Что делать — вы другие люди...
На Волге ты бы жить хотел?
— Я там в гостях порой бываю.
— На дом наш старый посмотрел?
Молчишь?
— Ты видишь: я киваю...
— Пойдем-ка, выйдем на балкон...
Здесь что-то душно... Ну, не надо —
В слезливости не уличен.
А голос вот дрожит — досада...
Да это старость все. Прости.
Уходишь? Ну, удачи. С богом...
И воздух вроде бы в горсти.
И сказано для сердца много.
Как ласков этот дождь слепой!
Вперед, судьба. Все принимаю.
Да будет солнце надо мною
Везде, куда ни зашагаю!

15

А кто мой сын, коль я женат на русской?
А впрочем, и карельская в нём кровь.
И капли три татарской есть в нагрузку
(Готовь свои коктейли, жизнь, готовь!)
Где рафинад одной славянской крови?
Во всей России нету уголка,
Где племя бы не прививалось новью,
Не плавилось за многие века...
На полоньянках русичи женились,
Ордынцев кровь гуляла по Руси...
Цари — те с иноземками роднились...
Все с примесью, кого не расспроси.
И в Пушкине из Африки присадка,
И Лермонтов — шотландец по дедам,
У Фета с родословною негладко...
А Блок? Жуковский? А Ульянов сам?
И все — Россия. Дух ее и тело,
Гремучая живительная смесь.
И готский проблеск мой сгодится в дело,
И промысел здесь божий — знаю — есть.
Металл прочней от всяческих присадок.
Диффузию судеб не отменить.

И все же невозможно без оглядок
И, отменив приметы жизни, — жить.
А чувствовать себя в самом изломе?
Так выпало. Не сгорблюсь. Пронесу.
Решения все проще, невесомей,
И дышится, как дереву, в лесу.
И не готова драхма для Харона.
Дай, господи, сказать, что жжет, томит.
И результат моих ночей бессонных
Кому-то хоть на миг расцветит быт.
А сын девятилетний мяч гоняет.
Кричит друзьям: «Я правый край держу!».
И, чувствуя, как в спину жизнь толкает —
Христа ровесник — на игру гляжу.

16

Все, что заперто плотиной,
Взрыв таит — вода, душа.
Грянет дикая лавина,
Не жалея, а круша.
Водосброс такой невинный,
Он покорный и ручной.
Повнимательней — с плотиной.
Осмотрительней — с душой.
В дело воду — на турбины.
Будет свет для вас, друзья.
Дай опору мне, плотина
Многотрудная моя.
Глупость сдерживай, плотина,
Торопливость пресекай.
Страсти сжатую пружину
Незаметно ослабляй.

Есть для твердости причина...
Уголь превращай в алмаз.
Жизнь моя и тыл — плотина,
Мантра ты и третий глаз.
От себя куда мне деться?
Разгляжу с твоих камней
И, как брезжит песня в сердце,
И, как станет мир умней.

17

— Великий Авгий, как же быть с навозом?
— Ты прислан для того, Геракл — решай...
Твоя проблема... Выдернешь занозу —
Зачтем как подвиг. Платим — и гуляй.
А что герою? — сила есть, смекалка.
Алфей с Пенеем рядом — две реки.

Прикинул, к рекам подошел вразвалку
И на холмы взглянул из-под руки.
И скрыл холмы, и поднял две плотины,
И воду всю пустил на скотный двор —
И прорва дурнопахнущей лавины
Умчалась с гулом на морской простор.
— Как с платой, Авгий?
— Топай к Эврисфею,
Ты — раб и обойдешься без наград...
— Ах, Авгий, Авгий... Спорить я не смею,
Но помни, что аукнется стократ.
— Ты мне, царю, пеняешь? — Завс с тобою! —
И вышел Авгий, женских ласк хотя...
И рухнул он с Геракловой стрелой
В хрипящей глотке восемь лет спустя.
И всей Элиды¹ стало разоренье —
Высокомерье царское виной...
Паденья угол, угол отраженья...
Как грустно все в истории земной!..
Уже давно межзвездным ветром веет...
Но почему, господь — смешно до слез! —
Все Авгии кругом, все Эврисфеи,
Все подвиги,
Все горечь, все навоз...

18

Ну вот и выдохнулось, боже...
Но все равно еще томит.
И ничего я не итожу...
Финал рецептов не таит.
Родные, мне взглянуть не стыдно
В глаза всех немцев на Земле.
Открыт — не прячусь я во мгле...
И — не мальчишка — не обидно...
Я это одолеть сумел,
Хоть череп иногда скрипел —
Такие мысли посещали!..
Да все расскажетсся едва ли...
Храни меня, сосновый край!
Прощай, моя большая тема,
Моя подвздошная поэма...
Ступай.
Живи.
Не окликай.

Июль 1985 (сокращена и извлечена из стола в январе 2002 г.)

¹ Элида — историческая область на северо-западе Пелопоннеса в Греции, где был царем некогда легендарный Авгий.

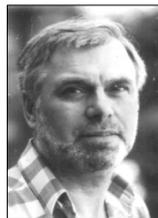
Послесловие

Отец. Отец... Теперь и крест воздвигли
На мысе у плотины. Улыбнись.
И боль, и горечь, переплавясь в тигле,
Словами «нихтс» и «ниманд» отлились.
Ты в это верил. Ждал. И не дождался.
В России справедливость не спешит.
А над тобою крепкий клен поднялся,
И тень дает, и кроною шуршит.
Вставай, отец. Ступай с толпой незримой
Взглянуть на крест. Я молча постою
Средь ваших душ. И крылья Серафима
Заденут ветром седину мою.
Вам легче? Слава богу. Не посмею
Собрание ваше словом нарушать.
Коснусь креста. Но не похолодею —
Моей эпохе вашей не понять.
Иконы ваши сломаны. Знамена
Уже цвета иные обрели.
И только неизменен шелест клена,
И блеск воды, и контур гор вдали.
Я перед вами чист, как перед богом...
И все-таки, за то прошу простить,
Что эмигрантов стало слишком много...
А впрочем, я не вправе их судить.
Отец, я провожу... Потом неспешно
Пойду плотиной, созданной тобой,
Сквозь век жестокий в мире многогрешном,
Дыханье солнца чувствуя щекой...

6 июня 95

Вячеслав СУКАЧЕВ (ШПРИНГЕР)

Родился в 1945 г. в с. Белое Мамлютского р-на в Казахстане. Служил на Дальнем Востоке. Стихи писал со школьных лет. Всего издано более 25 книг. Издавался в Польше, Германии, Чехословакии, Болгарии, Латинской Америке, снято более десяти короткометражных фильмов. В 2000 — 2011 гг. — главный редактор журнала «Дальний Восток». С 1976 г. — член Союза писателей СССР (России). Заслуженный работник культуры России. Член жюри Национальной литпремии «Большая книга». Живёт в Подмосковье.



ПАПАНЯ

Сырым осенним вечером, когда не поймешь, снег или дождь сыплется из невидимых туч, Анатолий Васильевич Куликов, прикрывшись большим черным зонтом, торопливо шагал по улице Тверской. Прохожих было мало, и он шел по центру тротуара, разбрызгивая лужи импортными, чешскими, сапожками. Уличные фонари размытыми желтыми пятнами наплывали на него, вспыхивали молочным светом и пропадали за плечом. Часто и весело перемигивались красные и оранжевые подфарники дорогих иномарок, и все это вместе взятое вселяло в душу Анатолия Васильевича слабое волнение, Впрочем, настолько слабое, что он едва его замечал.

Миновав театр имени Ермоловой, Анатолий Васильевич свернул направо, нырнул в темный проходной дворик и, очутившись перед грязно-серым трехэтажным особняком, вошел в слабо освещенный подъезд. Видимо, особняк этот строился еще до революции, и строил его человек состоятельный, не поскупившийся на крученые лестницы из голубого мрамора, замысловатые лепные украшения и прочие архитектурные штуки, которые позже революционные умники поименовали «архитектурными излишествами». Анатолий Васильевич бойко ступил на голубую лестницу, на ходу сложив и отряхнув зонт, и так же бойко, не переводя дух, поднялся на третий этаж. Если два первых были с просторными лестничными площадками и высокими потолками, густо покрытыми лепными цветочками, то третий этаж некогда явно предназначался для прислуги: низкие потолки, узкие двери и так часто пробитые на обе стороны коридора, что сразу можно было представить тесные и неудобные комнаты, в которые они вели.

У одной из таких дверей Анатолий Васильевич остановился, как-то странно усмехнулся и долго позвонил. Никто не ответил, и он позвонил еще раз, потом еще и еще. Наконец из-за двери послышался слабый, словно бы придушенный голос:

— Да-да, входи...

Анатолий Васильевич опять усмехнулся и неторопливо вошел.

— Здорово, папаня! — в его голосе прозвучала плохо скрытая насмешка. — Не помер еще?

Тот, к кому он обращался, папаня, лежал на кровати с панцирной сеткой, украшенной четырьмя металлическими шарами по углам и не-

щадно скрипевшей даже при самом малом движении. Впрочем, в этой узкой и низкой комнате со сводчатым потолком, казалось, все должно было скрипеть и постанывать: маленький круглый стол, венский стул с облупившейся черной краской, настенный шкафчик и часы в деревянном футляре...

Анатолий Васильевич снял и повесил на гвоздь кожаный плащ, войлочную шляпу, развернул и поставил в угол зонтик и неожиданно коротко хохотнул:

— Так жив, говоришь, папаня? — он прошел и сел в изголовье старика на скрипнувший стул. — А я звоню, звоню и уже беспокоиться начал: взял, думаю, мой папаня и помер.

Старик, лежавший на спине под серым солдатским одеялом, не выразил ни удивления, ни возмущения на слова Анатолия Васильевича. Казалось, он даже и не слышал их, пристально и неотрывно глядя в низкий сводчатый потолок голубыми от старости глазами.

— Как же ты тут, без меня-то? — продолжал Анатолий Васильевич. — Неделю не виделись. А это по нашим временам — вечность. Или тебе не до вечности — все равно ведь скоро там будешь? К тому же, газеты не читаешь, радио не слушаешь, а зря! Там такое сейчас творится, что тебе и во сне не увидеть: кто голосует, кто бастует, но кричат на каждом перекрестке... Все чего-то требуют, жить, видите ли, лучше хотят. — Куликов поморщился. — Всенепременно, как олигархи... А, может, ты обо мне соскучился? Или не до меня было — грехи замаливал... Что молчишь-то?

Анатолий Васильевич низко склонился над лицом старика, пытается перехватить его взгляд, но старик прикрыл глаза желтоватыми веками и глубоко вздохнул.

— Вот, не желаем даже и смотреть. А почему не желаем? — Куликов pokrивился. — Не кто-нибудь ведь пришел, сын приемный... Или не узнаешь? Да и как признать-то, если раньше меня в упор не видел... Эх, папаня, папаня, а ведь я о тебе забочусь, хоть раз в неделю да прихожу. А ты-то, вспомни, в детдом меня сдал и три года не заглядывал... Это как называется? А я вот не обижаюсь, сердца на тебя не держу. — Анатолий Васильевич встал и взволнованно прошелся по комнате. — Нет, не держу... Я ведь понимаю, что иначе ты не мог. Не до меня было. Как же, рестораны, суфле-пюре, шампанское, женщины... Эх, папаня, пожил же ты, пока я в детдоме перловкой давился... По-ожи-ил! А теперь вот обиды какие-то, претензии. Ну, скажи, скажи ты мне на милость, — повысил голос Куликов, останавливаясь над стариком, — как еще я должен к тебе относиться? В плешь целовать? А может, и к ручке приложиться? Ведь я учен, помню, как это делается. А ты-то помнишь? «Эй, сучонок, подь сюда!» — меняя голос, срываясь на фальцет, прокричал Анатолий Васильевич. — Кому сказано: по-ди сюда! А ну, тварь паршивая, целуй руку! Кто тебя кормит, стерьява? Я кормлю! Давно бы подох, как собака, да сердце у меня мягкое. Пошел вон, с-ско-ти-на!»

Анатолий Васильевич не на шутку разволновался, на его круглых щеках проступили красные пятна, губы задрожали, и он устало опустился на стул, не в силах говорить дальше.

А старик по-прежнему лежал на спине и голубыми глазами смотрел в низкий сводчатый потолок. Густая серая щетина покрывала его впалые щеки и дряблую шею, на которой, ближе к правому предплечью, часто пульсировала вздувшаяся темно-синяя вена.

— Это кто к тебе приходил? — смилив волнение, спросил Куликов, разглядывая пачку печенья и два пакета молока на столе. — Аннушка? Носят ее еще ноги? Хотя, что же не носить-то? Она лет на двадцать моложе тебя. Ты ведь молоденьких любил, чистеньких. Этаких, — пощелкал пальцами Куликов, — «чтобы духу тесно в груди было». Твои слова, я запомнил. Матушка, конечно, для тебя старовата была, всего-то лет на десять моложе. Ну да тут особое дело: квартира. Хоть и плохонький, да угол, за который тебе в Москве зацепиться надо было. Вот ты и зацепился, как репей за штанину. Матушку через три года в могилу свел, меня — в детдом, и остался здесь — хозяин-барин. — Теперь Анатолий Васильевич говорил ровно, с оттенком грусти, словно бы вспоминал все это для одного себя. — Аннушку ты быстро бросил: не тот форс... Даром что вместе матушку травили, а и она тебя не раскусила. Надеюсь, женишься ты на ней, а ты ей — фигу в масле! Так ей и надо, дуре раскосою...

Старик дернулся и тяжело повернул голову к стене. Анатолий Васильевич, привскочив на стуле, склонился над ним. Глаза его заблестели.

— Что, папаня, что, родненький? — заботливо и почти нежно спросил он. — Не хочется слушать? Тяжело тебе, бедненькому? Мучаю я тебя? Ах, изверг-то я какой! А маманю за косу, и по комнатам из угла в угол, и пинками под ребра, это как? Это как?! — вскрикнул Анатолий Васильевич и грубо рванул старика за плечо. — Я тебя спрашиваю, папаня, это как?! Сапожищами сорок четвертого размера женщину по ребрам, а-а? Ногу-то не зашиб, а-а! Что молчишь-то? Сказать нечего?

— Пусти плечо, — попросил старик, — больно...

Анатолий Васильевич опомнился и отскочил от папани. В комнате стало тихо, лишь маятник со скрипом отсчитывал секунды. Анатолий Васильевич, сцепив руки за спиной, молча стоял у окна, по которому густо струились дождевые капли, и нервно пощелкивал пальцами. Его коротко стриженный затылок, на который теперь смотрел старик, был тверд и упям. Папаня вздохнул и подумал о том, что Куликов похож на мать. Не чертами лица и не манерами, а именно вот этим упрямым затылком.

— Я новую квартиру покупаю, трехкомнатную, — не оборачиваясь, сообщил Анатолий Васильевич. — Рядом с метро... Меня на работе ценят. И сейчас, по новым временам, я далеко могу пойти... Квартиру у нас, сам знаешь, просто так не купишь... Для этого надо крепко на ногах стоять.

— Скоро и эту можешь забрать, — тускло ответил старик.

Анатолий Васильевич удивленно оглянулся и сощурился на папаню.

— Вот как! Спасибо... Опять благодетельствуешь? — было заметно, что Куликов старается говорить спокойно. — А где ты, дорогой папаня, раньше был? Когда я по всей Москве углы снимал? Когда с женой и дочкой в подвале у дворничихи жил? Может быть, ты об этом не знал?

Куликов вновь заходил по комнате, вздрагивая узковатыми плечами в тесном пиджачке и болезненно морщась.

— Вот ты, сколько прожил на свете? — остановился он перед стариком. — Ты ведь до-олго пожил и не как-нибудь, а в свое удовольствие. От фронта в свое время отвертелся, трудармию обошел, голода не знал... Как же ты все это так сумел? Другие и воевали, и от голода пухли, а с тебя все как с гуся вода. Да и работать-то ты никогда по-настоящему не работал. Все больше возле торговых складов вертелся. То пряники грузил, то водку экспедировал... Нет, папаня, душонка у тебя темная, если в ней покопаться, да как следует покопаться, ой-е-ей! И вот с такой-то душонкой, ты вон сколько лет прожил, а маманю в тридцать лет ухайдакал. Это как называется? Это справедливо?

— Болела она, — прошептал старик, — ты же знаешь...

— Болела! — взвился Куликов. — А как же ей было не болеть?! Сколько раз она зимою в подворотнях ночевала? А на чердаке? Ты мне брось про ее болезнь говорить... Думаешь, я не помню, как ты однажды после дня рождения пришел? Помню, и очень даже хорошо мне этот день рождения запомнился... «Лизка! Сними сапоги, — опять перешел на фальцет Анатолий Васильевич. — Живее! Ты что, лярва, ходить разучилась, так я сейчас научу... А теперь ноги целуй... Ну!» Ты, может, и забыл, а я помню, как мы от тебя в тот вечер убежали и за мусорным ящиком прятались. Забыл? Не помнишь? — Куликов схватил стул, с силой поставил его напротив кровати и сел. — А я — по-омню... Дело-то в ноябре было, в самом конце, с неба мокрый снег валил, а мы часа три за тем ящиком просидели. Мать в ситцевом платье и тапочках. Я — в вельветовой курточке и босой. Как же ей было не заболеть, воспаление легких не подхватить? Ты и у меня лет двадцать отнял. Слышишь! — Куликов вновь дернул старика за плечо. — Лет двадцать! Ты вот после восьмидесяти околеваешь, а я и шестьдесят лет не проживу... Это как называется? Ка-ак?!

Старик раскашлялся, хватаясь рукой за горло, солдатское одеяло сползло на пол, открыв длинную и очень худую фигуру в заношенном сером белье, заштопанном на локтях. Кашлял он долго, надсадно, вдавливаясь спиной в матрац и поджимая сухие ноги. Когда кашель отпустил и папаня пришел в себя, Куликов, внимательно наблюдавший за ним, злорадно спросил:

— Что, вспомнил, папаня?

— Воды, — хрипло попросил старик.

— Нет, подожди, — поднял палец Куликов, — ты вначале скажи, вспомнил или нет?

— Воды-ы, — вдруг всхлипнул старик, — дай попить...

— Попи —ить, — передразнил Анатолий Васильевич. — На том свете смолой напоят.

Однако же он пошел в угол, зачерпнул из эмалированного ведра кружку воды и подал папане.

Старик пил трудно, захлебываясь и проливая на одеяло. Сесть он не мог, а лишь приподнял голову, уперев ее в металлические прутья кровати. Напившись, поставил кружку на грудь, не смея попросить

Анатолия Васильевича забрать ее. И опять было тихо в полупустой комнате со сводчатым потолком, и опять текли секунды, равномерно падая с круглого желтого маятника.

— Все ты переворачиваешь, — неожиданно заговорил старик, — все! Этак любого человека в изверги можно записать. И тогда, с именин... Я ведь ноги не просил целовать... Ты это сам придумал, — старик говорил медленно, с паузами, не глядя на Анатолия Васильевича, и вроде бы даже не обращаясь к нему. — Ты за квартиру мне мстишь, вот что, а не за мать. За квартиру... А что мне было делать? На улицу идти? А тебя, значит, в квартиру пустить... Ведь вместе ты не хотел... Злой ты, Толька, злой... Всегда был злой...

— Ага, заговорил, — обрадовался Анатолий Васильевич, — запел песенку. Полегчало? Отпустило? Может, и еще с годочек поживешь? Поживи, поживи, я не возражаю... Но про мое зло — это ты брось! Лучше не трогай, — напрягая голосом Куликов, — а то ведь я... Это ты вспомнил, как я тебя за руку укусил? Благодетеля-то, посмел! Да была бы у меня в ту пору сила, я тебе ее начисто отхватил бы. Хам, и нет у тебя руки, и мать за волосы нечем таскать... Благо-де-тель...

— Ты вот дочку растишь, бьешь, наверное? — тихо спросил старик.

— Если заслужит, то и всыплю, — вспыльчиво ответил Анатолий Васильевич.

— Вот, бьешь, значит... А ты мне чужой был... И всякие пакости строил. Уксус в суп наливал... Спичечные головки в махорку крошил... Это как надо было понимать? А матушка... Матушка твоя упрямством и попреками меня доняла... Чуть что — вон из моего дома... Ну и не выдерживал я, случалось, бивал, не без того...

— Ишь, как ты заговорил? — удивился Анатолий Васильевич. — Ишь, куда увел разговор-то... И я, значит, плохой, и мать виновата, а ты ни при чем? — Куликов сел на стул, и в самом деле изумленно вытаращившись на старика. — Арти-ист, ничего не скажешь. И это ты помирать собрался? Да тебя еще и палкой не убьешь... Ишь ведь как ловко повернул. А я тебе вот что на это скажу: убил ты ее, и не только сапогами, специально убил. Она в больнице лежала, ты хоть раз к ней сходил? Она няньку за тобой двадцать пять раз посылала, молила тебя прийти. Ты пошел? Ты с Аннушкой водку жрал, и на этой вот самой кровати увеселялся. Ее смерть на твоей совести, папаня, ты это лучше меня знаешь...

Старик вновь закашлялся. Кружка, опрокинувшись, полетела на пол. Куликов, вскочив со стула, склонился над ним, заложив руки за спину.

— Ишь, как тебя выкручивает... Давай, давай, разыгрывай представление. Мне это оч-чень интересно...

— У-у-у, — промычал сквозь кашель старик, загораживаясь от Куликова рукой.

— Вот так, еще давай! — уже кричал Анатолий Васильевич. — Поддай жару! Только запомни: мать на твоей совести. На твоей! Ты ее убил! Убийца!.. Век бы тебе так кашлять и не прокашляться никогда...

Анатолий Васильевич стремительно прошел к двери, снял с гвоздя плащ, надел и аккуратно застегнулся на все пуговицы. Потом так же стремительно взял зонт и вновь склонился над стариком.

— Всего хорошего, папаня, — с удовлетворенным спокойствием сказал Куликов. — До новой встречи...

Перешагнув порог, Анатолий Васильевич еще некоторое время послушал, как хрипит и задыхается от кашля старик, потом крепко прихлопнул дверь, поправил шляпу и быстро зашагал вниз по голубой лестнице. У выхода из подъезда он вежливо посторонился, пропуская женщину с авоськой.

А на дворе, под низким осенним небом, шумела и набирала силу очередная компания демонстрантов, требующая не то большей свободы для себя, не то меньшей свободы для президента. Анатолий Васильевич послушал крикливые голоса, полюбовался из-под зонтика на нестройные ряды демонстрантов, и удовлетворенно сказал непонятно кому:

— А ничего, мы свое еще возьмем... Подождите, мы еще и не так грохнем — страну поднимем на дыбы!

Сеялся мелкий дождь. С деревьев падали тяжелые капли и вдребезги разбивались о темный асфальт.

В ТОЙ СТОРОНЕ, ГДЕ ЖИЗНЬ И СОЛНЦЕ

Макар Чупров верил в жизнь. Она дала ему тайгу, дала небо и великую любовь ко всему, что живет и произрастает на земле. И за это он благодарил жизнь, ибо лет своих не считал, чужим не завидовал, а просто был на земле Макар Чупров, и была земля — это главное.

А и бывают же места на земле! Вот уже тридцать пять лет Макар тропит по ней, а два одинаковых места кряду так и не повстречал. Там озерко в самом неподходящем для себя месте расплескалось, а там, смотришь, и диву даешься: ручеек, в чем только душонка держится, пещеру в скале на полста метров продавил. И Макар смотрел, не уставая смотреть.

Макар понимал природу и ценил в ней равновесие. Однажды подстрелив по весне глухарку, и два месяца промаявшись воспитанием ее ненасытного потомства, теперь он в это время и по самой сорной живности не стрелял. Он научился уважать законы, по которым все рождается для того, чтобы счастливо жить и продолжать себя в потомстве...

Макар сидел в крохотной боковушечке районного комбината бытового облуживания (давно прозванного в поселке «конструкторским бюро») и в единственное, засиженное мухами окно, смотрел сквозь дома и улицы на синие хребты Мяо-Чана. И виделись ему тропы с неясными отпечатками следов зверей, и кострища, в которых знающий человек и через неделю тепло обнаружит. И что бы ни делал Макар, а земля в нем жила, произрастая чудными желаниями. Вобьет ли он одним ловким ударом деревянный гвоздь в подметку, а ему чудится, что по боковушке запах березовых листьев пахнул, возьмется за вар, дратву просмолить — и вот она, закручивается в трубочку на костерке береста. Но сильнее всякой силы томило Макара Чупрова по утрам, из-за чего у него и спор со сторожем Семеном выходил.

Любил он ранний час, любил и понимал. Вскочит с первыми петухами и — к окну. А на улице темень еще, лишь слегка пробрызганная светлыми пятнами. И нет терпения Макару, выскочит на улицу и зашагает встречу солнца. Так каждое утро словно на свидание и ходит. А уж как солнце из-за сопки вывалится — домой идти никакого желания нет, и заворачивает Макар к конструкторскому. А сторож, черт сиволапый, в этот момент в самый сон входит. Робко и долго стучит Макар, печалась тем, что нарушает тишину утра, пока не рявкнет Семен в последнем исходе ярости:

— Фу, черт! Кого там среди ночи лихоманка трясет?

— Да я это, — робко потянет из себя Макар.

— Кто я-то?!

— Да Макар же. Я это, дядя Семен.

— Я, я. Какой хрен тебя по ночам носит, неупокойная твоя сила?

— Какая же ночь, дядя Семен? Утро уже. Вот и солнце взошло.

Вон как выпекается нутром, докрасна раскалилось, а вот окоемка еще росит. — Макар говорит и говорит, не отрывая взгляда от восходящего солнца. И каждое утро Семен не устает дивиться такой болтливости Макара.

— А и горазд же ты языком чесать, — отпирает ворота Семен, — да ведь все это для отвода глаз. Я, поди, знаю, от какой ты бабы приперся... В бюро-то их вон сколько — тьма, выбирай любую.

Но Макар уже не слышит, торопится в свою боковушку и тут же — окно вон, нараспашку, и весь он в той стороне, где солнце и жизнь, переполненная таинствами природы.

С утра, следом за солнцем, заходит и директор бюро, учтивый, обласканный женскими языками мужжчина. Он живет жизнью, полной важности и значения, и видит в Макаре только массу непонятностей, которых на рабочем месте не должно бы быть.

— Опять полуночничал? — вникает директор в личную жизнь Макара. — Смотри, моя обязанность предупредить, а только так и свихнуться недолго.

Директор недоговаривает, он учтивый человек и замалчивает тот факт, что Макар давно слывет в поселке человеком тронутым. А Макар все это знает, но это не его дело, он чужим языком не полководец, а потому молчит Макар Чупров, пряча в себе тихую печаль.

— Был такой человек в истории, — продолжает директор, — солнцу поклонялся... Так у него жена красавица была, а он фараоном был. Ну а ты кто?

— Вы мне кожи отпустите. — Глупеет от такого вопроса Макар и смотрит в окно, за которым солнце уже пришло в буйство и дальние сопки из пронзительно-синих превратились в голубые.

— Я тебе что хочешь отпущу, ты мне только соболя из тайги вынеси, — просит директор.

А день уже разошелся не на шутку, и фартук на коленях Макара становится мягким от тепла, и кожаные заготовки оживают запахами...

Перед обедом, когда Макар осаживал на дамском сапожке каблук, в боковушку забежала Ниночка, молодой специалист по вязке шапочек и модных свитеров. Была она тощенькой и испуганной от неуверенно-

сти в себе. Она забежала и стала смотреть на работу Макара, наслушавшись небылиц об этом человеке, а он не удивился и лишь выпустил колки изо рта, уважая в Ниночке женщину.

Ниночка отдыхала от подруг, и Макар это знал. Он мог представить, что значит сразу девятнадцать женщин вместе. И Ниночка сидела на раздвижном брезентовом стульчике и отдыхала глазами на работе Макара.

— Макар Иванович, — сказала Ниночка, смущаясь, — куда вы ходите по утрам?

Макар отложил готовый сапожок и взялся за мужскую пару зимних ботинок. Он поставил их на стол и долго и внимательно осматривал. Что правда, это были не ботинки, а обноски. Макар их ремонтировал в третий раз.

— А ты рано встаешь? — спросил Макар.

— Я сегодня рано проснулась...

— А я вот хожу смотреть, как утро ленится...

— Как утро ленится? — в удивлении повторила Ниночка.

— Страшно это интересная штука. Занимается утро неохотно, вроде б как вразвалочку, и все тянется, потягивается, и туманчиком прикроеется, и клубочком свернется. А солнце подпирает, поторапливает, а потом уж как осерчает, как брызнет во всю мощь...

— А правда, что у вас целая плантация женьшеневая есть? — округлила глазенки Ниночка и худенькие колени ладонями прикрыла.

— Уж это точно. В аккурат завтра урожай снимать пойду. — Макар усмехнулся и взялся, было, за молоток, но передумал и посмотрел в окно. В той стороне, где поднималось утрами солнце, наступила необычная ясность. Теперь там тени ушли в деревья, и прошлогодние листья просвечиваются насквозь: бурые, с золотыми подпалинами. И Макар подумал, что сейчас хорошо скрадывать рябчика: он в аккурат от золота осоловел, и лишь посвистывает в изумленном восторге.

— Макар Иванович, — напряглась Ниночка от неожиданности собственной мысли, — возьмите меня с собой.

— Я рано ухожу. — Макар потянулся к ботинку и опрокинул консервную банку с гвоздями. Баночка была свежей, без наклейки и отразилась в солнце, сгорая от собственного сияния...

Так они и стали ходить в тайгу по утрам. Шла Ниночка, обняв плечи руками и вздрагивая от утренней свежести, и шел Макар Чупров, крупно загребая длинными ногами.

Походы их все больше проходили в молчании, и лишь иногда Ниночка уставала от тишины и говорила несмело:

— Макар Иванович, и не скучно вам было одному в тайге?

— Зачем же. Мне одному скучно не бывает.

— Все наши женщины вас чудяком называют, — краснела Ниночка и поспешно склонялась, якобы разыскивая что-то в росной траве.

Макар Чупров на это как-то странно улыбался и еще больше сутулился, от чего его долговязая фигура напоминала вышедший наружу корень. Он грустно смотрел на Ниночку и сознавался:

— А и правильно говорят. У нас зря не скажут...

Он смотрел на нее необычайной ясности глазами и словно бы удивлялся тому, что она не знает такой простой вещи. Его некрасивое, удлинненное лицо выражало в эту минуту такое спокойствие и мудрость, что показалось Ниночке и совсем молодым, и красивым.

Однажды Макар поразил Ниночку тем, что на опушке кедрового леса неожиданно громко хлопнул несколько раз в ладоши и пролетавшая мимо темно-бурая с белыми крапинками птаха тут же села на ветку дерева. Была она чуть поменьше голубя, с длинным клювом и какая-то вся воинственная, и тут же принялась пронзительно кричать: «крэ-эк, крэ-эк, кэръ!»

— Кедровочка, — бережно сказал Макар, и Ниночка видела, как хорошо ему было в эту минуту. Он забыл ее, себя, да и весь мир, на верное, забыл, скрадывая добрыми глазами каждое движение крикливой птицы...

— А ты, брат, того — хитрец, — сказал как-то Макару директор, — присушил девчонку. Вот не ожидал.

— Глупости вы говорите, — нахмурился Макар и отвернулся к окну.

— Чем же вы в тайге занимаетесь? — осторожно кашлянул директор, неожиданно почувствовав какую-то неловкость.

— А вы посмотрите, — ответил Макар Чупров.

— Ну, ну, — неопределенно хмыкнул директор, — непременно посмотрю.

Через два дня, утром, когда Ниночка с Макаром выходили из поселка, директор и в самом деле подждал их, задремав на обочине шоссе. Был он при ружье, туго перетянут патронташем и в вязаной шапочке.

— Как я, ничего? — спросил он вначале Макара, а потом и Ниночку. И чувствовалось, что ему и в самом деле безразлично, как он выглядит.

Ниночка, глядя на вязаную шапочку своей работы, тихо похвалила: «Хорошо, Сергей Иванович». Макар же смолчал, и лишь пройдя достаточно, огорченно сказал:

— А ружье-то зачем?

В тайге директор был не директор, а маленький, слегка кругленький, слегка смешной человек, а потому он и ответил Макару с извиняющимися нотками в голосе:

— Для самообороны. Тайга все-таки. В ней всякое может случиться...

Однако в это утро ничего такого не случилось. И лишь Макар был более обычного молчалив.

На следующее утро Макар говорил Ниночке:

— Чудная земля. Я как-то сосенку в тайге посадил. А ее возьми и подкопай бурундук. Потом кедровочка в той ямке склад устроила. А весной смотрю, кедр в небо нацелился, да так он самоуверенно из-под земли-то попер, словно сосенке сказать хочет: «А ты зачем здесь, чужанка? Мое это место, моих родичей земля». Вот и пришлось мне «чужанку» эту отсаживать. И тоже ничего, прижилась, ствол ладный такой получается и кожа гладкая, ровно у березки по второму году.

Они сидели на самом выходе из тайги, и Ниночка теперь уже сама видела, как вываливается из-за деревьев солнце и в хвое тоненько

поблескивают росинки, постепенно скатываясь к самому концу игл затем, чтобы фиолетовой искоркой блеснуть на лету и раствориться в земле. А чуть позже, прижимаясь к молодому ельнику, как-то боком, но резко и стремительно пронеслась сова, и шум ее крыльев был неумовимо тих, словно под потолком замедленно работал вентилятор...

Теперь Ниночка была в центре внимания всего поселка. О ней говорили шепотом и вслух, за глаза и прямо спрашивали о том, что она нашла в Макаре. Ниночка смущалась от столь неожиданного внимания, а однажды рассердилась и запальчиво сказала:

— Он лучше вас всех! Это вы — чокнутые, а он природу понимает. Макар Иванович уже три года выдру подкармливает, а еще раньше он ее из капкана с перебитыми лапами спас. Поэтому он каждое утро в тайгу ходит. А выдра совсем ручная и рыбу у Макара Ивановича из рук берет. А у вас и кошки дома не держатся...

После этого о ней и Макаре говорили уже в основном за глаза.

Все так же манила Макара тайга, и каждое утро солнце по-новому вставало для него. Но когда однажды, прождав Ниночку почти десять минут, он так и ушел в тайгу один, Макар Чупров загрустил. Дольше обычного провозился он с выдрой, все прислушиваясь, не треснет ли сучок под ногой Ниночки и не покажется ли ее тоненькая стройная фигурка между деревьев.

— Нет, сегодня не придет, — сказал он выдре, словно успокаивая зверька, — видно, сон побороть не может.

И пошел Макар раньше обычного в конструкторское бюро, в свою боковушку. Смотрел он в засиженное мухами окно и первый раз за свою жизнь не видел синих хребтов Мяо-Чана, и того, что солнце за стенкой из туч поднялось — тоже не заметил. А потому и удивился рассеянно, когда к обеду по стеклу застучал крупный летний дождь. В боковушке сделалось темно, загудела крытая жестью крыша, и ударил гром, прежде синим высветлив вдумчивые глаза Макара.

— Вот и дождь, на бабину рожь, — заглянул директор, закурил папиросу. Он присел на верстак и провел белым, гладким пальцем по стеклу, от чего по нему пролегла синяя борозда. — Слышал, Макар, я себе сеттера купил? В питомнике достал. Как ты думаешь, стоящая псина?

— Собака от хозяина зависит, — не сразу ответил Макар, тяжело опустив руки на кожаный фартук. — Вон овчарка, человека может загрызть, а может и от смерти спасти. Это, смотря чему ее выучить...

— Да мне-то человек зачем? — удивился директор. — Мне бы ее на соболя натаскать, на птицу какую-нибудь. Ты вот выдру приручил, а мне соболя домашнего хочется иметь.

— Так я выдру без собаки прикармливаю. — Макар глянул на директора и увидел, что перед ним сидит совсем другой директор. На его лице было внимание и желание понять слова Макара, и больше того — желание встать вровень с Макаром.

— Я бы его, сеттера, и продать мог, — сказал Сергей Иванович и еще одну бороздку оставил на стекле. — Семен бы и купил, да мне в хорошие руки пса отдать хочется.

И только теперь Макар понял, что директор предлагает сеттера ему, Макару Чупрову.

— А Нинка-то наша в больницу попала, застудилась, — круто переменял разговор директор и соскочил с верстака. — Кожу я тебе показал, на этой неделе обещали доставить...

Накинув на голову капюшон старенького дождевика, Макар Чупров крупно шагал по раскисшей дороге. Тайга его встретила дружным шумом дождя, мгlistым полусумраком и сильным запахом замолодевшей хвои. Речка моментально взбухла и помутнела и весело пузырилась крохотными кратерами вмятин от дождя. Макар долго ждал, пока, наконец, с шумом выметнулась из потока выдра. Несколько мгновений она подслеповато приглядывалась к нему, а затем легко и величественно вышла на берег.

— Что, Ласка, привольно тебе? — говорил Макар, заглядывая в любопытные, и все еще настороженные глаза выдры. — Дождь славный, и тебе теперь самая охота. Да я не задержу, я на минутку только. Вот Нина заболела, надо бы проведать...

По беличьей выдре почесала обеими передними лапками за ушами и нетерпеливо покосилась на воду. Ее остренькая мордочка с короткими жесткими усами была сейчас необыкновенно доброй, располагающей к беседе, но Макар удержался и в знак прощания тихо и протяжно посвистал.

Наверное, первый раз в жизни Макар не смог бы объяснить, зачем он сегодня пришел в тайгу. Что-то его томило и не давало покоя. И он долго еще кружился по тайге, длинный и смешной в коротком не по росту дождевике, пока не понял, что в больницу все-таки пойдет. И он шел мимо деревьев, словно прощаясь с каждым из них, искал глазами синий призрак хребтов, но все было покрыто дождем и черными тучами...

У самой больницы, что стояла над глубоким оврагом, по которому теперь шумно несся поток серо-желтой воды, Макару повстречался Семен. Был он необычайно тих и приветлив. Долго тряс руку Макара Чупрова, сочувственно заглядывал в глаза.

— А ведь наши-то вместе лежат, — сказал Семен и громко сморкнулся в сторону, — одна к ним лихоманка прицепилась.

— Это кто — наши-то? — не понял Макар, горбясь над низкорослым Семеном.

— Как кто?! — обиженно удивился сторож. — Моя старуха да твоя Нинка. Только мою чуть позже привезли, а твоя-то с ночи занемогла.

— Ага, — сказал Макар Чупров и глубже натянул капюшон, — я пойду.

— Они вон у того оконца и лежат, — показал Семен. — Только ты поменьше там маячь, свидания-то им запрещены.

Макар медленно поднялся на взгорок. Земля здесь была глинистой, и его сапоги обросли громадными комьями грязи. Он долго и тщательно счищал ее щепкой, а счистив, еще постоял в раздумье и лишь затем подошел к окну.

Вначале он увидел Семенову старуху. Она лежала лицом к окну, чинная, спокойная, в непривычных для ее деревенского лица очках с

зелеными тесемками. Заметив Макара, старуха пошевелила губами, и у окна появилась Ниночка. В коричневом халате она показалась Макару значительно выше ростом и строже лицом. И только теперь Макар спохватился, что не припас никакого подарка.

Ниночка облокотилась на подоконник и прижалась лицом к стеклу. Макар видел ее удивленные радостные глаза, остро выпирающие ключицы и березовую прозрачность кожи на длинной шее... Он неловко топтался у окна, непривычно заглядывая в ее лицо снизу вверх.

— В общем, так, — тихо говорил Макар, — в тайге теперь дождь и очень сыро, и тебе там быть сегодня все одно нельзя. Потому как в такую погоду застудиться можно в два счета. А Ласка вот радуется, ей в такую непогоду, когда рыба без осторожности играет, самое приволье. Тебе привет передает, скучает...

Все это Макар говорил очень тихо, рукавом утирая лицо от дождя, и Нина, конечно же, ничего не расслышала. Но она согласно кивала головой, а потом улыбнулась и тоже тихо поблагодарила его за привет от Ласки.

— А вот выздоровеешь, — продолжал Макар, — к тому времени и солнце силу возьмет, и лес достаточно пообсохнет, вот мы по-сухому и пойдем.

И опять Ниночка покивала, а потом велела уходить и не мокнуть под дождем. Макар согласился и тяжело пошел от окна. Когда оглянулся, Ниночка ласково улыбалась ему, и он тоже улыбнулся ей и, уже не оглядываясь, пошел от больницы.

В той стороне, где каждое утро всходило для Макара Чупрова солнце, призрачной полосой наметился просвет. Он знал, что там уже нет дождя, что с той стороны заходит долгое августовское ведро.

Бела ИОРДАН

Родилась в г. Еманжелинске — Юж. Урал. После снятия комендатуры семья переехала в г. Джамбул. Окончила муз. и балет. школы; педучилище, музучилище в Чимкенте, Казахский университет (фак-т журналистики), Ленинград. институт театра, музыки и кинематографии (фак-т театроведения). Работала в газетах Джамбула, Таласа, Оренбурга, Ленинска, Димитровопограда. В Джамбуле руководила литобъединением при редакции. Работа в кино: «Возрождение», «Шанс», «Азия». Редактор съемочной группы фильма «Потерянный сын» (Казахстан-Германия). В 1992 г. возглавила телестудию «Риваль» в Казахстане. Публиковалась в сборниках, издаю четыре книги. С 1993 г. живет в г. Розенхайм.



ПОЭЗИЯ МОЯ

Поэзия моя — простолюдинка,
ей не присущ заумный «штиль» и слог,
в угоду модно-вычурным новинкам
туманный смысл, зарытый в дебрях строк.

Она скромна,
в ней нет кичливой спеси,
лавровым не отмечена венком,
в тиши ночей свои слагает песни
простым и всем понятным языком.

Не рвется ни в пророки, ни в кумиры
и славы звездной ревностно не ждет,
но всякий раз, настраивая лиру,
всю душу на алтарь стихов кладет.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Хвороба?.. Или яд?.. Кому оставить Русь?..
Не-е-ет, Федор нездоров, куды ему корону..
Бояре?.. Все смердят! Изменщики и гнусь!
Во-о-н, Борька Годунов, как тать крадётся к трону...

Вся кровушка из жил... Не шевельнуть перстом..
Неужто вышел срок?.. Накаркала старуха..
Димитрий не пожил... Ванюша... Кто потом?..
Прибрал сердешных Бог. Земля пусть будет пухом...

Снедает душу червь... Обедню отслужу..
...Кому это несут холщовую рубаху?..
Колодники и чернь! Ужо я покажу! Ужо устрою суд!
Всех, аспиды, на плаху!

Как змеи. Шепотки — «жесток, немилосерд»...
Да! Норовом крутой! Но правил я по вере!
Царю не лапотки плести.
Я царь! Не смерд...

...А кто это с клюкой стоит вон там? у двери?..
Грозится: «Не уйдёшь»...

Где шапка?! Мономах?! ...Что ждет на небеси?..
Не постриг же и схима...
Проклятый! Что ты лжёшь, иезуит-монах!..
О, Гос-по-ди! Прости-и-и!
Не убивал я... сына...

НЕПОКОРЁННАЯ

I

Валит валом люд на улицы морозные —
по Москве везут боярыню Морозову!
В кандалах везут смутьянку, как преступницу,
от святого троеперстия отступницу.

Кто вослед плюёт, кто крестится и молится:
Помоги ей, Пресвятая Богородица...
Кто регочет, кто слезами заливается...
Не дождетесь — не отступит, не раскается.
Ипостасями распятого Христа
над толпой вздымает к небу два перста!

А была куда как знатною боярыней,
самой близкой у царицы-государыни.
Царь — и тот её нахваливал без устали,
и разумной называл, и лепоустою.

То-то баба задурила, с кем заспорила.
Ведь живьем сойдет в могилу —
ох ти, горе ей.
Нет бы дома как желала, так молилась,
лишь бы в церкви троеперстием крестилась.
С патриархом и царём тягаться где уж там —
враз для всякого с овчинку станет небушко.
Понимала ли, что против не получится?
Вот и вышло — до кончины в яме мучиться...

Были шелковые косы — стали космы.
Были хóленные руки — стали крюки.
Истошала, хоть клади под образа,
а бескровное лицо — белей холста,

но огнем горят запавшие глаза
и, костнея, крестят душу два перста!

Всё отобрано — величье, злато, жемчуги...
Стойкость духа — вот хоругвь этой женщины!
Что не стала по примеру лицемеров
оскорблять обманом Господа и веру,
что хранила от нерусского, заморского
двоеперстие — исконное, отцовское.

Супостаты, али нет на вас креста?!
Для Руси Христовой святы два перста!

II

...Эх, ты, Русь моя,
душа многострадальная,
хлебосольная, разгульная,
кандальная,
то, жалея,
даришь нищему рубаху,
то сечешь, хмелея, головы на плахах,
то, безумствуя, гресишь,
то слезно каешься,
то святых на свет родишь,
а следом — каинов.
Понамешано и белого, и черного,
от бесовского — до светлого, соборного.
Между крайностями век от века мечешься,
и пророкам места нет в своем отечестве.

Непроста, Рассея, ох, и непроста.
Было время — отвернулась от креста...

Стало модой жить свободой безобразной,
в страхе, в мерзости, в бедламе — безнаказно.
Изуродован безбожием народ,
то, что сеяла Рассея, то и жнет...

Нынче в храм идут вчерашние безбожники,
Кто уверовал, а кто — прикрылся ложью:
не кресту, не жертве Сына, не Отцу —
золотому поклоняются тельцу.

и во всех краях земли березовой
не сыскать сегодня истовых «морозовых»...

Только верится — ох, как же в это верится! —
суть Руси ещё воспрянет птицей фениксом,

отряхнет и грязь, и пепел с оперения,
с очищенья начиная возрождение
силы духа, крепкой веры — хоть в костер...

И Господь, храня, ладонь над ней простер.

АРХИВ ПАМЯТИ

Брожу в архиве Памяти моей,
где все углы битком уже забиты
событьями ушедших лет и дней,
зарубками мгновений позабытых.

Читаю строчки выцветших страниц,
листаю пожелтевшие альбомы...
всплывают очертанья чьих-то лиц
и звуки голосов полужнакомых.

Ах, память...
Как старьевщик и скупец,
которым ценен каждый медный грошик,
ты тоже прячешь бережно в ларец
за годом год всё то, что только можешь.

Я проживаю прожитое вновь,
мелькают вехи пестрым частоколом:
вот детство... юность... первая любовь...
рождение сына... внука ходит в школу...

И вдруг нежданно блёсткою сверкнёт
какой-то миг, затерянная малость,
и значимость иную обретет,
что раньше незначительным казалось.

Здесь каждый шаг поставится на вид —
не жду поблажки или же уступки, —
архив сполна бесстрастно отразит
былые прегрешенья и проступки.

И устыжусь я глупости своей —
как запоздало жизнь рассудку учит, —
и совесть до последних будет дней
казнить и за содеянное мучить...

Перебираю жизнь свою до дна,
законам поклоняясь мирозданья,
где память —
как награда нам дана,
где память нам дана —
как наказание.

В ЧЕРТОГАХ ВЕЧНОСТИ

Над баварской деревенькой Зеебн,
чуть за окнами затеплится заря,
раздаётся колокольный перезвон —
то звонят колокола монастыря.
Здесь эпохи разломились пополам,
тени прошлого — безмолвной чередой.
Отражаются зеркально купола
в тихом озере с задумчивой водой.

Веры, Времени и Вечности приют.
Витражи расцветил радугой рассвет.
Но к заутрене монахи не придут,
потому как здесь давно монахов нет.
Сколько минуло и сгнуло веков,
лишь по-прежнему, печально и светло,
Пресвятая, нежно кутая в покров,
Всё баюкает младенца своего...

А на кладбище, за каменной стеной,
что сегодня посещают, как музей,
обрели вдали от родины покой
поколения Романовских князей.
На чужой земле — чужие и ничьи.
Были — не были, да сгнули в глуши.
Поминальной не зажжет никто свечи,
не помолится по-русски от души...

Под деревьями густыми полумрак,
пробирает неожиданно озноб:
под ногами у скучающих зевак —
прах российских титулованных особ.
Незаметно позабыла их молва,
в изголовьях — православные кресты,
и славянской вязью вечная мольба:
«Боже светлый, нас помилуй
и прости!»

СОЛОМЕННЫЕ КУКЛЫ

Веселый хозяин крестьянского дома,
закончив уборку хлебов на полях,
поставил двух кукол из жёлтой соломы —
баварца с баваркой, наряженных в трахт.

Забавные куклы, задорные лица,
мол, радуйтесь жизни, не дело — тужить,

мол, тот, кто умеет до пота трудиться,
научен весельем вдвойне дорожить.

И каждый проезжий, и каждый прохожий
по-детски светло улыбался в ответ,
и пасмурный день превращался в погожий,
а в души заглядывал солнечный свет.

ЛЕДЯНЫЕ КОЛЫБЕЛИ

В небо — голые скалы,
будто содраны скальпы,
череп с хищным оскалом —
ухмыляются Альпы:
«Кто там рвется к вершинам,
как в объятия рая?» —
и навстречу — лавиной,
смельчаков погребая.

Эхо тяжко застонет.
Темно-синие ели
скорбно ветви уронят
к ледяной колыбели.
Не отыщут останков —
снег годами не тает...
В черных траурных рамках
улыбается Память.

СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ...

Себя преодолеть,
подняться над собой,
зависимости рабской скинуть бремя —
не значит умереть,
но обрести покой раздраенной
Души...
Пора. Настало время.

В десятки раз больней,
когда вдвоем — один,
в безбрачии холодного ночлега.
Себя не пожалей
и мужество найди
покончить с пыткой собственного Эго.

Чтоб заново сложить
рассыпанную суть,
почувствовать восторг самопознания,

не прозябать, а жить!
и торить дальше путь —
всё это выше
боли расставанья.

* * *

Наивно строить замки на песке...
За годом год, подобно акробату,
по времени песочному канату
ступает одиночество в тоске.

Идет и обмирает, чуть дыша,
и нет надежной почвы под ногами.
В пространстве меж землей и облаками
за пустоту цепляется душа.

ГОРЕЧЬ

Как мир земной озлоблен и жесток,
разъеден ложью, деньгами, корыстью,
и попросту на тыщи лет далек
от мудрости простых библейских истин.

Какое там сегодня «Возлюби» —
все заповеди попраны негласно,
а главная для жизни — «Не убий!» —
расстреляна в упор в кровавых распрах.

И жесткий, меркантильный, черствый век
циничного бездушья сеет семя,
и глух к чужому горю человек,
пока своя беда не клюнет в темя.

Тут бесполезно к разуму взывать,
когда наш век рассудком помутился,
и людям остается уповать
на тех, кто сострадать не разучился.

Ольга ЗАЙТЦ



Окончила Московский пединститут ин. языков им. Мориса Торéза. Преподавала нем. язык в спецшколе и гимназии, была занята в сфере международной выставочной логистики во Всероссийском Выставочном Центре. Лауреат Межд. Фонда ВСМ, 15-го Фестиваля поэзии «Галактика любви» им. Вероники Тушновой. Номинант нац. литпремии «Поэт года 2015», литпремии Дома Романовых «Наследие 2016» и им. Сергея Есенина «Русь моя 2016». Живёт в Москве.

МОЯ ПРАБАБКА РУССКОГО НЕ ЗНАЛА...

Моя прабабка русского не знала
И пела песни внуку по-немецки,
Когда строчила край у одеяла,
Вязала скатерть и лепила клецки,
И, поднимая кроху до рассвета,
Водила за грибами утром ранним,
А по пути народные приметы
На диалекте объясняла парню.
Любовь к лесам, где отступает холод,
Где затихают яркие ветрила,
Где раздаётся дятла дробный молот,
Волжанка Эльза внуку подарила.
Но не судьба лесного инженера
Его ждала, а душная казарма —
В России немцам нет пути и веры,
У них в стране особенная карма.
Спроси: «За что?» — И лес ответит тихо:
«За то, что русских песен слушал мало.
За то, что мама — Агнес, папа — Михель.
За то, что бабка русского не знала».

СГОРЕВШАЯ ДУША

Гудит студенческий Берлин
На Опернплаце.
Кружится красный исполин
В обрядном танце.
И бьёт от нетерпенья дрожь —
Под смех и крики
В огонь могильный молодёжь
Швыряет книги.

Сегодня миром правит бес —
Костёр уж полон.
Взирает скорбный лик с небес
На дикий гомон

Там звёзды, прячась в темноту,
Слезами висли.
А на земле жгли доброту,
Слова и мысли.
Толпа буянила, верша
Лихое дело.
В тот день немецкая душа
Дотла сгорела.
Растаял в небе скорбный лик.
Лишь ветер свищет,
Гоняя прах сожжённых книг
На пепелище¹.

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Снова дождь осенний за окном,
Понурьась, о чём-то тихо плачет,
Вспоминая с грустью о былом
И коря себя за неудачи:

Мало радуг ярких намостил,
Урожай грибов был нынче скуден.
А ведь лился, не жалея сил,
Угодить стремясь капризным людям.

Я тебя, наверно, поддержу
Ледяными, редкими слезами.
Ветер, предаваясь куражу,
Нам твердит, мол, виноваты сами.

Что тут скажешь? Он, конечно, прав:
Беззаботно с листьями играя
И порхая по верхушкам глав,
Он скорей, чем мы, достигнет рая.

С двух сторон холодного стекла
Мы друг друга ни о чём не спросим
И покорно кинемся в дела,
Те, что нам с тобой назначит Осень.

¹ 10 мая 1933 г. Немецким студенческим союзом были демонстративно сожжены тысячи книг, не отвечавших нацистской идеологии.

ОСЕНЬ НА КЛАДБИЩЕ

Дуб у ограды, как рыцарь опальный,
Сбросив доспехи, стоит без прикрас.
Осень прошла по кладбищенской спальне,
Где не имеет конца тихий час.

Скинули липы цветные платочки,
В скорбном поклоне согнули крестцы.
Спят чьи-то матери, жёны и дочки,
Чьи-то мужья, сыновья и отцы.

Были любимы, о чём-то мечтали,
Часто пустяк принимали всерьёз.
Чьи-то улыбки и чьи-то печали
Дождь омывает потоками слёз.

Ветер глумливо заходится в свисте.
В пёстрые кучи у серой плиты
Дворник сгребает опавшие листья,
Чьи-то надежды и чьи-то мечты.

ПРОЩАНИЕ ОСЕНИ

Прощается осень, бесшумно скользя
По скверам и паркам, плотинам запрудным.
Стираются краски — вернуть их нельзя,
И в регенерацию верится трудно.

Последний закат догорает теплом.
Последняя туча рассыплется слёзно.
Туман рассекая ледовым веслом,
Зима правит чёлн под дыханьем морозным.

Взойдёт над бульваром студёный рассвет,
Где хмурые голуби пёрышки чистят,
Где бурыми пятнами сходят на нет
На стылой земле отшуршавшие листья.

НИКОМУ НЕ НУЖНЫ СТАРИКИ

Никому не нужны старики.
Жизнь как будто накрыла трясина.
Лишь подруги — три серых осины —
Поджидают её у реки.

Вот и время бежит, как вода:
Подросли, встали на ноги дети —
И безжалостно топят в Лете
Проведённые с мамой года.
Две дочурки, две юных княжны,
Женихов отхватили богатых.
Паутина дрожит на лопатах —
Старики никому не нужны.
Покосился дырявый сарай,
Где когда-то играли невесты.
В новой жизни старухе нет места —
Ну, не впишется мама в их рай!
А их старший удачливый брат,
Сколотив на торгах миллионы,
Скажет матери по телефону,
Что готов оплатить интернат.
Половицы разошлись в дому,
Зарастают крапивою грядки.
Треплет ветер белёные прядки —
Не нужны старики никому.

МАТЬ КАЧАЕТ КОЛЫБЕЛЬ...

Лёд вбивает в землю сваи,
Застилает свет метель.
Тихо песню напевая,
Мать качает колыбель.
Стынет чай у кромки блюда,
Кот мурлычит возле ног.
Не успеет оглянуться —
Подрастёт её сынок.
Первый шаг и первый зубик —
Праздник маминой души.
Время жизнь, как кубик Рубик
Закрутив, собрать спешит.
Будет зной сменять морозы,
Будут срывы и успех,
Будут ссоры, споры, слёзы,
Будут шутки, радость, смех.
Ночи, полные тревоги,
Суета горячих дней,
Расставанье на пороге —
Всё ещё случится с ней.
Под железом водостока
Будет ветер выть в трубе,

Станет пусто, одиноко
В сыном брошенной избе
В зимний вечер у окошка,
Понурься, присядет мать,
Чай помешивая ложкой,
Снова будет вспоминать,
Как, поправив одеяло,
Под январскую метель
Тихо песню напевала
И качала колыбель.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Одиночество — в каждой капле дождя.
Одиночество — в каждой капле души.
Миротворчество озарит, снизойдя,
Как пророчество в предрассветной тиши.

Покаяние — в запоздалом «прости».
Покаяния нестираемый след —
В расстоянии, что живым не пройти,
В отставании дня на тридесять лет.

Возрождение — словно вспышка в ночи.
В возрождении — сладость искренних слёз
Очищения у надгробной свечи
Всепрощением, что дарует Христос.

СПАСИБО ВАМ, МОИ НОЧНЫЕ СНЫ!

Спасибо вам, мои ночные сны,
Дарящие несбыточные встречи,
Где живы все, любезны и честны!
Жду не дожусь, когда погаснет вечер —
Нырнуть в пучину грёз и обнимать
Свящегося нежностью супруга,
Отца родного, ласковую мать
И верную, давнишнюю подругу.
Как прежде, до утра проговорить,
Поведать беды и найти участие,
И ощутить связующую нить
Земли и Неба — это ли не счастье?!

МУЗЫКА РЯБИНОВЫХ АЛЛЕЙ

Ели из-под бархатных ресниц
Смотрят в гладь замёрзшего ручья.
Ягодные споры у синиц
Завершает дружная ничья.
По стволам закатный луч пролез,
Горизонт всё тоньше и алей,
И журчит под куполом небес
Музыка рябиновых аллей.
По кустам расселась пировать
Пятнышками пролитых чернил
Вся синичья доблестная рать.
В радости никто не уловил
Миг, когда с блестящих, словно медь,
Весело танцующих ветвей
В мёрзлую, безжизненную твердь
Музыка рябиновых аллей
Мрачной какофонией стекла:
Выстрелы, короткий птичий крик,
Лязг металла, хохот, звон стекла.
«Щас обмоем Колькин дробовик!
Не скупись — щедрей водяру лей!
У кого стопарик не налит?»
Реквием рябиновых аллей
Вихрями звенящими бурлит.
Вечер сыплет звёзды на бегу
Искрами отстрелянных дробин.
Киноварью стынут на снегу
Капли недоклёванных рябин.
Густо разливается вокруг
Темнота, тягучая, как клей.
Утопает в ней последний звук
Музыки рябиновых аллей.

Владимир ШТЕЛЕ



Родился в 1948 г. в Сиблага Кузбасса, куда были депортированы родители. Рос в шахтёрском г. Анжеро-Судженск Кемеров. обл. С отличием окончил Кузбасский политехинститут. Учёная степень — кандидат техничнаук. Более 20 лет работал в Сибирской Академии наук СССР. Около 120 научно-технических статей. Автор более 300 изобретений, признанных в СССР и России, и более 50 международных патентов. Книги: сборник рассказов «Дурнина», сборник иронических стихов «Письма из провинции». С 1992 г. живёт в г. Кассель.

РАСПОЛНЕЛ, РАЗЖИРЕЛ, РАЗДОБРЕЛ

Когда, пожив несколько лет в Германии, подзабыв извечные российскийские заботы о насущном куске хлеба, округлев лицом, вы появиться в родных российско-эсэнгэвских захолустных местах с низкой плотностью новых русских, то вам представится возможность протестировать отношение к вам бывших друзей, полузабытых знакомых и уже плохо узнаваемых родственников.

Люди, для которых вы были всегда малоинтересны, которые, возможно, считали вас существом пустым и бесполезным, которые за глаза называли вас «ни рыба, ни мясо, только запах кваса» и смеялись над вашей манерой носить пёстрые рубахи навывпуск и смазывать волос топлёным бараньим жиром, эти люди, увидев ваш заграничный животик, скажут коротко, без эмоций, нейтральным голосом: «Располнел».

Ваши бестолковые рассказы о далёкой жизни слушать они не будут, так как уверены, что такой человек, как вы, может жить только пошлой жизнью, куда бы вас судьба не забросила, какое бы количество немецких денег вы ни получали и на какой бы иномарке вы ни ездили. Это обидно, но не исключено, что значительная доля правды в этом есть.

На нейтральную реакцию этих людей, лучше всего нейтрально и ответить: послать их всех подальше и включить новенькую кинокамеру, делая вид, что снимаете фильм по специальному заданию RTL про расплодившихся бездомных собак вашего бывшего отечества.

Запустение, которое так хорошо можно увидеть через глазок кинокамеры, не тронет вашего сердца, а только утвердит в превосходстве западной жизни, западной цивилизации и западного народа, с которым вы живёте, но к которому вы никакого отношения не имеете. Но об этом местным жителям, пережившим перестроечные трагедии, лучше не рассказывать.

Зачем им знать, что вам с трудом удаётся заработать немного больше прожиточного минимума. Для них, местных, этот минимум желанный и недостижимый максимум. Зачем им знать, что многие годы в Германии продукты вы закупаете только в магазине для бедных, где цены с большой скидкой, куда большинство западного народа и захо-

дить-то стесняется. Зачем им знать, что западный люд, не без основания считающий себя цивилизованным, с вами не хочет иметь ничего общего, и вам приходится жить в изоляции.

Но какая это изоляция, если в Германию, как мухи надоедливые, налетели ваши бесчисленные родственники, которые, как и вы, освободились от своих подсобных хозяйств, от подневольного колхозно-совхозного труда и занялись интересной работой: уборкой тысяч гектаров немецких жилых и производственных помещений, или ремонтом бесконечных европейских автобанов. Эти родственники, сбившись в гудящий рой, отмечают по переуплотнённой графике все дни рождения, всех летающих и ползающих братьев, сестёр, снох, кумовей, дочерей, племянниц, внуков, бабушек, крёстных отцов и просто хороших людей, которые поселились по соседству.

А нейтральные люди для жизни самые удобные. Опасность всегда исходит от тех, кто вас терпеть не может или очень уважает. Те, кто вас искренне не мог терпеть, кто ещё хорошо помнит все ваши дурацкие выходки, кто и вашего покойного папашу считал придурком из-за крайне нестабильного характера и большого самомнения, эти люди, увидев вас бодрого, слегка загазованного по поводу встречи с печальной родиной, скажут, зло растягивая губы: «Разжирил». Держитесь от них подальше. Это самая обыкновенная зависть. Да, завидуют, что им никогда не представится возможность пережить те западные трудности, которые оставили на вашем невыразительном лбу глубокую косую морщину. Как, это не морщина? Ах, это в прошлом году вы неудачно об стол. Простите. Но всё равно эти, с их «разжирил», — вас не любят.

Вы человек с широким пониманием жизни, вы уже провели два коротких отпуска в Турции и, даже, были один день в Париже. Да, вы уже знаете, что любовь можно купить. И сами уже сделали одну неудачную покупку, о которой и вспоминать не хочется. Но в данном случае вложение капитала совершенно бессмысленно, так как вы сами вот этих и вон тех, которые выглядывают из-за шторы, ну, просто терпеть не можете! Нет, нет, не пытайтесь нервными руками вытянуть кол из плетня. Успокойтесь, всё будет хорошо. Ну, приблизила вас к психическому заболеванию западная жизнь, — это понятно, только зачем кинокамеру, как булавку, над головой вращать?

Поверьте, всё будет хорошо, потому что навстречу вам идут ваши настоящие друзья, они любят вас до сих пор! А как это проверишь, как в душу-то заглянешь? А очень просто. Когда они увидят, что две нижние пуговицы вашей рубашки расстёгнуты, и ваше волосатое брюхо, измученное ремнём, рванулось наружу, в своём законном стремлении оглядеть родные просторы, то они скажут радостно, любовно: «Раздобрел». А это слово по-иному, как любовно, и не выговаривается. Раздобрел — стал добрее, стал богаче. Раздобреть может только добрый, приятный человек. Разве мы ожидаем доброты от худых, тощих, больных, бедных? Нет. Это «раздобрел» распространяется на тонкую сферу души и на ваш абсолютный материальный волосатый животик, и на ваш кошелек. У раздобревшего человека кошелек пустым быть не может. У раздобревшего человека достаточно доброты, чтобы со старыми корешами, которые вы-

глядят и тощими, и бедными, опустошить этот кошелёк, а в конце последней прощальной гулянки заложить новый пустой ненужный чемодан и купить на всю братву хорошего местного портвейна.

И какое это будет прощание! Сколько будет приятных слов, дружеских суровых мужских рукопожатий. Как эти сорокалетние ребята, которые никогда не повзрослеют, будут клясться в вечной дружбе, обнимать ваши расправленные плечи, больно хлопать по спине. А самые ранимые и ослабевшие от двухнедельного празднества, будут лезть целоваться, плакать и просить оставить что-нибудь на память. И все, кто ещё будет способен осознавать происходящее, кто не отошёл по малой нужде за деревянную сараюшку автовокзала, кто не задремал у подножия одинокого тополя рядом с кассой, все они будут настойчиво талдычить: «Витька, дай слово!» И ты дашь верное слово товарища ещё и ещё раз приехать сюда, ведь только тут тебя так любят и всегда ждут.

1999 г.

КОЛЬ НА РУССКОМ ПИСАЛ...

Я наличники ладил резные,
Свой, особый, узор вырезал.
Не писал я стихов для России,
Но любил её, коли писал.

Я не плакал,
прижавшись к берёзам,
Молотком по стамеске — тук-тук.
Проливал свои пьяные слёзы
Непутёвый старинный мой друг.

Буду бит или изгнан с позором,
«Был он кто?» —
станут все вопрошать,
Мне хотелось особым узором
Окна русских домов украшать.

Собирал свежих досок обрезки
И славянский заучивал слог,
А с собою таскал я стамески,
Как алкаш под полой — бутылёк.

Вам наличники ладил резные,
Хоть и всё наперёд уже знал.
«Ты любил меня?» — спросит Россия,
Да любил, коль на русском писал.

Мастерил я с утра до заката:
Вот — узор, вот — корявый куплет.
Но боялся спросить: «А сама-то,
Ты любила меня или нет?»

ПИСЬМО ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО

Ну как там за кордоном,
Женя, Жень?
Теперь туда все едут за туманом,
А в Забайкалье всё короче день,
И темень наступает рано-рано.

А за Байкалом длинная зима,
Умеют там солить капусту с чувством, —
Поэзии тяжёлые тома
Кладут, как гнёт, на белую капусту.

И выгоняет этот гнёт рассол,
В нём плавают моркови красной дольки,
Ну, а стихи, хоть даже гость зашёл,
Не растревожат никого нисколько.

Ну, как там в Оклахоме этой,
Жень?
Бывают холода?
Иль чаще жарко?
Поэзия — это такая хрень,
Доступная врачу и санитарке.

А в Забайкалье режут поросят,
Потом бычкам вставляют дуло в ухо.
И крестятся старухи: «Боже, свят!»
Когда в ноутбуке познают порнуху.

Нам стало, Женя, легче во сто крат —
У нас есть фронт и есть своя платформа,
И, как всегда, никто не виноват,
И нас ведут,
и мы идём покорно.

Ты надевал фуражку набекрень,
Плевал на зависть и на пересуды,
Поэзия, она — такая хрень,
Пусть не запомнят нас, поэтов, люди.

Вот статья бы напоследок нам, как все,
Представь такую чудную картинку:
Копаеть ты шесть соток по весне,
Я на подворье приколот подсвинка.

Не надо напоследок толковать,
Пытаясь разобраться в этой хрени,
Уж лучше нам капусту шинковать,
А сверху — груз лирических творений.

2014 г.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ Е. ЕВТУШЕНКО В ПОЛИТЕХ. МУЗЕЕ

1

Порты хлопчатые, рубашечка,
Любитель массовых затей,
Здесь зажигает старикашечка,
Из красно-прошлого ди-джей.
В руке уже трясётся чашечка,
Но всё ещё упряма кадья,
Хоть знает этот старикашечка —
Стране его пришёл кердык.

2

Картошку жарил он на сале,
Над антологией корпел,
Он зажигает тех, кто в зале,
Тех, кто давно перегорел.
Играет всё ещё мессию,
Борца с неистребимым злом,
И любит он свою Россию
На расстоянии большом.
А быть могло всё по-иному.
А как? Не знаю — мой ответ.
Забрал с собой он в Оклахому
«Казанский университет».
Я преступление раскрою:
Забрал, забрал — всё задарма!
По карте проведу рукою,
Ну, где же «Станция Зима»?

3

Как только власть кулак разжала,
Россия из России убежала.

4

Поэзия, Ваше Величество, —
«Крыша» для клоунов и для повес,

Свет погаснет в Политехническом,
Значит, выкрали «Братскую ГЭС».
На рубахе каёмочка узкая,
На эстрадах попсовая рать.
Постаревшая классика русская
Хочет что-то ещё прокричать.
В странной роли она иностранца,
Хоть на русском ещё говорит.
Диктатура гламура и глянца
«Неправду» не сотворит.

5

А поэт, со страную ветшая,
Передал только чашечке дрожь,
Потому что неправда большая,
Заменяла великую ложь.

2011 г.

Светлана ФЕЛЬДЕ



Окончила Казахский госуниверситет в г. Алма-Ата по специальности журналистика, работала журналистом в различных средствах массовой информации. В Германии — с 1999 г. Автор четырех сборников рассказов, редактор альманаха «Пилигрим», редактор нескольких литальманахов на русском языке. В 2005г — премия межд. литконкурса в Греции, первое место в номинации «малая проза». 2010 г. — диплом литконкурса «Легкое дыхание» за координацию работы жюри конкурса. Пенза-2011 — лауреат премии журнала «Сура» в номинации «проза»; Москва-2011 — литпремия им. Чехова за вклад в русскую литературу; Германия-2013 г. — первое место за кн. «Прощай, Гертруда!» (номинация «малая проза») в Межд. литконкурсе.

НАТУРЩИК

Семнадцатилетние первокурсницы художественной академии первые три или четыре занятия отводили в сторону глаза и густо краснели, им было неловко смотреть на голого Виктора Андреевича.

Виктор Андреевич же совершенно не смущался ни своего слегка заплывшего жирком тела, ни других частей — рабочий момент, не более того.

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что тело заплыло жирком самую малость. Да и то за последние полгода спокойной жизни и работы в академии, а до этого вломившаяся в маленькое подсобное помещение замректора одинокая Инесса Марковна просто остолбенела от увиденного совершенства.

Вообще-то Инесса Марковна искала веник — разбилась чашка кофейная.

Вместо веников обнаружили кровать, шкаф, стол, стул, радио и мужчина — в чем мать родила. Он аккуратно развешивал на батарее трусы и носки. Неспешно повернулся на звук открывшейся двери. Инесса Марковна никак не могла разобраться, что привело ее в остолбенение: носки на батарее или прекрасное тренированное тело незнакомого субъекта. Сорокапятилетняя старая дева уже давно не видела обнаженку.

— Вы кто? — просипела она.

Субъект, не смутившись, ответил:

— Я? Да Виктор Петрович я, меня ваш ректор, Андрей Иванович, на работу принял. Я тут у вас и сантехник, и завхоз, и электрик. Все могу.

...Андрей Иванович наколдовал Инессе Марковне чашечку чая и подтвердил законность пребывания субъекта в подсобном помещении.

— Но почему он ...голый? — снова просипела замректора.

— Понимаете... ему негде жить, так что я выделил это помещение, все равно там только старые холсты и всякая рухлядь валялась. Ну, а голый... скажу, чтобы двери закрывал, если голый.

— Где вы его откопали? — спросила Инесса.

Ректор засмеялся и открыл коробку с бельгийскими конфетами.

Инесса Марковна постепенно пришла в себя, и после второй чашки отличного китайского чая в ней заговорил художник.

— Андрей Иванович... нам натурщик нужен, может, завхоз согласится до обеда позировать? Фактура проходящая. Ну, поднимем ему немного зарплату...

В общем, так все и устроилось. С утра Виктор Андреевич изображал рубящего саблей всадника, бегуна на старте или финише, отпускающего тетиву лучника, напрягая все мышечные и душевные силы для хорошего результата. Старательные первокурсницы потели над точностью передачи движения и напряжения.

Больше всего нравилась новому завхозу поза мыслителя. Он даже выпросил у Маши, хорошей девочки из хорошей семьи, неудачный набросок, купил рамку на барахолке, и повесил над своей кроватью в подсобном помещении.

После обеда натурщик занимался разными хозяйственными делами академии, их было полным-полно: хорошего завхоза и электрика ректор не мог найти уже много месяцев. Уважающий себя мужик не пойдет в завхозы за пять тысяч, а от алкашей толку никакого.

В пятницу вечером натурщик исчезал неизвестно куда, возвращался очень поздно в воскресенье, довольный и утомленный.

Уборщицы сплетничали: у натурщика точно женщина завелась, ибо в шкафу появились хорошие простыни и добротные полотенца, а также дорогой парфюм. Студентки хвалили этот изысканный аромат. Горьковатые нотки — как раз то, что нужно.

Инесса Марковна, в штыки воспринимавшая всех прежних завхозов, никаких претензий к Виктору Андреевичу не имела. Вообще складывалось ощущение, что она в последнее время всем на свете довольна.

Чего только не случится со старой девой, если у нее мужчина заведется. А завелся однозначно, решили всё те же уборщицы. Вы только гляньте, как расцвела, и не цепляется больше, а раньше все не так было: и пыль на полках осталась, и ковер плохо пропылесосили. Уборщицы, они всегда знают столько же, сколько следователь. Нюх у них просто, вы мне поверьте.

Зимой в академии выставка была — там и наброски Маши оказались, замректора поспособствовала.

Самого удачного мыслителя купил неопрятный и очень богатый меценат из Пскова, говорят, бывший мастер спорта по плаванию. А так и не скажешь.

— Хорош натурщик, хорош. Вам не кажется, что он чем-то похож на спортсмена Виктора Афанасьева, помните, такой был, много золота взял, — спросил меценат Инессу на банкете, — мы как-то вместе во Франции были, про него давно уже ничего не слышно, куда делся, неизвестно, говорят, жена его обчистила до нитки, а может, просто сплетни...

— Извините, — вежливо улыбнулась Инесса, — я человек далекий от спорта. Но с натурщиком нам повезло, тут вы правы, просто фантастически повезло...

МОНСЕНЬЕР БЛАНШ И КАРТИНА

Никто не знает, откуда и когда именно монсеньер Бланш появился в греческом Ретимноне. Просто вчера его еще не было, а сегодня — рраз! и был.

Небольшого роста мужчина со смуглой кожей внезапно поселился на одной из узких улочек города, построенных венецианцами.

Среди многих, похожих друг на друга, прилепился к стенам соседнего и его маленький домик-квартира из трех комнат, до этого пустовавший много лет.

Соседи понятия не имели, где работал монсеньер Бланш, чем занимался в свободное время, ибо, не взирая на улычивость и приветливые полупоклоны, монсеньер ни с кем не общался. Не ходил в гости пить чай, не обсуждал погоду и футбол, он умудрялся жить отшельником на многолюдной улице, где все и все друг о друге знали.

Что он называет себя именно так — монсеньер Бланш — соседи некогда выведали у владельца кафе, где каждое утро лет тридцать подряд смуглый господин заказывал две чашки черного кофе и булочку с сыром. Кусочек булочки и сыра в конце завтрака получал неизменный спутник монсеньера — невероятно рыжий кот с зелеными глазами. Коты, понятно, не живут тридцать лет, возможно, монсеньер тайком покупал новых, кто его знает. Всего можно ожидать от человека, носящего странную повязку на лбу, — свернутый вдвое черный платок с висюльками.

Квартирка-домик монсеньера, зажатый между другими домами, скрывал внутри дворика мандариновые и гранатовые деревья, старое оливковое дерево, а под ним скамейку. На ней монсеньер и кот отдыхали после долгих прогулок у крепости, много веков назад построенной венецианцами в греческом Ретимноне.

Крепость очень любили туристы. За ней открывается великолепный вид на море.

Оба дремали, мечтательно улыбаясь чему-то. Под вечер монсеньер шел на кухню и готовил фасоль с мясом или макароны с томатным соусом.

— Пошли, Мурзик, — говорил монсеньер рыжему коту. — Время ужинать.

Обед монсеньер и Мурзик пропускали, пожилым мужчинам ни к чему много есть. После ужина монсеньер садился в кресло, укрывался пледом и читал книгу. Кот лежал у его ног.

Домик монсеньера примыкал к древней полуразрушенной стене, на которой днем и ночью спали голуби. В стене давно зияла дыра, в нее можно было увидеть небольшое окно гостиной монсеньера, вечерами оно светилось уютным и оранжевым. Хотелось попроситься в гости, глядя на этот теплый свет. Но в гости к монсеньеру никто никогда не приходил. Ближайшая соседка Бланша, известная сплетница Анастазия, рассказывала, что много лет назад к нему неожиданно ранним утром приехала молодая и очень красивая девушка. В руках она несла нечто похожее на картину и маленький чемодан. Побыла

недолго, через пару дней таким же ранним утром Бланш отвез ее в Иераклион, в аэропорт. Ну, а куда еще, говорила Анастазия, не на лодке же она уплыла.

Никто не знал, сколько лет монсьеферу, никто не видел, когда он ходит в магазин за едой, и вообще за все годы он только несколько раз разговаривал с соседским рыжим мальчишкой Костой, Анастазия пыталась выудить из Косты, что говорил странный сосед, да что с пачана взять, балбес.

Монсьефер старел, а кот оставался прежним.

Естественно, однажды монсьефер умер. Счастливчик уснул на скамейке под оливковым деревом и не проснулся.

Владелец кафе через два дня позвонил в полицию — надо проверить, все ли в порядке, монсьефер никогда не пропускал свой утренний кофе.

Ставни заколотили, мэрия Ретимнона наверняка начала искать родственников и наследников, может, кто и обнаружится, у каждого есть хоть какая-то родня, но Анастазии, понятно, никто про это не расскажет, нет у нее знакомых в мэрии. Владелец кафе сообщил по секрету, не назвав источника информации, будто в доме монсьефера обнаружили одну из первых картин художника М. Ничего особенного, просто обычный кот, спящий на коленях у женщины в синем платье и красивом платке с висюльками. Небрежный набросок. Зато — оригинал.

Откуда у монсьефера оригинал, вот чудеса. Но все тайное рано или поздно становится явным, Анастазия в этом уверена.

Художник М., выходец из Одессы, приятный смуглый мужчина с рыжей шевелюрой, живет с красавицей женой в Нью-Йорке, он очень известен и богат, это знают все, даже Анастазия — недавно дети купили ей новый телевизор, Анастазия смотрит все передачи подряд. И никогда не пропускает вечерние новости. Будь Анастазия помоложе, устроилась бы на телевидение: новости — те же сплетни, если уж честно, а в этом она преуспела.

Анастазия хотела взять к себе кота монсьефера, пока не найдутся родственники, но он куда-то сбежал, просто испарился буквально.

Иногда Анастазия выносит стульчик на улицу, садится перед дверью своего дома, болтает с многочисленными знакомыми, заодно чистит фасоль, но на самом деле она ждет, что возле запертой калитки появится рыжий кот. Может, и голуби вернуться. Они тоже куда-то исчезли со стены, примыкающей к домику Бланша.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

В гимназии Володя учился хорошо, ни в чем порочащем замечен не был, вел себя прилично и ни с кем не дружил. Раздражали его все, хотя он и старался быть вежливым.

Мир полон идиотов — бесили тупые мальчишки, озабоченные подглядыванием за проститутками в публичном доме, бесили хихикающие девицы — они все думают, будто у мужчины других дел нет, кроме как желания заглянуть к ним под юбку. Скука зеленая...

А вот Надя — слегка лупоглазая и тихая девушка — ему даже вроде бы немножко нравилась. Одета так себе, причесана так себе, руки вечно в чернилах, но не трется словно ненароком грудью о сукно сюртука, и как слушать умеет, как слушать умеет!

Не то что маменька Мария Александровна, той бы все на своем настоять, всем на свете доказать, что она одна — истина и закон, злая, жесткая тетка, чего удивляться, что родному сыну за пять минут до смерти только и посоветовала — мужаться. Не обняла даже, не заплакала. Саму бы ее в то черное кресло навсегда усадить, куда детей усаживали, если не слушались они маменьку, дочь купца Бланка. Не любила, кстати, маменька, про папашу своего рассказывать. Русские мы, русские, так и знайте. Что за комплекс такой...

Ну, да Бог с ней. Про Наденьку вот. Володя вообще-то ни малейшего желания приближаться к девушкам не испытывал, ему хватило раз и навсегда — горничная только похихикала, когда он, шестнадцатилетний, потыкался под юбкой у нее и счастливо завсхлипывал через три минуты. Тьфу, недоразумение, плюнула наглая девка. Проститутки, конечно, молчали, им же деньги платят, но он видел — тоже презирают. Как и горничная та — Машка, что ли. Так и отхлестал бы по мордасам — как ее тогда. Или ножки повыкрутил. Как у лошадки.

А с Наденькой все иначе вышло — он у нее первый, и самый лучший, и самый умный. И самый прекрасный. Только скучно ему стало прям через пару недель — какая-то она, Наденька, все одно и потому. И платье старушечьи носит, и чулки вечно висят гармошкой. И слезливая, и ноги холодные, рыба какая-то...

Может, все же стоило за Аполлинарией Якубовой приударить, чего он тогда испугался отказа.

Чем бы, господи, заняться. Лишь бы вечерами с ней не сидеть...

И не разведешься. Намедни она ревела — и деток я не могу родить, теперь ты меня точно бросишь. Жалко как-то, что ли, черт его знает, не понять.

Не разведусь, пообещал он, но отдушина, отдушина мне нужна, не лезь, не мешай, пойду я, а ты суп учись варить, желудок уже болит от твоей стряпни. И пальто стал натягивать, и кепку нацепил.

А куда ты, Володюшка, повисла она на нем.

Да тут сегодня кружок, друзья зовут, обещают, будет интересно, что-то там про новую Россию, ты ложись спать без меня, не знаю, когда вернусь.

Вернулся и впрямь под утро, ах, как понравилось ему на вечерке-то этом. Никак уснуть не мог, чай все заваривал, думки думал. Как жизнь в России преобразовать, как счастье народу обеспечить. То ли дело занятие, а то сиди дома с женой и думай, чем на кусок хлеба заработать.

Завтра опять пойду.

Никакого покоя бедной Наденьке — и стряпню ее муж хает, и отворачивается в постели, не приласкает совсем. Теперь вот кружок этот, марксисты.

Правда, неожиданно приключение образовалось — марксисты решили Володю в Париж отправить, а то уже очень он активным стал, по их мнению. Пересидеть надо бы активность такую, угомониться.

Париж так Париж. Может, Володя на город этот прекрасный отвлечется, да и забудет про Россию-то. Далась ему эта Россия немытая и лапотная, сильно увлекся муженек-то всякими идеями, ночами не спит, все пишет чего-то, успокоить бы мужика как-то.

...Бойтесь желаний своих — не то сбудутся...

И увлекся Володенька парижской штучкой, Инессой, она уже и замужем два раза была, от родного мужа к его брату ушла — стыд и срам — это ж куда годится, и детей пятерых нарожала, а ему хоть бы что, все нипочем. И забыл про Россию. И свои идеи. Одна Инесса в голове. И это Володя-то, сроду ему женщины были не нужны, а тут как с цепи сорвался, видно, куртизанка какая-то Инесса эта, они, говорят, такое в постели вытворяют!..

И еще вдруг, представьте, оказался Володя таким же ловким, как дед его купец Бланк, открыл свою маленькую типографию — у Инессы немного денег еще от ее текстильного магната-мужа осталось, а потом как развернулся, как пошел в гору, стал новых талантливых поэтов и писателей выискивать, книги их печатать. Прибыльное дело...

Однажды по минутной слабости какой-то чуть не согласился Володенька в типографии своей листовки с призывами напечатать — старый дружок из дружка марксистского попросил.

Дружок Иван решил в России революцию замутить, вся власть народу, так сказать. Но слаб оказался, не потянул он это дело.

Да и к лучшему, как говорится.

Иван удивлялся потом, на старости лет, покупая тортики жене Наденьке, как же это все так повернулось — кто бы мог подумать, что и Польша, и Финляндия к русской державе отойдут, и Австрия с Германией такой кусок своей территории России уступят! А он, Иван, навивно думал — избавлять нужно народ от царской семьи, гнать всех этих интеллигентов в шею.

Какое счастье для всех — великий князь Михаил Александрович согласился тогда взойти на трон. Не согласись он, неизвестно, чем бы дело кончилось. Всякие версии у умников есть, читали, слышали.

И ему, Ивану счастье — по просьбе загулявшего с француженкой дружка поехал он встречать брошенную жену на вокзал, ну, чтобы на квартирку устроить-то несчастную. И как увидел на вокзале Наденьку, так и погиб. Понял сразу: это и есть его предназначение — Наденьку оберегать.

И хорошо, что Инесса запретила мужу листовки печатать.

Иван и сам уже не хотел. Какая там революция?! Столько хлопот — оно ему надо?..

КОФЕ

Я хорошо помню этот запах с детства. Родители варили кофе только по воскресеньям. В нашем небольшом городке его было не достать, но папин пациент имел какие-то связи с Турцией, он-то и пода-

рил родителям весь кофейный антураж: турку, кофейник, ложечки, специи, а перед Новым годом привозил килограмма два прекрасного молотого кофе.

В воскресенье утром я босиком и в пижаме бежала на кухню, садилась на стул и наблюдала за колдовством папы, вдыхая пряный и волнующий аромат.

Мне наливали какао. Детям кофе нельзя: папа-медик был строг. Впрочем, время от времени он баловал меня: смачивал в кофе кусочек сахара.

Я быстро съедала его, мечтая стать взрослой и пить кофе без ограничений.

В советское время растворимый кофе можно было достать только по большому благу, но папа не уважал растворимый. «Бурда», — вынес он вердикт, попробовав у главного врача в гостях кофе под странным названием «Пеле».

Потом мы посмотрели фильм «Семнадцать мгновений весны», поняли, что кофе нужно запивать стаканом холодной воды, а на даче у соседей, несколько раз побывавших в Болгарии и Польше, — крутизна! — даже мне и малолетней сестре папа разрешил выпить малюсенькую чашечку кофе, сваренного в песке. У крутого соседа имелся какой-то чудесный электрический лоток, в нем — четыре маленькие турки и песок, который покрывал турочки до середины. Лоток нагревался спиралью снизу, тепло передавалось песку, а песок нагревал турочки. Кофе был просто волшебным.

Но мы любили и нашу турку, кофе в ней по-прежнему оставался вкусным, а после окончания университета мне можно было уже и не спрашивать разрешения родителей.

В Германии за несколько лет я перепробовала разные кофейные машины и аппараты. Год назад чашка кофе из агрегата «Дольче кусто» показалась мне пресной и невкусной.

Девушка, кажется, вы зажрались, сказала я сама себе, покупая в магазине бытовых приборов турку, отдаленно похожую на ту, что некогда нам привезли из Турции.

По утрам босиком и в пижаме я иду на кухню, наливаю себе чашку кофе, опускаю в него кусочек сахара...

СКАЗКА ПРО ОДНОНОГОГО СОЛДАТИКА

Анна Мари ненавидела остров, на котором жила. Ненавидела она и город Оденсе. Впрочем, остров Фюн, как и город, сам по себе был неплох, но вот та часть его, где жила Анна Мари, ничего хорошего молодой девушке не сулила.

Каждое утро она отправлялась на центральную городскую площадь и бродила по ней до сумерек, выпрашивая гроши у зажиточных прохожих.

Иногда ей перепадала работа в доме аптекаря или булочника: жены фармацевта и хлебопека отличались невероятной толщиной и

еще более невероятной ленью. Неповоротливые обжоры ненавидели стирку и уборку, благодаря им Анна Мари могла заработать куда больше за пару дней, чем за месяц попрошайничества.

Стирая необъятные трусы жены аптекаря, хрупкая и очень красивая Анна Мари мечтала о чудесной встрече на площади Оденсе — например, какой-нибудь молодой граф разглядит под лохмотьями ее очарование и прелесть, и проникнется такой любовью, что пойдет против воли родителей и женится на ней.

О таких вот невероятных сказочных событиях она мечтала всегда. Мечтала и в день похорон графа Трампе. Ей удалось увидеть поверх голов зевак, стоявших плотными рядами, на помосте из хороших досок шикарный гроб, обитый черным дорогим сукном. У гроба рыдали дочь и жена. Чего рыдать, думала Анна Мари, им попрошайничать не нужно, горя не знают. Граф, конечно, странный, взял и свел счеты с жизнью. А ведь жил как хотел — от скуки и безделья даже театр в городе организовал.

Анна Мари обожала сочинять всякие истории, поэтому сама придумала причину самоубийства Адама Трампе. Граф — сплетни жены аптекаря — похаживал к недавно поселившейся в Оденсе гадалке, все про судьбу свою хотел узнать.

И не будь та молодой, красивой, рыжеволосой и зеленоглазой, поверила бы Мари в байки про гадания. Наверняка граф влюбился без памяти в гадалку, а развестись с женой нельзя, вот он и наложил на себя руки.

Гадалка — вот странно — стояла недалеко от Анны Мари. Лицо у нее было грустным и вроде бы даже заплаканным.

Словно специально встретила она мне тут, пойду спрошу, сколько берет за гадание, решила прачка, и, протискиваясь сквозь толпу, наступила на ногу в потрепанном, но добротном сделанном башмаке.

«Я бы рассердился, — весело сказал «башмак», — но уж очень ты хорошенькая». Анна Мари рассмеялась и стала разглядывать весельчака. «Красивый, уж точно красивее короля Христиана», — почему-то подумала Анна Мари. Впрочем, ничего удивительного, что подумала, — буквально вчера жена местного священника предложила Мари поработать неделю в прачечной короля, вместо ее племянницы, — та обварила кипятком руку. Просто неслыханная удача для Анны Мари, уже послезавтра на повозке жены священника поедет она во дворец, в Копенгаген. Жена священника, болтушка страшная, как и ее племянница, — та однажды видела короля, говорит, внешностью не вышел, но очень обходителен, особенно с дамами.

Об этом зачем-то девушка рассказала молодому мастеру-башмачнику, которому наступила на ногу. «Не во дворец, — рассмеялся он, — а в прачечную». «Но прачечная же во дворце», — рассердилась Анна Мари. Хотя, если честно, рассердилась совсем немного, этот статный и красивый башмачник, сын ненормального Андерсена, который бродит по городу с вырезанными из дерева фигурками и рассказывает про них какие-то нелепые сказки, очень ей понравился.

Одну сказку Анна Мари хорошо запомнила — про одноногого солдата, убиравшего в театре мусор и влюбившегося в балерину. Красивая и грустная сказка, совсем не для детей такие сказки.

— Хочешь, — спросил башмачник, — выпьем пива из желудей, найдем в трактир к Себастьяну...

В трактире за соседним столиком сидела рыжеволосая гадалка.

Анна Мари, осмелев от пива и нежных взглядов башмачника, подошла к ее столику.

— Погадаешь мне на судьбу? — спросила она.

Гадалка внимательно посмотрела на нее.

— Приходи завтра, — сказала она, — денег не надо.

— Как это не надо? — удивилась Мари, — но чем-то же нужно заплатить.

Гадалка засмеялась, кивнула в сторону башмачника:

— Пусть возьмет у отца фигурку одноногого солдата, этим и заплатишь.

...Через сутки, трясясь в повозке, Анна Мари все удивлялась, как люди могут верить рассказам всяких гадалок. Рыжеволосая любовница графа-самоубийцы совершенно серьезно поведала ей о том, что из досок помоста башмачник соорудит брачную кровать, что замуж надо выходить за него, да и как можно скорее после возвращения из Копенгагена, а то вопросы пойдут, что в кровати этой родится мальчик, который прославит всю Данию, и в Копенгагене ему поставят памятник, и музей откроют.

«Чушь какая-то, бред натуральный, — думала Анна Мари, — еще рассказала бы мне, что комод из ее комнаты в музей возьмут, а на него солдатика — как историческую ценность».

Хорошо, что денег не заплатила. А одноногий солдатик от отца-башмачника — так грош цена этой игрушке.

Гадалка же завернула солдатика в красивую тряпочку и убрала в комод, загадочно улыбаясь.

Мария ШЕФНЕР

Родилась в Казахстане в семье высланных с Кавказа рос. немцев. В Германии с 1998 г. Автор стихов и прозы на рус. и нем. языках. Переводит с рус. на нем. язык. Член Литобщества немцев из России и Содружества русскоязычных писателей Германии. Книги: «Високосный год», серия: Русское зарубежье, изд-во «Алетейя», «За колкой остюю», серия: «Русский стиль зарубежья», изд-во «Unsere Welt». Публикуется в немецкой и русской периодике. Живёт в Мюнхене.



ЗАКОН ВЕЧНОСТИ

...А где-то падал желтый лист,
Встревожив тишину страниц
Осенней книги.
В ней стихи
Из знаков были сложены,
Напоминавших странных птиц
Замысловатые следы.

Тот сад случайно посетив,
Исчезли птицы.
Крыльев звон,
Рассыпавшись, упал дождем,
С опавших листьев смысл следы —
И дни вдруг стали коротки,
А ночи — донельзя длинные,
Но удивительно светлы.

Извечен тот круговорот:
Пушистый снег —
Прозрачный лед —
Зеленый дождь —
Густая рожь —
И журавлиных крыльев дрожь.

Но только тем наш мир богат,
Что каждый, свой взлелеяв сад,
Ему отдав тепло души,
Не пропадет, уснув в тиши.

Из века в век,
Из года в год
Лишь то, что отдано —
Живет.

БОРОЗДА

Кто-то рядом с дорогой накатанной
Проложил и свою борозду.
Здесь загадка какая-то спрятана.
Я разгадки никак не найду.

То ль в тумане густом ночью темною
Он пути разглядеть не успел,
То ли наглого сильного врага
Обойти стороною хотел,

То ли, думой своей озабоченный,
Не заметил, что сбился с пути,
И пропал, маятой замороченный,
Подле общей дороги почти?

Так и я, пробираясь сугробами,
Часто слышу то звон голосов,
То расшаркивание подошвами,
То машин проезжающих рев.

Снова кажется — истина рядышком,
Через шаг будет легче и мне,
Будет путь и прямой, и накатанный,
И не век мне скитаться во мгле.

Но очнись — ни пути, ни прохожего.
И опять бездорожьем бреду.
Кроме этой дороги нехоженой,
Видно, тропки уже не найду.

* * *

Что, брат, не ждал ты моего визита?
Жил, как умел, работал, сколько мог...
Твоей сестры, успешно позабытой,
Ты и пускать не думал на порог.

И вот я здесь, живая и родная.
И удивленно смотрят сыновья,
Как я чужого дядю обнимаю,
Похожего на них и на меня.

Они немного в нашей речи смыслят.
Бывает, что и я споткнусь подчас.
Мы много повидали в этой жизни,
И, как ни больно мне от этой мысли —
В чужих краях другой язык нас спас.

Мы наконец вернулись, чтоб остаться.
Мы так давно уже рвались домой!
Ну сколько можно по Земле скитаться,
Такой огромной и такой чужой.

Не потому, что небо там с овчинку,
Или зима длиннее и лютей,
А просто — жить нельзя наполовинку
Между чужих раздоров и страстей.

Мы много привезли с собой чужого.
Не знаю, потому иль вопреки,
Но оказалась странно незнакомой
Страна, которую всегда мы звали домом.
Вот и пойми, насколько мы близки...

О многом нам поговорить придется.
В тебе опору и семью ищу.
Так чем же твое сердце отзовется,
Когда в него я нынче постучу?

* * *

А может, не совсем неправ был предок,
Когда увел отсюда всю семью,
И, не взглянув на дом свой напоследок,
Решил в чужих краях искать судьбу?

А может, впрямь мне велики штиблеты,
Напрасно я противлюсь праотцу,
Пытаясь, невзирая на советы,
Вернуть домой заблудшую овцу?

Нельзя войти два раза в ту же воду,
И мир не тот, и времена не те.
Так родственны ль мы этому народу,
Который им родиться не хотел?

Мои мечты и взгляды иллюзорны,
И мне любой доказывать готов,
Что немцем быть в Германии зазорней,
Чем Буратино в поле дураков.

Что ждет мою семью, мои истоки?
Опять нас разметет событий вихрь?
Разделят расстояния и сроки,
Кого пока режим не разделил.

Каким ветрам в игру и надруганье
Достанется мой недостойный прах?
Какой судья над чашей мирозданья
Рассудит, кто был более неправ?

ИНЦИДЕНТ В ПАРИЖЕ

«Вы, мадам, по-русски говорите?
Я заметил Вас издалека.
Не в акценте дело! Извините,
Но не проведёте земляка!

Я простой советский перебежчик
И давно живу без багажа,
Но я знаю — лишь у русских женщин
Есть такие грустные глаза.

Вы меня, конечно, извините,
Но я вижу — Вы из тех времен,
Где мы были проще и открытей,
И не знали счастья своего.

Тут в меня не плюнул только дохлый,
Лишь немой дерьмом не обозвал.
Здесь я научился быть не рохлей,
Но не нарывать на скандал...

Что уж там! Судьбой я не обижен,
Выживу и здесь любой ценой.
Подметаю улицы Парижа
И горжусь заслуженно собой.

Может, Вы обычная туристка,
Только выраженье Ваших глаз
Мне напоминает очень близко —
Что-то было раньше общим в нас.

Вы мою назойливость простите...
Нет, я знаю, Вы смогли понять...
Вашу ручку чмокнуть разрешите
(Как-то пошло даме руку жать).

Наши имена забыли дома
И не могут выговорить здесь.
Нам остаться лучше незнакомым.
Я и сам не верю, что я есть...»

Он исчез, и спазмы его чакр,
Ритм лихорадочных речей
Равнодушно растворил Монмартр,
Так давно уставший от страстей...

СВИРЕЛЬ

Однажды тусклою зимой
На переполненном вокзале
Мы неожиданно с тобой
Пастушью дудку услышали.

Кругом царила суета,
Многоголосье диалектов,
Но тут прислушалась толпа —
Угрозы в этих звуках нет ли?

Свирель заполнила вокзал,
Запахло молоком и лугом,
И что-то весело сказал
Прохожий юноша подруге.

Я улыбнулась им в ответ —
Мы вчетвером уже смеялись,
И посветлел весь белый свет,
И тучи в небе растерялись.

Как мы забыли про весну!
Как недоверчивы мы стали!
Да это ж Лель пришел взглянуть,
Насколько мы его не ждали!

* * *

Меня судьба все бьет за честности обет,
и чем компактней группируюсь, тем стервее.
Устал хранитель мой, и, видимо, сильнее
все так же дьявол в этой яростной борьбе.

Не отдохнуть ли нам, мой ангел, от забот,
Восславив кротко воспаленными устами
Края, где молоко рекой течет
Кисельными хранимо берегами?

Почистить перышки — ты помнишь, что крылат? —
Перенестись в страну талантов многогранных...
Зачем нам этот беспросветный ад
С амбициями злых и бесталанных!

А дьявол — пусть его царит в своём аду,
Цветами зла свою корону украшая.
Хранитель мой! Ты позабыл дорогу к раю?
Тогда сама тебя я поведу!

ЧАША

Не знаю, кем мой жребий мне назначен.
Наверное, он мудр и справедлив.
И если не могу я жить иначе —
Теплей кому-нибудь от слез моих.

И я не вижу в этом наказанья.
Ведь каждому — свое питье и злак.
Быть может, это высшее признание
И милости божественнейшей знак.

Еще не вся испита чаша яда.
Я из нее ни капли не пролью.
И если нету мне другой награды,
Я этой
никому не уступлю.

* * *

Тебя не укорю ни взглядом и ни звуком.
Придет весна, растает серебро.
Боль расставанья не становится наукой —
Из века платят болью за добро.

Как беден мир! Как мало в мире света!
Как жаль дитя, что вырастет во тьме
И не отыщет на вопрос ответа,
За что ему темнее, чем тебе!

Забыта связь орбит и ипостасей,
И мы, своих не ведая грехов,
Все гасим солнце,
квант за квантом гасим,
Растапывая верность и любовь.

* * *

Перипетии перепетые,
Причины комплексных расстройств
Не сдерживаемы запретами
Стандартных свойств.

Фантазиями подогретые,
Растут, в сомненьях дребезжа,
Оплошности, слушки, поветрия —
Как на дрожжах.

Их тривиальностью затравлены,
Смахнем слезу скупую, друг,
И запахни сольцой приправленный
Худой сюртук...

* * *

Я ловлю трепетание ветра
В крыльях бабочки-однодневки
В миг, когда выпадает роса.
Солнце встанет вот-вот,
розовеет заря...
Вот отвага и мудрость!
Проснуться
И кружево крыльев расправить,
Непременно увидеть зарю!
И летать меж протянутых рук
И смеющихся лиц,
Танцевать на лучах
Восходящего солнца
Неустанно, легко...
Целый день.
Только день!
И единственный шанс
Подарить незнакомым глазам
Необычный орнамент на крыльях,
Ароматы лугов
И свежайшие капли росы.
И уйти.
Незаметно уйти,
Когда губы устали смеяться,
И глаза прикрывает прозрачным крылом
Милосердная ночь.
Навсегда.

Отдохни.
Завтра
ветер подхватит другую.

* * *

Удел поэта — одиночество,
Больной и беспокойный сон.
Всевышний нам свои пророчества
Нашептывает редко днем.

В кругу здоровых трезвых граждан
Теряем почву и язык.
Шумы в мозгу и в горле спазмы
Поэт превозмогать привык.

При свете солнца слепо шуримся
И глохнем в грохоте метро.
О философский камень улицей
Увы, споткнуться не дано.

Воздействие дневного света
Изучено не до конца,
В особенности на поэта
И на Творца.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Осень тихонько играет на скрипке,
Очень боясь сфальшивить.
Плавится в мареве воздух, так зыбко
Вздрагивает и стынет.
Все еще душно, и сердце сжимает
Не позабытый стон.
Но уплывает, и блекнет, и тает
Осень со всех сторон.

Где-то на дне ручейка утопает
Перышко синей птицы.
Белый безвременник яд набирает,
Чтоб от зимы защититься.
Жилки на листьях затвердевают,
И, подпалив края,
Музыка листья перебирает
Четками сентября.

ТАПЕР

Я все забуду. Боль уйдет бесследно,
И в сердце снова воцарится мир.
Тапер присядет, тихий, незаметный,
За дребезжащий старенький клавир.

К моим стихам угрюмым, непевучим
Он наиграет что-нибудь свое,
И бормоча «Какой тяжелый случай!»,
Глаз не поднимет на лицо мое.

Его хозяйка побранит уныло,
Что снова пьян, и ритма не блюдет,
Но слов ее скрипучих и постылых
Он снова не расслышит, не поймет.

Как сотни лет назад, он, невесомый,
Не смея ни вздыхать, ни вспоминать,
Весь в паутину серую закован,
Лишь будет плакать. Плакать и играть.

Последний звук под пальцами сухими
Замрет, запутавшись в его седых кудрях,
Терзания души утихомирят
И растворится где-то в небесах.

МИРАЖИ УСТЮРТА

Миражи, миражи... Сколько раз, вас встречая в пустыне,
Я бежала от вас, чуя в призрачном чуде беду!
Отчего же меня не оставили вы и поныне,
Почему я упрямо и долго вас все еще жду?
Ведь, казалось бы, все уже ясно в теории света,
Преломленьи лучей и коварстве воздушных слоев,
Мне уже и бархана поющего песенка спета,
И шипун в мои уши каких не шипел уже слов!
Мне бы пальм, опухал от Востока хотеть, да уюта,
Океан бирюзовый и виллу бы на берегу,
Но когда распускаются маки на чинках Устюрта, —
Знаю, что миражи, а восторга унять не могу!

КАПЕЛЬ

У жизни мы только в гостях.
Нальют ли еще под сурдинку?
Стремительно тают в горстях
Минуты, как острые льдинки.
Сожмешь — обожгут до крови,
Отпустишь — развеет ветрами,
Подышишь в ладони — звенит
Капелью: «Бог с вами!»
Бог с вами...

Агнес ГОССЕН-ГИЗБРЕХТ



Родилась в 1953 г. на Южном Урале. Окончила Оренбургский пединститут. В 1978 г. переехала на Северный Кавказ, где получила библиотечное и журналистское образование. Работала учительницей русского языка, библиотекарем, журналисткой. Публиковалась в германских антологиях и в переселенческой периодике. Пишет на русском и немецком языках. В 1995г инициировала создание Боннского лит.объединения, бессменным председателем которого была 12 лет. Живёт в Бонне.

* * *

Полям, лоскутным одеялом,
Земля была накрыта,
А тень от самолета все бежала,
Туда, где не забыт ты.

Сидишь со мной на берегу
На валуне у моря...
Зачем мгновенья эти берегу
С судьбою споря?

Зачем твой голос норовит
Свести меня с ума,
А сердце ноет и болит.
Бессонница и тьма.

ПРОСТУПИЛИ ТЕНИ

Деревьев на рассвете
В этот день осенний
За окном, как сети,
И луна, как рыбка,
В них повисла прочно.
Я твою улыбку
Вижу этой ночью,
Если ты проснешься
В этот ранний час,
Вздыхнешь
и улыбнешься,
помолясь за нас.
А деревьев руки
Тянутся к стеклу,
Как ты после разлуки
К моему теплу...

* * *

Над бухтой
вечера крыло
простерлось.
Небес и моря грань
почти что стерлась.
И к берегу волна ползет
совсем лениво,
И камни по ночам грустят
о ней ревниво.
А я сижу на берегу
так одиноко.
Мой скоро силуэт
вберет в себя
ночное око.

* * *

Время длинных темных теней
На опустевших пляжах.
Кто-то ждет уже много дней
У моря корабль с экипажем.
Ветер играет с одеждой,
Кто-то с моря не сводит глаз.
Мне знакома эта надежда,
Одиночества судный час.
У него очень длинная тень —
Когда-то вдвоем на пляже,
Смеясь, провожали мы день,
О разлуках не думая даже.
Время длинных ночных теней
На опустевшем пляже.
Море все темней и темней...
Где ты, мой рыцарь отважный?

ПУТЕШЕСТВИЯ

Вы считаете,
что в России, к примеру,
вечно царит зима?
Что там в чуда все верят
и слезам поверит Москва?
Вы считаете, что в Германии —
богатейшей в мире стране —
Экономического чуда дыхание
Не дает прозябать в нужде?
Всех вокзалов ночных тоска
Мне знакома давным-давно,
Как прощаясь, дрожит рука,

И так пусто в душе и темно.
Все мы в вечном поиске счастья
Или ищем свое лишь Я?
Но только дома участие
Мы можем познать — и себя...

* * *

ь
Щемящее чувство утраты
того, что еще не нашла,
и как не раскладывая карты —
в природе и сердце — зима.
И нежность пушистого снега
веселую будит печаль
о ласках, о счастье, о неге,
что сбыться не могут,
а жаль...

ЗОЛОТАЯ ПОРА

По отмытым дождем
Посветлевшим аллеям
Я и осень бредем,
О чем-то жалея...
О былой красоте,
О поблекших нарядах,
Что встречаешь не тех,
Кто должен быть рядом.

Золотая пора
Отболевших желаний.
Нет у ноября,
Ни тепла, ни признаний.
Это месяц дождей
И печали туманной
Среди призрачных дней
И нежности странной...

По отмытым дождем
Посветлевшим аллеям
Я и осень бредем,
Ни о чем не жалея...
Золотая пора
Отболевших желаний
Нет у ноября
Ни тепла, ни признаний.

* * *

Переписать бы заново
Свои черновики.

Перелопатить залежи
Из страсти и тоски.
Душой опять коснуться
Того, чем я жила.
Взгрустнуть и улыбнуться —
Вот маета была...
Переписать бы начисто
Всей жизни вновь страницы...
Что могло бы значить то —
Еще разок родиться!
То жизнь была б другая —
Не с прежним моим Я.
А вдруг да не признают
Старые друзья...
И кто мне даст гарантию,
Что стану я мудрей,
Что под словесной мантией
Душа моя видней...
Как без шальных ошибок?
Как без вас, друзья?
Без своих ошибок
Я — уже не я...

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Поэт, тебя я с детства знаю,
в стихах твоих витала, как в мирах.
Ты — первая гроза в начале мая,
и осени ты — дивная пора.

Ты пробуждал и ум, и чувства,
твой дух пророческий витал
в мирах иных задумчиво и грустно,
и взглядом Землю обнимал.

Как много дней хрустальных
ты подарил и лучезарных вечеров,
и тишину истоков, и печальных
на склоне жизни мудрых слов.

Росли в душе тех слов побегу,
восторг и крылья за спиной,
дух творчества, сомнений, неги
и звезд мерцанье надо мной,

и я — песчинка в этом мире...
Я выросла, купаясь в них. Душа
рвалась в те выси из квартиры
и пела, распускаясь не спеша.

2.05.2019

Курт ГЕЙН



Родился 9.05.35 г. в с. Ягодное Краснокутского кантона АССР НП. Работал токарем, комбайнёром, учителем рисования и черчения. Заочно окончил художественно-графический факультет Омского пединститута и до переезда в Германию в 1992 г. преподавал в художественной школе с. Подсосново. Печатался в ж. «Крещатик», «Пилигрим», «Свет в степи» (Калмыкия), «Дальний восток», «Культура» (Омск). В 2005 г. издал книгу «Рассказы», в 2010 — «Рикошеты пятого пункта». В 2013 г. в книге «Dort damals» рассказы вышли на немецком языке.

МОЙ ТЁЗКА КУРТ РЯЗАНЦЕВ

Спрыгнув с попутки на колдобистый просёлок, я зашагал по выгоревшей степи к жиденькой рощице, за которой виднелись неподвижная стрела крана и леса вокруг недостроенных объектов будущего танкодрома. Кругом ни души — тишина и покой. В лужице, у ёмкости с водой, плещутся две трясогузки. Бригада военных строителей валяется в тенёчке за бытовкой, дожидаясь панелевозов с перекрытиями. Дремали на мягкой травке, курили. Вели тихие, вялые разговоры. Я тоже примостился в холодке, привалившись спиной к прохладной стенке вагончика.

Оставив на солнцелёке сапоги и портянки, рядом со мной уселся голый по пояс белобрый крепыш, с наслаждением утопив распаренные ступни в прохладной траве. Спроворил сигарку, задымил. Это Сая-крановщик: «Чо к нам?» — «Да вот лозунг надо повесить», — кивнул я на рулон кумача. «Перекур кончится — хлопцы растянут, а пока покурим в холодке. Панели только через час-полтора подбросят — звонили с бетонного».

Жара сморила всех в дремотное полузабытьё. Моя голова тоже стала пустеть, и веки начали слипаться. Совсем отключиться помешала Сашкина возня — новую самокрутку сворачивал. «Чего это ты шабишь без перекура? — спросил я. — Подреймай, работа-то допоздна опять затянется». «Я от дневного сна как чумовой потом хожу. Котелок не варит, и работа из рук валится. Перебьюсь. Да и поговорить с тобой мне уже давно охота». «Ну, давай поговорим». «Это... как его... в общем, у меня братишка... с сорок второго». «У меня тоже, только с сорок первого». — «Ну, что ты, ей-богу, сказать не даёшь! — с досадой глянул он на меня. — Его Курт зовут, как тебя».

Интересное начало! Даже среди своих соплеменников я до сих пор не встречал и, даже слышать не приходилось, чтобы где-то в окрестной Сибири и Казахстане мой тёзка обитал. А тут вдруг русского, да ещё в 42-м году, назвали этим именем. Мне моё имя нравится — короткое, строгое, не расхожее. Но очень рано заметил, что, услышав моё имя, у многих вздёргивались брови, и в глазах мелькала некая догадка. Когда я стал взрослым, то научился ответным взглядом

подтверждать: «Вы не ошиблись — я немец», — предостерегая своего визави от возможных пошлых вопросов. А с именем моим дело было так.

Немецкие колонисты привезли с собой из Германии обычай называть своих детей исконными германскими и почтенными христианскими именами дедушек-бабушек, отцов-матерей и, по всему виду, меняя ничего не собирались. Но времена-то изменились! Кругом «Юнг штурм», «Рот фронт!», полюс, стратостаты, батискафы, перелёты! Мировая революция не сегодня-завтра грянет! Разве могли юная комсомолка-активистка, учительница Лидия Михель и недавний бравый командир орудия Август Гейн, напичканный лихим «Даёшь!» пламенных армейских комиссаров, назвать своего сына Гансом, Фридрихом, Готлибом или там Ульрихом? Никогда! А как?

Выручила популярная книжка о юном гамбургском революционере, который был связным у подпольщиков, распространял листовки, ловко дурил сыщиков и полицейских и вместе с Тельманом сражался на баррикадах. Конечно же, он геройски погиб, но не выдал явку гестаповцам. Звали этого бесстрашного подростка Курт. И вот сослуживец хочет рассказать мне нечто о моём реально существующем русском тёзке! Послушаем...

Речушка Борянка, подбирая по пути струйки родничков, течёт то по чистому песчаному руслу, то разливается по обширным топям и, выпутавшись из болот в подходящем месте, петляет дальше и через сорок вёрст впадает в приток большой реки, текущей на юг. На лодке до этого притока добраться и думать нечего — русло Борянки часто теряется в непролазных плавнях,* из которых даже бывалому лесовику мудрено выбраться. Только с вьючными лошадьми в обход топям или зимой на лыжах, отваживались таёжники на долгую и трудную дорогу.

В среднем её течении широкий взлобок отодвинул лес от берега, дав место пяти дворам с огородами, поскотине и двум чёрным банькам у сруба с родником. За банями вышка из серых досок и водяное колесо у запруженного родника. Это кордон лесников Борки.

Середина лета. Горячий, налитанный густым сосновым духом воздух недвижим. Солнце в зените и всё живое затаилось в тени. Только куры стонут, навевая сонную одурь, да время от времени над прибрежным кустом мелькает белое удилище. Вдруг светлоголовый рыбачок поднялся и, вытянув шею, стал смотреть на едва заметную дорогу, выходящую с той стороны из леса к хилому мостику. «Та сторона» — это начинающийся сразу за речушкой тёмный вековой урман*. Дремучий, непроходимый, с редкими глухими деревушками и кордонами лесников, он простирался на сотни вёрст, раскинувшись между Брянском и Смоленском до Белорусского полевья. Впрочем, и на «этой стороне» такая же глухомань, но не столь протяжённая.

Послышался натужный вой мотора и грохот разболтанного кузова. Рыбачок побежал к мостику. Из-под лесного свода выползла полуторка с выгоревшей добела брезентовой кабиной и уткнулась мятым капотом в мосток. Дремавшие под ним утки с шлепунцами шумно прыснули во все стороны. Из кабины вылез военный в синих галифе, обхлопал себя фуражкой, разгладил сбившуюся под ремнём с портупеей гимнастёрку,

поправил кобуру, полевую сумку и ступил на ветхие мостки. Шофёр, молодой, под ноль стриженный, красноармеец проворно сдёрнул с себя гимнастёрку вместе с нательной рубахой и яростно начал бросать себе в лицо и на спину пригоршни воды. Освежившись, быстро оделся и встал позади командира, закинув на плечо ремень трёхлинейки.

Стайка разномастных собак и ребятян понеслись к мостику. Встревоженные шумом люди вышли из дворов, глядели на военных, тая тревогу. «Рябой, назад!» — громко крикнул бородатый, кряжистый мужик. Чёрно-пегий выжлец* круто свернул и остановился. Собаки мгновенно повторили маневр вожака и, высунув языки, повалились на траву. «Не бойсь, эти не с НКВД, — тихо сказал бородатый окружавшим его людям. — Лейтенант пехотный, младший. Уже в годах, а на петлицах один кубарь всего. Должно учения у запасных и опять заблудились, как в запрошлом году». Военные в окружении детей пошли к домам. Их усадили в тени на завалинку и сами расположились, где кому впору пришлось. Мужики задымили самокрутками, пережидая пока приезжие попьют молока, которое им вынесла кряжистая старуха. С расспросами не совались — нужно будет, служивые сами скажут, какая нужда их в эти дебри занесла. А ещё лучше было бы, чтобы, попивши молока, тронулись они восвояси.

Измождённый лейтенант, медленно выцедив ковшик, передал его солдату и сказал: «Спасибо, мать. Давно такого густого да душистого молока не пил, а холодное, аж зубы ломит». «Да уж известно, что за молоко в городе — после него и посуду полоскать не надо, — откликнулся бородатый с ухмылкой. — В прошлое лето побывал я в городе. Сваты грозились без меня внука окрестить, ежели к Троице не приеду. Делать нечего, навьючил Гнедка, свистнул Рябого и на пятый день до Сплавнухи добрался. Коня с собакой у тамошнего лесничего оставил и с плотогонами аккурат к Троице припожаловал, и внука окрестили за милую душу». И красочно стал описывать, каких городских странностей и несуразиц рассмотрел за те два дня, пока парохода на Сплавнуху дожидался. Слушатели, имитируя интерес к неоднократно слышанной бывальщине, хмыкали: «Ну, народ... Это ж надо...», — пытаясь этой наивной уловкой отсрочить (чуяли, что недобрую) весть, которую таят военные.

Лейтенант это понимал и никак не мог набраться духу, чтобы сообщить им страшную весть и порушить мирную, незатейливую жизнь этих людей, но: «Лешаки дремучие! Война шестой день бушует, а они в тенёчке прохлаждаются, рыбку ловят, молочко с погребушки пьют, байки травят!» — распялял себя командир, уже четвёртый день, собирающий по захолюстьям призывников и свозя их на ближайший сборный пункт. Посмотрев на солнце, глянул на часы, уложил на колени сумку, достал бумаги. Старуха углядела беспокойство и душевную маяту военного: «Ты, чо это, Терентий, ровно всамделешний косач* на току — окромя себя никого не слышишь. Дай людям слово сказать. Не в гости же они до нас пожаловали, а дело, видать, неотложное припичило». «Так слушают же. Я только про городское молоко сказать хотел, — начал оправдываться Терентий, но, увидев вставшего с бумагами лейтенанта, виновато сказал: — Прощения просим». От началь-

ника, да ещё с бумагами, хорошего ждать не приходится. «Пронеси, Господи! Спаси и помилуй Царица небесная!» — закрестилась старуха мелкими стежками.

Запоздала с молитвой старая Шевчиха — беспощадная война уже шла и требовала её сына, лесника Терентия Шевчука, старшего внука Павла и ещё троих военнообязанных по списку, быть не позже пяти часов завтрашнего утра на сборном пункте в лесхозе «Угол». А это значит, что на сборы осталось от силы два часа.

Ровно через два часа пятеро мобилизованных, закинув вещмешки с наскоро испечёнными пресными коржами, брусками сала, сменой белья и нарубленного впрок табака, вспрыгнули на кузов тронувшей полуторки.

Держась друг за друга, махали стоящим у мостков родным, пока машина не нырнула под покров леса. Оставшиеся тихо разошлись и бесцельно бродили по дворам, пытаясь постичь меру происшедшего.

Командир заверил женщин, что солдатские письма они будут получать обязательно: «Полевая почта — подразделение строгое и техника у них серьёзная. Доставят по назначению. Ждите». Люди ждали, ждали покорно, изводясь мучительным неведением. На исходе второй недели стало ночами погромыхивать. И не так людей этот гул испугал, как-то, что он с востока шёл! Война-то на западе должна идти! Дня через три с востока, дрожа воздухом, опять пополз по земле тревожный гул. Над чёрной стеной леса багровело в той стороне ночное небо. Женщины вслушивались, вздыхали, утирали глаза, гася кровавые отблески в набегавших слезах.

«Всё! Боле ждать немогуту! Завтра в лесхоз пойду, а то до смерти изведусь. Собак и ружьё с собой возьму. Не пропаду», — сказала бездетная Аня, жена объездчика Кощеева Ивана, молодуха бедовая, исходившая с мужем окрестные леса на сто вёрст вокруг. «Иди. Кроме тебя некому. У Веры грудничок на руках, а у нас и хворости и по лавкам мал-мала. За хозяйством приглядим». На рассвете провели бабы Анну за Борянку и стали ждать, гоня тревогу и тая надежду.

А вокруг Борков, как и многие годы до этого, всё шло своим чередом. Днём от жары бор истекал смолой, а ночами тихо блаженствовал, стоя по пояс в прохладном тумане. Часто раскалённый небосвод, грозно рокоча, остужал себя быстрым шумным ливнем из низкой, тёмной тучи. И снова парило, и снова стонали куры во дворах, плескались утки в речушке и паслись телята на поскотине. И люди, как и прежде, день-деньской в нескончаемой работе, но без прежнего гомона и весёлой суетолики.

Осунулись и почернели от горьких неотвязных дум. А Анна, как в воду канула. Как-то, ранним утром, Шевчиха, наткнулась на истощённого Рябого, который, тихо скуля, зализывал рану на репице. Созвала она жителей кордона и сказала: «Сегодня третья неделя пошла, как Анна в лесхоз ушла. Жива ли — Бог весть. Одно знаю — будь с ней всё ладно — давно бы дома была, потому, как знает, какая тут у нас маята кромешная. Будем за неё Бога молить, а нам, как не крути, надо к людям выйти и узнать, что в миру деется. Скажи ты, Силантий, что мы с тобой надумали».

Сухощавый старик, сидевший на колоде, выставив деревянную ногу, легко поднялся и одёрнул складки рубахи под широким ремнём. Новая пограничная фуражка с прямым козырьком молодила его бритое, ясноглазое лицо с аккуратными усами. «Конечно, жить в незнакомке нам дальше не можно. Чтобы лихо нас врасплох не накрыло, надо знать, какое оно из себя, чтобы нам либо препроной заслониться, либо стороной его обойти. А беда, по всему видать, большая вокруг нас кружит. Ходок я, конечно, почти никакой, но лес на триста вёрст во все стороны мне знакомый, потому, как почитай по двадцать с лишком годов и царю и советской власти лесничим в этих краях отслужил. Да и попутчик надёжный со мной идёт — Иннокентий. С ним да с Гнедком мы сквозь любой бурелом и топь к нужному месту доберёмся. Идти, конечно, сторожу надо будет и теми тропами, кои токо нам ведомы. По чёрнотропу успеть надо, чтобы по снегу не следить».

Да, только эти двое справятся с этим, непосильным для остальных, делом. Без спешки основательно снарядились и, на второй день ранним утром Кеша Мазур повёл Гнедка с Силантием Крыжовым и выюком на спине к мостку. Рябой, задрав голову, не моргая, смотрел им вслед. Когда по мосту гулко зацокали копыта, он нетерпеливо начал переступать лапами, дёрнул брылами, резво взял с места и исчез под сводами леса, где минуту назад скрылись разведчики.

В школу Кеша Мазур ходил всего три месяца. Когда его мать, уже полубезумная от разлуки с сыном, по первопутку наконец-то смогла добраться до лесхоза, то вместо бойкого, ясноглазого крепыша в неё намертво вцепился, зашедшийся в судорожных рыданиях, заморыш. Мать поняла: ещё одной разлуки они оба не переживут и увезла сына из угарной, шумной бестолочи интерната в просевшем бараке. И зажили они ладно в суровой, но прекрасной и щедрой пуще!

Рос без сверстников-мальчишек у мужиков на подхвате и посылках. Мужская работа и жизнь в таёжном лесу — дело строгое и потому премудрости этой жизни усваивал сразу и накрепко. Его усердие ценили и не обижали снисходительными усмешками, если у него промашки случались, и рос он надёжным, основательным человеком. С десяти лет даже в зимнем лесу уже сутками пропадал, а в прошедшую — рысь добыл. Сейчас это рослый, крепкий парнишка с серьёзным лицом и длинными до плеч русыми волосами. (Чтобы уши и загривок от комаров укрыть.)

Его мать, Эрна Флуг, родилась в семье волынских немцев, вымершей от тифа в двадцать первом году. Её тощее, кряхтящее тельце мужики из похоронной команды вышелушили из кокона вшивого тряпья и передали в санитарный обоз. Выжила. Окончила в детдоме школу. Со своим будущим мужем наладчица Эрна познакомилась на работе. Она была единственной женщиной в бригаде наладчиков инженера Иннокентия Мазура. Рослый, немногословный мастер с виду был строг, но синие глаза под суровыми, сросшимися бровями были добры, а редкие улыбки — по-детски, во весь рот. Второй год вдовствовал. Пробовал создать новую семью, но как-то не складилось.

Когда через два месяца мастер, робея, сделал Эрне предложение она сказала: «Думала, не дождусь и придётся самой сказать, что ты

мне по сердцу». Поженились. Счастливо прожили почти год, и Иннокентий, оберегая отяжелевшую жену от давки и толчков, отвёз на трамвае в роддом. Ночью родила сына, а когда её незадолго до обеда разбудили к обходу, услышала, что на заводе произошла авария и раскрыта банда вредителей. Вот наказание-то с этими вредителями! Когда уж их искоренят, буржуев недобитых? Мужа теперь не жди — без его бригады в этой беде заводу не обойтись. Не судьба ему сыночком полюбоваться в эти дни. Ничего, мы терпеливые — дождёмся. Да, сынок?

На вторую ночь пожилая няня, подкладывая мамашам в притёмнённой палате сосунков, прошептала Эрне: «Под одеялком... Боже упаси... никому! Прочитай и уничтожь». Обмерла от страшного предчувствия. Когда сын, ни разу не передохнув, быстро насытился и, сверкнув из-под припухших век глазками, уснул, Эрна нащупала на нём пакетик и спрятала у себя на груди. Когда няня забирала грудничка, Эрна придержала её за полу халата, но та сделала строгие глаза и прижала палец к губам. Под утро, запершись в туалете, Эрна развернула пакетик. Там лежало несколько червонцев и записка на бланке наряда. Быстрые строчки требовали: «В дом не возвращайся. У Ежковых дождись парохода на Сплавнуху и оттуда доберись до лесхоза к Агате. Прощайте, мои любимые. Я счастливый — у меня сын!»

Неделю спустя старики Ежковы ранним, пасмурным утром втащили на корму старого буксира «Сом», который шёл с баржою вверх к Сплавнухе, чемадон и два узла с пожитками. Устроили багаж и Эрну с сыном в затишке под брезентом, укрывавшим штабель больших ящиков. Дородная старуха Ежкова поставила в закуток кошёлку со снедью и перекрестила мать с ребёнком: «Храни вас, Матерь Божья!» Вислосый дед Ежков погладил Эрну по плечу, тронул головку ребёнка за скорую ручищей и отошёл, занавесив глаза кустистыми, седыми бровями. Из люка высунулся чумазый человек: «Батя, время! Чал не забудь закинуть», — и пропал.

На пятые сутки беглянка высадилась в Сплавнухе, а через три дня с оказией добралась до лесхоза «Угол». Но оказалось, что золовка с мужем уже с осени на таёжном кордоне живут. Их бывшие соседи приютили её с сыном и не приставали с расспросами. До Борянки она добралась на газогенераторной полуторке, развозившей по зазимью на дальние точки нужным людям на всю долгую, непролазную зиму припас: муку, керосин, охотничье снаряжение, соль, спички, сахар.

Свояк Петро Горелик и золовка Агата устроили её в давно уже нежилой, но ещё ладной избушке. Всем кордоном два дня подправляли, драили и чинили её снаружи и внутри. Расставили оставшуюся от прежних жильцов немудрящую мебель и посуду, самотканых половичков настелили, горшок с геранями на подоконник поставили. У запечка кем-то принесённую зыбку подвесили и весёлым ситцем занавесили.

К беду пошабашили. Выставили на стол ёмкую посудину с сагоном, по туюску усалившихся груздей и огурцов, крупно нарезали тёмного, пахучего хлеба и прошлогоднего сала, луку накрошили. Первой, перекрестившись, подняла стопку мать старшего лесника Алевтина Шевчук: «Охрани, угодник Никола, человек и кров их от

горя-злосчастия!» Побрызгала щепотью из стакана в сторону печи и строго велела домовому: «И ты, суседко, не строжись, дитя безвинное жалеючи».

Женщины, выпив по стаканчику, сгрудились в закутке вокруг зыбки и канули в бабьи свои нескончаемые разговоры. Четверо мужиков, гудя про своё, не торопясь, опорожняли посудину. Под вечер засирались домой со скотом на ночь управляться. На ларе оставили штуку* рядна, кое-что из зимней одежды и две подушки.

«Ну, ещё раз с новосельем, хозяйка, — сказал задержавшийся у дверей старший лесничий, сын Шевчихи, чернобородый Терентий. — С нами не пропадёшь. Корову и мелкую живность на обзаведение дадим. С миром помалу приплодом разочтёшься. Деляну под огород раскорчумем. Грибов и ягод всяких разных — пропасть! И живую денежку на сборе живицы заработаешь. Трудов, ясное дело, не меряно, но и жизнь наша, не в пример городской, куда сытее! А воля наша всякого богатства дороже — ни тебе налогов, ни ГеПеУ. А дух сосновый любых капель и порошков целительнее. Бабы наши травами да корешками себя и детей лучше докторов лечат, а мужики первачом на берёзовой почке любой пострел после баньки под корень изничтожают. Не бойсь, живи, работай, сына расти. Хорошему человеку жизнь прямее дорогу торит. Может, и хозяйина дождёшься. Говорят, случается».

Огонь в свежо побелённой печи набрал полную силу, и домик, блестя мытым окошком, весело дымил заново сложенной трубой. Пахло мытым полом и берестой. Эрна устало присела у завозившегося в колыбели ребёнка, но тот побряхтел-побряхтел и вновь притих...

Очнулась от возни в сенах. Было уже темно. Сполохи догорающих дров пятнали стену. Низко пригнувшись в дверях, вошёл Петро и поставил на пол тяжёлый мешок: «Картошку в подпол надо, в сенах помёрзнет. Сало и лагушок капусты я в кладовку поставил». Вошла Агата: «На, лампу зажги». Пётр потарахтел спичками, зажгёт лампу, вдавил в коронку стекло, добавил фитиля и повесил на крюк над столом.

От света и суеты сходу и всерьёз заукал из своего ситцевого шалашика Кеша. Эрна перепеленала ребёнка и подсела к столу. Петро, подперев скулу кулаком, задумчиво тукал спичечным коробком по столу, пережидая, пока Эрна пристроит сына к груди. Агата умиленно глядела повлажневшими глазами на жадно теребящего сосок грудничка. Сладко томилось сердце — по всем приметам дошли до Бога и её молитвы, и родит она, наконец, своё дитя долгожданное.

Далеко за полночь проводила Эрна родню. Заглянула в колыбель, прикрутила лампу и присела на постель. Избавление от чего-то надоевшего почувствовала, вроде отпало от кожи что-то липучее и зудящее. Поверила, что среди этих людей в, суровом, но щедром лесу, ей достанет сил пережить своё горе и вырастить сына...

В Борках — страх и неведение. От Анны, ни слуху, ни духу. Силантий с Кешей, как ушли, так с концами. А уж другая неделя на исходе. Тут и самого терпеливого чёрные мысли до костей усушат. Остав-

шиеся так и эдак прикидывали, но выхода из этого своего положения не находили. Значит, надо дальше терпеть пока чего не надумают или пока само собой дело прояснится.

А в природе всё, как спокон века: солнышко, дожди, звёздные ночи, росные зори, таинственный шум леса. Порядок и гармония. Вот только люди... Всё неймётся им и никакой закон природы им не резон. Временами гробят дотла всё, что сами же веками создавали. Но должно же их однажды вразумить, что, если не жить в ладу со здоровым смыслом, то — кранты. Но ждать этого, должно, ещё ох, как долго...

Санька, семилетний беловолосый крепыш, таскал пескарей у запруды водяной мельницы. Желоб сдвинут, и вода с плеском падает мимо колеса в Борянку. В тени замшелого сруба, на умятой траве, растянулся здоровенный, одноухий котяра. Иногда его ухо начинает нервно дергаться, а из пушистых лап медленно-медленно выдвигались кривые когти и молниеносно сжимались в хищном хвате. Тихо, безлюдно. Высокое солнце припекает, но небо уже напитано осенней, прохладной синевой, а у леса начал иссякать изумрудный сок и летний, смолистый дух. Лиственные заросли вдоль Борянки уже сплошь тронуты золотом и багрянцем.

Санькина мама, Ульяна Рязанцева, вместе с другими женщинами и детьми на дальней деляне остатки живицы самотёки* собирают, а его, как самого старшего мужика, для пригляда за дворами и живностью на кордоне оставили, да ещё бабушка Шевчиха на своём дворе с правнуком-грудничком и двулетними близняшками Гореликами возится.

Пристроив удилище на рогульку, взобрался на сруб и оглядел оставленное под его надзор владение. Та-ак, телята и коровы на выгоне лежат, жвачку жуют; утки вдоль протоки ряску щелочат; гуси с выводками на лужайке сидят, пёрышки перебирают... Подожди, а где лошади с жеребёнком и овцы? А, вон они у вышки под деревьями табунятся. А собак не видать — за сборщиками живицы увязались.

Спрыгнул на землю и сел в холодок у сруба. Клёв кончился — рыба в прохладу под ракиты ушла. К застывшему поплавку стрекоза чалится. Кот, сверкнув прищуренным глазом, зевнул во всю розовую пасть и вновь запрядал ухом и заиграл когтями. «И во сне мышкует. Два пескаря стрескал и всё ему, обжоре, мало», — укорил Саня своего любимца.

Да, совсем безлюдно и скучно стало на кордоне. Мужики на войне, тётя Аня Кошечева пропала, дед Силантий и Кеша Мазур тоже никак не вернутся. За Кешу ему особенно тревожно, как за брата. Оба без отцов растут (Рязанцева старшего забрали в тридцать восьмом). Сверстников-мальчишек на кордоне нет, вот и прибились друг к другу, хотя разница в годах ровно на половину. Не с девчонками же водиться! Нет, они ничего, девочки-то кордонские, бедовые и с понятием, но больше по своим женским делам. А им с Кешей своё мужское дело постигать надо. На пару оно и веселее и сподручнее, потому как, не всякое дело с руки в одиночку.

Играючи перенимал Санька у друга всё, чему того мужики и мудрая природа обучили. Почти во всём друзья были уже на равных,

но, ясное дело, силёнка и рост у Саньки ещё не те, но это дело живое. И ружья у него пока нету. А Кеше дед Силантий три года назад двустволку свою тульскую подарил. Эрнэ этим очень обеспокоилась, но старик её успокоил: «Не бойсь, парень он гожий и беды не допустит. А без оружия ему в лесу ни толку, ни радости. Не с бабами же на кордоне парню сидеть, киснуть. Ему в полную силу жить надо, чтобы крепким и надёжным мужиком стать. Будь в надёже, моя порука верная».

...В бок что-то больно давит, голову невыносимо печёт, а шевельнуться, сил нет. И будто сверху раздаётся месиво шумов: стукотня, скрипы, хлопки, гул, гогот. Напрягся, стряхнул морок и очнулся. Тень упозла за сруб, и он лежал на припёке, навалившись боком на колоду. Шум не пропадал. Поднялся, потёр ноющий бок, огляделся. Кот на мельничном колесе, выгнув спину, тарачился вдоль Борянки туда, откуда доносились загадочные, прерывистые, пугающие звуки. Мимходом выдернул из воды удочку со снулой рыбкой на крючке и шагнул за сруб...

На «той стороне», вдоль берега, треща, теснились мотоциклы и «Schwimmwagen»,* а из леса, натужно воя и нещадно дымя выхлопами, торкались два крытых полугусеничных тягача с прицепами. Гуси, заполошно гогоча, с подлётом неслись по выгону за избы, коровы и телята скачками неслись под покров леса у вышки, где, задрвав головы и, наострив уши, жались лошади и овцы. Шевчиха заталкивала в сени упирающихся братьев Гореликов.

Вокруг техники суетились весёлые парни в пилотках и серых куртках с погонами. Некоторые, дурачась, уже плескались в Борянке, раскидав одежду по берегу. На мостках стоял офицер в высокой фуражке. Рядом с ним человек в пиджаке с белой повязкой на рукаве и плоской кепкой на длиннющей голове. Офицер, держа у глаза монокль, внимательно следил за пальцем штатского, которым тот неуверенно водил по развёрнутой карте. Вдруг офицер резко отстранился от него, обернулся и что-то прокричал в сторону леса.

С кузова застывшего у леса тягача соскочила женщина в низко повязанном светлом платке. Пока шла, уложила платок на плечи и пригладила гребнем волосы, отряхнула и поправила одежду. Офицер подал ей карту и потряс над ней раскрытой ладонью — дескать: «Ну, где тут это место на самом деле?» Женщина уверенно показала.

С правнуком на руках Шевчиха не смогла запихнуть юрких братцев Гореликов в сени и вместе с ними смотрела на шумное, пугающее многолюдье. Пацанята, раскрыв рты, глазели на детское баловство голых дядечек. А бабка, разглядев кресты на машинах и мужчин в серостальной форме, остолбенела: «Батюшки-светы, немцы!» (Ей приходилось их видеть в восемнадцатом году.) А, разглядев подошедшую к мосту женщину, старуха невольно вскрикнула — это была Анна Кощева!

В сопровождении солдата с винтовкой, офицер направился ко двору Шевчуков. За ними Анна и штатский. Остановившись перед хозяйкой, офицер снял фуражку и утёр платком потное лицо и шею. Это был блёклый человек неопределённого возраста с не улыбчивыми, ум-

ными, светлыми глазами. Солдат — рукастый, широкой кости мужик, лет около сорока с широким добродушным лицом — умильно щурился на белобрых близнецов. Анна обняла Шевчиху, что-то ей коротко сказала и, взяв у неё плачущего ребёнка, отошла к крыльцу. Офицер кивнул типу в пиджаке и строго уставился на хозяйку. Переводчик стал её расспрашивать и переводить немцу: «Да, мужчин всех призвали, кроме одноногого старика Силантия Крыжова, но он и парнишка Кеша Мазур в лесхоз ушли, узнать, что на свете творится. Нет, у них конь. Кто ж его знает, когда они вернутся? Женщины и дети — на живице и вот-вот должны вернуться. Как же в лесу без ружья? В каждом доме есть. Две казённые централки рекруты с собой забрали. Нет, никаких чужих людей здесь не было. Я сроду не вру».

Из-за избы вышла Анна и сказала переводчику: «За поскотиной бабы и ребята из леса выйти боятся». Тот повёл немцев за избы. Увидев сгрудившихся на опушке женщин и детей, с жавшимися у их ног перепуганными собаками, остановились. «*Las sie her kommen*», — приказал офицер. (Пусть подойдут.) Анна, передав Шевчихе внука, быстро пошла к лесу, уже издали, махая толпе платком. Но те робко тронулись к избам только после того, как Анна, подхватив на руки кого-то из детей, потащила за собой сноху Шевчихи Серафиму.

Офицер строго спросил, все ли пришли из леса? Анна подтвердила, что все налицо. Переводчик перевёл короткую речь немецкого командира: «Запрещается без разрешения фрау Коцеев покидать кордон; через фрау Коцеев можно передавать для солдат излишки молока, яйца и овощи, за которые раз в месяц будет производиться расчёт мануфактурой, обувью и прочими необходимыми промтоварами; сейчас же сдать все ружья, патроны и порох; недобросовестные будут строго наказаны; оружие примет фельдфебель Курт Квинт», — ткнул офицер в сторону улыбочивого солдата и устало пошёл через мосток на ту сторону.

Фельдфебель уселся на бревно, близ которого жались пришедшие из леса дети. Пошарил-похлопал по карманам и, показывая, что там ничего нет, обескураженно развёл руками, удивлённо пуча глаза. Теснящаяся у плетня детвора прыснула и робко посунулась поближе. Бедовая восьмилетняя Ульяша протянула ему берестяной кулёк с ягодами. Тот горкой натряс ёмкую горсть, и запрокинув голову, высыпал себе в рот. Зажмурившись, потискал-помял ягоду языком и с видимым блаженством проглотил. Похлопал себя по животу и поднял большой палец — «на ять!» Вернул кулёк Ульяше, сказал: «Полшой зпази-па,» — и поманил к себе остальных.

Особо поинтересовался удочкой и уловом Сани Рязанцева. (Это он привёл своих с деляны.) Одобрительно покивал: «О, карашо! Гут, гут!» Потрепал Санькины вихры и опять показал большой палец. Санька начал было жаловаться на Ваську, который две самые большие рыбины (показал руками) сожрал. Немец понял выразительную мимику, жестикуляцию и урчание Сани, качая головой, осуждающе цокал языком и строго, из-под руки, высматривал разбойника, но подошли женщины с ружьями и сундучками с охотничьими припасами и турнули детей по дворам.

Фельдфебель Курт Квинт прокричал что-то через Борянку. Через мосток прибежали два солдата и унесли оружие и припасы. Позвал к себе переводчика и сказал женщинам: «Солдатам без разрешения входить в ваши дома запрещено. Собак пока привяжите или держите взаперти. Уходить из поселения можно только по разрешению Анны и только до захода солнца. О чужих немедленно сообщайте. Всё сказанное должны соблюдать и дети. Добросовестно исполняя эти несложные требования, вы избежите конфликтов с новой властью, которая будет строго карать нарушения порядка. Я верю, что вы будете благоразумны».

Немцы раскинули под соснами несколько больших палаток и установили на колодки два камуфлированных автофургона с антеннами. Из землянки в два наката глухо тукал движок. Ночью только этот невнятный звук и несколько низких синих огоньков выдавали расположение лагеря. Изредка крытые грузовики в сопровождении конвоя мотоциклистов прибывали к посту. Немцы споро перетаскивали в палатки ящики и бочки. После короткой передышки машины уходили вниз вдоль Борянки. В середине октября транспорты перестали приходить, и суета на той стороне улеглась. Под соснами остались только четыре мотоцикла, «Schwimmwagen» и трехосный тягач. А чего там разгружали и штабелировали солдаты, и сколько их на той стороне осталось, никто не знал.

Да и некогда было женщинам на немецкую суету ротозейничать — своих дел и забот — хоть спать не ложись. Сено и дрова ко дворам не подвезены, картошка не копана, ячмень и гречу сжать надо и от осеннего ненастья в овине укрыть, дети, скотина. Работа эта нескончаемая им во спасение потому, что не оставляла времени и сил на маяту душевную о судьбе мужей, о войне, о будущем своём и детей. Анна Кощева на расспросы о том, что с ней было во время её долгого отсутствия, и скоро ли немцев назад погонят, отмахивалась: «Не время».

Снег лёг аккурат в ночь на седьмое ноября. Люди рады концу промозглой слякоти и тому, что с работой, за малым, управились. Оставшиеся на вырубках дрова и сено даже легче по первопутку ко дворам вывезить. Дети высыпали на сверкающий под утренним солнцем взгорок за леваядой и затеяли своё извечное: снежки, санки, снеговики и прочее неопишемое барахтанье, в которое на равных ввязались и освобождённые на радостях жалобно скулившие собаки. Внучки-погодки Силантия собрались, было праздничный красный флаг над воротами приладить, уже и лестницу подтащили. Хорошо мать заметила возню и отобрала у них выцветшее полотнище на захватанном древе и сунула за ларь в кладовой. Пятнадцатилетняя Мариша ещё и шлепка схлопотала: «Забыла, кто на той стороне квартирует?»

Потекли тихие, ничем не примечательные дни. Помалу нарастающий покров снега совсем заглушил стук движка, и присутствие людей на той стороне выдавали лишь снопы света, временами, на мгновение вырывавшиеся из распахнутых дверей автофургонов. А днём и вовсе ничего не углядишь — немцы свой лагерь снежным валом обнесли. Но

запахи удерживать стена эта не могла, и тропический, тревожно-бодрящий аромат кофе расплывался далеко окрест. По приливам этих душистых волн борянские женщины свои ходики подводили. Ровно в десять часов. Чика в чики! Словом — немцы.

Но гнетущее неведение, тоска и тревога постепенно начали овладевать бабами, и неведомо к чему толкнуло бы их иссякшее терпение и отчаяние, если бы на рассвете пятнадцатого ноября гул моторов, лязг гусениц, скрежет снега и громкие, бодрые голоса не всполошили застывший под снегом кордон. Одеваясь на ходу, и стар и млад высыпали на дворы. Цыкнули на зашедшихся в лае собак и молча следили за суетой на той стороне. Через мост к борковчанам шла группа людей.

Группа направилась к стоящей у ворот Анне Кошечевой. Это были старые знакомые. Впереди вышагивал высокий, холодноглазый Hauptmann с круглыми, чёрными наушниками во всю щёку, в длинной шинели с меховым воротником и в крестьянских, овчинных рукавицах. За ним уверенно ступал широкий, рукастый фельдфебель Курт Квинт. Тонкая шинель поверх толстого свитера под кителем стянута ремнём с кобурой на животе, околыши суконной пилотки на уши опущены. За ним солдат с автоматом на груди и глубокой каской поверх толстого подшлёмника. Чуть в стороне от офицера держался переводчик с белой повязкой на рукаве полушубка, в ушанке и валенках. По его зову все потянулись ко двору Анны.

«Wer ist Frau Erna Masur?» — оглядел офицер жмущихся в стороне женщин. «Das bin ich,» — прижала Эрна руку к груди. Отвечая на вопросы гауптмана, она за пять минут рассказала всё про свою небогатую событиями жизнь. Одобрительно покивав, он сказал, что её биография ему известна, а расспросы — это проверка её искренности и степени владения немецким языком. С этим всё в порядке, и оккупационная власть в его лице назначает её осуществлять административное управление в пункте «Борки».

«Чтобы вы не тяготились сотрудничеством с нами, я могу представить вам, фрау Мазур, неопровержимые доказательства того, что диверсию, за которую большевики расстреляли вашего мужа и ещё семь безвинных людей, инспирировали органы НКВД. К счастью, друзья вашего мужа оказались мужественными, достойными людьми и, спрятав вас с сыном в этой глуши, помогли избежать уготованной вам плачевной участи «жены врага народа» и немки к тому же. И ещё: всех советских немцев из европейской части СССР в сентябре-октябре депортировали. Загнали, как скот, в товарняки, вывезли за Урал и высадили в голых степях Сибири и Казахстана без средств существования и кровя над головой. Нам известно об адских муках этих безвинных людей. От страшных холодов и голода они гибнут сотнями. Особенно дети и старики». Утерев концом полушалка выступившие слёзы, Эрна сказала, что согласна исполнять распоряжения новой власти.

«Кстати, фрау Мазур, всем полицейским постам и военной жандармерии дан приказ сообщить лично мне, если будет задержан безногий старик Крыжов и подросток Инноценц Мазур. Быть может, вам известно, где они находятся? А, может, кто-нибудь из вас знает? — стро-

го обвёл он взглядом внимательно слушавших переводчика женщин. — Жаль. Дело в том, что подходы к нашим постам защищены минными заграждениями, и они могут на них подорваться. Напоминаю, что с сегодняшнего дня по всем вопросам обращайтесь к фрау Мазур. Только ей и фрау Кошечев разрешается переходить через мост, предварительно окликнув часового. Строго предупредите об этом детей», — добавил он и повернулся к мосту.

Шевчиха, протянув руки, посеменила за ним, но автоматчик перегородил ей дорогу, и старуха громко и жалобно закричала: «Эй, ты... благородие! Про войну-то скажи! Нам же неизвестно, как там и что? Ни писем, ни газетов же нету. Мужики же наши тама! На нет извелись от страху да тоски!» Офицер, выслушав перевод, сказал: «Скорее всего, они в плену. Могу вас всех порадовать — война закончится не позднее лета будущего года. Ленинград полностью окружён и через пару недель вынужден будет сдать. Без боеприпасов и продовольствия он обречён. Москва вот-вот падёт, разорванная нашими танковыми клиньями. Так что уже скоро дождётесь своих, если они живы, конечно», — и пошёл к мосту, прикрыв нос воротом.

И опять всё утихло на кордоне. Ни звука, ни огонька на немецкой стороне. Но, когда Саня Рязанцев решил проверить, есть ли на той стороне вообще кто-нибудь, то и высунуться из камышей возле моста не успел, как раздался гулкий, строгий оклик: «Хальт! Насат!» Эх, и рванул Санька! Только у леса вышмыгнул из тальника и на снег повалился, отдышаться. Немец-то сверху, будто с неба, страшал! (громкоговоритель на дереве) Ей-богу! И никому не расскажешь — засмеют и брехуном задразнят, а мамка за ослушку трёпку задаст — три дня чёсаться будет. Лежит, прикидывает, кумекает. Вдруг прямо из-под снега на него кто-то, как прыгнет! Немец! Визжит тоненько и лижет шершавым, горячим языком, зажмурившуюся Санькину лупетку! Фу, псиной воняет!

Так это ж, Рябой! Значит, Кеша вернулся! Саня в клубах пара ворвался с собакой в избушку Мазуров. Эрна вскочила со скамьи: «Кеша! Сынок! Где он?» — «Я думал он дома...» Эрна вдруг схватила бегущего пса за ошейник, выдернула из-за пряжки берестяную скрутку и прочла у окошка выдвинутое на ней слово: «БАЛАГАН». Ноги отнялись, присела. «Сбегай, позови бабу Шевчиху, тётю Анну и маму. Не шуми только. Пусть задами идут». Подождав, пока Рябой вылакает миску тюри, Эрна приладила на нём холщовую торбу с туеском мёда и парой коржей. Пёс, встав на дыбы, ударил лапой по дверной клямке и пропал в облаке пара.

«Кончай ночевать, панели на подходе!» — высунувшись из будки, проорал прораб сиплым со сна голосом. Служивые зашевелились. Неспешно переобувались, закуривали, а шустрики уже гомонили и плескались у чана с водой. Сашка обулся, раскурил самокрутку, долго выдохнул глубокою затыжку и коротко досказал историю появления в таёжном Полесье экзотического Курта Рязанцева, отреагировав на мою умоляющую физиономию.

Уведомив немцев, женщины привезли с вырубки истощённого и обмороженного Иннокентия. Вдобавок к туземным снадобьям, фельдшер Иоанн давал ему таблетки, мазал мазями, растирал, мял и выстукивал. В полторы недели свежая розовая кожа ссунула бурые струпя с его примороженных ног, а сытость укрыла выпиравшие косточки. И уже вскоре здоровый, румяный Кеша с неразлучным Сашкой ставили в урёмном чернолесье петли на зайцев и силки на куropаток.

Силантий умер ещё до снега, и Кеша засыпал его землёй под вывороченной сосной. Гнедко от бескормицы обессилел и однажды утром не встал. Завернутую в брезент кладь: котелок, чайник, доху Силантия, лосиную шкуру — на пару с Рябым тащили на волокуше. Огниво, патроны, топор и ружьё Иннокентий держал при себе. Кормились охотой, мёрзлой ягодой, откапывали из-под снега желуди и орехи. Да, без пса Кеша бы, навряд, до дома добрался...

На немецкое Рождество внезапно нагрянули солдаты, шумные и развесёлые. Притащили с собой ёлочку, патефон и ёмкие коробки. Собрали всех в большой горнице Анны Кошеевой, зажгли на ёлочке разноцветные, пахучие свечки, расставили на подоконнике в кружок нарядных куколок, игрушечных коровок, овечек, ослика. В серёдку усадили нарядную куклу с Христосиком на коленях.

Верховодил фельдфебель Курт Квинт с ватной бородой и в красном колпаке. Щедро сыпал в фартуки и ковшики детских ладошек сладости. Женщины расставили на столе обильные закуски и баклагу с медовухой. Детям дали послушать пластинки с задумчиво-печальными немецкими рождественскими песнями, напоили чаем со сладостями и отравили по домам.

Вскоре стало шумно. Поврозь пели свои песни, а сводным хором ладно одолели «Катюшу» и «Вечерний звон». Попытались танцевать под патефон, но кроме Эрны, «городские» фокстроты да танго никто из женщин танцевать не умел, да и стеснялись «стыдных» движений. Зато «Полянку» с весёлыми частушками и лихими взвизгами сплясали так, что свечки все до единой потухли. Дали жару! За стол сели уже вперемешку.

С тех пор солдаты стали часто бывать на кордоне. Не охальничали. Баловали детей угощениями. Всякую мужскую работу умело и сноровисто справляли. За труды хозяйки щедро угощали их домашней стряпнёй и медовухой. Стали понимать друг друга. Постепенно пропала настороженность, и женщины прониклись доверием к этим серьёзным, трезвого ума, работающим людям.

Но вдруг женщины почему-то посуровели и стали их сторониться. А произошло вот что: как-то на рассвете увидела Шевчиха, как со двора Анны «на ту сторону» поспешал солдат Петер. «Грех это, Аня, — укоряла её старуха. — Как мужу в глаза смотреть будешь? Он же ни на шаг от тебя не отходил. Любил». — «Нет у меня мужа, мать. А у тебя ни сына, ни внука. Восьмой месяц уже, как наши мужики погибли. Все разом. Бомба точно в середину баржи угодила, в которой рекрутов к Сплавнухе тянули. Смолчать хотела, не лишать баб надежды, да твои попреки понудили. Не обессудь. А немцы должно, в самом деле, на-

совсем пришли. По радио ихнему передают, что Сталин аж за Уралом сховался, а в Кремле похожий на него человек сидит. Грех, мать, не на мне, а на войне, которая наших мужиков поубивала. А жить, как ни то, дальше надо — не старуха ещё. Может и дитё сподобит Господь родить. Немцы — тоже люди».

Тяжело переживали страшную весть. Но набиравшая силу весна выдавила людей из печальных, серых изб на яркое солнце, где ждала их неотложная череда насущных забот, оттеснившие горе в дальние закоулки души. Иногда только, глухой ночью, искушает и вымочит слезами вдова подушку, а с утра снова с головой в нескончаемую работу и хлопоты.

Что на свете творится, не знали — ни радио, ни газет. Тревожило, конечно, что война никак не кончается, но немцы были спокойны и всё свободное время проводили на кордоне. Построили красивый прочный мост через Борянку, обновили мельничные постава, две ветхие кровли перекрыли, нарядно палисадники огородили и невиданными в этих местах цветами засадили.

Фельдшер Иоанн хозяйничал на дворе Эрны Мазур, и у Кеши появился братик.

Анна родила девочку. Петер таскал дочку по домам и умильно хвастался её красотой и статью.

Фельдфебель Курт Квинт прижился у Ульяны Рязанцевой. С её сыном Саней они давние приятели и заядлые рыбаки. Вместе ладили снасть, плели корзины и вентеря, вязали берёзовые веники, которыми отчаянно хлестались в банные дни. Починили надворные постройки и снесли просевшее, трухлявое крыльцо со щелястой, скособоченной дверью и подслеповатым оконцем. Новое крыльечко из струганных досок веселило двор голубым окрасом и фасонистым, белым переплётom большого окна.

В трёхгодовалой дочке Ульяны улыбчивый немец вообще души не чаял: косички ей заплетал и в куклы, как маленький, игрался. Поздней осенью сорок второго большой Курт подвесил к матице зыбку, в которой издавал разные звуки и пускал пузыри Курт маленький, синеглазый прожора и весельчак.

В конце лета сорок четвёртого на «той стороне» внезапно началась возня, и целую неделю немцы на кордоне не появлялись. Через неделю суета за речкой так же внезапно стихла, и на кордон пришли фельдшер Иоанн, Петер, Курт и серьёзный молчун Густав, от которого ждала ребёнка сноха Силантия. Уселись с женщинами на скамейки, вокруг клумбы с поздними астрами.

«Временные неудачи на фронте вынуждают нас отступить за Большую реку, — сказал, опустив глаза, фельдфебель Курт Квинт. — Фрау Эрне Мазур, как фольксдойче, разрешено вступить в брак с Иоанном Герлахом и вместе с детьми уехать в Германию. Остальные должны остаться. Но мы скоро вернёмся и вновь будем вместе». То, что они услышали, не было, казалось, для них неожиданным. Они давно уже поняли, что всё рано или поздно именно так и закончится, и были готовы к этому. Молча повели «своих» немцев на свои дворы. Рано утром немцы ушли и больше не вернулись.

На этом я закончу свой рассказ о юноше с «фашистским» именем. Знаю, что читатели возмутятся: «И без тебя знаем, что «больше не вернулись», а с пацаном-то, что дальше было?»

Простите великодушно — я не знаю. Роту Сани Рязанцева передислоцировали в Васюганскую лесотундру, и мы больше не виделись. Мне и самому, ой, как хочется знать, как Ульяна Рязанцева отстояла в те времена абсолютно невозможное у русских имя сына! Такое разве что только где-то в Прибалтике могло пройти.

Мои попытки сочинить окончание не получились. Сюжетные линии заводили в такие дебри, из которых мудрено было выбраться, а страдания и мытарства людей в то страшное время уже давно многократно и подробно описаны очевидцами.

А Курт Рязанцев — лицо реальное. Ведь Санька, его брат, сказал: «Его Курт з о в у т, как тебя». В 1957-м году сказал!

Лидия РОЗИН



Родилась в депортации — в Кемеровской области, но постоянным местом прописки стал пригородный посёлок близ Алматы. По образованию — инженер-связист. Стихи писала с детства, но печататься начала только в Германии. Публикации — в газетах, журналах и литсборниках Германии. В России опубликована подборка стихов в сборнике «Сердце в ладонях» из серии Русские поэты в Германии. В 2010 г. вышла книга «Ошарашунг» (роман, повесть и цикл стихов). В 2012 г. в изд-ве Роберта Бурау опубликован немецкий вариант первой части романа «Ошарашунг». В Германии — с 1994 г.

* * *

Я есть!
 Я живу, удивляюсь,
 Себя самоё удивляю,
 Новой мечте открываюсь —
 В себе открываю поэта.
 Руки к Любви простираю,
 Играюсь словами и светом,
 Но, разобравшись, в итоге,
 С Богом лишь в прятки играю —
 Мчусь, от себя — к Богу,
 Даже не замечая,
 Как в суете по дороге
 Старых друзей теряю.
 Вклеены в фотоальбомы
 Снимки, ещё черно-белые.
 Лица,
 до боли знакомые,
 Юные, честные, смелые.
 В каждом — меня частица.
 Я открываюсь заново.
 Я открываю занавес:
 Над белой ещё страницей,
 Может быть, новая песня
 Тут ненароком родится.
 Господи,
 вот она, здесь я!
 Рядом душою со всеми,
 И наступило, кстати,
 Самое-самое время —
 Сбор урожая объятий.
 Я открываю занавес.

Я открываюсь заново.
Сердце своё открываю:
Люди!
Я вас обнимаю!

НОЧНОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Закрою Пушкина и положу на полку.
Глаза слипаются — орудует Морфей,
Черёд его, и спорить с ним что толку,—
Он, как всегда, окажется сильней.

Я сброшу тень, нажав на выключатель.
За светом — тьма. Ушедшие. Друзья ...
Прощай! — шепну вослед потухшей дате, —
Да будет сон. И встреча с ним моя.

Окно в Храм ночи настезь распахну
И посмотрю в глаза самой Вселенной,
К дыханью Вечности Душой прильну,
Войду в объятия неги постепенно.

Согнуло время в рог полулуну
И, до краёв его наполнив светом,
Мне предлагает из него испить,..
Чтобы с бессмертным встретиться Поэтом.

Сложу ладони чашей — наливай, —
Люблю луны сонаты и сонеты, —
Возможно отыщу в них невзначай
На все мои вопросы я ответы.

Как дальше жить? В чём смысл бытия?
Когда вокруг тебя одни страданья,
Когда твоё раздробленное Я
Сплошные производит нарицанья?

Пришли немые думы-облака;
Над дверью Храма поселило мысли:
Испить весь рог? Иль сделать полглотка? —
Но искры звёзд в Молчании повисли.

Шепнул лишь дух: «Не время, не сейчас;
Узнай — придёт тобой желанный день;
Назначен звёздам срок, — уже ниспослан Глас,
Что горний Высоты тебя коснётся тень.

Пройдёт пора страданий и сомнений,
Душа за тенью обнаружит Свет;
На смену отражений — выйдет Гений,
В дверь Храма впустит Истины Ответ.

Он станет твой. Прекрасное мгновенье!
Протянет лучик Бесконечный Свет;
Сольётся с Ним твоё предназначенье —
Прозреешь ты, с глаз пелена спадёт

И твоё сердце отзовется — оживёт».

* * *

А. Соколову

Думать не хочется. Я наблюдаю,
Как беспризорные мысли толпою
Мимо бегущей строкой пролетают —
В завтра далёкое вслед за мечтою.
Ну а навстречу им думы печальные,
Полные грусти и воспоминаний,
Медленно катятся в прошлое дальше...
Я им, увы, не составлю компании.
Нет, не хочу я назад возвращаться,
Пусть даже если тоскую по маме...
Вечно куда-то спешить и гоняться
За приключениями и миражами,
Тоже, признаюсь, охота пропала.
Вот и стою я тут, на перекрёстке,
Где не видать ни конца, ни начала, —
Только вдали горизонта полоски...
Я нахожусь будто в маленькой точке,
Там, где встречается время с пространством.
В сердце из чувств неопознанных строчки,
В самом роскошном, словесном убранстве
Бродят, слагаясь в стихи и сонеты —
Ярмарка звуков и не-разбериха,
А в голове, там, где зреют ответы,
Всё как обычно — спокойно и тихо.
Думать не хочется. Я наблюдаю...
Фильм, как в груди, в прединфарктной гранате,
Взрыв из неспелых стихов назревает...
Время обратный включает отсчёт:
Три... два... один... разрываются кстати —
Вместе с будильником два телефона —
Хватит бездельничать! Жизнь зовёт!
Я снова дома. Сажу на кровати,
С кем-то беседую голосом сонным, —

Мне позвонил благодарный читатель
И восхищался моими стихами.
Стало быть, я ещё здесь, я — жива,
Если кому-то по правде нужна.
Жизнь прекрасна! Читатель, мой милый,
И удивительна каждым мгновеньем,
Ваше признание дарит мне силы, —
Я воплощаю их в стихотворенья.
С радостью делаю это для Вас
Здесь, в настоящем, сегодня, сейчас!

ОЗАРЕНИЕ

Пока мы живы, будем жить:
Грешить и каяться,
И... заново грешить.
В потёмках по инерции блуждать,
Ни от кого ничем не отличаться,
Вершить дела, ошибки совершать,
Мир изменить по-своему пытаться,
И в прозе быта просто прозябать;
Играть в «любовь» и прятаться от Бога,
Или смиренно в `бозе почивать`.
Но вот однажды, выйдя на дорогу,
Устав от перепетий бытия,
В каком-то неосознанном стремленьи
Познать природу собственного Я,
Вдруг замираем, звёзд услышав пение...
Как будто бы впервые в жизни нам
Слух отомкнули, отворили зрение
И дремлющее сердце разбудили...
Остолбев, внимаем Небесам.
Всего лишь на единое мновение
Кулисы горизонта нам открыли —
Сознания коснулось Озарение:
Как будто мы совсем ещё не жили,
Но это означает не конец,
А лишь начало нашей новой жизни,
В которой раскрывается Творец,
А прошлой, той — отпразднуем же тризну,
Былое всё — простить и позабыть!
О, Господи, какой Ты Молодец!
Добру и Свету призваны служить,
Чтоб в школе для разбуженных сердец
Учиться так, как любит Бог, любить!
Пока ещё мы живы, будем жить!

* * *

На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы,
Взяв только сны и грёзы и детскую мечту,
Я тихо уплыву, пути не выбирая,
И, может быть, узнаю мир, в котором я живу.

Юрий Лоза

От буден мирских, суеты и забот
Со скоростью чтенья страниц берегов
Вверх против течения мой движется плот,
Он соткан из красок, из звуков и слов,
Из образов светлых, пришедших из снов,
Из песен, рисунков и из стихов.
Весёлыми он управляем лучами,
При ветре способными стать парусами.
В мгновенье ока в ковёр-самолёт
Умеет мой маленький плот превратиться;
Глядишь, вот уже он по небу плывёт
Свободной, сияющей, радужной птицей...
Душа моя издавна в небо стремится,
Но здесь, на Земле, ещё столько работ...
И мне ещё время не вышло летать, —
Для этого надо сперва научиться
Уменью любить и терпеть, и прощать,
Природе на зрелость экзамены сдать,
Забыть, что с тобой совершили года
И попросту заново взять и родиться —
Родник отыскать, где живая вода,
Испить из ладоней водички, умыться,
Стать чистым и добрым ребёнком опять,
На мир, широко открывая глаза,
Увидеть, какая вокруг благодать!

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ

Немых отцов немые дети,
Родившись где-нибудь в Сибири,
Умеем лучше всех на свете
Молчать и жить со всеми в мире.

Да, мы приучены молчать
И делать всё, как нам велели...
А Родину мы звали Мать —
Ту, что помним с колыбели.

Но вот огромная страна
Вдруг раскололась, словно льдина,
И, трещинами став, морщины
Порвали мир на острова.

И стало много новых стран,
И президентов стало много.
Пришли сомненья и обман,
И люди обратились к Богу...

Но только Бог их не услышал
(Связь с Богом через много лет
Надёжно так из строя вышла.)
И Он не мог им дать совет.

Тогда потерянный народ
Свой робкий голос откупорил,
И, как всегда, ни с кем не споря,
Собрался и ушёл вперёд

На Фатерланд, что там вдали
Манил роскошными огнями.
Куда идём, не знаем сами,
Но вот мы, кажется, пришли.

Теперь мы здесь, и мир иной
Свои объятья нам раскрыл.
Мы, наконец, пришли домой,
Но мы уже лишились сил.

Примите нас, какие есть мы.
У нас багаж противоречий:
Да, мы поём по-русски песни
И пользуемся русской речью.

Но если вам мешает что-то
Понять, что всё же немцы мы
(И это доказать должны),
Вы предложите нам... работу.

1994

Иван АНТОНИ



Родился в 1949 г. в Коми АССР — месте депортации. С 1959 г. жил в Казахстане. В 1971 г. окончил Кустанайский пединститут. Учитель физики. Работал в школе, пединституте, инженером на предприятиях Кустанайской области. В Германии — с 1994 г. Серебряный призёр литконкурсов «Русский Stil-2009», «Русский Stil-2010» и «Русский Stil-2011», автор «Стильное перо-2012» и «Стильное перо-2015», дипломант «Русский стиль-2014». Живёт в Nouss (Nordrhein-Westfalen).

* * *

Мне приснилась сторонка родная
И цветы, что росли под окном.
И решил я, добром вспоминая,
Посетить мой родительский дом.

Захотелось опять причаститься,
Поклониться святым образам,
Родниковой напиться водицы,
Побродить по лугам и лесам.

А сойдутся друзья в добрый вечер
В нашем доме за круглым столом —
Побеседуем, выпьем за встречу
И любимые песни споём...

—
За селом заиграла трёхрядка,
Созывая парней и девчат.
По знакомой тропе за оградкой
На гуляние пары спешат.

На завалинке старые бабки
Мудро судят о прошлом ладком.
Старики греют лысины шапкой
Да дымят без конца табаком.

Здравствуй, здравствуй, сторонка родная!
Здравствуй, милый родительский дом!
Снова дома! Заря польхает,
Рдеют ярко цветы под окном!

—
Собирайтесь друзья в добрый вечер
В старом доме за круглым столом.
Мы в честь этой торжественной встречи
Наши старые песни споём.

И потрянув сединою, как прежде,
Разогревшись искристым вином,
Я спою вам о вечной надежде,
Не смываемой серым дождём.

Так играй же, гармонь, не смолкая,
Про любимые с детства края...
Пусть никто на селе не узнает,
Как душа тосковала моя.

* * *

Бреду один тропой лесною,
Устав от дел и суеты.
Вечерний свет зари багровой
Окрасил в кровь траву, листья.

Кукует в тишине кукушка,
Вселяя благодный покой,
И, отражаясь от опушки,
Ей вторит эхо за рекой.

«Ответь, кукушка, — попросил я, —
Как долго мне осталось жить?»
Но петь вещунья прекратила,
Не хочет, видно, ворожить.

А что скрывать? Не жизнь всё это,
Хоть и не смерть пока ещё,
Когда, проснувшись на рассвете,
Желаешь, чтобы день прошёл.

Твоя судьба с моею схожа —
Нам на земле тоскливо жить.
И хоть ответ ты знаешь, всё же
Не хочешь правдой огорчить.

* * *

В опустевшем саду листья сброшены.
Все тропинки листвою запарошены.

Смотрит в лужи с тоской небо синее.
Молча мёрзнут цветы в белом инее.

Сердце гложет печаль поздней осени.
Серебрятся виски ранней проседью.

И стою я, смотрю неприкаянный,
Как летят журавли к югу стаями.

Только мне не лететь вольной птицею,
Отлетал я своё всё сторицею.

Отлетал, приземлился навечно я,
Оказалась посадка конечною.

Но не верится! И по-прежнему
Жду весны с неизменной надеждою.

СТОРОНА МОЯ, СТОРОНКА

По деревне бродит вечер:
До утра смолк гомон птах,
Задремал бродяга-ветер,
В пыльных заплутав кустах.

Терпкий запах трав медвяных
Потянул, лаская нюх.
В избах пышный хлеб румяный
Источает хлебный дух.

Серебристым мягким светом
Месяц светит за рекой,
Охраняя до рассвета
Ночи благодный покой.

И плывёт, плывёт над миром
В благодатной тишине
Над родной сторонкой милой
Плач кукушки в вышине...

—

Ночь проходит: исчезают
В небе звёзды — фонари,
Петь кукушка начинает,
Торопя приход зари.

Над рекой туман густеет,
Укрывая струи вод.
Розовеет и алеет
Над землёю небосвод.

Луч блеснёт, и дух захватит:
Под лазурью голубой,
Словно сказочная скатерть,
Луг искрится пред тобой!

Ветерок легко, сторожо
Вдруг повеет озорной.
Тёмной змейкою дорожка
Вдаль уходит за тобой...

Сторона моя, сторонка!
Наяву или во сне
О тебе с любовью, звонко
Я пою в чужой стране.

Вот уже виски седеют —
Испытал я жизнь сполна,
Но с годами всё милее
Мне родная сторона!

Вспомнишь — и моложе станешь,
И вольнее дышит грудь...
Только время не обманешь —
Что ушло, уж не вернуть.

И печали, сердцу вторя,
Часто, будто наяву,
Вижу, как пылают зори,
В небе облака плывут,

Над рекой туман клубится,
Льётся с неба синева,
Самоцветами искрится
Изумрудная трава.

Слышу колокола звоны,
Плач кукушки в тишине.
И печаль тоски бездонной
Разрывает сердце мне.

ПРЕДПИСАНИЕ

Чтоб я достиг преклонных лет,
Мне доктор дал такой совет:

— Недолго спи, вставай с зарёй!
Чуть-чуть сиди, поменьше стой!

Лежи чуть-чуть! Подвижен будь!
Гулять по парку не забудь!

Не ешь жиров, пей чай без торта,
И занимайся больше спортом.

Ходи пешком, беги трусцой —
Болезнь не справится с тобой!

Стихи писать, если смогу,
Теперь придётся на бегу.

Мелита РОТ



Родилась в 1970 г. в Омске. Окончила институт графики, дизайнера, курсы повышения квалификации по журналистике. Работала в ПиАр, веб-дизайнером, свободным редактором журнала «Handmade Kultur» и веб-порталов. Пишет художественную прозу на нем. языке, выпускает блог по теме бикультурной жизни в Германии (www.scherbensammeln.worldpress.com). Переводы её прозы публикуются в русскоязычной периодике Германии. Член Литобщества немцев из России и Содружества писателей writers' room Hamburg. Публикации: ж. Австрии, Швейцарии и ежегодные лит. альманахи. В Гамбурге — с 1998 г.

А ЛЯ РЮСС

Когда я хочу почувствовать себя хоть немного русской, я иду в турецкий магазин. Купить семечек. Хотя турки их сильно пересаливают. Но на безрыбьи и рак рыба. Лучше всего, конечно, чёрные или полосатые семечки, что появились в отделе экзотических продуктов одного из магазинов низких цен — только, пожалуйста, без соли. Турецкий лимонад по вкусу тоже слегка напоминает прежний русский. Как, кстати, и австрийская газировка «Альмдудлер». Это я поняла уже давно, съездив в отпуск в Австрию. Первый глоток «Альмдудлера» катапультировал меня прямёхонько в детство. Сегодня, правда, так уже не получается.

Когда душа просит чего-то русского, можно ещё пойти в турецкую булочную, заказать там колечки с фаршем («ачма» или «ачме») и есть их, запивая великолепным чёрным чаем. Пусть отдалённо, но они напоминают выпечку из Казахстана и Омска — треугольные беляши с фаршем из ягнятины. Турки, как и русские, заваривают крепкий чай и разбавляют его кипятком. Айран напоминает о Средней Азии, хотя вкус у кумыса другой.

Когда хочу почувствовать себя русской, я иду на концерт Горана Бреговича или слушаю «балкан-поп». Кассета, что есть у меня в сотнях вариаций с одной и той же песней, звучит по-славянски так, что заставляет моё сердце биться сильнее. И пусть это музыка горного, а не степного народа — она похожа на русскую.

Когда я хочу почувствовать себя чуть-чуть русской, я еду в Польшу. Некоторые сёла в Польше настолько отличаются от всего того, что есть в Германии, настолько минимально упорядочены, что этого достаточно, чтобы ощутить себя русской: сады и огороды вокруг деревянных домиков, дикая поросль цветов, а перед домом — скамейка. Да и сами цветы какие-то более восточные.

Когда я хочу почувствовать себя немного русской, я отправляюсь в Барселону, где стоит только закрыть глаза и прислушаться к каталанскому. В первый момент обрывистость и гортанность языка слегка напоминает русскую речь. Но только в первый момент. И лишь слегка.

Когда я хочу почувствовать себя русской, еду в Швецию или Норвегию полюбоваться берёзками. Или снегом.

И только в Россию я не еду, потому что там чувствую себя до кончиков ногтей немкой и безмерно чужой. До такой степени чужой, что это разрывает мне сердце.

ОСТОРОЖНО, РУСАК!

Она увидела его под убогим навесом вокзала провинциального городишки. Он стоял с сигаретой в одной руке и бутылкой пива в другой. Заговорив с ним, — речь шла о каком-то пустяке — она сразу определила, что он оттуда. Но не хотела рубить с плеча — не хотела, чтобы получилось как обухом по голове:

«А ты, ты откуда?»

Они перекинулись парой фраз, прежде чем она, как бы случайно, упомянула своё имя.

«Меня Ольга зовут, а тебя?» Его звали Вальдемаром. Молодой щуплый парень с синими, как озёра, глазами, обрамлёнными густыми ресницами. Если молодого парня зовут Вальдемаром, никаких сомнений: осторожно, русак! Она спросила его по-русски: «А в России — ты откуда?» После этого вопроса говорить стало легче — откуда и куда, зачем и почему.

«А в детстве тебя называли Владимиром?»

«Нет, меня всегда, с самого начала звали так — Вальдемар. Владимир — это мой отец».

Они немного поболтали, потом он вдруг сказал: «В случае чего — я церемониться не стану. В такие игры я не играю».

Переход на зимнее время в это воскресенье подарил им целый час. Они разговаривали, смешивая немецкий и русский. Когда не находилось нужного слова в одном языке, перескакивали на другой и прекрасно понимали друг друга.

«Вообще-то я уже успокоился. Ко мне больше никто не лезет. Они меня знают. В случае чего, я церемониться не стану, — сказал он снова, — и родители, и братья меня знают. Полицейские тоже. Они знают, что будет, если они тронут меня или мою семью».

Она взглянула на его жёлтые от никотина пальцы, на разношенные светлые кроссовки, на бутылку пильзенского пива в левой руке и почувствовала, что никакой опасности от него не исходит. Жёсткие слова совсем не шли к его узкому лицу, да и волосы были слишком длинными для того, кто бьёт, не моргнув глазом. Но в его взгляде было что-то, говорившее о крайней решимости. И ещё эта горькая складка в уголке рта. Вполне можно себе представить, что он, в случае чего, может дать сдачу. Он заметил её взгляд и стал оправдываться за алкоголь среди белого дня: у отца был день рождения, они отмечали, немного выпили. Отец так и не нашёл работы. Все двадцать лет, что они здесь, его куда-то не брали — для той работы, что ему предлагали, у него была слишком высокая квалификация. «Знакомая песня, — подумала Ольга. — К сожалению, человеческое достоинство в этой стране начинается там, где зарабатывают много денег. Если работу теряют», достоинство заканчивается.

«Но у меня, — подчеркнул Вальдемар, — у меня есть работа. С тех пор, как я из деревни перебрался в районный город. И у меня есть своя квартира, маленькая, в старом доме, но своя». Хотел сказать, что он не бездельник, не бомж, несмотря на бутылку пива в воскресенье днём. И его начальница — «моя шэффа», выразился он, тоже хорошо его знает. Знает, на что он способен, как с ним обращаться. В случае чего.

Неожиданно к ним подошла старушка, божий одуванчик до плеча Ольге — чепец на голове, усохшая совсем.

«Ты, сынок, — Дима?» — спросила она по-русски. По белому чепцу на голове можно было определить, что она менонитка, набожная бабуля по дороге куда-то или уже у цели. Может быть, некий Дима должен был её встретить. Она услышала русскую речь, и решила попытаться счастья. С недоверием глянула на бутылку пива:

— Ты, сынок, — Дима?

— Нет, я Вова, — ответил он вежливо.

Вова — Володя — Вальдемар.

Вова-Володя, так Ольга называла в детстве двоюродного брата. Это звучало тепло и доверительно. Детство в Советском Союзе... В парке пахло барбарисками и ванильным напитком. Вспомнился мультфильм «Ну, погоди!» с волком и зайцем, «секретки» из пёстрых фантиков под стеклом, присыпанных землёй.

— Слушайте, в такие игры я не играю, — сказал Вова. Он давно уже ни во что не играет, в девять с небольшим приехал в Германию, и детство закончилось. Разом. А новая жизнь, к которой так стремились, к сожалению, не началась. За двадцать с лишним лет так и не началась.

То ощущение, что ты вдруг больше не ребёнок, Ольга тоже хорошо помнила. Но только её жизненный опыт был более мягким. Она приехала ещё до первой волны, когда переселенцев было не так уж много. Она не была свидетельницей того, как учительница сломала руку ученику. Она не стояла перед толпой враждебно настроенных мальчишек, не отбивалась от них, пуская в ход кулаки, ей не надо было выносить ежедневные оскорбления на школьном дворе: «Ты, русская свинья, убирайся, откуда приехал!» Единственное спасение — другие русаки, то есть русские. Вместе мы сила. Но не всегда можно быть в стае, иногда ты идёшь один, и тогда они настигают тебя. Если ты мал, беги. Если мал да удал, бейся. До конца.

Ольга не помнила, как они заговорили о прошлом. Обо всём, что случилось во время войны и после неё. Обо всём, что рассказала Вальдемару бабушка до того, как её пожрал рак. Он так и сказал: её рак пожрал. Слишком рано». И коснулся необычных бабушкиных рассказов-сказок: «Когда Генрих, мой муж, вернулся из Трудармии, я его не узнала, а вот моя свекровь — да, она бросилась сыну навстречу. А наш собственный сынок, он тогда был ещё очень мал, он от Генриха просто убежал. Мы Генриха в сарае в цинковом корыте отскребали от грязи, только потом в дом пустили. Одежду во дворе сожгли. Раньше мой Генрих был работающим, всегда весёлым, за словом в карман не лез, все маслобойки в селе конструировал он. Он мог построить всё,

что придумывал. А вот позже, после трудармии, он только смотрел в потолок, бродил по дому как привидение, ничего не говорил, только ночью плакал и от этого просыпался. А заснуть мог только тогда, когда под подушкой лежал кусок хлеба. Кусок чёрствого хлеба. Только тогда он мог спокойно закрыть глаза».

Это были монологи бабы Эммы о лишениях, вечных унижениях, голоде и потерях. Она рассказывала так, что кровь стыла в жилах. Безучастно, как будто не она всё это пережила. Как будто её там не было. Но фразы и картины проникали в сердце слушателя и оставались там. Такие воспоминания оседают в душах тех, кто выслушивает. Кто не уходит из комнаты, махнув рукой: «Ах, мама, оставь, всё боль-ём поросло».

Внук слушал внимательно и впитывал в себя каждое слово необычных бабушкиных «сказок». И хотя бабушка пропускала то, что не было предназначено для детских ушей, всё это незаметно оставалось меж строк и проникало в детскую голову. А потом на школьном дворе: ты, русская свинья! И вскинутые навстречу кулаки.

Да, он знает истории своей бабушки, знает их все, но не говорит об этом. Ни с кем. Никогда. А с кем говорить? С приятелями? Братьями? С маленькой сестрёнкой, которая родилась уже в Германии?

«Всё это у меня здесь, — сказал он, показав на свою голову. — Заперто. Не выскочит».

Нет, Вова ничего не расскажет. Пусть уж лучше говорят кулаки. Как тогда, в автобусе. Он хотел уступить место беременной женщине. Так положено, так его воспитали. «Но здешние пацаны, они бессовестные». И вот один парень в серой толстовке, сопляк ещё, подлетел и чуть не плюхнулся на свободное место. Вальдемар хотел его отогнать, а тот — хватать за нож. Вальдемар защищался голый рукой, и нож проткнул ладонь насквозь.

«Сейчас я могу уже двигать рукой, — говорит он и демонстрирует её подвижность, шевеля пальцами, — но заживало долго. Уже работает процентов на 85. И то хорошо». Естественно, что атаку отбивал правой рукой, она и пострадала — для правши плоховато.

То, что случилось потом, произошло мгновенно. Вальдемар потерял контроль над собой. Напал на того, в толстовке, поволок его по автобусу и лупил, пока тот не перестал двигаться. Сломал ему руку и ногу.

Когда появилась полиция, не сразу поняли, кто нападающий, кто жертва, — шофёр автобуса всё разъяснил. Он-то всё видел. Так как Вальдемар защищал себя и женщину, обошлось без уголовного наказания. А того, в толстовке, засадили за решётку. Три года получил. Уже отсидел и вышел. Вальдемар видел, как он с приятелями снова расхаживает по городу. Но Вальдемара они не трогают, обходят за километр. Они его знают. Знают, на что он способен.

Им снова помешали. Подъехала машина, которая должна была забрать Ольгу. Вова тоже было пора — надо помочь другу собрать шкаф. Они поспешно распрощались. Слишком поспешно. Ничем не обменялись. Случайное знакомство в пути.

В машине, идущей в Дюссельдорф, она прижалась лбом к холодному стеклу. В голове вертелись фразы их разговора. Машина ехала по земле Северный Рейн — Вестфалия, радио было настроено на 1LIVE. Спортивные новости, сообщения о пробках, потом хиты восьмидесятых, хиты девяностых и современные песни. Ольга думала о том, что они сказали друг другу и о том, что могли бы ещё сказать.

Он вёл себя мужественно в автобусе, отбив голой рукой ножевую атаку. А вот Ольга могла бы так, в случае чего? Без оглядки на потери. Тренируйся, сколько хочешь, но лишь когда на тебя действительно нападут, выяснится, как ты устроен. Насколько ты без тормозов и сможешь ли дойти до крайности. Именно это решает исход боя, а не мускулы, рост или даже ловкость. В конечном итоге, считается именно это — сможешь ли перейти границу.

За песней в исполнении Бруно Марса последовали новости. К одному из сообщений она прислушалась. Речь шла о трагической смерти молодой женщины в Эллере, одном из пригородов Дюссельдорфа. В памяти всплыла давняя присказка: «Приезжайте в Эллер жить, жизнь себе укоротить». Ряды многоэтажек. Массовая безработица. Огромное количество мигрантов.

Ольга взмолилась: «Только не переселенец, прошу Тебя, пусть на этот раз это будет не переселенец!» Она надеялась, что диктор скажет Ханс, Михаэль или Мартин, а не Виктор, Ойген или Сергей. В следующих новостях ведущая сообщила, что поиск бывшего мужа Марины Х. идёт полным ходом. Свидетели видели беглеца недалеко от Мёнхенгладбаха. Полиция остановила предполагаемого убийцу выстрелом в грудь. Он потерял много крови, но сейчас жизнь Вальдемара Т. вне опасности.

Я так и знала. Ещё один Вова-Володя. Интересно, что этому Вове рассказывала его бабушка? Интересно, он тоже пробивал себе путь кулаками на школьном дворе? Тоже рано разучился играть? Второй раз «Осторожно, русак!» на сегодня. Ольга закрыла глаза и прижалась лбом к дрожащему стеклу.

ВЕСТИ ОТ ИОВА

В воскресенье после Троицы наши сельчане разволновались ещё до церковной службы. Эмма Баас, одинокая старуха, жившая в домишке на восточном краю села, там, где когда-то начиналось новое поселение, прибежала к пастору и, положив руку на чахлую грудь, прохрипела: «Господин пастор, господин пастор! На новом колодце лежит проклятье!»

Пастор схватил шляпу, и, закрыв за собой калитку, поспешил за Эммой. Между тем и другие поселенцы выскочили на крик из своих домов. Небольшая процессия двинулась в сторону колодца, перед которым все остановились.

В этом году губерния выделила 42 новоприбывшим в посёлок на реке Молочной участки, на которых вскоре двумя рядами, перпендикулярно к дороге на Николаевку, выстроились дома, так что посёлок

приобрёл форму римской цифры II. Кроме того, был выкопан ещё один колодец. После Троицы работа была завершена. В тот день, когда колодец наполнился водой, мне исполнилось девять лет, а наших отца и мамы уже четыре года не было в живых. Я жил на окраине посёлка со старшим братом Иоганном, его молодой женой и их первенцем в доме на участке номер 9, поэтому я одним из первых оказался на месте событий и мог точно видеть, что происходит у колодца.

Из разговоров я понял следующее: сегодня утром отправившаяся за водой Эмма Баас заглянула в колодец и испугалась. На тёмной поверхности воды плавали белые буквы и цифры. Контуры расплывались, но всё же их было хорошо видно. Старуха быстро перекрестилась, и от ужаса прикрыла рот кулаком. Ведро при этом выпало из её рук и покатило к краю сруба. Там оно лежало и сейчас.

Группа мужчин у колодца обсуждала положение: второй учитель Мак, как раз в этом году преподававший в нашем классе; пастор Цильке, который бессменно — сколько я себя помню — читал проповеди в нашей деревне; церковный служка Людвиг Артеc и председатель церковной общины Антон Геллерт, приходившийся мне дядей.

«Из этого чёртова колодца я больше никогда не зачерпну воды! Скорее уж отправлюсь пешком в Одессу!» — убеждённо произнесла старуха. Второй учитель заглянул в колодец и произнёс: «Вижу ясно латинскую H, цифру 3, ещё одну тройку. Вот это да! Феномен!»

«Да ну тебя с твоими феноменами! — воскликнул мой дядя. — Это знамение. Произойдёт нечто ужасное. Впрочем, что ещё может случиться? Войну мы пережили, революцию пережили, голод в двадцать втором пережили».

Мне хотелось всё получше рассмотреть, и я перегнулся, было, через край, но гневный взор дяди отшвырнул меня назад. Пастор Цильке вознёс руки к небу и возвестил громовым голосом:

«Слушайте, братья и сёстры! Господь Бог обращается к нам. Латинская H и две тройки, это может быть только *Niob 3, 3* — «Книга Иова», глава третья, стих третий: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек!»! День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет!»

«Кто зачался? Когда зачался? Только не мальчик!» — вскинулась Эмма Баас и сурово оглядела стоявших вокруг. Взгляд её остановился на Мелитте, жене моего брата, которая прикрыла руками свой округлый живот и отвернулась. «Боже сохрани!» — быстро добавила старуха и перекрестилась.

К колодцу подтягивалось всё больше народу, ведь было воскресенье, и в поле никто не работал. Мужчины стаскивали с голов карты, мяли их в руках. Всем хотелось взглянуть на диво в колодце.

«О, несчастье! Сам Господь зывает к нам из колодца! Тяжёлые времена ожидают нас!» — заголосила вдова Шульц. Она подхватила свои юбки и понеслась по деревне, вопя: «Несчастье! Нас ожидает великое несчастье! Берегитесь, люди! Слушайте, что говорит колодец!» Пастор отвернулся, закрыл глаза и продолжил тихо читать из «Книги Иова»:

«Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя! Ночь та, — да обладает ею мрак, да не сочтётся она в днях года, да не войдёт в число месяцев! О! Ночь та — да будет она безлюдна; да не войдёт в неё веселье! Да проклянут её проклинаящие день, способные разбудить левиафана!»

«Левиафана, господин пастор, левиафана! Мы погибли!» — воскликнул маленький Франц и так затряс головой, что его никелированные очки чуть не съехали с носа, и только проволочные дужки за ушами удержали их на месте.

Второй учитель Мак, человек благоразумный, попытался остудить горячие головы: «Да перестаньте вы с вашим Иовом и с вашим левиафаном! Всему наверняка можно найти разумное объяснение».

«Нам нельзя было переселяться в эту страну! Вчера я видела четырёх воронов! Четырёх воронов, это плохое предзнаменование! Помните моё слово!» — раздался голос вдовы Шульц, чей муж был раньше старостой нашей деревни. Она выглядела взъерошенной птицей, чепец съехал на затылок, из тонкой серой косицы выбились пряди, словно она рвала на себе волосы. Она чуть не растянулась в грязи, ведь недавно снова прошёл дождь.

На воде в колодце всплыли ещё цифры 3 и 7 и буквы, на этот раз русские — «Л» и «Я», «Б» и «Г». Все возбуждённо заговорили.

«Я — Бог! — заорал кто-то, — это значит «Ich bin euer Herrgott!», так ведь?!»

«Пусть пастор со старостой решат между собой!» — крикнул председатель церковной общины Геллерт.

«Собрание! Надо созвать собрание общины! Кто-то ведь должен уметь толковать знамения!» — потребовал церковный служака Артес.

«А может быть, эта ваша буква, которую вы приписали Иову, — просто русское «Н» и значит «Николаевка»? — спросил второй учитель. — Кто рубил колодец? Кто обрабатывал брёвна? А ну-ка, зовите их сюда!»

«Это Мёльман! Кому же ещё, кроме него? Плотник Мёльман со своим подмастерьем, Длинным Францем! Да куда же они запропастились?»

Молчаливая процессия двинулась к церкви, где пастор Цильке прочитал суровую, всколыхнувшую всех проповедь. Он сыпал цитатами из Иова и зывал к верующим одуматься и не грешить, дабы не будить левиафана, ведь если его разбудить, то это будет означать гибель всех и конец села.

Когда в полдень плотницких дел мастер Мёльман с подмастерьем вернулись с рыбалки, нервы у всех были на пределе. Но именно Мёльман сумел всё объяснить.

«Да, я знаю, откуда эти буквы, я сам писал их на брёвнах. Н значит hinten, сзади, V — vorne, спереди. R — это rechts, справа, L — links, слева. Потом я всё пронумеровал, от 1 до 8», — объяснил он поджидавшим его.

«Тогда это не русская буква Г, а латинская L и значит links. А то, что мы читали как Я, на самом деле R, означающее rechts.

Б на самом деле — это б. Л — это V, что значит *vogne*, а Н — никакой не *Hiob*, а *hinten*. Всё так просто, народ, — подытожил Генрих Мак. — Мел отделился от древесины и поднялся наверх».

«Но как? Почему он не растворился в воде?»

После некоторых раздумий и вопросов, наконец, догадались. Как выяснилось, ели были ещё молодыми и содержали много смолы, которая за ночь соединилась с мелом и всплыла наверх. Поскольку заказ нужно было из-за дождей выполнить как можно скорее, у Мёльмана не было времени дать древесине отлежаться и просохнуть.

«Завтра мы хотим срубить ещё пару елей на крышу колодца. Ворот с цепью я уже заказал кузнецу», — добавил плотник.

«Я же говорил — химический феномен. Я должен изучить его подробнее», — решил второй учитель Мак, очень довольный тем, что не поддался всеобщей истерике. А те, кто кричал громче всех, теперь особенно пристально разглядывали землю у себя под ногами. Пастор сказал: «И всё-таки я предупреждаю вас — это было знамение, знамение Божие. Вы ещё вспомните мои слова». Эмма Баас и вдова Шульц стали при этом креститься. Большинство же поселян были рады, что ни проклятье, ни Иов, ни левиафан к ним не относились, и называли с этого дня колодец на околице не иначе как Божьим колодцем.

Переводы на рус. язык Ларисы Дик

Виталий ШТЕМПЕЛЬ



1956 г. — родился в глубинке Казахстана, куда были депортированы родители. Образование — инженер. С 1995 года — гражданин Германии. Работал рабочим, руководителем производственного обучения в одной из фирм. Автор трёх поэтических сборников: «Песочные часы» (Алетейя, 2005), «На уровне дыхания» (Алетейя, 2009), «Попытка пересказа» (Водолей), а также книги переводов из немецкой поэзии «Говорит любовь» (Алетейя, 2011). Руководитель проекта и редактор журнала поэзии «Плавучий мост», издающегося в Германии и в России с начала 2014 года (<http://www.plavmost.org/>). Живёт в Фульде.

* * *

Учились правде и добру, —
И были слепы.
Учились быть не ко двору,
Жить для потребности.

В глуши забитых деревень
Тянулись к свету.
И принимали новый день
За чистую монету.

И медленно копили их,
Живя мечтою
Отдать их за единственный миг
И стать собою.

1999

* * *

Всё наше с нами — как есть — в чемодане.
Всё перевешено — до кило.
Сталинский лик с трудармейской медали.
Было бы свято — подставим чело.

Но за какие такие идеи
И за какой же великий подлог
Не пощадил нас бог, иудеев,
Бог ортодоксов не уберёт?

2003

* * *

Сквозь ночь — ты услышишь: Любимая, спи!
Ты есть, я — оправдан. Я сорван с цепи —

Такая в душе заварушка.
И рад искушению вычислить пи
По раковине твоего ушка!

Любимая, спи. На тетрадном листке
Твой профиль рисую. Я б умер в тоске,
Но там, в галерее бездонной,
И звёздам так тесно у неба в лотке,
Что хочется верить Ньютону.

А значит звезда упадёт на карниз.
И, может быть, всё же он здесь — рай,
На этой планете любезной,
Где, вдруг, ощущаешь, что падаешь вниз,
А сам — воспаряешь над бездной.

О чем я, к чёму? Просто ты далека,
И так продолжительны были века
У времени на циферблате,
И то, что случается наверняка,
Так часто подобно расплате.

Любимая спи. Разделённые сном,
Как тысячью милей, — сейчас и потом
Мы рядом. И, будто от солнца,
Закрывшись ладонью, как птица крылом,
В неё перешёптывай сон свой.

2010

* * *

Две родственные души — бомж и я.
Латерны муть. Перрон — что богадельня.
Ноябрь. Дождь. И благодать сия
На нас двоих. И каждому раздельно.

Он сразу своего во мне признал.
(Не бомжа, нет — но в этом и наука!)
И «марльборо» предложенную взял,
В рюкзак нырнул:»Давай-ка, брат, по шлюку!»

Я с фонами, бывало, пил и выше —
Из мне судьбой отпущенных мессий.
Когда вам предлагает выпить нищий,
Не откажите, боже упаси!

Здесь вам не нужно быть за панибрата,
Или стоять, как воин на посту.

Мы пили с ним — две жертвы майората:
У каждого — лишь бремя на счету.

Он захмелел. И слёзы — как свинец.
Но по акценту понял: »Bist du Russe?«
А я смеюсь — я признан наконец,
И в этом повторяю Иисуса.

Он поезд ждал. Вагон — его притон.
В нём свет, тепло и даже пахнет бытом.
В нём спрячется под нишу, как питон,
Ненужный, искалеченный, забытый.

Он жадно пил — в два-три глотка до дна
И спрашивал, как господа матрона:
«Слыхал я, что Россия холодна.
А что, скажи, там холодно в вагонах?»

Вдруг поезд вполз — в свету — как труп разъятый,
Всей внутренностью розовой дразня.
Он влез в вагон. И не было объятий.
Лишь шаг ступнул — и позабыл меня.

2004

* * *

Худа крыша, да поката,
Кривы пальцы труб.
Билетёрша тётя Катя
Открывает клуб.

С виду трезв киномеханик —
Он принял чуток.
Ну, а больше пить не станет —
Дал зарок.

Бодро ленту заправляет,
Чтобы гнать начать:
Умный Фурманов Чапая
Будет поучать.

Будем мы страдать да ахать,
Обо всём забыв.
Вот уже в крови рубаха —
Выживай, комдив!

Дотяни до мелководья,
Только знай о том:

Если выплывешь сегодня,
То хлебнёшь потом.

...Нет, герои не судимы, —
Помни, сын и внук.
Где ты, Фурманов, родимый,
Славный политрук?

А покуда на экране
Убивают плоть,
Всё презрев, киномеханик
В аппаратной пьёт.

Он ругается не грубо,
Называет жизнь дерьмом
И, хлебнув портвейна, губы
Вытирает рукавом.

2006

* * *

Сосед мой, Корней Иоганнич,
С утра на прогулку выходит.
Он делает это же на ночь,
В чём смысл, вероятно, находит.

Потом он берёт отключает
Приборы, в которых нет смысла.
И долго сидит да сличает
События, годы и числа.

А станет дышать несподручно —
Вдруг сердце забьётся акутно —
С женой говорит он беззвучно.
И та его слышит как будто.

Она ведь далёко-далёко,
А кажется рядом — как прежде.
Коль в этом бы не было прока,
То не было б в жизни надежды.

Потом облачает пижаму, —
Прозрачный, как в осень осинник.
И думает: лягу, пожалуй.
И ставит на восемь будильник.

2012

ТЁТУШКА ФРИДА

Тётушка моя, тётя Фрида,
родилась на Украине.
Оттуда её, восьмилетнюю,
отправили туда,
где Макар коров не пас.
Ну, не одну, конечно —
много их было в эшелоне.
Правда, доехало мало.
Но ей повезло — выжила.
И дальше не жила — выживала.
Голод познала и холод.
Учиться не пришлось —
рабочие руки были в цене,
а жизнь мерилась трудоднями.
Но ничего, всё пересилила!
А пора пришла,
замуж вышла, детей родила —
дай бог таких каждому!
И дожила до старости.
Уйму болезней нажила.
Да ведь жива!

А сегодня тётушка моя, тётя Фрида,
страшно подумать —
живёт в Берлине!
Пенсийку назначили,
квартирку дали.
Благодать!

Звоню ей:
Как поживаешь, тётушка?
— Да ничего. Вот приболела только.
— Ну, а врачи, что говорят врачи?
— Врачи ничего, врачи хороши.
Лечат больше, но меньше души.
Вот таблеток прописали,
а как принимать — не сказали.
Валере звонила
(Это мой брат — он врач),
как, говорю, пить?
Жирного, говорит, не ешь.
Так ведь и так не ем, говорю.
Вот и не ешь, говорит.
Алкоголя не пей.

Бог с тобой, говорю,
сроду ж не пью —
ты ведь знаешь.
Знаю, говорит, вот и не пей.
Теперь принимаю —
как он сказал.

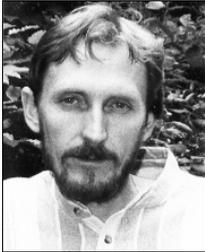
А там у неё ещё дочка осталась.
Переживает она о ней.
Муж её не хочет сюда.
Там у него, говорит мне тётушка,
работа и водка.
И, помолчав, добавляет вздыхая:
И Родина. И Родина тоже.
Вот и помогает она им как может.
Пенсийка у неё маленькая,
а сердце большое.

А сегодня звоню ей:
Тётушка, как дела?
— Да ничего, правда опять слегла.
— Ну а врачи, говорю, что врачи?
— Врачи — ничего не скажу — хороши.
Но мне бы нашего.
Мне б для души.

Да где ж его взять-то, тётушка, для души?

2006

Иван БЕР



1962 г. — родился в пос. Малиновое Озеро (Алтай), месте депортации родителей. 1968 г. — переезд в Киргизию. В 17 лет окончил курсы церковного песнопения. Стихи пишет с 18 лет. В 20 с женой и сыном переехал в Фергану. После армии (1984) поступил на заочное отделение университета журналистики при «Ферганской правде». С 1986 г. — свободный фотограф Средней Азии, юга России и Северного Кавказа. В 1989 г. с женой и детьми выехал в Германию. Живёт в Бонне. Публиковался в Германии, России, Украине, Эстонии.

ОН ПРИКОСНУЛСЯ ГУБАМИ К НЕБУ

Запрокинуть голову так,
Чтоб ничего, кроме неба,
Чтоб зазвенело солнце — пятак,
Чтобы лазурь запела...
Запрокинуть... слово никак
Не подберу я.
Запрокинуть голову, как
Провокацию поцелуя.

1998

* * *

И дом этот был не на веки построен,
Разрушились стены, рассыпалась мебель.
Ушёл человек — путешественник, воин.
И флейта вернулась в бамбуковый стебель.

И только на месте, где жизнь зарождалась.
Сидела на камне седая усталость.

* * *

Не задержался в первом шалаше
В котомку поместились все пожитки.
Три шага от двери и до калитки,
Три шага — и полжизни в багаже.

А задержусь ли в этом шалаше
Навеки очарованный дорогой?
Уже зовет меня мой путь, уже
Свербит под сердцем тихая тревога.

* * *

Вот в такой непонятной стране переломанных чувств
я стоял и молчал, онемев от неясной тревоги.
И пылал, как явление свыше, рябиновый куст
у дороги.

Мне совсем не хотелось идти ни вперёд, ни назад,
мне хотелось вот здесь, под кустом, от тревоги укрыться.
Я устал, как Исав, и ложился на стол листопад
чечевицей.

И смотрел мне Иаков с ухмылкой лукавой в лицо,
и я думал: какие ж мы братья? И где наше сходство?
Он, несчастный мошенник, я знаю, сворует моё
первородство.

И отдал я ему всё, что было в котомке моей.
Он слепого обманет отца, но меня не обманет.
Я не знаю причины тому: я эллин — он еврей.
Но посеянный ветер он позже пожнёт ураганы.

* * *

В прорези окон, в хижину
Пялится мир — зевака.
Каркает день обиженный
Лезет со мною в драку.

Тычет мне в нос он датами,
Мол, не поможет ретушь.
В старых мехах каратами
Прячется жизни ветошь.

Крутится колесо моё,
Белкою хороводит.
Прошрое невесомое
Память на нет изводит.

Планку чуть-чуть занижу я,
Мне ли следить пристало.
Тихая моя хижина,
Срок — сорок два — не мало!

НЕЗАУЧЕННЫЙ УРОК

Забуть уроки — выучить урок
И раствориться в мудрости природы,
И сделать из пустыни огороды,

И запастись желаниями впрок.
Умолк пророк и ждет плохой погоды.

А на дворе — снаружи, от себя,
Там, где законы не подвластны воле,
Готовит лето бурное застолье.
Его не чешет близость сентября —
Другие несерьезности тем боле.

Легко проникнуть в душу изнутри,
Когда она, как решето из дырок,
Когда любая лесьть из подковырок
Воспринимается, как трижды три,
А результат не виден из-за бирок

Надутых цен за суету и влагу.
Условия назначил сам пророк.
Ему то что — сказал и на замок...
А ты хлебай из чечевицы брагу,
раз первородство сохранить не смог.

РОЖДЕСТВО

Серое утро на бзик похоже.
Мы с тобой на любовном ложе,
Докажем всем, что всё ещё можем,
Что время наше.
Декабрь — к концу, Рождество в разгаре,
Мы ходим толпами, а не в паре,
Ненужные вещи друг другу дарим,
Как день вчерашний.

А если взять и пойти направо
Вон из толпы с природой лавы
Сметающей и виноватых и правых
И левых тоже.
И страшно младенцу из Вифлеема.
Его раздирает одна дилемма:
Толпа — наложница из гарема,
Ярмарка — ложе.

Звезда погасла, волхвы все трое
Решили, что дальше идти не стоит.
Народ не ждёт, а Ирод в запое
И трон пустует.
Мария шапчонку сыну вяжет,
Иосиф то встанет, а то приляжет,
Пастух заглянул, но не уважил.
А в щели дует.

Лимоны, пряники, мандарины,
Шары, гирлянды, кричат витрины,
Фигуры из дерева и из глины
— Advent — предтеча.
Достала толпа с пропитой рожей.
Вернусь обратно к тебе на ложе.
И, может быть, смысл найду, и может
Младенца встречу.

ПЛЕЧИ БОГА

Мы не желали ничего осмыслить,
мы позабыли страх,
Как два ведра на лёгком коромысле
У Бога на плечах.

МАСШТАБ

Касанье рук — зачатие любви.
Почти что целый век до встречи взглядов.
В масштабах Вечности мы были рядом,
В масштабах жизни — в двух концах земли.

Вальдемар ВАНКЕ



Родился в 1945 г. в г. Джизак Узбекской ССР. Русская мать — участница ВОВ; в 1944 г. познакомилась с отцом, немцем Коссом Виктором, где он служил переводчиком при воинской части под Смоленском. Окончил гидростроительный институт. В нём работал преподавателем на кафедре «Гидротехнические сооружения». В 1978 г. с семьёй переехал в Коломну, где работал научным сотрудником НИИ вплоть до отъезда в Германию в 1994 г. Стихи сочинял со школьных лет, но лишь в зрелые годы всерьёз увлёкся поэзией. Книги: «Своё прошлое любя», «Ода поэтам», «Эхо».

РУССКИЕ СВАДЬБЫ В ГЕРМАНИИ

Ах, эти свадьбы русские —
Девчонок блузки узкие,
Парней глаза тяжёлые
И кулаки дубовые!
А ритмы музыкальные —
Под них ещё плясали мы
В эпоху радиоловую,
Когда мы были молоды.
Те ритмы музыкальные —
Казалось, в Лету канули,
Но, словно Феникс-птицею
Вдруг взмыли за границу.
«Малиновки» и «Вологды»
Танцуют россы гордые,
Фамилия — немецкая,
Душа — замоскворецкая,
С сибирско-азиатскою
Закваскою кержацкою.
Танцуют парни brave —
Трещит Европа старая!

ЛОБОВЬ И ВОЙНА

Там, где билась когда-то
С вражьей — русская рать,
Целовала солдата
Моя юная Мать.

И шинелишкой стылой
Мать укрыв от войны,
Целовал ее милый
В краткий час тишины.

Словно в августе жарком
Виноградная гроздь,
Млела нежно и сладко
В ласках девичья плоть...

Смерть косила Отчизны
Дочерей и сынов,
Но бессмертие жизни
Утверждала любовь!

* * *

Душистой осенью в лесу
Пройти и сесть на пень трухлявый,
Где увяданья воздух пряный
Приносит бодрость в жертву сну.

И в полусне, смежив ресницы,
Мечтать и думать ни о чём.
И, как пчела медком, упиться
Осенним золотым теплом.

* * *

Распахнулась мне степью Земля,
Подарила, как званому гостю,
Чашупряного летнего дня,
Янтари наливные колосьев.

Принимай меня, вечная Мать,
Обними меня, вечного Сына!
Лягу я в луговую кровать
Под безоблачным пологом синим.

Струны трав в пальцах ветра дрожат,
Звонко вторит им птичье бельканто...
Вынимай свою флейту, душа,
Подыграй полевым музыкантам!

Виктор ГОРН



(1949–2012) родился в г. Барнауле в семье поволжских немцев. Доктор филологических наук по теме «Шукшин и философско-этические проблемы русской прозы о деревне». Работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Барнаульского пединститута, ответственным секретарём Алтайской краевой писательской организации, председателем редколлегии серии «Библиотека Алтая», членом совета по критике и литературоведению Союза писателей СССР и РСФСР, членом редколлегии альманаха «Алтай».

ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ — ЧЕЛОВЕК

(о прозе Евгения Гущина)

По-разному приходят в литературу. Бывает так, что в юном возрасте человек своё читательское увлечение принимает за творческую одарённость. Искушённый читатель пытается стать писателем. После первых неудач на литературном поприще «писательская болезнь» у большинства таких авторов проходит. Но горе тому, чью пробу сил встречает шумная одобрительная поддержка. Не почувствовать себя гением, не дать своей голове закружиться от славы могут редчайшие. И они-то, как правило, вдохновляются жизнью.

Содержание творчества таких писателей рождается из собственного опыта и труда. Писатель Евгений Гущин мне представляется именно таким — идущим от жизни.

Десять лет прошло с тех пор, как вышел его первый тоненький сборник рассказов «Чепин, убивший орла» (1969), затем была повесть «Правая сторона» (1972), впоследствии выросшая в роман (1977), сборник «Луна светит, сова кричит» (1974), повести «По сходной цене» (1975) и «Облава» (1978), рассказы...

Много это или мало? Не знаю. Только думаю, что можно быть автором множества книг и не быть художником: не сказать ничего нового о жизни. Судить писателя по количеству написанного — дело бесперспективное. Важнее понять, насколько глубоко писатель в мир человека, какие стороны многообразной движущейся жизни сумел отобразить и как сумел это сделать.

Пожалуй, нельзя сказать, что Е.Гущин пришел в литературу с новым, неизвестным героем. Но очень важно то, что писатель взглянул на человека по-своему, сумел внести ту «поправку в действительность» (Л.Леонов), без которой нет настоящего произведения литературы.

Размышляя о произведениях Е.Гущина, я понял, что думаю о движении в его прозе.

Первые пробы пера Е.Гущина еще только на грани жанра рассказа. Это своеобразные «зарисовки с натуры», «эпизоды», «сценки», за которыми лишь можно угадывать будущие характеры и конфликты.

Уже в этих незатейливых этюдах можно увидеть точность изображаемого, верность деталей и характеристик. Как отмечали тогда рецензенты, в центре внимания многих произведений Е. Гущина человек и природа. Все так. Но мне бы сразу хотелось уточнить. В рассказах писателя запечатлено органическое (хотя в то же время намечается и противоречивое) единство человека и природы.

Таков, например, лесник Николай Краев, герой рассказа «Глухарина ночь», открывающего сборник. У него «радости и печали — все лесом предопределяется», он «нутром понимал значение леса, а слова не давались».

Это характерно для многих героев Е. Гущина, которые накрепко связаны с природой, осознают себя как ее часть.

Но если попытаться обозначить общую линию творческих поисков писателя, то ее, пожалуй, можно сформулировать так: от наблюдения к постижению, анализу сложных процессов жизни. Видимо, писатель отчетливо понимает, что уже недостаточно рисовать пусть близкие сердцу, но не самые главные события современной жизни. Поэтому ставит перед собой все более сложные эстетические задачи, ищет столкновения с неоднозначным материалом, отыскивает в повседневности драматические конфликты, приближается к художественному осмыслению более глубоких закономерностей и сцеплений современной действительности.

Вернемся к рассказу «Глухарина ночь». Уже в нем вызревает одна из существенных идей прозы Е. Гущина. Взглядываясь пристально в этот незатейливый мир, кажется, начинаешь понимать, с чего он начинается, на чем держится.

Отправляясь вместе с Николаем Краевым на глухариный ток (сфотографировать глухарей), его спутники обеспокоены тем, что глухари могут найти другое место для тока. Лес-то большой.

«— Лес-то, верно, большой, — сказал со знанием Николай, — и полян хватает, — продолжал почти сердито, — да только у каждой птицы, зверя свое любимое место. Красивше есть, а роднее — нету. Где первое гнездо или нора — там и дом... Да что птица... Возьми человека...»

Если «взять» героев писателя, то нетрудно заметить, как много у них связано с родными местами, с родным домом, с памятью, с тем, что «сызмальства привычное, знакомое».

«Раньше-то люди к дому крепко прирастали. Боялись в чужие края», — говорит старик из рассказа «Ночью, в ожидании паром». И дальше о своей старухе: «Мать как услышала про бульдозер, еще пуще заупрямилась. Из избы не выходит. Сносите, говорит, меня вместе с домом.»

... Родилась в этой избе. Каждая плаха родная».

И вот писатель посвящает этой теме рассказ «Старый дом». Старика Гаврилыча, которому в его старом доме тоже «каждая плаха родная», хотя бы переселить в однокомнатную квартиру городского типа. Писатель точно передает внутреннее состояние своего героя, у которого и оставалось только прошлое, предваряя повествование развернутой метафорой с шубой. Сколько уж раз хотел Гаврилыч бро-

силье ее к порогу. Да жаль было. «Шуба многие годы охраняла Гаврилыча от ветра и снега, от морозов и вдруг под ноги — грязные сапоги обшаркивать. Не по справедливости. В стужу она, ясно дело, уже плохой помощник, а в избе иной раз накинуть на плечи — ничего, пригреет. И вообще новую еще обнашивать надо да привыкать к ней. Повесил как-то старую на гвоздь, отошел — похожа на хозяина: выгнула спину сутуло, и рукава вперед тянутся, гнутые в локтях. Того и гляди, соскочит с гвоздя и заковыляет по улице. А кто из соседей глянет и подумает: Гаврилыч куда-то подался».

Рушат старый дом Гаврилыча и вместе с ним чуть не обрывают жизнь старика.

«Гаврилыч лежал в пыльной траве. Лежал на боку, неловко повернув руку. Из маленького кулака торчал поблескивающий ключ».

По какой-то невольной ассоциации возникает в памяти такая картина из повести В. Распутина «Последний срок»: «Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее — похоже, они постарели до одинаково дальней последней черты и держатся только благодаря друг другу».

Образ дома так или иначе проходит через многие произведения Е. Гущина. И чем больше вчитываешься в художественный мир, созданный писателем, тем отчетливее понимаешь, что в контексте творчества Е. Гущина ДОМ не только стены и крыша над головой, а то, с чем связана жизнь человека, корни его, то единственное место, которого нету и без которого трудно ему, нет крепи в его душе. Это и земля, и родина, и память, и те нравственные принципы, которые отличают человека.

У Ф. Абрамова в романе «Дом» звучит такая мысль: «Главный-то дом человек в душе себе строит. И тот ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов...»

Я не хочу сказать, что Е. Гущин ставит этот вопрос так же широко и остро, как Ф. Абрамов или В. Распутин, но то, что образ Дома проходит через всю прозу, что волнует и постоянно тревожит писателя, несомненно.

Дом в рассказах Е. Гущина одушевлен: «Он как человек».

Тяжело на душе у героя «Красные лисы» Ивана перед разговором с Верой, его неожиданной юной любовью. И вот одна из картин, при помощи которой Е. Гущин передает это настроение, состояние: «Жил Иван на краю села. Не старый еще был у него дом, всего семь лет как поставил, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на крыше облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карниза. Давно его оторвало ветром. По ночам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, а у того руки не доходят — залезть и прибить. Ключья чёрного, пересохшего мха торчат между брёвен — повылазили. Самое бы время перед зимой-то подконопатить стены паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он поглядел пристально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и беспризорным, будто и мужика в нём нет».

Один из лучших первых рассказов Е.Гущина „Трамвайщица» — повествование о молодой девушке, оторвавшейся от родного дома и уехавшей в город. Многие советские писатели (В.Шукшин, Ф.Абрамов, И.Друце, В.Распутин и др.) изобразили в своих произведениях сложные, порой болезненные, драматические стороны этого процесса, показали изнутри трудности социально-психологической адаптации сельского жителя в городе.

Шура, героиня рассказа Е.Гущина, тоже, если выражаться языком социологов, так называемая маргинальная личность.

Писатель отразил самое начало вживания деревенской девчонки в городскую жизнь и очень точно показал постепенное разрушение первоначальных иллюзий, которые характерны для многих переселенцев в город.

Уезжая в город, Шура «видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе, не знала, и чем заниматься будет в конторе, тоже не представляла, лишь чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселье». Город виделся героине «беззаботным, сотканным из одних радостей».

Все оказалось не так. Работа кондуктором в трамвае, простуженный и грубый голос, частная квартира. И вместо королевича, который грезился в песне матери и представлялся «высоким, чернявым, очень обходительным городским человеком», — Володька неприкаянный и беспутный.

Как сложится дальнейшая судьба Шуры? Не затеряется она в огромном мире? Разрушится ли окончательно в ней нравственная опора, которая с потерей дома слабеет? Писатель, пожалуй, не ставил перед собой таких вопросов, говоря о конкретной судьбе молодой девушки, но нас эта судьба, взволновав, заставила задуматься. Тем более, что в литературе можно найти дальнейшую художественную разработку в чем-то аналогичной судьбы (например, «Алька» Ф. Абрамова).

Что ж, человека, по-видимому, всегда будут манить иные города и страны.

И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу не бывал...
(Н. Рубцов)

А может быть, за самым главным, самым дорогим и лучшим не надо «ездить так далеко»?

Как это нередко бывает, первый роман писателя вобрал в себя многие проблемы, характеры, эпизоды предыдущих произведений. Человек и природа — так определяют тему романа Е. Гущина «Правая сторона». Уже говорилось, взаимоотношение человека и природы — важный мотив творчества писателя.

Но тем не менее по отношению к роману это обозначение носит условный, «рабочий» характер и, конечно же, не передает его основного пафоса.

Роман — жанр многоплановый. В этом смысле роман Е. Гущина «Правая сторона» неравноценен. Его структура, пожалуй, рыхловата,

авторская мысль не всегда набирает должную глубину, садится на мель. Порой прорывается несвойственная, как мне кажется, таланту Е. Гущина сентиментальность. Удивительно для автора «Красных лис», но страницы о любви — одни из самых слабых в романе.

Об этом произведении критика уже успела сказать свое слово, отметить достоинства и недостатки. Но в основном речь шла о первой части романа, вышедшей в 1972 году. В 1977 г. читатель получил роман целиком. И многое другое зазвучало по-иному. Углубился взгляд писателя. Претерпели эволюцию и главные персонажи: Стригунов, Рытов, Глухов, Клубков. И, думаю, ярче стало главное в произведении: взаимоотношения людей, социально-нравственные и философские поиски, которые обнаруживаются на этом материале.

Конечно же, роман Е. Гущина ставит и серьезнейшую проблему современности: отношение человека к природе. Уже сама по себе эта тема заслуживает большого разговора, что и объясняет острый интерес к ней советской литературы (например, произведения В. Астафьева, С. Залыгина, В. Белова, В. Распутина, Е. Носова и др.). И естественно, что роман Е. Гущина пронизывает человеческое беспокойство за судьбу уникального озера, тайги, окружающей его. В романе тревожно звучит вопрос о том, где же мера правильного отношения к природе. Как сделать, чтобы после нас «детям голая земля не осталась» (В. Астафьев).

Но если бы в произведении Е. Гущина были поставлены только проблемы так сказать экологические, то оно вряд ли отличалось от множества подобных произведений, а скорее уступало в чем-то лучшим образцам советской литературы.

Е. Гущин, как мне представляется, изображает природу лишь постольку, поскольку она дает ему необходимый материал для исследования природы человека.

Ведь если вдуматься, то у писателя Е. Гущина природа — это ведь тоже дом (или органическая часть его). Человек живет в этом доме, он в нем хозяин. Но какой? Достаточно ли мудрый? Не разрушает ли он свой дом торопливыми руками, чтобы на его месте воздвигнуть жилплощадь?..

И если недавно были в чести броские афоризмы вроде «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», то теперь мы все отчетливее понимаем, что человек — органическое продолжение природы, что природа не средство для самоутверждения личности, разрушая ее, мы разрушаем себя и в себе.

В повести В. Распутина «Прощание с Матерой» старуха Дарья спорит с внуком. «Человек — царь природы», — произносит Андрей. «Вот-вот, царь. Поцарюет да загорюет», — отвечает ему Дарья.

На страницы романа «Правая сторона», напрямую касающиеся этих вопросов, вторгаются публицистические мотивы. (Это, кстати, свойство, присущее современному литературному процессу, и его проявления можно обнаружить, например, и в прозе В. Астафьева («Царь-рыба»), и В. Распутина («Прощание с Матерой»), и С. Залыгина («Комиссия»). Правда, тут важна мера органичности эстетического и публицистического.

Вот характерные размышления, например, Ивана Рытова: «Сколько облысело склонов, покрытых теперь бесчисленными пеньками, как крестами, сколько речек вышло из берегов и заболотило низины между хребтами, какие страшные буреломы оставили после себя вальщики! Такого ни одной буре не натворить.

А ведь настанет время, пожалеем о своей недалёковидности, машин хитроумных будет много, никого ими не удивишь, а вот тайга — ее заново не сделаешь». Собственно, это доказывают и расчеты современных ученых: «природа дороже денег, всего золота и камней мира, ибо без нее мы как «хвост без кота».

Разные герои предстают перед нами в романе, неодинаково их отношение к проблемам заповедной стороны, по-разному они ведут борьбу за свои позиции, выказывая свое понимание не только ценностей природы, но и жизни вообще.

В этом смысле романную силу, художественный драматизм, философскую напряженность произведение набирает именно во второй части, где остро ставятся проблемы добра и зла, правды и неправды, возникает вопрос о нравственных последствиях человеческой вседозволенности...

Нелегко путь становления молодого помощника лесничего Артема Стригунова. В заповедник он приезжает человеком, духовно и нравственно еще не определившим свои жизненные позиции, с внутренним ощущением, что здесь «все стерильно. В смысле — честно, без обмана».

Надо сказать, что иллюзии Артема Стригунова разрушаются довольно быстро. Он часто оказывается перед выбором, перед необходимостью самому разобраться в происходящих событиях, дать им нравственную оценку.

Быть может, самое существенное воздействие на героя оказывают два человека — это лесничий Иван Рытов и «браконьер» Клубков. И это не случайно, именно с ними, в сущности, связаны основные идейные центры романа.

Столкновение этих персонажей носит прежде всего социально-нравственный и философский характер. Что есть добро и зло? Каковы последствия зла? Все ли средства годны для утверждения своей правды? И может быть правда на чьей-нибудь одной стороне?

Непроста судьба Ивана Рытова, сложен его характер. Хотя кажется, чего тут сложного: честный, принципиальный, сдержанный и т.д. Но... Почему же тогда ловишь себя на мысли, что нет у тебя глубокого понимания, любви к этому человеку? Почему он порой вызывает даже неприязнь при таком-то наборе абсолютно правильных черт?

Художник именно тогда художник, когда показывает не плакатность, однослойность характера, а его многозначность. Е. Гушин, по моему, умеет увидеть, что иногда и «стерильная» правильность оборачивается против самой себя.

Всегда ли, во всех ли случаях принципиален Иван Рытов? Поймал он как-то с сетью райисполкомовского инструктора, но акт не со-

ставил и сеть не отобрал. А «попадись на браконьерстве простой мужик — все бы сделал как надо. И сети бы отобрал, и акт составил, и в контору притащил».

Это он, Иван Рытов, поучает Артема Стригунова: браконьеров ловить надо «в городе, в деревне, в тайге — везде не давать им плодиться». Это он произносит свое кредо: «Люблю злых, колючих. Наверно, потому, что сам такой»; «Надо уметь цапаться за свою идею».

Но ведь в состоянии озлобленности можно напутать, обознаться, не увидеть нравственные последствия своих поступков.

Недаром на страницах романа мы сталкиваемся с пренебрежительным невниманием лесничего к конкретному человеку, его внутреннему миру.

«Иван никогда не задумывался, как вести себя с Гаврилой Афанасьевичем. Старик да старик, какую с ним разводить дипломатию».

Нетерпимость, неумение или нежелание понять другого приводит к тому, что Рытов, в сущности, оказывается на стороне зла, способствуя тому, что Клубкова выселяют «обманом из родного дома».

И вот, оставшись один на один с Рытовым, Клубков, до этого долго искавший встречи с ним, жаждавший мести, вместо этого «судит» его «с позиций правды и справедливости».

«Как ты считаешь, правильно вы тот раз сделали? По-людски или нет? Что воду по сухому рукаву пустили? Что границу свою за мой дом передвинули? Что смухлевали?»

— Правильно.

— И совесть не грызла? Ни единой минуты?

— Ни единой...»

Уверенно, не сомневаясь, возражает Рытов Клубкову, считая, что вся правда у нас, «в тишине да покое».

Категоричность Рытова в суждениях, убежденность в том, что его правда — вся правда, оказываются враждебными самой жизни.

«Она одна, правда... — говорит Клубков. — Она не может в одном каком-то месте собраться. Она везде есть. Вот как солнышко светит, его лучи всюду попадают, все живет этим светом. Всякая лесная тварь, даже малые букашки. В самое что ни на есть глухое ущелье и то солнышко заглядывает. Даже сюда, ко мне, и то попадает, ненадолго, а попадает, чтобы увидел его и обрадовался. И когда кто говорит, что вся правда у него находится, то это уже и есть неправда, несправедливость. Потому что она шибко большая, чтобы одним рукам удержать (...). Сила и правда не одно и то же. Силе всегда кажется, что правда на ее стороне. Ей и самой так кажется, и другим она приказывает так верить. А кто не верит, так того пинком по одному месту...»

Нет, не может быть доступна вся правда одному человеку, не может он считать себя единственным и непрерываемым ее обладателем. Иван Рытов, поступая по законам только своей справедливости (а она-то тоже оказывается избирательной!), ошибается, думая, что только она и соответствует истинной и необходимой правде дела.

Авторская мысль здесь серьезна и глубока. Жизнь оказывается сложнее некоторых представлений о ней. Человек тоже. Неслучайно писатель наделяет именно Клубкова по-своему знаменательными словами: «Это целая жизнь — человек...»

Нереализованная человечность оборачивается против самого Ивана Рытова. Писатель доводит повествование до большого художественного напряжения, стремясь показать, как жестоко может сложиться судьба человека, который сам в свою очередь нетерпим по отношению к другим людям.

Правда, принципиальность и человечность неразъединимы!

Писатель заставляет читателя задуматься над тем, каков нравственный смысл случившегося с Рытовым. Во всем ли он был прав в отношении к Клубкову да и к людям вообще? И если прав, то почему тогда распадаются связи с людьми, почему сдвинулось что-то в душе и мучает?..

И здесь образ набирает новую силу, поворачивается новыми гранями, внутренне драматизируется, становится еще более художественно многоплановым и убедительным. Если раньше Иван Рытов не тревожил себя мыслью о том, какой он, не задумывался над нравственными последствиями своих поступков и слов, то после, я бы сказал, принципиально важного для всей художественной атмосферы романа спора с Клубковым, Рытова начинают одолевать сомнения: «Злой... А может, со стороны виднее? Может, и на самом деле озлился он на всех и вся?»

...Неужели и на самом деле рассеяна она (правда — В. Г.), как солнце, повсюду? И по правой стороне, и даже по левой.

Не знаю, не знаю... Первый раз в жизни — не знаю...» Такое «незнание» говорит о внутренних сдвигах в душе, о новом художественном качестве эволюции персонажа.

Но наибольшей удачей писателя, несомненно, является образ Клубкова. Со страниц романа встает сложный, неоднозначный характер. Причем, как всякий настоящий художник, Е. Гушин любит своего героя, т.е. понимает его изнутри, в то же время, разумеется, не идеализируя его.

Клубков — не алчный браконьер, не похож он на тех плакатных злодеев, над которыми иронизирует автор: «Воображение услужливо нарисовало то, что не мог увидеть сквозь тьму: идет к его кедру браконьер — низкий корявый мужик в кирзовых сапогах, в стеганой телогрейке и зимней шапке. Он небрит. Бритым браконьера Артем представить не мог. На всех плакатах, которые ему довелось видеть, браконьер — молод, стар ли — с недельной щетиной на красноносом лице».

Да и вообще, если вдуматься, браконьер ли Клубков в том значении слова, какое мы вкладываем в него теперь? Не амнистируя своего героя, писатель дает нам неоднозначный материал для раздумий.

Ведь в словах Клубкова есть своя правда: «Ты меня с ним, браконьером, не путай, Артемий, сильно мне это обидно. Я почему марала на зиму завалил? Потому что с голоду помирать не хочу. Я мясом не торгую на базаре в Ключах. Я тайгой живу. Дед мой так жил, отец жил,

теперь я так живу. Мне чем-то другим, кроме как промыслом, кормить себя несподручно. Валить лес не хочу. Поперек души мне — живой лес валить. Окромья тайги, мне ничего не остается. Только она родная...»

Из рода в род жили тайгой Клубковы, чувствовали себя в ней хозяевами, распоряжались в тайге умело, по-хозяйски. Добывали на прокорм семьи ну и запас, на черный день, немного, меру знали. Угодья свои подчистую не облавливали. А когда «шишковали, то опять бережно. Ветки зря не ломали. Боялись: отец увидит — отхлещет хвостом приговаривая: «Не пакости в тайге, не пакости!»

Каким контрастом звучат слова писателя о бригадах шишкобоев-частников, которые, не задумываясь, валят деревья, чтобы обогреть с вершины десяток-другой шишек. И по-своему закономерен тот неутешительный вывод, к которому в конце романа придет Артем Стригунов: «Клубков — браконьер? Да он ангел по сравнению с рудоуправлением. Или леспромхозом. Кого из них больше тайге бояться?»

Ко многим важным мыслям приходит и Клубков в конце жизни. Испытыв несправедливость со стороны людей, он понимает, что и сам жил, презирая людские законы. И все чаще всматривается в себя: «Злость-то, она жизни не подмога. Это я по себе знаю. Как только обзлюсь шибко, так и прахом все идет».

Осталась в нем «душа человечья», а ее к родным местам тянет и не найти «успокоения» на чужом месте. Несчастье заставило Клубкова размышлять, а значит, духовно развиваться.

Такое отношение писателя к своему герою — верный признак глубины его гуманистических установок. Человек неоднозначен и «текуч», и Е. Гуцин убедительно доказывает это образом Клубкова.

Вот почему в Артеме Стригунове «надолго останется боль за Клубкова, за их трудную жизнь, и вину свою перед ними он всегда будет помнить».

Е. Гуцин пристально вглядывается в человека, все чаще пытается рассмотреть его с разных сторон, избегая упрощения и схематизма. Причем в центре внимания писателя герой, которого у нас не совсем удачно называют «простым», «обыкновенным». В то же время для Е. Гуцина характерно умение раздвинуть границы обыденного, увидеть значительность обыкновенного. В его художественном мире точно и порой неожиданно сочетаются быт, верная жизненная деталь и обобщение. В этом плане рассказ и повесть оказались, по-моему, жанрами, в которых он чувствует себя увереннее, умея на небольшом «пятачке» создать художественное пространство.

Казалось бы, уже вдоль и поперек исследован в искусстве характер «странного человека». Корни этого характера уходят далеко в глубь народной культуры. И советские писатели — М. Горький, М. Шолохов, Ю. Казаков, В. Липатов и, конечно, В. Шукшин — также обращались к нему. Пласт распахан так глубоко, что легко сбиться на проторенную колею.

И тем не менее, когда я прочитал один из лучших, на мой взгляд, рассказов Е. Гуцина «Тень стрекозы», то понял, что без него мое представление об этом человеческом типе было бы неполным.

Рассказ о том, какие «удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок». Жил столяр Василий Атясов неспешно и тихо, без тревог, ровно, умеренно. И вдруг «все сбилось с привычного хода». Одолело Атясова неизъяснимое желание сделать вертолет и полететь на нем. Прямо душа разрывается.

Рассказывая об этом эпизоде из жизни своего героя, писатель открывает в нем то, что глубоко запрятано и неизвестно даже ему самому. Сила происходящего с Василием огромна. Недаром он кричит жене: «Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человеком буду».

«Тень стрекозы» — повествование (воспользуюсь точной мыслью В. Шукшина) о том, что «душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не горела».

Поступок Атясова и есть желание не внешнего, показного (положим, через вещи), а внутреннего самоутверждения. Недаром герой восклицает: «Да я, может, еще и не это могу!»

Рассказ Е. Гущина написан мастерски, в силу чего судьба героя воспринимается как своеобразная. Но в то же время в ней заключены типические черты: «... у каждого мужика есть какая-то отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится».

Более того, изображенное Е. Гущиным — вообще в природе русского национального характера. Например, в романе Л. Леонова «Вор» есть эпизод об этом мужике, который «близ японской войны велосипед деревянный построил... С пустячка дело началось, с заграничной картинки: далась ему эта штука, спит-видит, даже сохнуть с азарту стал. Иной в церкву идет, другой в огороде овощ растит, а этот мастерит себе дубовый велосипед. Годов шесть, семь ли руки прикладывал и ведь поехал под конец... на целых полверсты хвалило. (...) После чего сгорела его машина, развеселым таким огоньком! И как отболело это у него, то стал он обыкновенный мужик...»

Вот и Василий Атясов, когда стоял над своим разбитым вертолетом, «почувствовал не боль и отчаяние, а облегчение». И снова ладно и тихо стало в доме Атясовых. Но когда Василий «уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу» (какая верная деталь, передающая взгляд именно столяра), глядел на небо, то «сердце заходило непонятно от чего.

Вот такая стояла осень...»

Так неожиданно и, я бы сказал, музыкально точно кончает свой рассказ Е. Гущин, расширяя его художественное пространство и оставляя в душе какое-то необъяснимое чувство...

Новый заход к этой теме — великолепный рассказ «Красные лисы». Неожиданная любовь разбудила душу Ивана, наполнила ее необычным светом, музыкой, открыла глаза на красоту окружающего мира...

Вообще, это существенная особенность поэтики прозы Е. Гущина. Строительство вертолета расстраивает спокойное течение жизни героя и открывает в нем ранее неведомое.

Внезапная любовь нарушает привычные круги жизни Ивана...

Создание заповедника заставило по-новому строить свои отношения людей с природой, разрушая обыденное сознание.

Строительство дачи в короткий срок сломало размеренное существование Семена Табакаева.

В лучших своих произведениях Е. Гущин уделяет особое внимание не событиям, а их разнонаправленному воздействию на человека. Писатель берет небольшой временной период в жизни своих героев, чаще всего такой, в котором, как в фокусе, высвечивается внутренний мир персонажа, его скрытые душевные силы.

Повесть Е. Гущина «По сходной цене» вызвала, пожалуй, самый большой читательский и критический резонанс. Напечатанная в журнале «Наш современник» (1975, № 8) и получившая премию этого журнала, она не оставила равнодушной, так как затронула важные моменты общественной жизни.

Внешний сюжет ее прост и непритязателен, автор исследует характеры на своеобразном «бытовом пятачке»: рассказывает о вполне обычной для наших дней ситуации — покупке дачи.

Какой высокий общечеловеческий смысл может нести такая «ограниченность сектора наблюдения»? Какие нравственные пружины нашего времени могут быть сокрыты в естественном желании жить лучше, чем раньше (желании, надо отметить, при общем росте материального благосостояния вполне закономерном)?

Оказывается, можно. И повесть Е. Гущина одно из тех произведений, которое по-своему доказывает это. Вообще, современная проза не чуждается быта и конфликтов, заложенных в нем, а, наоборот, все пристальнее всматривается в то, как проявляет, ведет себя человек в личной сфере жизни, размышляя над тем, способен ли он, пользуясь словами драматурга Виктора Розова, выдержать «испытание на сытость».

Повесть «По сходной цене» легко вписывается в произведения подобного рода, в то же время по-своему «продолжая» начатый ими разговор. Автор намеренно локализует круг изображаемых событий, чтобы читатель мог отчетливее увидеть ту невидимую грань, когда происходит нравственный «обмен» в человеке.

Писатель исследует своего персонажа в новой для него ситуации, пытаясь понять, как совмещаются в человеке разные качества, как меняется он, если посмотреть на него «сначала с одной стороны, потом с другой, не видимой никому».

В повести «По сходной цене» автор словно задался целью поставить такой эксперимент: взглянуть «с другого бока» на Семена Табакаева, бригадира механического участка, хорошего и уважаемого на производстве человека.

Приобретение дачи и оказывается той лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяется персонаж.

Все началось с того, что однажды случайно «напросился» Табакаев на дачу к своему рабочему Долгову. Понравилось жене и Семену в Залесихе, и решились они на покупку собственной дачи. С этого и пошла цепная реакция событий.

В доме, который они примеривались купить по совету Долговых, жила старуха Петровна. С этим домом и с черемухой, которую оставил как память, уходя на фронт ее сын, у Петровны была связана вся жизнь. Нужно было сделать так, чтобы старуха переехала в город к дочери и продала дом.

Е. Гушин, для поэтики которого характерна точная деталь, фиксирует первые изменения, происходящие в Семене: «У него даже походка изменилась: старался идти тяжело, враскачку, с достоинством».

Автор скрупулезно, не спеша, как бы даже «въедливо» обнаруживает малейшие оттенки в поступках, размышлениях и переживаниях Табакаева. И мы вслед за ним замечаем, как Семен «наивничает», когда это ему выгодно, а когда обманывает мастера, «радуется той силе, что привела его сюда и говорила сейчас про него». Видим, как Семен задним числом «жалует себя за лишние переживания».

И вот уже смолчал Табакаев, когда жена Долгова рассказала гнусную историю о том, как она обманула Петровну, сказав, что к ней в колодец мальчишки подбросили дохлую кошку, и старухе пришлось таскать воду из речки.

Так, шаг за шагом писатель показывает взаимосвязь поступков Семена, которые он совершал вроде бы под давлением обстоятельств и изменений, накапливаемых в его душе. Тем самым вовлекает нас в непростой психологический процесс. Ведь, в сущности, в этой повести писателя мало интересуют Долговы. Тут все до страшного ясно. Долговщина тем и страшна, что отчуждена от одной конкретной личности, что разъедает многих, вырабатывая свою, хотя и примитивную систему взглядов.

Поэтому образы Долгова и его жены статичны. Долговы — это конечный результат процесса. Они не способны обращаться с нравственными вопросами к себе, т.е. лишены нравственности, которая находится всегда в движении. Поэтому писатель и не скрывает своего отношения к Долгову с первой страницы.

Откровенно говоря, поначалу воспринимаешь такой авторский «нажим» как недостаток. Но вчитываясь в произведение, начинаешь догадываться, что это сделано намеренно.

Долговы — из «умеющих жить», у них железная хватка, для них все ценности мира определяются мерой материального благополучия. Дача, машина, гарнитур и прочая, и прочая — для долговых единственная реальность, конечная цель и смысл бытия. Кроме того, Е. Гушин неслучайно «сужает» поле зрения: остальные дачники даны штрихами, которые лишь подчеркивают жизненную цепкость долговщины, ее социальную опасность:

«...внизу загудела невидимая в сумерках машина, судя по звуку, грузовая. Она остановилась внизу, возле одного из новых домов. П слышался негромкий говор людей, которые стали сгружать что-то тя-

желое, что именно — не разглядеть, потому что фары зажжены не были, мерцали лишь красные фонарики стоп-сигнала. Свет людям, как видно, был совсем ни к чему».

Долговщина и тем еще страшна, что неуязвима и обыденна.

Будучи художником-аналитиком, Е. Гущин стремится дойти до невидимых пластов человеческой личности, испытать ее нравственную надежность, способность выдержать, устоять перед опустошающим давлением долговщины.

... Растет дача, которую строит Семен, но усиливается и неопределенное беспокойство в душе героя и толкает его к Долгову с вопросами: «Ты как спишь? Спокойно? (...) Душа у тебя спокойная? Не будит тебя? Он начинает понимать, что «душой убыл» за это время и боится «совсем без души остаться».

Но вот что удивительно: все эти вспышки быстро гаснут, т.к. не имеют источника внутри себя. Через несколько страниц вслед за «большими» вопросами, которые приходят к Табакаеву, мы вдруг читаем: «Дача, неожиданно для него самого, захватила Семена. На работе ему приятно было думать, что в пятницу ехать в Залесиху. Подумает об этом — и теплая волна плеснется в сердце... Легко и светло будет оттого, что все городские заботы как бы останутся за порогом леса. В деревне его ждут новые заботы. Они не тяготят, а наполняют тихой радостью».

И уже вечерний перестук топоров не раздражал Семена, как вначале, не лишал его спокойствия, а вливался в общий шум стройки. «Вот какие перемены могут произойти с человеком!» — восклицаем мы вслед за писателем. Но и этого писателю кажется мало, он тоже как бы задается вопросами, а что же дальше, что там еще припрятано в душе Семена Табакаева?

И следующее испытание оставляет терпкий, горький осадок в душе читателя: Семен спиливает черемуху — последнюю ниточку, связывающую старуху с жизнью...

(Чуть позже писатель создает такую емкую картину: «Старуха поискала глазами, словно дерево могло куда-то отлучиться, но разглядела наконец низкий пенек возле скамейки. Ему она и поклонилась.

— Ну, видно, и мне пора, — произнесла она со вздохом и пошла прочь, сгибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь земле».)

«Семен пилил и утешал себя, уговаривал, а где-то в самом темном уголке души рождалось непонятное облегчение».

Ненадолго пришли сомнения и вновь легко ушли, и он уже нежно говорит жене: «Ира, пошли погуляем».

И снова: «Тихо и спокойно шла жизнь, ничего не выбивало ее из наезженной колеи...»

Что же случилось с Семеном Табакаевым?

Семен из тех героев, которые ищут причину своих бед, своих духовных и душевных компромиссов вне себя, в других. А нередко они оказываются внутри, кроются в собственной инертности, уступчивости, несопротивляемости. В конечном счете Табакаев из тех людей, которые

всегда самоустраиваются, плывут по течению, боясь нарушить собственное «спокойствие и устоявшийся порядок» жизни. А ведь, в сущности, легко как-то: можно не вмешиваться в воспитание сына, не принимать самому решений, т.е. затрачивать минимум душевной энергии.

Табакаев — мастер компромиссов, но, как известно, ничто не проходит бесследно, и мы видим, как сделки с совестью, как снятие «вопросов» оборачиваются «убыванием души». Не потому ли Табакаев бежит с канистрой бензина к даче Долгова, что тем самым, в который раз, стремится снять ответственность с себя?...

«Я через тебя нечеловеком стал!» — кричит он Долгову.

Финал, по-моему, лишний раз доказывает, что бунт Табакаева (кстати, и побегал он к Долговым, когда узнал, что у жены на работе неприятности из-за гарнитура, который она достала Долговым) временный, внешний, он быстро пройдет. «Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь» (К. Маркс). Гнев же Семена опять-таки направлен вовне...

Нет, нельзя объяснить происшедшее с Семёном формулой «обстоятельства заели», «дал когда-то слабину, вот она и завела». В нем самом не оказалось внутренней крепости, «крылья не отрасли»; в его бытии не было внутреннего направления. Видимо, и раньше была в душе Семена какая-то пустота, не обнаруживающая себя до поры до времени. Недаром он признается: «Скучно мне жить... недостает мне чего-то...»

И, может быть, неслучайно то, что, рассказывая о судьбе Табакаева, Е. Гушин вновь использует образ Дома.

«И вдруг Семену подумалось, что сам он никакой радости к квартирам, в которых довелось жить, никогда не чувствовал... Да и какую можно чувствовать родственность к месту, которое и называется-то по казенному: жилплощадь?»

...А вот Петровнин Ванюшка, наверное, даже умирая, помнил свою родную избу. По ночам она ему снилась, и как он хотел в нее воротиться. Ведь там каждая плаха родная, отцом отесана. Изба эта невидная и была для Ванюшки родиной, или уж во всяком случае отсюда для него начиналась родина...»

У каждого человека должно быть «самое святое место», куда его манит всю жизнь, или должна жить в душе музыка, песня, должна быть какая-то «отдушина»... Тот дом, который (вспомним Ф. Абрамова), «человек в душе себе строит» и который «ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов».

Не было у Табакаева ничего этого: он больше всего ценил в жизни спокойствие...

И настолько духовно богаче Семена выглядит старуха (образом которой и произносит свой окончательный приговор над Табакаевым писатель), в которой живет память...

Подчеркивая простоту и будничность истории, происшедшей с Табакаевым, автор «указывает» на ее страшный для человека смысл.

Именно о духовных и нравственных ценностях человека и общества все чаще размышляет сегодня писатель. Совесть, честность,

правда, добро — те нравственные категории, которыми он проверяет своих героев.

Е. Гуцин неуклонно разрабатывает социально-нравственные проблемы, отыскивая новый угол зрения на человека. Такова остро-конфликтная повесть «Облава». Е. Гуцин не боится повторять уже испытанные приемы своей поэтики, не боится повторять некоторые сюжетные ходы и стилистические решения, так как они мобильны и становятся адекватны новой мысли, новому человеку, с которыми он обращается к читателю. Структурная организация повести «Облава» уже знакома: события развиваются в короткий промежуток времени, когда нарушен привычный порядок жизни и герой оказывается перед вопросами, через которые проверяется его нравственное состояние.

Е. Гуцин, как обычно, без долгих предисловий вводит читателя в повествование. Но уже сам материал напряжен, неожиданен для читателя. Писатель начинает рассказ об отношениях человека и его вечно-го друга собаки с того момента, когда эти отношения доведены до критической точки.

А начало этим отношениям было положено, когда в Счастливихе (бывшей Горюнихе) организовали рудник и охотники забросили свое занятие и перешли на «твердую зарплату». Но собак по привычке держали. И стало в Счастливихе «как бы два общества, независимые друг от друга: человеческое и собачье». Собаки же, воспитанные веками на охоте, на промысле, оказались предоставлены сами себе, и по древнему зову крови стали промышлять — нападать на домашний скот. Этим они «будто бы напоминали людям об их отступничестве», бросили им «какой-то ясно уловимый вызов».

Вообще, следует отметить, что уже в романе «Правая сторона» промелькнул однажды эпизод, в котором можно обнаружить зерно будущей повести. Приехав в Ключи, новый поселок, который также вырос после того, как здесь был образован рудник, герои замечают обилие собак на его улицах: «... и в одиночку, и стаями бродили тут огромные лохматые лайки, не обращая на людей никакого внимания. Крупный рыжий кобель неподвижно стоял посередине улицы и, будто задумавшись, глядел куда-то вдаль. Он едва посторонился, давая самосвалу дорогу. Шофер добродушно ругнулся из кабины, объезжая пса. Было что-то демонстративное и в поведении этой собаки, и других, спокойно гулявших по улицам Новых Ключей, и Артему подумалось, что здесь сосуществуют два общества — человеческое и собачье, — живущих независимо друг от друга. Отчего это случилось, Артему тоже было понятно. Бросили охотники промыслы, перешли на твердую рудничную зарплату, и собаки, ходившие раньше на зверя, оказались забытыми. Они и на людей теперь не обращали внимания, как бы выражая этим свой собачий протест за то, что люди изменили им». Этот эпизод не мог не остановить на себе внимания Е. Гуцина как писателя, вдумчиво и целеустремленно рассматривающего драматические стороны бытия человека и природы, ведь уже в нем подспудно

звучало какое-то неясное беспокойство, тревожная мысль об угрозе нарушения равновесия в природе.

И, быть может, «Облава» в этом смысле самое тревожное произведение из написанных Е. Гуциным.

Писатель обрушивает на своего героя новое испытание. Иван Машатин из тех героев писателя, для которых совесть дороже личной выгоды. В то же время он из тех мягких и уступчивых людей, которые редко поднимаются против давящих на них обстоятельств.

Так, узнав, что бычка вдовы Катерины задрали поселковые собаки, вожаком которых является его Тайгун, он решает: «Нужно собрать деньги и заплатить ей. Но это оказывается не так просто. Люди повели себя на собрании по-разному. Бросив собак, человек совершил первое предательство по отношению к ним. И на этом не остановился. Как роняет человека эта сцена в его пятирублевой алчности! Машатин сам отдает деньги вдове, хотя мог тоже не «высовываться со своей честностью», ведь про Тайгуна «ни одна живая душа не знала».

Но это только первое испытание, перед которым ставит своего героя Е. Гуцин. Писатель еще больше обостряет сюжет. Собаки неожиданно уходят из поселка и продолжают задирать скот. Перед людьми возникает сложнейшая дилемма: как поступить? Они решаются перестрелять собак, с помощью которых кормились многие годы, да и ребятишки к ним привыкли. Попытались мужики найти иной путь: предложить это сделать заезжей строительной бригаде, «скворцам». Уж им-то, наверное, не так жалко. Но те наотрез отказались, т.к. «боются по себе плохую память оставить».

Уже после собрания, на котором было принято решение «отстрелять собак», Машатин узнает, что Тайгун, которого он до осени отдал брату жены, вновь возглавляет стаю.

«Что же теперь делать-то будем? Если узнают, что это наш Тайгун, то нам за него не рассчитаться, — возбужденно заговорила Антонина, — все грехи на нас повешают. Да и в бригаду тебя Овсянников не возьмет. Близо к руднику Ситников не подпустит. Из дома выкинут и иди куда хочешь... Застрелить бы его как-нибудь без шума, а? Застрелить и закопать, чтоб никто не видел. А то всем житья не будет».

И вот Иван отправился в лес... Здесь необходимо вспомнить следующее. Когда-то Машатин ранил медведя, и тот задрал бы его (второй раз ружье дало осечку), если бы не Тайгун, который прибежал на отчаянный крик хозяина. Теперь Иван искусственно «воссоздает» ситуацию:

«— Тайгун! Тайгун! — прокричал он с отчаянием, как тогда с дерева у избушки, где караулил медведя. Прокричал и задавленно замолчал, потому что перехватило горло. Затуманенными глазами смотрел он в просвет между ветками. И призывный крик его еще не успел истаять, как увидел: впереди в зелени смородинника мелькнуло что-то живое. Несколько собак выскочили из высоких трав и, вертя головами, остановились. И тотчас от них отделился черный кобель. Он несся на махах вперед, к затаившемуся под кедром Ивану. Тайгун не бежит, нет, он летел, едва касаясь лапами земли, и тело его расплалось над травами, над землей, и было прекрасно в своем порыве».

Финал открытый: надо решаться в ту или иную сторону. Но вопрос, как поступит Иван, обращен и к нам. И звучит он гораздо шире: а как вообще должен вести себя человек, чтобы не переступить в себе человеческое, остаться равным самому себе?

В финале, как это ни парадоксально звучит, заключен эмоциональный эпицентр повести, ее нравственный эффект. История с собаками, их своеобразный вызов людям — это в то же время для писателя только повод (сам по себе, конечно, неординарный и драматический) для создания крайне предельной ситуации, в которой человек остается наедине с самим собой, с собственной совестью, в которой проверяется его способность вынести свое назначение на земле. Человек предал собак, а не обернется ли это предательством самого себя? Ведь недаром боится герой: раз уступил — и дальше так пойдет, недаром ощущает неуверенность, «надлом» в своей душе...

Пафос повести — тревожный сигнал, строгий счет, который предъявляет писатель человеку. Ведь люди идут убивать не только собак, но и доверие, привязанность к себе. Собаки у Гущина очеловечены, они имеют «живую душу — умную, понятливую, на добро и ласку отзывчивую».

В. Астафьев, рассказывая в «Царь-рыбе» о собаке Бойе (что означает друг), пишет: «Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою хорошим». И как особенно трагически воспринимается после сказанного смерть Бойе: «Родившийся для современного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечески скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого».

Зачем тогда все, если человек просто-напросто жесток?

Множество вопросов оставляет нам Е. Гуцин и уйти от них нелегко, да и не надо уходить. В этом сила повести — в беспокойных исканиях совести, которую растревожил писатель.

У В. Иванова есть такая мысль: «Врач-анестезиолог сказал: «При современном состоянии медицины мы способны уничтожить любую боль. Но как тогда, если не будет болей, мы установим состояние больного?» Я думаю, то же самое и в области литературы. Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль — если она есть. А что она есть — это несомненно...»

Проза Е. Гущина обращена к читателю думающему. Она ощутимо набирает эстетическую силу, в ней приметы нашего времени с его сложными общественными проблемами, многозначностью социально-нравственных коллизий.

Александр МАЙСНЕР

Родился в 1937-м. По нацпризнаку сослан в Сибирь — с. Карасуль Тюмен. обл. Отец к тому времени умер, в трудармию забрали мать. Сбежала — у пятерых детей появился шанс выжить. После спецучёта окончил экстерном Омский сельхозтехникум, прорвался в Тимирязевскую академию, окончил её в 1967 г. Кандидатская и докторская были написаны в стенах Академии Наук БССР. С 1990 г. руководитель общества немцев Беларуси «Wiedergeburt». Член Межгосударственного Совета роснемецев, делегат всех нац. съездов. Много статей по теме роснемецев и этноса. В Минске основал альманах «Wie geht's?» С 1997 г. живёт в Берлине.



* * *

Что ж истиной грешить —
Мне это не приснилось.
Не будь Тебя —
Ничто б не изменилось.
Не будь Меня —
Ничто б не «искривилось».
И оступись Земля —
Всё та же «Божья милость»!..

Но для чего же мы?
Давно обеспокоен,
Ответа знать хочу
Без предисловий!
Ответ же прост —
«Ни для чего».
Суровый суд!
«Стихия бытия всей сути суть.
Когда мы в сгустке пламени горим,
То боль утраты возмещает дым»...

Всё, вроде, так,
Но вновь встаёт вопрос:
Во что же превращается хаос?
И почему в «крутых делах» Вселенной
Конкретны превращенья?
Откуда мы?
«Ни для чего»? Пусть так...
Но из чего мы появляемся и как,
Хотелось бы спросить поостроже!

В раздумьях этих,
С этой высоты
Мне предстаёт значенье Красоты...
Гармония — всему начало.

Из этого и радость, и печаль,
Из этого слагаются Миры,
Созвучные понятию Красоты.

Законностью исходных превращений
Мы появляемся из тайников Вселенной
И утверждаемся на этих изворотах,
И удивляемся таким высотам.
Вот — что такое мы!..

* * *

Пора уже
Бездумно, без опаски
Легко ступать по терниям пути,
Приняв любовь, проклятия и ласки
С пологим рвением,
С спокойствием души.

Зачем порывы, муки и отвага?
От спеси «двуязычных» говоров
Иду тропой заброшенного сада
И вижу «бдение разлученных миров».

Их лик и праздность
Прочную оправу. —
Не в этом ли их мудрость, торжество?
У ног моих, я разложив кинжалы,
Вонзаю в дерево их остриё.

То попаду, то цель без поражения! —
Усилия всегда равны!..
Так и у нас. То гнев, а то смирение
Рождают лучшие дела мои.

* * *

Пишу, что взор отмерил,
Что вырвалось из тьмы,
Что строгий ценз манерно
Мне не зачтёт в труды.

Нужде в угоду, сводам,
Устоям по годам,
Так часто с «смыслом» споря,
Я связан по рукам.

Не преуспею, знаю.
Молва спешит за мной...
Довольно жизни «здравой»! —
Я счёт веду иной.

По совести — не блага
Письмом добыть хочу,
Призывно по бумаге,
Пишу, о чём хочу.

С идеей не враждуя,
Мрачнее нищеты,
Я истину любую
Приму — преподнеси.

И, если всё же «путы»
Стреножат правый жест,
Хочу, чтобы по сути
Предстали все, как есть!

Для благ всесущих, строгих,
Без бахвальства и лжи!
А там пусть жизнь «Особых»
Возьмёт в перста свои.

* * *

Уходит человек из жизни.
Куда идёт он?
— В никуда!..
И это в общем-то обидно,
Поскольку формула проста.
Неужто это в самом деле,
Так просто всё,
Так всё не в лад?
Ведь жизнь — она во имя цели.
Она всегда — не просто так!

Ведь человек со дня рожденья
Вдаль устремляет свой разбег.
На то он — в лучшем измереньи
По воле божьей — Человек!

Не камень он
И не коренья трав
С заросшей мостовой!
Он, как звено в цепи Творенья,
Эпохи связывал собой.

Но — уж уходит он из жизни...
И вот — идёт он в никуда...
И это в общем-то обидно:
Насколько формула проста!..

ПОЭТ ИЛЬ ГЕНИЙ?

«Ты бредишь», —
Я услышал бред.
И мысли я твои
Вложил в бумагу...
Теперь скажи,
Кто гений, кто поэт, —
Извергший истину в пылу
Иль «сыщик» блага?

Да, много статного
Таранит тьма.
Но кто-то сторожит,
Ночами мучась,
Чтоб ухватиться
за истину одну, всего одну
Во мгле дремучей...

И как бы настаёт рассвет,
Когда вот так,
Расслабившись, пророчишь...
И знаешь, что ни гений, ни поэт,
А что-то Вечное
Нам голову морочит!

БОГ И Я

Вчера во сне
Я видел Бога!
Мне показалось: оба мы
Утомлены
И чуть убоги.

Ходил я, думал про себя:
«Как с ним мне в разговор ввязаться?
Ведь Богу внемлет вся Земля!
Что я ему?
Могу никчёмным показаться...»

И всё же я,
Не оробевший донельзя
Пред ярким бликом Экселенса,
Решился на вопрос о — немцах!

Спросил смиренно — слышу вдруг:
«С тобой судить мне недосуг».

Предостерёг: «Ищите сами
Средь Звёзд срединные поля.
Ведь я давно уже не с вами,
О немцах мало слышал я».

«Как так»?! —
Я прошептал чуть слышно.
«Как так»?! —
Сказал затем я вслух.
Но Бог аршинными шагами
Всё удалялся в неба глубь...

Потом я тихо сел на камень
И поразмыслил про себя,
Что значит: «Бог уже не с нами?
Пусть не со мной,
Но — На-ци-я!..

Как отозвался он о немцах!..
Меня не знает... Нас, вроде,
Всех забыл...
Сказать такое о народе,
Который столько пережил!..»

И я проснулся
Одиноким!..
В соседнем доме вспыхнул свет.
То с утренней зарёй сосед
Заторопился.
У него
Давно уж всё расписано:
Семь дней в неделю на охоте
Без сказок рейнских и кино.

К нему я вышел за советом:
«Вот что приснилось, — говорю, —
Всего лишь сон,
Но в мире этом,
Порой не знаешь,
Что к чему.

Бог, вроде, как бы отрешился...
И, от людей как бы устав,
Ушёл,
он самоустранился,
Вопросу моему не вняв...
Как будто я к нему ввалился
Без связей родственных и прав.

Похоже, надо мной глумился
За частный промысел —
В словах...»

Сосед лукаво усмехнулся,
На миг серьёзным как бы стал:
«Так, говоришь, что немцев ваших
Он вроде бы... и не признал?
Я ведь не Бог, как сам ты знаешь,
Но вижу всё я наперёд.
Отжил своё уж твой народ!..
А в снах ты время лишь теряешь.
И с Богом говоришь ты зря.
Другие нынче времена.
Вот я спокойненько бухаю,
И в мире этом счастлив я.
А ты: «Народ мой и страна»!..
Пока ты в небесах витаешь,
Здесь на Земле хозяин я.

Вот семеро моих внучат
На языке твоём бурчат.
Всё это Бог твой примечает
И ничего не отвергает.
Он, как себе, даёт всем шанс
Исполнить собственный романс...»

И, уходя легко, беспечно,
Он дал ещё такой совет:
«Не думай ты, кунак, о вечном,
Живи в покое до ста лет»...

И... раз уж принято в писаниях
Итожить явь и что во сне.
Я завершу своё «сказание»
Таким вот кратким резюме:
«Охотнику — всегда охота,
Мыслителю же — свой удел».

Весь день
Я разбухал в заботах
Вдали от злободневных дел!

Мартин ТИЛЬМАНН

Родился 21.11.1929 в немецкой деревне Бергталь в Кыргызстане. В 1937 г. отец объявлен «врагом народа», в 1938 г. расстрелян. Детство — годы скитаний по чужим углам. Окончил Фрунзенский Индустриальный техникум и Московский заочный инженерно-строительный институт. Публиковался в альманахах Германии. Автор книг «Юность Виктора Коха», «Пропавшая невеста», «Das Geheimnis der Berge», «Под небом Кыргызстана» и «Ein Leben im Morgen — und Abendland». Пишет на нем. и на рус. языках.



МОЁ БОСОНОГООЕ ДЕТСТВО

(воспоминания)

Летом 1939 года школа устраивала походы в кинотеатр. Он находился в г. Токмак на улице Шамсинской в большом зале здания треста «Киргизтранс», куда нас, семью «врага народа», выслали из столицы. Все становились по классам в колонну и под марш школьного духового оркестра отправлялись в кино во главе с директором школы и классными руководителями. То были незабываемые походы, и разговоров потом хватало на целую неделю.

В Токмаке в первой половине июня широко праздновался древний праздник летнего солнцестояния — «Иван Купала». Особенно бывали рады дети... В этот день они без боязни быть наказанными могли облить водой любого прохожего, часть из которых очень сердилась.

Как-то мимо проходил мужчина средних лет в белом полотняном костюме, и дети облили его. О-о, что тут было!.. Пошёл жаловаться родителям. Он, видите ли, приезжий и, если бы знал, что в этом городе живёт столько хулиганов, ни за что не приехал... Больше всего его беспокоило, как он в таком виде покажется в Горсовете. Как будто там не знали, что все прохожие находились в таком же положении — посмеяться бы над детскими шалостями... Однако, не всем дано чувство юмора и не все знают, что представляет собой праздник «Ивана Купала». А вода-то чистая, родниковая — в Токмаке её уйма!

Наступило жаркое лето. Я окончил три класса. Перед каникулами все ученики должны были отправиться на сельскохозяйственные работы. Наш 3-б попал в колхоз «Авангард». На полевой стан, который находился на краю большого пшеничного поля, школьников привезли на подводах. Пшеница в том году созрела рано. Поле было скошено комбайном; оставалось собрать колосья. Каждому ученику вручили мешок, и дело пошло... Прежде чем отправить школьников в поле, учителя провели с ними беседу о пользе сбора колосьев и о том, сколько пудов хлеба, так необходимого стране, можно собрать их руками. Мы были горды, что нам поручили такую благородную, ответственную работу и трудились усердно.

К обеду все школьники собрались на полевом стане. Издали мы уловили необычайно приятный, но незнакомый запах. На длинных деревянных столах стояли гончарные миски с дымящимся борщом, а возле каждой миски лежала украшенная старорусским орнаментом деревянная ложка. На определенном расстоянии лежали горки нарезанного свежего, ещё теплого, ржаного подового хлеба. От него-то и шёл этот изумительный запах. У всех разыгрался волчий аппетит. После обеда полагался час отдыха, а затем все опять отправлялись на сбор колосьев. К вечеру, часам к семи, на полевом стане был ужин из молочной рисовой каши, хлеба с маслом и компота. После ужина детей отвозили на подводах в школу, домой оттуда каждый добирался сам. Так продолжалось целую неделю, затем все были отпущены на каникулы.

Там, на полевом стане, я впервые оценил вкус и запах домашнего ржаного хлеба, который ни при каком желании нельзя сравнить с заводским... Конечно, у каждого хлебопёка свой рецепт, однако домашних, да ещё ржаной подовый — это что-то особенное.

В каникулы я в деревне развлекался со сверстниками. Иногда приходилось полоть огород и выполнять другие поручения тётушек — постоянно бездельничать не полагалось. Однако тётушки меня не очень загружали — гость всё же. За забором дома, где мы раньше жили, а позже тётушка Марта с семьей, был большой котлован. Из него когда-то брали глину для изготовления кирпича-самана — так называли кирпич-сырец. Поскольку в глину для прочности добавлялась солома, кирпич прозвали саманом. Саман по-киргизски — солома. Этот котлован наполнили водой, и он превратился в пруд. Летом в нём купались полдеревни, иной раз прибежали сюда и дети из соседней деревни. На зиму застоявшаяся вода выпускалась, котлован чистился, наполнялся свежей водой. Зимой пруд покрывался толстым слоем льда, в котором прорубалась прорубь, из неё доставали воду для бытовых нужд. Здесь же на берегу устраивали водопой для домашнего скота.

В одном углу пруда было особенно глубоко, и детей предупреждали, чтобы они туда не заплывали. За ребятами, во избежание несчастного случая, во время купания наблюдали взрослые.

Меня предупредили о запретной зоне, однако я решил попытаться счастья — полагал, что городской мальчик должен показать деревенским свою «отчаянную храбрость». Как только я приблизился к опасному месту, тут же провалился и ушёл с головой под воду. Вода вытолкнула меня, но лишь настолько, чтобы я смог глотнуть воздух и опять уйти под воду. Кузены увидели это и подняли крик. Тётя Марта, наблюдавшая за нами, взяла на берегу чулок. Услышав крик и увидев, в чем дело, тут же в одежде бросилась вытаскивать незадачливого хвостуна. От нехватки воздуха я посинел.

— Это тебе за хвастовство. Если говорят «нельзя», значит, нельзя! — выговаривали мне кузены.

Было стыдно, некоторое время я был тихим, но — недолго. Перед каникулами я прочел книгу Джеймса Шульца «Синопа — маленький индеец» о маленьком мальчике, который со взрослыми ходил на охоту

за бизонами, и я рассказал об этом сверстникам. Все «загорелись» — хотели стать «индейцами»-охотниками. Каждый сделал лук из ивового прута и натянул тетиву из шпагата. Стрелы сделали из камыша, наконечники — из старых консервных банок, колчаны — из старой клеёнки. Таким образом, отряд охотников был готов. Для убедительности заткнули по петушиному перу за ухо. Для удачной охоты не хватало бизонов, зато были воробьи — в ожидании добычи кружились вороны. Однако, никакое петушиное перо за ухом не помогло: видимо, мы были либо никудышными охотниками, либо воробьи были очень ловкими.

С птицами не получилось, и «индейцы» западной половины деревни встали на «тропу войны» с восточной половиной. «Война» шла «не на жизнь, а на смерть» — были и раненые. Это продолжалось до поры, пока взрослые находились в поле. По возвращению с полей нашей «войне» с металлическими наконечниками был положен конец:

— Вы что, с ума сошли — глаза друг другу выбьете! Как потом целиться будете?

Воюющим сторонам пришлось «выкурить Трубку Мира», но мы придумали другую игру. На краю деревни был глубокий овраг. Начитавшись о том, что первобытные люди жили в пещерах, стали в отвесных склонах оврага копать пещеры. Эту идею подсказали нам не только книги, но и поступки взрослых, которые летом в стенах оврага вырубали печи для выпечки хлеба и домашних пирогов. Печи делались очень просто: копалась горизонтальная штольня глубиной чуть больше метра, а в конце её вертикально пробивался узкий колодец-труба. Вот и вся премудрость. Печь закрывали заслонкой из жести и прокаливали так, чтобы глиняный свод «запекался» и не грозил присыпать выпечку.

Дети нарыли множество пещер с площадками перед входом, на которых разводились костры — очаги «племени». Жизнь пещерных людей я знал по роману «Борьба за огонь» Жозефа Рони старшего. Из книги следовало, что в «пещерные времена» огонь ценился и оберегался всем племенем. Если у кого-то гас огонь, его выкупали у соседнего племени за большие ценности. В качестве выкупа брали обычно шкуры диких животных, а у нас для этого служили овощи и фрукты. Огонь переносили в глиняных горшках. В него клали выкупленный жар, затем поверх клали сухой мох или бересту и, постоянно раздувая, переносили к своему очагу. Выкуп и сопряжённый с переносом труд заставлял жителей пещер постоянно поддерживать огонь.

Однако маленькие самодельные пещеры не удовлетворяли наши растущие потребности, и мы вспомнили, что в ближайших горах есть две настоящие пещеры. Пятеро сверстников собрали необходимое снаряжение: лопату, старую пятиметровую веревку, метровый кол, огарок свечи и спички. Положив всё это в мешок, мы, не предупредив родителей, отправились в горы. Без приключений добрались до пещер. Они начинались на дне пятиметрового провала, на склоне горы. Чтобы спуститься на дно провала, мы приступили к вырубке ступеней в вертикальной стене. На краю забили лопатой кол, к нему привязали веревку, а второй конец обвязали вокруг талии одного мальчишки, чтобы он не сорвался вниз во время копки ступеней. Работа успешно продвигалась вперёд, так как мы часто сменяли друг друга. Наконец, со

ступенями было закончено. При более тщательном исследовании дна провала мы установили, что одна из пещер имела вертикальный ствол, а другая вела наклонно вниз. Я слышал от старшеклассников, что глубину колодца можно определить, бросив туда камень. Пока он ударится о дно, требуется подсчитать, сколько секунд он будет лететь. Как проводился подсчёт, я не знал, но это меня не смущало. Я бросил в колодец ком земли и стал считать секунды. Досчитав до восьми, умножил в уме их на что-то, потом на что-то разделил и сообщил:

— Глубина этой пещеры — тридцать метров!

— А как ты это определил? — поинтересовались ребята.

— Я подсчитал. Так, как я считал, считают все взрослые, только мы в эту пещеру не полезем. Наша веревка слишком короткая! — авторитетно заявил я, хотя решать этот вопрос должен был мой кузен: он был старшим в группе.

Конечно, кто же полезет в такую глубину с короткой полугнилой веревкой? Такой поступок мог себе позволить только барон Мюнхгаузен, и он совершил его, когда спускался с Луны.

Решили исследовать вторую пещеру. Взяв огарок свечи, мы гуськом во главе с моим старшим кузеном стали продвигаться в глубь пещеры. Шли осторожно, держась одной рукой за стенку. Огарок свечи становился всё меньше и меньше и, наконец, погас. Нас окружала полная темнота.

— Что будем делать? — спросил кто-то.

— Пойдем дальше наощупь!

Никто не хотел прослыть трусом, и мы осторожно, держась друг за друга и за стенки пещеры, двинулись дальше. Пещера была узкой. Если встать рядом, можно было нащупать обе стенки. Старший кузен был теперь особенно осторожен. Он, конечно, слегка побаивался, как и все мы, но не хотел терять своего, как ему казалось, авторитета. Наконец, он крикнул:

— Ура! Мы дошли до конца, дальше нет хода, перед нами вертикальная стена. Да здравствует наша смелость! А теперь можно идти назад, мы не встретили никаких препятствий!

Благополучно выбравшись из пещеры, мы, довольные собой, отправились домой.

Взрослым я с ужасом вспоминал этот опасный поход. Ведь в конце мог оказаться такой же вертикальный провал, и никто никогда не нашёл бы нас, ибо никто в деревне не знал, куда мы ушли. И никто никогда не читал бы этих строк, но нам хотелось интересных каникул.

Мы изобретали...

Бонн 2015

НЕВИННО ОСУЖДЁННЫЕ

В начале тридцатых XX столетия на всей территории СССР были созданы колхозы — на словах добровольно, на деле — под принуждением. Хозяйства лишались поддержки государства, а людей просто убирала с дороги. Народ прекрасно понимал, что будет, если он отка-

жется от вступления в колхоз. Их создавали с тревогой в сердцах. Жители немецких деревень, и не только деревень, были энтузиастами и мечтателями — колхозам давали поэтические названия, видя в этом залог будущего. Так появились колхозы «Рассвет», «Радуга», «Заря», «Восход» и многие другие. Позже им дали имена политических деятелей СССР.

Отмена частной собственности на землю не вписывалась в лозунг: «Землю крестьянам», а, может, лозунг был неправильно понят?.. Крестьян, получавших на своих землях хорошие урожаи, не так-то легко было вышибить из колеи труженика, и они решили добиваться на колхозных полях таких же урожаев, как и прежде, когда земля была их собственностью. Это удавалось до поры, пока им разрешалось проявлять инициативу — был ещё жив дух крестьянства, что понимало свой долг перед землёй, детьми, односельчанами и даже перед природой.

Жители немецких деревень всегда работали на износ независимо от того — где: дома или на колхозных полях. Жаль, страна Советов оценила этот народ не по достоинству. Мне, немцу, как-то неловко хвалить свой народ, но — это факт и его не спрячешь. В середине тридцатых некоторые колхозы Поволжья получали стопудовый урожай с гектара, но позже всё пошло наперекосяк.

Драма разыгралась в колхозе «Радуга» — одной из среднеазиатских немецких деревень. Колхоз считался благополучным, так как Правление было избрано, как и должно, из достойных односельчан. Председатель колхоза Климентьев был из пришлых, но на редкость порядочным человеком — не мешал инициативе членов правления в достижении высоких показателей. За короткое время годовой доход колхоза превысил все ожидания. Решив, что высокие показатели — главная заслуга Климентьева, областное руководство перебросило его в один из отстающих колхозов, чтобы там поднять урожайность.

Кандидата на должность нового председателя в колхозе «Радуга» работники райкома партии привезли своего. Однако здоровое, крепкое Правление воспротивилось и настояло на том, чтобы председателем был избран член Правления Функ, но это не входило в планы районного руководства.

Поскольку Правление осталось прежним, то и показатели колхоза оставались прежними. Казалось бы, успехи колхоза «Радуга» должны были радовать руководство района, но ими не забылось неподчинение колхозников на последнем собрании. Районное начальство ждало удобного случая, чтобы показать народу, кто главный. И тут, как нельзя лучше, подошли 1937 — 1938 годы — годы сталинских репрессий. Один за другим исчезали члены Правления, а затем и лучшие бригадиры. Председатель Функ остался без энтузиастов, дела колхоза пошли на убыль, и Функа арестовали, обвинив в саботаже.

Пришла беда и в семью члена Правления Артура Вибе, его арестовали одним из первых. Его жена Анна и две дочери, Луиза и Сузанна, девяти и семи лет от роду, остались одни. Однако жизнь продолжалась. Анне помогал, насколько было возможно, муж сестры Фриды — Иван Грасмик и два его сына, Густав и Артур, семи и пяти лет.

Фрида была болезненной женщиной, обострение туберкулеза то и дело «сваливало» ее в постель. В те далекие годы люди лечились в основном народными средствами, главным из которых был кумыс — кобылье молоко, заквашенное особым способом. Однако болезнь прогрессировала, никакие народные средства не помогали. Вскоре Фрида слегла и больше не встала... Она умерла в 1940 году, оставив детей на попечение мужа.

Одному заниматься домашними делами, воспитанием сыновей и работой на колхозных полях Ивану Грасмику было нелегко. Однако память о покойной жене и заботы о детях не позволяли ему расслабляться. Так и жили по соседству две обездоленные семьи — Анны Вибе и Ивана Грасмика, что помогали друг другу. Время шло, но от арестованных ничего не было слышно. Анна не ведала, жив ее муж или погиб в застенках НКВД.

Началась война с Германией, и село охватила волна опустошения: сначала в так называемую Трудовую Армию забрали мужчин, а позже и женщин.

Двух сыновей Ивана Грасмика взяла к себе Анна, теперь в ее семье было четверо детей 9-13 лет. Колхозная работа не оплачивалась — выручал приусадебный участок. Чтобы получить высокий урожай кукурузы, нужно было потратить много труда и времени. Только где его взять, если целыми днями с детьми приходилось пропадать на колхозных полях, так что для домашнего труда оставались только лунные ночи и утренние зори.

Анна работала на сахарной свекле. Ей был выделен гектар земли, за урожайность которого она была в ответе. Едва показывались первые ростки, начиналось прореживание. Следовало оставлять по одному ростку на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы быстрее закончить эту изнурительную работу, от которой болели руки и спина, Анна брала с собой детей, которые работали в меру сил. По ночам им снились кошмарные сны — поля, на которых они кланялись бесконечным сеянцам-мучителям.

Так работало большинство женщин колхоза. Доходили до последних рядов, а первые уже зарастали сорняками, которые выносились за поле, а оттуда — домой на корм скоту, благо, это пока не запрещалось. Борьба с сорняками продолжалась до глубокой осени. Особенно тяжело было осенью во время уборки свеклы. Ее выкапывали лопатами, собирали в кучи, очищали от ботвы и особыми, тупыми вилами грузили на кузова автомашин с высокими бортами. Дети тоже помогали — бросали в машину по одному клубню. Поскольку у детей не хватало сил добросить её до цели, свекла то и дело ударялась о борт, отскакивала и попадала им в головы.

Шла война... Страна находилась в тяжелейших условиях, лучшие работники находились на фронте, в «Трудовой армии», томились в тюрьмах, лагерях или были расстреляны, о чем большинство жителей не знало, надеясь все ещё на встречу. Стране требовались рабочие на военные заводы и лесоповал.

Выходили всё новые указы и постановления, в трудармию стали брать женщин, у которых были малые дети. Никакие законы не могли

обеспечить нужное количество рабочих рук, и ответственные работники подтасовывали документы. Однако простой народ об этом не знал — жил в уверенности, что их охраняет закон.

Однажды Анна шла по пыльной дороге с поля в тяжелых думах о муже и голодных детях. Вдруг увидела колосок пшеницы. Как истинная крестьянка, она его подобрала и пошла дальше. Так Анна подобрала в пыли шесть колосков, поминутно приюхиваясь к запаху спелой пшеницы, вспоминая время, когда мужчины были дома и все вместе занимались обмолотом. На подходе к селу Анну остановил оперуполномоченный НКВД:

— Вы почему пшеницу воруете? — спросил он жестко.

— Я не воровала, я подобрала их в пыли на дороге... — испуганно ответила Анна.

— Вы что, указа не читали: «Все — для фронта, все — для победы»? Вы своим воровством помогаете фашистам. Каждый колосок должен служить государству! — кричал он.

— Я не умею читать по-русски, но раз Вы говорите, я отнесу колосья на ток, — попыталась Анна сгладить свою «вину».

— Нет, теперь Вы пойдете со мной в контору, и мы составим акт, чтобы и другим не повадно было! — потребовал уполномоченный.

Он повел Анну в контору колхоза, составил акт, что она украла с проходящей подводы сноп пшеницы, и дал Анне подписать. Не умея читать и подумав, что речь идет о шести колосках, она подписалась. Через три дня состоялся выездной суд, и Анну приговорили к одному году трудовых лагерей. Ни слезы детей, ни слезы самой Анны не помогли, ее тут же увезли...

Дети вынуждены были учиться выживать. Девочки вели домашнее хозяйство, а мальчики заготавливали сено на зиму и, чтобы было чем кормиться, обрабатывали приусадебный участок. По истечении срока Анну мобилизовали в трудовую армию за Урал, на лесоповал, не разрешив свиданий с детьми.

Женщинам и совсем молодым девушкам приходилось валить лес, разделять стволы, освобождать их от сучьев. Их собирали в кучи, чтобы осенью в дождливую погоду и холода можно было обогреться. Летом, в сухую погоду, этого делать не разрешалось во избежание лесного пожара. За тяжелую работу женщинам полагалась лишь бывшая в употреблении одежда и скудная пища. От недоедания многие пухли и умирали голодной смертью, но в официальных документах причиной смерти указывалась другая.

Анне повезло: ей не пришлось валить лес. Она обрубала сучья и собирала их в кучи, хотя это было не совсем безопасно. Сил было мало, и топор не всегда слушался, отскакивал от ствола и больно ударял по ногам. Некоторые повреждали себе ноги настолько, что их приходилось отправлять в больницу, но долго лежать не давали. Плохая одежда и плохая обувь не защищали от холодов. Подмороженные пальцы ног причиняли Анне невыносимую боль, что держалась даже ночами. Не хватало сил, но за невыполнение нормы уменьшали пайку хлеба.

Летом было несколько легче, можно было пополнить дневной рацион лесной ягодой. Однако времени на сбор ягод не отводилось, её

собирали украдкой, мимоходом хватали и бросали в рот. Много неприятностей доставляли летом комары, что разъедали тело, действовали на психику. Иногда казалось, что в этой изнурительной борьбе победителями выйдут комары.

В то время как Анна работала на лесосеке, ее четверо детей мучились от холода и голода. За ними присматривали, как могли, соседи, что сами жили впроголодь. Сбранного с приусадебного участка урожая хватало до весны далеко не всем. Зимой приходилось украдкой перелопачивать бывшие поля в надежде найти под снегом несколько клубней сахарной свеклы. Дети пухли от недоедания. Весной и летом выручали съедобные травы и коренья, которые находили в ближайших горах. Молодая крапива и конский щавель были великолепными дополнениями к скудной пище.

Шел 1945 год... Настал день Великий Победы. Народ ликовал... Односельчане надеялись увидеть долгожданных мужей, отцов, матерей. Однако время шло... И только в 1947 году трудармейцы стали возвращаться домой. Вернулась и Анна. Ее первый вопрос был: «Папа вернулся?»

— Нет, все эти годы мы были одни, но никто из нас не умер! — гордо сообщили дети.

Отец Густава и Артура, Иван Грасмик, не вернулся. Он погиб голодной смертью в Челябинске, откуда вернулось несколько односельчан. Из тех, которые были арестованы в 1938 году, никто не вернулся. Однако жены ждали... Им сообщили, что мужьям добавили срок. Так и жили обездоленные женщины — не то вдовы, не то жёны.

Начиная с 1957 года стали поступать сведения о том, что их мужья скончались еще в 1943–1944 годах. Причина смерти — болезнь, однако место смерти оставалось неизвестным. Никто из вдов не смог побывать на могиле. Прошло еще тридцать лет, и вдовам сообщили, что их мужья были расстреляны в застенках НКВД еще в 1938 году. К этому времени большинство вдов умерло, не узнав правды о своих мужьях. То, что расстрелянные были ни в чем виноваты, мало кого радовало. В селе об этом знали с самого начала...

В какой еще цивилизованной стране могло такое случиться? Расстрелять миллионы безвинных людей и скрывать это более пятидесяти лет!.. Так были без вины осуждены на смерть многие семьи. Во имя чего?

Минотавр требовал жертв...

Павел БЛЮМЕ

Родился 06.01.1983 в Республике Коми — г. Сыктывкар. Немецкие корни по линии рижской прабабушки Ал-ры Ник. фон Блюме. Выпускник ОмГУ им. Ф.М. Достоевского — фак-т филологии и медиакоммуникации. В 2011 г. в содружестве с художником-иллюстратором Полиной Гайнерт опубликовал книгу «Зима как музыка Вивальди». В 2012 г. вышел сборник стихотворений «Перекресток», в 2015 г. издан сборник «Снизу вверх» в содружестве с Омской поэтессой Дарьей Кучерявой. Живёт в Омске.



ПОЭТУ

Пиши, покуда ты не обессилел
и мысль твоя не стала тяжелой.
Есть только ночь и чудо у стола,
где режутся у гусеницы крылья!

Где режется бессмертная душа
твоя, тобой, пером, наполовину.
И бабочка — ночная балерина —
уже порхает, строчкою дыша.

Пиши, покуда есть еще слова,
о девушке, похожей на подсолнух,
когда фонарь напоминает солнце,
стуча в окно изгибом рукава.

Пиши, поэт, и только, только *сну*
не предавайся в сумерках рассвета.
Пусть жизнь сегодня отдал ты одну,
но во Вселенной родилась планета.

МАМЕ

День ото дня душа светлее...
Я 40 дней гляжусь в себя,
и мысленно иду за нею,
мытарства с нею проходя.

В последний час перед рассветом
снежинка первая в стекло
тихонько постучалась где-то —
вот отчего душе светло.

А, может, оттого что прежде
ты милосердная была,
как Та, чей образок с надеждой
твои прижали два крыла

к груди... Теперь, похоже, осень.
И фотография души —
как та могилка между сосен,
где Свет Животворит в тиши.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

День прожит как-то невзначай.
Шпиль утонул в рассветном свете,
лимонным ломтиком в сюжете
садились солнце в черный чай.

В сюжете сердца есть тоска,
есть всё: и жизнь, и послевкусие,
и чай, пролившийся в Тарусе,
мой на столе стоит пока.

И солнце клонится ко сну,
мне отчего-то грустно стало.
Любимая, ты не читала
стихи Цветаевой в весну?

Они уж больно хороши,
подобны древним лучшим винам,
они у теплого камина,
что чай для мерзнущей души!..

Я пригласил тебя на чай
холодным утром, в воскресенье.
Ты к чаю принесла печенье
и нежность как-то невзначай.

И день был прожит. Только так
Он наполнялся новым смыслом.
Любовь, Цветаева и мысли
в твоих, как и в моих глазах.

О, черный чай в веках, в стихах...

* * *

Ты лечила вчера мне крыло за крылом,
будто Кэтрин в миланскую слякоть.
Я потом, будто голубь, возвращался в свой дом
меж домов, и хотелось мне плакать.

Ты лечила меня, как лечили в войну, —
теплым словом и кружкою чая,
мы с тобой говорили о насущном, земном,
облака в разговоре встречая.

Ты лечила меня. Так, должно быть, никто
не лечил мои прежние раны,
и в оранжевой шапочке, будто Кусто,
я гляделся в глаза-океаны.

Ты вернула мне жизнь, обозначив в ней свет,
улыбаясь прекрасной Джокондой.
Я сегодня лишь понял, что значит — поэт,
я — поэт, ты — моя незнакомка.

Пусть поэт говорит, будто правда в вине, —
она в кружечке теплого чая.
День почти догорел, лишь в холодном окне
освещали дорогу трамваи.

В этот час полутёмный, в полутёмном кафе
былолюдно, но нас было двое;
ты лечила вчера мне крыло за крылом,
а сегодня — сегодня другое.

* * *

Но все ж случилась встреча и любовь
в рассветный час скорбящего апреля,
когда в весеннем воздухе гудели
колокола меж улиц и домов.

Тебя я встретил. Светлая любовь
во мне зажглась, горя кустом багряным.
И на устах «Лаура» неустанно
я повторял, не зная больше слов.

И вот сегодня, ровно год спустя,
тебе сонет я посылаю новый,
когда Христу надели Нимб терновый
и Плащаницу вынесли скорбя.

К живым и мертвым Он простер ладони,
когда случилась встреча в Авиньоне.

ЖУРАВЛИ

И все слова уйдут на полпути,
как листья, обозначившие осень.

И циферблат неумолимо точен,
секундной стрелкой не свернет с пути.

Хотя, конечно, стрелка, что стрела,
от жизни к смерти воздух рассекает.
И журавлей задумчивая стая
тревожит мысли криком у стола.

И в тишине осенней переклички
мне в каждой птице видится душа,
плывущая так радостно и близко
со мной, во мне, любовьию дыша.

Закат сменяется на небе светлой ночью,
где журавли растают в...

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ

Мне все теперь грустнее будет летом
смотреть в окно и думать про тебя.
Когда клаксоны в воздухе гудят,
им вторят птицы, спрашивая: «Где ты?»

Но песня лебединая не спета
в автобусе на радиоволне.
Тебя в объятия приняла Планета,
и ты остался так навечно в ней.

Теперь уже не будет больше страха:
все примирит последняя черта.
Что взято от Земли, то станет прахом
под древом у распятого Христа.

И как постичь неведомое сердцу,
как жизнь теперь тебе прожить одной,
когда автобус, открывая дверцу,
дохнет в лицо разлукой и весной?

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин

Дизайн обложки *И. Граве*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Алетейя»,
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 86 А, оф. 536, 532

Подписано в печать 24.10.2020
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 23,8
Печать офсетная. Заказ 322

Мы – в неустанном поиске новых имен, неизвестных авторов, где бы они ни жили – в Киеве, Петербурге, Израиле, Нью-Йорке или Мюнхене, мы – перенесенный в ментальное пространство проспект, как бы он ни назывался в каждом городе, где когда-то завязывались великие дружбы, писались великие стихи, происходили знаменательные встречи...



Данный выпуск посвящен литературе и культуре российских немцев, выдающимся деятелем которой был Егор Корнеевич Гамм

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

